НОВЫЙ МИР

9

1972

9 НОВЫЙ МИР 1972

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLVIII № 9 Сентябрь, 1972 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ИЗ УКРАИНСКОЙ ПОЭЗИИ: **Микола Нагнибеда** — В день рождения; **Леся Тыглий** — Отчизне; **Платон Воронько** — Октябрь, Наш век, Мне в тягость **затишье** и дач и квартир...; **Василь Мысык** — В музее; **Иван Вырган** — Девочка с шариком; **Богдан-Игорь Антоич** — Ометы; **Иван Драч** — Баллада любви; **Виталий Коротич** — Тишина; **Борис Олейник** — Простые ратаи больших и малых сел..., Мой долг; **Павло Мовчан** — Белый дождь; **Леонид Киселев** — Исповедь отцу; **Никита Чернявский** — Латвия — ласточка звонкокрылая..., Из латвийских этюдов; **Юрий Сердюк** — Соболиных молний полон взор нанайца...; **Борис Нечереда** — Снегири; **Петро Дорошко** — Зовут меня расстояния; **Василь Боровый** — Степное. Перевели Юрий Саенко, Н. Котенко, В. Корчагин и Петр Вегин. 3

АНАТОЛИЙ СОФРОНОВ — **Ураган**, драма 17

ПАВЕЛ БОЦУ — **Из поэмы «Дом на Буджаке»**. Перевел с молдавского В. Корнилов 54

ВИКТОР КОЗЬКО — **Високосный год**, повесть 59

МАКСИМ ТАНК — **Партизанская школа**, стихотворение. Перевел с белорусского Яков Хелемский 100

НИНА СЕМЕНОВА — **В воскресенье рано утром**, повесть 102

ВАСИЛИЙ ЮРОВСКИХ — **Материнское благословение** 140

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

ВИТАЛИЙ СЕМИН — **Строится жизнь** 149

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

А. И. МИКОЯН — **В Нижнем Новгороде** 170

В. ЕМЕЛЬЯНОВ — **Путь в студенчество.** Из книги «Студенты 20-х годов» 210

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

Э. ЧЕПОРОВ — **Что же такое насилие?..** 236

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Н. АНАСТАСЬЕВ, А. ЗВЕРЕВ — **Заметки на полях переводной прозы** 242

МАРИЭТТА ШАГИНЯН — **«Разговоры с Гёте» И. П. Эккермана** (К трем датам: 140, 180, 125) 254

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство 271

Ида Радволина. Твой голос, Югославия! — **И. Дедков.** Межа Пелагеи Амосовой.

Политика и наука 279

Ю. Школенко. Книга о космической эре.

КОРОТКО О КНИГАХ — Г. Павлова.— Надежда Полякова. Не поле перейти. Рассказы и очерки. ◆ Г. Никитина.— Е. Евсеев. Фашизм под голубой звездой. ◆ С. Л. — Дмитрий Мамлеев. Остров на парусах. ◆ И. Канторовича.— Джордж Бернард Шоу. Письма. ◆ А. Туркова.— Ласло Немет. Траур. Роман 282

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 287

ИЗ УКРАИНСКОЙ ПОЭЗИИ

МИКОЛА НАГНИБЕДА

★

В день рождения

Я сегодня с моей Украиной
Обнимать всей душою готов
И Урала седые вершины,
И шатры белорусских лесов.

Я сегодня к груди прижимаю
Символ славы — Малахов курган,
Днепрогэс — юность нашего края
И своих земляков-харьковчан.

Я хочу, чтобы дети и внуки
Поднимались на нашем крыле
И учились высокой науке
Коммунистами быть на земле.

И еще я хочу в эту дату
Облететь боевые фронты,
Чтобы каждому брату-солдату
Положить на могилу цветы.

Я хотел бы, чтоб все коммунисты
У меня побывали в гостях.
Я целую высокий и чистый
Нашей Родины ленинский стяг.

Перевел ЮРИЙ САЕНКО.

ЛЕСЯ ТЫГЛИЙ

★

Отчизне

О нет, ты для меня не солнце,—
У солнца есть восход, закат,
Его лучи непостоянны,
А ты — и в бурю шлешь тепло.

У солнца множество загадок,
Его лицо покрыли пятна,
А ты — чиста, проста, как вера,
И не как солнце ты близка.
Тебе молитв не нужно слезных,
Тебе не нужно фраз помпезных,
Зерном твое любое слово
Ложится в чистые сердца.
Ты — содержанье наших песен,
А мы — тех песен воплощенье.
И пусть ты для меня не солнце —
Не знаю света без тебя!

Перевел Н. КОТЕНКО.

ПЛАТОН ВОРОНЬКО

★

Октябрь

Чтоб расширить мира тесный круг,
нас повел он сквозь грома и тучи
в океан веков, седой, кипучий;
время распахал он, словно плуг,
наш Октябрь.
А значит, сеять будем,
пашню Октября от бурь храня!
Он как Прометей пришел —
чтоб людям
стать людьми в лучах его огня.

Наш век

Пусть он тревожен,
пусть жесток,—
люблю наш век, все это зная!
Ведь лишь ему смотрю в глаза я
и пью
его червонный сок.

***

Мне в тягость затишье и дач и квартир,
мне в тягость их стены, оконные шторки...
Зовет меня к болям своим
весь мир
судьбою Гарсиа Лорки.
Стихи — как созвездья.
Душа — как полет.
И молния в грудь.
И могила немая.

Фаланга фашистская дико ревет,
на дыбу песнь поднимая...
Мне должно с друзьями
в ночном патруле
шагать по земным по зловещим дорогам,
пока не покончим на всей земле
с коричневым едким смогом!
Лишь после
задерну я в комнате шторки
и вдоволь наплачусь над участью Лорки.

Перевел В. КОРЧАГИН.

ВАСИЛЬ МЫСЫК

★

В музее

Седеют рукописи под стеклом —
Пронумерованно и неподвижно.
Мы, их читая, неизменно видим
Знакомое лицо с крутым челом
И руку, что застыла на бумаге,
Готовясь тут же из конца в конец
Заполнить лист. А в форточку отважно
Вторгается с утра весны гонец.
Вторгается, но даже листик малый
Пошевелить не в силах, ведь — музей!
Музей?.. Но неужели в этих залах
Порывов море, океан идей
Вместить?! И разве в камень хрупкий
Оденешь бурю, что весь мир встряхнула
И до сих пор влечет его вперед,
Наращивая каждое мгновенье
Победный свой, молниеносный лёт,
Не зная ни минуты промедленья
На линиях космических широт?..

Перевел Н. КОТЕНКО.

ИВАН ВЫРГАН

★

Девочка с шариком

По голубому городу сквозь толпы
Девчонка одуванчиком плывет
И шарик, весь лучащийся и теплый,
На ниточке невидимой ведет.

А шарик тот невзрачный собирает
В себе весь мир: вот распустился вяз,
Вот люди ходят, бегают трамваи,
И — небо, и за часом мчится час...

О, девочка, веселый одуванчик!
Не ты ли — солнце, что в тиши плывет
И землю на веревочке отважной
По голубой галактике ведет?..

Перевел Н. КОТЕНКО.

БОГДАН-ИГОРЬ АНТОНИЧ

★

Ометы

И шепот над равниною разнесся:
как будто на весы, на горизонт
укладывал в упитанный омет
косец набухшие мукой колосья.

И зашумели вдруг: «Еще сорвемся».
Так каждый колосок предполагал,
а ветер лихо драл вихры лугам
И гордые стога таскал за косы.

Ведь лучше им, чем преть по чердакам
или под жерновами погибать,—
чтоб ветер их разнес по большакам,

чтоб улететь на кружевах метелиц.
О, кто из них не знал желанья убежать
от серых будней ненасытных мельниц.

Перевел Н. КОТЕНКО.

ИВАН ДРАЧ

★

Баллада любви

Земля из пепла. Все столетия истлели,
осыпали свой пепел с рукава.
Так сгоряча блеснешь — испепелится тело
и все уже бело, душа уже — вдова.
Земля из кремня. Предки окаменевали.
Чту пыль дороги пылью естества.

И Тибр и Нил чело мне омывали,
но суть моя российская жива!
Земля из стали сабельной. Дней битва
в татарской страсти и меня гнала,
и солнца пополуденного бритва
до черепа чело мне рассекла.

О соплеменники! Что нам дым осужденья —
сквозь очи предков бьет разрыв-трава!
На матерях чернел плевок презренья
и нам рыданьем горло разрывал!

Нам дальше жить, и жать хлеба большие,
и домны возводить под небосвод...
Народ, твоя свободная стихия
в крови моей клокочет и живет!

Перевел ПЕТР ВЕГИН.

ВИТАЛИЙ КОРОТИЧ

★

Тишина

Мне рассказывали, как фашисты расстреляли на Винничине группу глухонемых.

Он говорил: «Морозно, и не будет
Вас этот пепел серый согревать.
Из мертвых сел в леса уходят люди,
И светят ребрами худые кровли хат.
Сегодня тишина в Европе —
Двадцатый век над грудами камней.
Лишь пепел вьется по пустынным тропам —
Останки задохнувшихся огней.
Замерзнете. Вы без костров умрете,—
Руины эти тщетно ворошить:
Здесь только ветер ошалелый ропщет
И — ни единой праведной души.
У птиц в полете отмерзают крылья,
Огня у звезд — ни искры не найдешь.
Капут Украйне вашей — вся покрылась
Могильным мраком, вымерзла, как рожь.
За что сражаться?.. Новых ливней гибель
Падет на вас — и подомнет меня.
Где жили вы, молитвами какими?
Как уцелели, люди, без огня?
Еще минута ваша. Отвечайте.
Молчите вы, давно истлевший стог.
Я дам огонь вам, дам горбушку счастья
И разрешу всем выход на восток».
Они молчали. Снег лепил седины
На их чубов нетронутую смоль.
И серый ветер в пустоши совиной

Скорбел и плакал сотней голосов.
Ни огонька — куда ни кинешь взором,—
плывут снега — несметный эскадрон...

«Замерзли? — щелкнул офицер затвором.—
Согреетесь! — И выдохнул: — Огонь!»

Перевел Н. КОТЕНКО.

БОРИС ОЛЕЙНИК

***

Простые ратаи больших и малых сел —
Мой корень первородный и нетленный —
О, сколько красок, слов и голосов
Вы бескорыстно отдали вселенной!

Зато вам имена вручали — как медали:
Мадонны, праотцы,
Венеры, Аполлоны...
Увы! Поэты так долги вам отдавали,
Дешевых слов отвешивая тонны.

Красивых слов. Высоких, как бурьян,
И невесомых, словно пух утиный...
А на поля выходят по утрам
Не боги, нет,—
Иваны и Устиньи.

Поют беспечно, плачут — как поют.
Живут и жнут.
Себе рожают смену.
Устав суровый им диктует труд,
Земля им платит:
вырастишь — имеешь.
Стареют трудно:
матери — как вербы,
Отцы стоят — сродни дубам мореным.
Седеют поздно.
Чтобы счет был верным
В их жизни,
переполненной и ровной,
По нитке белой каждый год отмерен.

Есть седина — как титул,
для портрета:
А ну, эпохи,
преклонить колени!
Присмотришься — зола от сигареты,
Потрешь — ни искры,
только запах тлена.

Дубы горят и жарко и надежно —
То пламя не подделает художник,—

Потом они таким графитом станут,
Которым без сомнений и молитв
Расписываться можно на рейхстагах
И вычеркнуть себя
из должников Земли.

Перевел Н. КОТЕНКО.

Мой долг

В долгу навечно я пред щедрой нашей долей.
Дивлюсь:
где для даров она взяла
такую звонкость вод, красу земных раздолий
и этой вот лазури два крыла?

Как плодовитостью такою наделила
наш украинский теплый чернозем?
И надо ж сделать так,
что смех, и глубь, и сила
слились как бы в одно в краю моем!

Вот хоть село мое...
Куда тому эдему!
Криницы чище здесь, сады — белей.
Здесь месяц молодой — как раз на диадему:
возьми и отнеси возлюбленной своей.

Здесь нивы, вишняки, баштаны, огороды —
все соком до упругости полно!
Входи, бери плоды, коль дома недороды.
Но в дверь входи.
Ведь лезли и в окно...

А небо наше?.. Нет нигде такого,
коль в годы детства
именно под ним
рванулись к космосу мечтанья Королева,
чью память в каждом старте сохраним.

В долгу навечно я пред всей планетой нашей.
Не расквитаться мне, покуда не отдам
вот эту песенность — хмельною щедрой чашей.
Входи, будь гостем!
Хватит вам и нам!

Перевел В. КОРЧАГИН.

ПАВЛО МОВЧАН

★

Белый дождь

Листья ожили, кланяясь каплям.
Огнива удар — и осколками брызнуло небо,
И вылилась молния в челн серебряный.
И умчала волна от причала...
Двумя ладонями
вода сжимала крепко
И несла
Без весла и руля,
Отдирая от днища ракушки привычек.
Выше, выше...
презрев окоем,
над рассветом, над ветром,
неуемным и страстным...
В поднебесье, в безбрежной палитре,
Челн серебряный — белая краска.
Я в него окуну свои руки:
Белый дождь напишу на небесных холстах,
Белых птиц распущу в снежно-белых кустах
И взращу я леса сплошь из белых деревьев.
Будет страшно притронуться к нежно-белым плодам,
Сгинут контуры все и рельефы,
Рыбаку больше рыб не подарит вода —
Будут в сети ловиться рассветы.
Белизна, белизна, белизна...
И невидимый я
оседлаю коня,
Разбросаю по миру необузданный цокот,
Буду молча проситься я в сон твой глубокий,
В твои руки и губы, ожидая плененья.
Белизна, белизна...
Белых чар опьяненье.
Как непросто дойти к твоим близким устам!
Тополиной листвы надо мной шелестенье.
Ох, как трудно сегодня тебя отыскать!
Белизна, белизна...
Меловая гроза!
Челн серебряный полон притаившихся молний.

Перевел Н. КОТЕНКО.

ЛЕОНИД КИСЕЛЕВ

★

Исповедь отцу

Я в село приехал еще молодой.
Бригадир посылает копать траншеи,
а вечером поясницу ломит и шею,
домой еле тащишься сам не свой.

А мой хозяин гребет из бурта
(хоть за день не меньше других извелся)
и тащит мешок, что не меньше во́за,
гнилого картофеля для скота.

Плетешься рядом и думаешь так
(а в нос шибает брожением винным):
и что он из кожи лезет, чудак?
И вообще, ведь — не хлебом единым...

Гордишься собою вдвойне, втройне,
перебирая снова и снова
стихи Пастернака, Верлена, Светлова
и песни Лорки о черной луне.

И я тогда не любил село.
Мне все казалось, что даже дети
только и смотрят, что бы спереть им —
любую жратву или барахло.

И лишь пожив среди этих людей,
постиг, что это звалось любовью,
что дядька так холит свою корову,
потому что любит своих детей.

Он в воскресенье встает чуть свет
и прет мешки на базар устало —
ведь «Смерть корнета» [1] не просит сала,
а детям книжки нужны и хлеб.

И завтраки те, что я получал,—
картошка, лук да сметаны малость,—
так трудно хозяину доставались,
что он не угощал меня — причащал.

У дядьки Миколы любви я учился.
Не знаю, какой мне выпадет путь,
мне не забыть ее, трудной и чистой,
с дороги той уже не свернуть.

Перевел Н. КОТЕНКО.

---

[1] Название поэмы Р.-М. Рильке.

НИКИТА ЧЕРНЯВСКИЙ

***

Латвия — ласточка звонкокрылая,
Горлица Латвия,
Ты мне
Думы хлопотные открыла
И поделилась самым интимным.

Я не чужим был у порога,
Гостем почетным сидел за столом,
В сердце горела твоя тревога,
Радость твоя бушевала в нем...

Море рокочет девятибалльное,
Словно истории трубный глас,
Но рыбаки — моряки бывалые —
С волны на волну бросают баркас.

Их не пугают разбойные бури,
Их не пугает невзгод разбег.
Моря просторы им по натуре.
С морем в дружбе не год, а век...

Даугава цветет ветрами,
Голосом Райниса день звенит,
С солнцем в жмурки сады играют,
Ткут лучи золотую нить.

Кажется, вся ты, вся лучишься —
Парки,
Здания,
Арки,
Мосты...
Тебе предстоит в этой зелени чистой
Самой высокой достичь высоты.

Степь Украины меня призывает —
Должен вернуться обратно я.
Сердца частичку здесь оставляю,
Чайка морская — Латвия.

Из латвийских этюдов

Мальчишки пели в том краю
Народа вековые песни.
Так птицы чистые поют,
Так голуби любимых пестуют.
Мальчишки пели в том краю.

Я белые кудряшки гладил
И вспоминал сынов своих.
Пух тополиный в росы падал.
Мотив звучал, как свежий стих.
Я белые кудряшки гладил.

И дедовский завет святой
Мне вспоминался в то мгновенье —
Сердечный, светлый и простой,
Необходимый людям вечно,
Тот дедовский завет святой:

Не принеси ты в сердце зла,
Когда идешь гостить к соседу.
Взойди как солнце у стола
Во время мирного обеда.
Не принеси ты в сердце зла...

Звучал в душе мотив старинный.
А я кудряшки тихо гладил.
И словно там, на Украине,
На руку пух июньский падал
И улыбался день незримо.

Перевел Н. КОТЕНКО.

ЮРИЙ СЕРДЮК

***

Соболиных молний
полон взор нанайца...
Подхватили нарты
четыре добрых пса.
С ветром да с прикладом
ему отныне знаться
Да по насту мчаться
в дремучие леса...
А соболя выследить —
что невесту выкрасть.
Хитрость — у охотника,
мушка — у ружья...
Снег взволнуют лыжи
лодочками прыткими,
И на них нанайцу
по тайге бежать...
Полон ствол холодный
соболиных молний.
Как в набат, ударит
дятел по сосне.
Не укрыться соболю,
не умчаться боле —
Упадет он слитком
драгоценным в снег.
В цепких пальцах станет
девичьей косою...
Постоит нанаец.
Разомнет табак.
И зашепчут лыжи
на просторе снова.
И попутный ветер
поведет собак.

Перевел Н. КОТЕНКО.

БОРИС НЕЧЕРЕДА

★

Снегири

Эстамп

Обузы сбросить, стать на лыжи,
в лес окунуться поскорей,
скользить неслышно — ближе, ближе
к спокойной речи снегирей.

Уйти по серебру мороза
от чьих-то именин и слав —
смотреть, как белая береза
смеется в белый свой рукав,

как скромно ясени одеты,
хотя и праздничен их вид,
как на котурнах столбик света,
сосулькой лакомясь, стоит...

Залиться плачем вдруг счастливым,
со снегирями говоря,
над полудетским примитивом
скупых полотен января.

А после, надышавшись лесом,
у входа в мир добра и зла,
средь поля, под седым навесом
увидеть контуры села.

И, отряхнув у двери шапку,
запорошенную в пути,
свой «добрый день», как дров охапку,
с мороза в крайний дом внести.

Проверить в теплом вздохе хаты
сохранность всех богатств своих:
действительно ль в дорогу взяты
и смех твой, и слеза, и стих?

О хлебе думать, сдвинув брови.
Молчать...
А ты скажи, скажи! —
поймай себя на честном слове,
коль мог других ловить на лжи!

И снова — лес, где вечер тает
на хрупких лепестках зимы
и стайка снегирей взлетает
костром из белой полутьмы.

Перевел В. КОРЧАГИН.

ПЕТРО ДОРОШКО

★

Зовут меня расстояния

Зовут меня расстояния
Людные и безлюдные,
Парус в синем сверкании,
Полей порыжевших будни.

Хребтов снеговые пики
Над пропастями отвесными,
Луга в венках ежевики,
Дали, звенящие песнями.

Рыбачьих шхун капитаны,
Рукопожатья братские,
Соль азовских лиманов
И древний лес закарпатский.

Над синью равнин взошедшая
Заря налитая ранняя...
Зовут меня путешествия,
Встречи и расставания

В сад, где благоухает
Плодами каждое дерево,
Где песня не утихает —
Соловьиная или девичья;

В степь, где щекочет приятно
Пшеница, от ливней светлая...
Здравствуй, далекий брат мой!
Здравствуй, широкий свет мой!

Экспрессы спешат магистралями
С запада и с востока.
Зовут меня расстояния,
Дороги зовут далекие!

Перевел Н. КОТЕНКО.

ВАСИЛЬ БОРОВЫЙ

★

Степное

Чахоточные шорохи на ниве
Да горький запах
пота и травы —
Паломниками вечера, тоскливые,
Сбивали пыль с бурьянов межевых.

Все — точно сон...
Как будто не кропили
Дожди кручины — головы отцов,
Лишь солнце осыпало изобильем —
И зерна медом капали с хлебов.

Но с детства породнился я с землею.
Босые ноги ранила стерня,
И, как от плуга раннею весною,
Мозолями горела пятерня!..

И колосочку каждому, как богу,
Сам поклонюсь —
чтоб поскорее рос...
Я в детстве взял отцовскую тревогу
Как первый,
самый непростой
покос.

Перевел Н. КОТЕНКО.

АНАТОЛИЙ СОФРОНОВ

★

УРАГАН

Драма в трех действиях

Нине Ивановне Подоваловой.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

ХОМЕНКО Антон Петрович
ИВАН
ЧЕРНОБРИВЦЕВА Ольга Семеновна
БЕРЕЗИН Григорий Васильевич
БЕРЕЗИНА Евгения Федоровна
АНЮТА
ЕРМАКОВА Анна Алексеевна
СИНИЦА Евдокия Прохоровна
ЧАКАН Емельян Артемович
КОШКИН Николай Иванович
ДУДКО Захар Ефимович
КЛАВДИЯ

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Двор дома председателя рыболовецкого колхоза Березина. Во двор выходит крыльцо дома. В стороне от крыльца простой стол со стоящими возле него табуретками. На заднем плане — легкая ограда с калиткой. Ясный осенний день. Вдали виднеются желтеющие тополя. На сцене Березина и Синица. Они хлопочут возле летней печки.

Синица. Известно, начальство один микроб в организме имеет.

Березина. Какой еще микроб?

Синица. Обязательно, когда к рыбакам приезжает, уху требует.

Березина. Они не требуют, тетя Дуся. Гостей всегда хозяевам по-достойному принять хочется.

Синица. Мало что хочется мужикам... Мужики на всякое баловство охочи.

Березина. У вас, тетя Дуся, всегда в мыслях всякое непотребство бродит. А ведь и возраст у вас уже...

Синица. Не возраст у меня, а чистый жизненный опыт... Я этих мужиков на своем веку повидала... Разные характеры... Вот скажи, пожалуйста, зачем секретарю уха? Он же, можно сказать, только что с того света своим ходом вернулся.

Березина. Что вы, тетя Дуся? Его в краевом центре врачи к жизни выходили.

Синица. И опять же за уху берется?

Березина. Позвонил Григорию Васильевичу, сказал — приедет с заведующей райздравом, врачом Анной Алексеевной... Она меня лечила.

Синица. Тебе бы вместо того, чтобы у печки надрываться, отдохнуть куда съездить... С сердцем твоим...

Березина. Куда ж я поеду от семьи?

Синица. Семья тогда хороша, когда хозяйка здоровая.

Березина. У меня семья хорошая... Грех жаловаться.

Синица. Не каждый грех — грех. Бывает грех, за который и в рай попасть можно.

Березина. А вы надеетесь в раю побывать, тетя Дуся?

Синица. А чего ж нет? В раю, говорят, фруктов много и музыка играет.

На крыльцо выходит Анюта.

Анюта. У меня все готово, мама.

Березина. Накрыла стол?

Анюта. Накрыла.

Березина *(Синице).* Может, вы глянете? Закусочку аккуратненько поставьте.

Синица *(Анюте).* Ясное дело, без тети Дуси ни свадьба, ни похороны не обходятся.

Анюта. Что вы, тетя Дуся, говорите такое?!

Синица. А ты на слова, Анюточка, не обращай внимания. Слова, как ветер, меняются от погоды. *(Ушла в дом.)*

Березина. Что ты на нее так?

Анюта. А что она глупости болтает?

Березина. Не сердись на пожилых. У них одно удовольствие — в разговоре.

Анюта. Что с папой, мама?

Березина. А что с ним?

Анюта. Мрачный в последнее время.

Березина. Забот много... Сейнера должен получить новые, снасти... Дом культуры строят...

Анюта. Тебе бы, мама, поехать полечиться надо.

Березина. Успею... Лечиться никогда не поздно.

Анюта. Хотя бы отдохнуть просто.

Березина. И отдохну. Отдохну, доченька. *(Вздохнула.)* Как же я вас с отцом оставлю? К нему людей сколько приезжает.

Анюта. Можно и перерыв устроить для людей.

Березина. Это не мы с тобой планируем, Анюточка.

Выходит Березин.

Березин. Ну, как тут у вас?

Березина. Все, Гриша, в порядке. Можно принимать товарища Хоменко.

Березин. Он не один едет... Анну Алексеевну захватил и *(запнулся)*... Чернобривцеву...

Березина. Ольгу Семеновну?

Березин. Да, тут по Дому культуры всякие дела имеются.

Березина. Так надо ж приготовить для всех. *(Ушла в дом.)*

Березин. Ты что такая серьезная, дочь? В школе неприятности?

Анюта. Какие могут быть неприятности у твоей дочери, если она ничем не хочет подрывать авторитет своего папани?

Березин. Ну, ну... Может, все же скажешь?

Анюта. Маме лечиться надо, отдыхать...

Березин. Анна Алексеевна ей путевку везет.

Анюта *(обрадованно).* Сегодня?

Березин. Только, боюсь, откажется она.

Анюта. Если врач прикажет — как же она может отказаться?

Березин. Может... Твоя мама все может.

Слышен шум подошедшей машины. Березин направляется к ограде. На крыльце появляются Березина и Синица. Во двор входит Хоменко, за ним Чернобривцева и Ермакова.

Хоменко *(Березиной).* Здравствуй, Женя.

Березина. Здравствуйте, Антон Петрович. *(Увидела входящих Ермакову и Чернобривцеву.)* Прошу, прошу, гости дорогие. *(Подходит к Ермаковой.)* Выбрали времечко, Анна Алексеевна?

Ермакова. Соскучилась по вас, вот и прикатила... Вместе с Ольгой Семеновной...

Березина *(на мгновенье остановившись, Чернобривцевой).* Будьте гостьей в нашем доме.

Чернобривцева *(сдержанно).* Это все Антон Петрович...

Хоменко. Я, только я... Признаюсь. Известно, дом Березиных — дом хлебосольный. Вот я и Ольгу Семеновну прихватил.

Синица. Уха готова, Антон Петрович. Высокого класса уха... Люкес, можно сказать, уха.

Хоменко. Люкес? Слово где нашла такое, тетя Дуся?

Синица. Где лежало, там и нашла. Как здоровьице, Петрович?

Хоменко. Ничего, передвигаемся... с помощью автотранспорта. Вот Анна Алексеевна знает мой прогноз.

Ермакова. Диагноз.

Хоменко. Это для медицины диагноз, а для нас, сельхозработников, прогноз. Нам без прогноза ничего вперед планировать нельзя. *(Через калитку.)* Ваня, ты что ж там машину караулишь? А ну, Анюта веди-ка сынка моего сюда.

Анюта уходит.

Отпуск дали ему в институте, возле отца побыть.

Входят Иван и Анюта.

(Березиной.) Ну, как Иван мой выглядит?

Иван. Да что ты, отец?

Хоменко. А ты не смущайся, терпи. Каждый серьезный сын — это гордость родительская. *(Березиной.)* У вас вон тоже Анюта в барышню вытягивается.

Анюта. Я барышней не буду.

Хоменко. Это почему же?

Анюта. Не хочу.

Хоменко. Вот так — взяла и отрезала.

Иван. Что ты, отец, смущать всех решил?! *(Уходит с Анютой в дом.)*

Березин. Может, в дом пройдем?

Хоменко. Дай на воздухе побыть. Подышать... Вон с моря какой ветерок поддувает.

Березин. Барометр падает... Шторма бы не было...

Хоменко. Близко вы тут возле моря поселились. Переселять пора.

Синица. К морю ближе — денег больше.

Хоменко *(Березину).* Браконьерствуют рыбаки?

Березин *(смущенно)*. Не без того, Антон Петрович...

Хоменко. А что же вы работу не проводите?

Березин *(смущенно)*. Работу-то мы проводим...

Синица. С рыбачками все работу проводят, только они вас за нос водят.

Березин. Дом культуры построим — может, меньше браконьерствовать будут...

Хоменко. Это верно, к культуре обязательно должны потянуться.

Синица. Культура не та наживка, Петрович.

Входит с кошелкой Чакан.

Вот ты этого браконьера на такую наживку попробуй возьми!

Чакан. День добрый и районному начальству, и тем, которые рядовые. *(Здоровается с одним Хоменко.)*

Хоменко. А что ж ты остальными пренебрегаешь?!

Чакан. Так то ж бабы... *(Синице.)* Ты что тут на меня клевету возводила?

Синица. Какая ж то клевета? То чистая правда.

Чакан *(передавая кошелку Березиной)*. К столу, Федоровна, пригодится.

Березина вопросительно смотрит на мужа.

Березин *(жене)*. Бери, бери, Женя.

Синица. Бери, когда дают.

Чакан. А когда не дают, тоже бери.

Березина *(женщинам)*. Может, прибраться желаете с дороги?

Ермакова. Да хорошо бы

Уходит с Чернобривцевой. За ними — Синица и Березина.

Чакан. Очистился воздух от женского полу.

Хоменко. А чего это ты, дед, так женщин не любишь?

Чакан. Они меня слишком любили, вот я их за то и разлюбил. Теперь бобылюю.

Хоменко. Скучно ж одному жить.

Чакан. Так разве я один? Вон какое хозяйство у Григория Васильевича. А я в этом хозяйстве безусловно необходимая личность. Гайка в колесе, одним словом. Заместитель кладовщика.

Хоменко. А чего ж заместитель?

Чакан. Чтобы материальной ответственности за всякие неизбежные потери в рыбном деле не нести. От рыбного дела до судебного дела один пеший переход, особливо ежели женский пол замешан.

Хоменко. А при чем здесь женский пол?

Чакан. Отчего я здесь снова оказался, знаете?

Хоменко. А ты разве уезжал куда?

Чакан. Бежал отседа, можно сказать, метеором. Одна бабуля, не старая, конечно, лет пятидесяти, окрутить меня в смысле замужества заманивала. Вот и бежал...

Хоменко *(улыбаясь, Березину)*. Это правда?

Березин. Уезжал и опять вернулся.

Чакан. Попробовал бы не вернуться! От той бабули на Дон подался. Не на самый Дон, а на пруды, где карпов и сазанчиков выводят. Очень даже культурное хозяйство... И тихое к тому же... Приняли в колхозе, все в культурном разрезе... Но только начала до меня присматриваться продавщица одна из галантерейного магазина. Не старая и не молодая, лет пятидесяти.

Хоменко. Что-то тебе, дед, на полувековых везет.

Чакан. В самую пору по моей кондиции. В галантерее работает, а рыбки — аж кричит как хочет. «Налови в пруду», говорит при любовном свидании. Пообещаешь в этот момент все, что тебя попросют. Пообещал, конечно, да только уже апосля смекаю: как же ловить рыбку эту? Поймают — в наилучшем случае выгонят, а в худшем отдадут под судопроизводство... А пообещал... Как не пообещать при любовном свидании? Побежал на базар... Нема свежей рыбы... Никакой нет. А пообещал... Что будешь делать?

Хоменко. Бабенка-то хоть хорошая?

Чакан. Что ж я, из-за плохой бабенки честным авторитетом рисковал бы? Тут и вспомнил одну подробность — из пруда в пруд перемычка ведет. Замечал я, как сазанчики к вечеру через ту перемычку прыгают.

Березин. Как прыгают?

Чакан. Как брумели.

Хоменко. Кто-кто?

Чакан. Ну, как прыгуны эти на стадионах.

Хоменко. Заливаешь, дед.

Чакан. Рад бы заливать, только все в правде... Подойдет стайка сазанчиков к перемычке, один из воды сиганет, чтоб в другой пруд уйти, трепыхнется пару раз на перемычке и в другой — туда, в пруд, значит, ныряет. Известно: сазан — умная рыбка. Тогда во мне мысль мелькает: шо ж они учет путают в хозяйстве? Взял кошелку и на ту перемычку прилег. Гляжу, подплывают сазанчики. Я дыханию затаил. Гляжу — один прыг! Я его тут ладошкой накрыл и в кошелку. Тишина. Другой сазанчик — прыг. Я его ладошкой и в кошелку. Лежу. Гляжу. Тишина. Не прыгают. Приподнялся. Гляжу — все повернули и прочь от перемычки. Полежал... Нема больше сазанчиков... Тишина. Иду к галантерейщице, зажал двух сазанчиков. А она говорит: «Что так не терпелось, двух завалящих сазанчиков принес и считаешь, в полной мере любовью себя обеспечил». И ни в какую... Потом, конечно, снизошла, но в сознание мое заноза впилась. Могет не пустить больше до себя галантерейщица. Всякие ридикюли продает, пуговицы перламутровые, высокий культурный уровень у нее... Соображаю. Сазан — умная рыба, но и я тоже не дурной. Иду другим вечером на пруд, но уже вооруженный до зубов.

Хоменко. Чем же?

Чакан. Вот именно... Камушками... Кирпичиками... В станице строительство жилищное развернуто. Битого кирпича много. Набрал в кошелку — и на перемычку. Лег. Затаился. Тишина. Гляжу. Идут сазанчики. Один — прыг. Я его цоп. И в соседний пруд камешек. Бултых. Другой сазанчик — прыг. Я его цоп. Камешек — бултых. Третий сазанчик. Камешек. Четвертый — камешек... И пошло. Доходит?

Хоменко. Заливаешь, дед?

Чакан. Сазаны — рыба умная, на звук реагировали. Сазан умный, но мы еще умнее. Очень была довольна галантерейщица. И я тоже... Досыта... Но эта женская жадность привела меня на рубеж катастрофы.

Хоменко. В пруд свалился, что ли?

Чакан. Если бы... Председатель колхоза заметил мои махинации и самолично явился в тот самый момент, когда я кирпичики бросал. Конечно, всякие слова произносил критические по моему адресу... Я ему, конечно, объясняю — баланец в прудах нарушится. А он мне, правда по-хорошему: иди-ка ты, дед, со своим баланцем подальше. Тишина. Я и ушел... Окончательно.

Хоменко. Куда?

Чакан. Сначала к галантерейщице. А потом уже сюда вернулся.

Хоменко. Неужели из-за рыбы любовь кончилась?

Чакан. Рыба из-за любви кончилась. Рассудил я так: завтра галантерейщица шашлыку захочет... Ежели я на камешках погорел, чем же я овечек заманивать буду? Далеко пойти можно. Эта женская несытость очень даже для нас опасна. Так я говорю, Григорий Васильевич?

Березин *(очнувшись).* Что? О чем говоришь?

Чакан *(Хоменко).* Вишь, как на председателя история моя среагировала. Слова вымолвить не может.

Выходит Чернобривцева.

Чернобривцева. Просят всех к столу.

Хоменко. Распалил ты, дед, своим рассказом аппетит. Идем.

Чакан. А кто же от чарки откажется?

Хоменко. А ты откуда знаешь, что чарка будет?

Чакан. А что ж я в кошелке передавал, кехвир, что ли?! *(Уходит с Хоменко в дом.)*

Чернобривцева. Я неправильно сделала, что приехала?

Березин. Правильно, Оля, правильно.

Чернобривцева. А я думаю, не надо было приезжать.

Березин. Для меня без тебя жизни нет!

Чернобривцева. Не место здесь разговаривать об этом... Не надо, Гриша.

Березин. А если во мне кричит все?

Чернобривцева. Мы и так уже еле скрываемся, вот-вот все наружу вырвется.

Березин. Пусть вырывается!

Чернобривцева. Да что ты! *(Оглядываясь.)* Опасно здесь, Гриша. Идем... И так задержались...

Березин. Я завтра к ночи приеду к тебе.

Чернобривцева. Не надо.

Березин. Приеду.

Чернобривцева. А я уеду в район.

Березин. Не уедешь.

Чернобривцева. Как ты уверен!

Из дома выходит Березина.

Березина. Ждут тебя, Гриша. Хозяин ведь...

Березин. Иду. *(Ушел в дом.)*

Чернобривцева. Что-то я с дороги устала. Вчера заседали поздно.

Березина. Интересная у вас жизнь.

Чернобривцева. Какая уж интересная...

Березина. Как же... Простая женщина... И столько дано вам. Все уважают... Любят все.

Чернобривцева. Ну уж все... Да и что в этом хорошего?

Березина. Когда любят *(вздохнув),* хорошо. Что нам, женщинам, нужно? Чтоб любили нас — вот что нам нужно.

Чернобривцева. Да, конечно, приятно, когда любят, но не это главное.

Березина. Как же не главное?! Если б меня Гриша разлюбил, я бы тут же и умерла. Что мне еще делать в этом случае?

Чернобривцева. Ну, зачем так? В жизни много всего другого.

Березина. Это для вас... Вы женщина на виду... Образованная... Красивая... Людям нравитесь... Даже Гриша мой на вас поглядывает. Я вижу...

Чернобривцева. Что вы! Что вы, Евгения Федоровна!

Березина. Поглядывает... Но любит он меня... У нас Анюточка... Вот только у меня сердце сдает... Но я подправлюсь, займусь собой. Я тоже была когда-то красивой.

Чернобривцева. Да вы и сейчас...

Березина. За собой женщине ухаживать надо... Но работы по дому много. Гриша любит, чтобы в доме чисто было... Порядок любит...

Чернобривцева. А вы Гришу своего заставляйте.

Березина. Где ж ему... У меня один дом, а у него сколько! То на путину, то в райцентр... Дней не хватает, ночами задерживается...

Чернобривцева. Идемте, Евгения Федоровна. Кажется, отошла голова.

Входят Анюта и Иван.

Березина. Анюта, что же ты Ваню голодом моришь?

Анюта. А вы чего ж не все там?

Березина. У Ольги Семеновны голова вот заболела...

Чернобривцева. Прошла уже, прошла... Идемте, Ваня.

Иван. А ты, Анюта?

Анюта. Догоню.

Чернобривцева и Иван уходят в дом.

Березина. Добрый парень Ваня.

Анюта. Кто их разберет, какой из них добрый, какой злой.

Березина. Что ты, доченька? Обидел он тебя?

Анюта. Нет, мама. Я не дамся, чтоб меня в жизни кто обижал. Зачем эта женщина приехала сюда?

Березина *(сухо)*. По делу, Анюта. По делу... Иди к гостям.

Анюта *(подойдя к матери, целуя ее)*. Мамочка ты моя роднень-кая... Вот отчего у тебя сердце болит — за всех беспокоишься. *(Ушла с матерью в дом.)*

Появляются Синица и Чакан.

Чакан *(вытирая рот)*. Добрую ушицу сотворила, Евдокия Прохоровна.

Синица. Я на этой ухе в люди выплыла.

Чакан. Везет же людям: один на рыбе сгорает жарким пламенем, а другие какие карьеры в жизни совершают... И опять же на той рыбе.

Синица. Скажи, дед, то верно, что ты из-за рыбы под судом был, когда от нас бегал?

Чакан. Чистая клевета! Под судом и следствием не был, гражданских прав не лишался... Чист как стеклышко.

Синица. Говорят, несчастный ты был по линии женского полу.

Чакан. И это клевета... Меня все женщины до безумия любили... Несколько из них даже руки хотели на себя наложить из-за моего ответного равнодушия.

Синица. И наложили?

Чакан. Яду в аптеке не было, а в море вода студеная. Да и живут припеваючи. *(Прислушался.)* Что-то в воздухе происходит, колебания ощущаю... И ревматизма ноет.

Синица. Упустили мы, дед, с тобой время.

Чакан. Куда ж мы его упустили?

Синица. Годков десять назад мы б еще в любовь сыграть могли.

Чакан *(подсчитывая про себя)*. Десять не десять, а годков пятнадцать это точно... А сейчас тишина. Тянет с моря... Не иначе шторм**яга идет.**

Синица. И что ты каркаешь?

Чакан. У меня нюх безошибочный.

Синица. На горилку у тебя нюх безошибочный.

Чакан. И на ее тоже... Ну, я пойду... Я свою норму ухватил. В этом деле переборы, как в очко, нежелательны. *(Уходит со двора.)*

Синица идет к печке. Из дома появляются Хоменко, Березин, Березина, Ермакова, Чернобривцева.

Березина. Нет, Анна Алексеевна... Не поеду я на курорт. Не могу сейчас. Осень, соления всякие надо готовить! Зима придет — пожалуйста... Может, и Гриша со мной поедет?

Ермакова. Что до зимы ждать? Сейчас погода хорошая в Кисловодске. Все в золоте...

Березина. У нас этого золота и здесь с земли охапками собирай.

Ермакова. Вам отдохнуть нужно, полечиться.

Березина. Я и здесь не надрываюсь.

Березин. Право, Женя, Анна Алексеевна знает ведь, что тебе следует делать.

Березина. Откуда ж ей знать?!

Березин. Она врач... Если б не она, разве б Антон Петрович стоял бы перед нами?

Хоменко. Не стоял бы... И не лежал бы... Лежал бы, конечно, но не здесь. Езжай, Женя, в Кисловодск. Здоровье надо беречь.

Березина. А вы чего ж не едете?

Хоменко *(не ожидал)*. Куда не еду?

Березина. В отпуск, в Москву?

Хоменко *(Березину)*. Ты?

Березин. Нет, не я.

Хоменко *(Чернобривцевой)*. Ты?

Чернобривцева. Нет, Антон Петрович.

Хоменко. Тогда кто? *(Ермаковой.)* Вы?

Ермакова. Не понимаю, о чем речь идет.

Хоменко. Никто не понимает, а все говорят. *(Березиной.)* А кто ж больницу достроит? Кто ее достроит? Кто Дом культуры здесь построит? Кто консервный завод пустит?

Березина. Так вам, значит, можно, а мне нельзя?

Хоменко *(с горечью)*. Да знала бы ты, женщина, что такое для партийного работника на вечный отдых уходить.

Березин. А вы разве уходите?

Хоменко. Ухожу... Ухожу, Григорий Васильевич. До выборов дойду, доработаю, а затем на покой.

Ермакова. Что ж, это правильно. Вам пора.

Хоменко. Что значит пора?

Ермакова. Пора... Пора, Антон Петрович.

Хоменко. Вот мне так же и в крайкоме сказали: «Пора. О тебе заботимся». *(Ермаковой.)* И зачем вы меня с того света вытягивали, Анна Алексеевна?

Ермакова. Как зачем? Странный вопрос... Чтоб больницу достроили...

Хоменко. Больницу? Смеетесь, доктор... А вам не положено над больными смеяться. Нашли тоже формулировочку — клиническая смерть. Да чихал я на смерть, если мне при долгой жизни делать будет нечего. *(Негодуя.)* Вызывают в крайком... К кому? К первому секретарю! А я его уважаю. Он же село наше, нужды его, как таблицу умножения, знает... И что же мне говорит умнейший этот человек? Поезжай, говорит, Антон Петрович, в Москву. Мы тебе все организуем,

все расходы на себя берем. Отдохни, Антон Петрович... А на будущий срок, говорит, молодому придется передать секретарство. У каждого, говорит, свой срок наступает. Жизнь идет дальше, развивается... Молодые кадры больше сил имеют... И знания тоже... *(Ко всем.)* Правда все это?

Березин. Правда.

Хоменко *(Чернобривцевой).* Видишь, какой он безжалостный, твой любимый председатель?!

Чернобривцева. Антон Петрович!

Хоменко. Что Антон Петрович? Правду первый секретарь говорил. Правду! И в то же время как же я уеду, когда еще до этого срока, того срока, который каждый из нас, партийных работников, с великим трепетом ожидает, поработать могу! Что такое для нашего района больница? Там десяткам, сотням людей жизни спасают. Что же нам, Анна Алексеевна, нашей захудалой пользоваться бесконечно?

Ермакова. Вам благодарность огромная будет, когда откроется больница.

Хоменко *(отмахиваясь).* Не в благодарности дело! Люди жить дольше будут. Это чтобы спасти жизнь секретаря райкома, мгновенно специалисты из центра прилетели. Летают, конечно, и к другим, да не ко всем успевают... *(Горячо.)* А когда тут всякие рентгены, лаборатория да кабинеты с новейшей техникой откроются, и моя жизнь продлится. Вот тогда и можно будет вздохнуть облегченно: жизнь прожил — не в баклуши бил. Эх, стопочку бы по этому поводу!

Ермакова. И не думайте на этот счет...

Хоменко. Да шучу я, шучу... Самый серьезный довод в поддержку того, что мне больше в рыбачьем районе не секретарствовать. *(Неожиданно обернувшись к Березиной.)* Езжай в Кисловодск, Женя. Если Анна Алексеевна предлагает, она знает, что тебе положено ехать.

Ермакова *(Березиной).* Так договорились? Путевку я держу.

Березина. Нет, Анна Алексеевна, не договорились. Не могу сейчас. Вот ежели б с Гришей. .

Березин. Какая может быть поездка, когда у меня путина!

Березина *(упрямо).* А у меня своя путина.

Березин. Но тебе же надо! Надо! Надо, понимаешь?

Березина *(Чернобривцевой).* А что б вы, Ольга Семеновна, в этом случае делали?

Чернобривцева *(не ожидала).* Я?

Березина. Вы.

Чернобривцева. Я бы... Я бы... Я бы поехала, если врач так советует...

Березина *(жестко).* Вот вы и езжайте... Вам тоже надо. Вам вашу красоту и привлекательность сохранять надо. *(Подходит к Чернобривцевой.)* Вон вы какая! Сколько работы у вас в районе... И всюду поспеть надо. И школы... И культура... И медицина... И все в пути по району.

Чернобривцева. Это ничего, Евгения Федоровна. Я человек одинокий. Много ли мне нужно?

Березина. Каждому человеку много нужно. А что одинокая, так это напрасно.

Чернобривцева. Так жизнь сложилась.

Березина. Она и по-другому может сложиться.

Чернобривцева. Думаю, Евгения Федоровна, что уже не сложится. Поздно.

Березина. Вам не поздно.

Хоменко. Начался женский диалог. И где они только материал находят, чтоб друг другу красивые слова говорить? *(Чернобривцевой*

и Ермаковой.) Идемте-ка туда, где Дом культуры строить будем. *(Березиной.)* Спасибо за ушицу... Конечно, суховата она была отчасти... Но что поделаешь? *(Пожимает руку Березиной.)*

Березина. Приезжайте, Антон Петрович. *(Чернобривцевой.)* И вы приезжайте еще. *(Ермаковой.)* Спасибо вам за все, Анна Алексеевна. А путевку отдайте кому нужней.

Ермакова *(вздохнув).* Жаль, Евгения Федоровна. День-два можно было и обождать.

Березина. Не ждите. Не поеду я.

Хоменко *(Березину).* Пойдем, Григорий Васильевич.

Березин. Один момент, сигареты возьму. *(Направляется в дом.)*

Хоменко *(Березину).* Ну, мы пойдем пока... А ты мужик ходкий, догонишь. *(Уходит.)*

Березина провожает их к калитке. Из дома, закуривая на ходу, выходит Березин.

Березина. Зайдут еще? Может, чай скипятить?

Березин. Не думаю...

Березина. Жаль, не будет Хоменко у нас.

Березин. Болеет человек... Понимает это.

Березина. Ему положено быть сознательным. Доволен обедом?

Березин. Да, молодец ты... Все хорошо приготовила.

Березина. Для тебя, Гриша.

Березин. Почему для меня? Тебе что, эти люди неприятны?

Березина. Зачем же неприятны? *(Задумалась.)* Люди приятные... Но главное, они тебе нравятся.

Березин. Кто мне нравится, что ты говоришь такое?

Березина. Я говорю про тех людей, кто с тобой бывает.

Березин. И зачем ты стала так Ольгу Семеновну возносить?

Березина. А разве я неправду сказала? Красивая, видная. Была бы я мужиком, не иначе бы влюбилась.

Березин. Вот еще придумала...

Березина. И не придумала, вижу...

Березин. Что ты видишь?

Березина. Нравится она тебе.

Березин. С чего ты взяла?

Березина. Глаза, Гриша, глаза... Слова могут быть одни, а глаза другие. Но я не в укор тебе.

Березин. Не нравятся мне твои разговоры.

Березина. Я не больно здорова, а со мной ты суровый...

Березин. А с ней, что ли, ласковый?

Березина. Вежливый.

Березин. Что же, грубить мне ей?

Березина *(легко).* А я не ругаю тебя, Гриша... Я тоже хочу, чтоб тебе приятно было... Чтоб глаза разгорались.

Березин. Взялась за мои глаза...

Березина. Оттого что люблю их, Гриша, и знаю их.

Березин. Глупости говоришь... Еще заметит кто... Подумает что.

Березина. И пусть думает... Пусть! Пусть думают... Я с тобой хорошую жизнь прожила, Гриша. Не жалею ни об одном дне.

Березин. А чего жалеть-то?

Березина. Пусть знают, что жена Григория Березина готова на все. Даже если полюбишь кого, я и на это готова, только чтоб возле тебя быть.

Березин. Совсем я тебя не понимаю.

Березина. А тебе и не надо понимать. Главное, чтоб я тебя понимала. Ты для меня один, Гриша, и другого не будет. У тебя может еще кто быть, а у меня не будет. Никогда не будет.

Березин. Женя, что ты, в самом деле, и мне и себе душу мытаришь? С тобой же я... Никуда не денусь... Если и уезжаю когда, то по делам.

Березина. Езди, Гриша, куда тебе надо, я тебе не контроль.

Березин. Мне и в самом деле надо... И в край и в район... Сейнера придут новые.

Березина *(почти весело)*. А что ж, сейнера... Опять же нам прибыль, хозяйству нашему.

Березин. Беспокоишься ты о хозяйстве нашем...

Березина. А как же не беспокоиться — твое хозяйство, значит, и мое.

Из дома выходят Анюта и Иван.

Иван. А где отец, Григорий Васильевич?

Березин. На стройку пошли.

Иван. Надо туда машину подать. *(Уходит.)*

Березина *(заметив появившуюся Синицу)*. Ох, Прохоровна... Не ушла еще?

Синица. Куда ж мне уходить, если со стола не прибрано и посуда не перемыта?

Березина. Мы бы с Анютой все и сделали.

Синица. Анюта пусть ручки бережет для кавалеров. Кавалеры не любят целовать ручки, от которых кухней пахнет. *(Берет кастрюлю горячей воды с печки.)* Сама помою. *(Идет в дом.)*

Березина. Я помогу тебе. Иди, Гриша, к гостям... Ждут тебя. *(Направляется в дом.)*

Березин. И в самом деле ждут. *(Открывает калитку.)* Я провожу и вернусь... Ехать-то мне завтра... К вечеру... Понимаешь, опять надо...

Березина. Езжай, Гриша, езжай, если надо. *(Ушла.)*

Березин. Идем, дочь, ко всем.

Анюта. Идем. *(Подходя к отцу.)* Папа, хотела я тебя попросить...

Березин. Давай твои просьбы.

Анюта. У меня их немного, одна всего...

Березин. Давай одну.

Анюта. Не обижай маму...

Березин *(вспыхнув)*. Да ты что? Что ты придумываешь?

Хочет уйти, но к нему подходят появившиеся у калитки Захар Дудко и его жена Клавдия.

Дудко. Григорий Васильевич, еще раз хочу просить.

Березин *(зло)*. Чего дома меня ловишь? Правление есть для этого.

Дудко. Бывал я уже в правлении...

Клавдия. У тебя что, председатель, детей нет?

Березин *(Клавдии)*. Я твоего мужа десять раз предупреждал... *(Дудко.)* Я предупреждал тебя?

Дудко. Было...

Клавдия *(Березину)*. Затребуй дело из суда.

Березин. Я предупреждал, попадешься. И попался!

Дудко. Не повезло один раз.

Березин. А сто раз везло?

Клавдия *(хочет пройти во двор, Березину)*. Жена твоя дома?

Анюта. Вы маму оставьте в покое.

Клавдия. Эх, девочка, где ж покоя найти нам? Это порядок, что отец твой отца троих детей из колхоза выключает?

Березин. Не я, а все правление...

К л а в д и я. Ты там всему голова... Как захотел бы, так и было.

Б е р е з и н. Ты б своего Захара за штаны держала, когда он в море тайно уходил! *(Дудко.)* Что, зарабатывал в колхозе мало?

Д у д к о. Мало.

Б е р е з и н. Теперь больше получишь по суду!

К л а в д и я. Жалости у тебя нет, Березин!

Д у д к о. Ладно, Клавдия. Идем... Ты еще пожалеешь, председатель! Ох как пожалеешь! *(Уходит с Клавдией.)*

Б е р е з и н. Видишь, всех жалеть приходится. Где ее, жалости, наберешься?

А н ю т а. И ничем ты им помочь не можешь?

Б е р е з и н. Поможешь им, когда рыбнадзор за руку ухватил. Полный баркас рыбы. У этой бабы по застенкам денег считай — не сосчитаешь. В сберкассу-то не несут, дома держат. Детей вспомнили?! Раньше надо было о детях думать!

Выходит Б е р е з и н а.

Б е р е з и н а. Ты еще не ушел?

Б е р е з и н. Уйдешь тут! *(Анюте.)* Идем!

А н ю т а. Я с мамой останусь. *(Подходит к матери, обнимает ее.)*

Березин уходит.

Б е р е з и н а *(гладя Анюту).* Доченька ты моя родная...

З а н а в е с.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина 1-я

Дом Чернобривцевой в райцентре. Небольшая столовая. Посреди комнаты стол. На нем электрический самоварчик. За окнами сумерки, постепенно переходящие в темноту. За столом Ч е р н о б р и в ц е в а и Е р м а к о в а. Они уже попили чаю. Сидят, накинув платки на плечи, и вполголоса поют.

Ч е р н о б р и в ц е в а,
Е р м а к о в а.

Ах, эта красная рябина
Среди осенней желтизны...
Я на тебя смотрю, любимый,
Теперь уже со стороны.
Со стороны страданий прежних,
Со стороны ушедших лет,
К которым, словно к зорям вешним,
Уже возврата больше нет.

Летят, как ласточки, листочки
С моей любовью по пути;
И только нет последней строчки
И слова нет еще «прости».
Еще цепляется за память
Счастливых дней весенний гром,
Когда любовь бродила с нами,
Скрывая нас своим крылом.

Весною ласточки вернутся,
Оставив за морем любовь,

И над рябиной пронесутся,
И что-то мне напомнят вновь.
Ах, эта красная рябина
Среди осенней желтизны...
Я на тебя смотрю, любимый,
Из невозвратной стороны.

Последние строчки Чернобривцева поет с каким-то особым смыслом, близким только ей. Ермакова смотрит на нее сочувственно, но как бы со стороны, из-за пределов тех волнений, которые не отпускают сердца Чернобривцевой.

Чернобривцева. Вот так, Аня.

Ермакова. Что ж будем делать?

Чернобривцева. Не знаю, Аня... Не знаю! Умом все понимаю, а сердцем...

Ермакова. Но ведь так тоже нельзя бесконечно.

Чернобривцева. Нельзя, нельзя! Но как подумаю, на секунду представлю, что этого не будет, так все во мне восстает. Зачем? Чем я хуже других?

Ермакова. Не хуже... Может быть, даже лучше... Но у тебя какой-то недозволенный прием. Такое впечатление, что тебе дела нет ни до кого! Я тебя не упрекаю, но удивляюсь. Мне претит эта так называемая полная свобода личных отношений.

Чернобривцева. Не личные отношения, а любовь.

Ермакова. Одно и то же.

Чернобривцева. Не совсем одно и то же. Личные отношения могут быть и без любви, а вот любовь без личных отношений, настоящая любовь, невозможна.

Ермакова. Что ты, как восемнадцатилетняя девочка, все твердишь: любовь, любовь. Сдурела на этой любви! Раньше надо было чувствами пылать. Ты свою бабью жизнь прожила. И хватит. И великолепно можешь обойтись без этого. Я же живу. И ничего. Не умираю. А тут... По-моему, любовь в нашем возрасте делает человека глупее. Вот посмотреть на тебя — сразу заметно.

Чернобривцева. Говори что хочешь, я не обижаюсь. Вот ты говоришь, не восемнадцатилетняя девочка! А в восемнадцать лет так и не полюбишь! Нет, не полюбишь. Ведь я к нему, к единственному, через всю жизнь шла. Ты скажешь: а как же твое замужество? Разве ты не любила мужа? Любила, конечно. Но это было так давно... Как будто это была не я, а совсем другой человек. Муж у меня был хороший. Что называется, рубаха парень. Храбрый, как положено моряку. Но полного понимания у нас не было. Нежности не было. Может быть, не успели. А когда погиб он, плакала, даже убивалась, казалось — все, жизнь кончилась. Пошла учиться. И постепенно стала возвращаться к жизни. Потом работа. И вот тут-то я действительно обрела себя. И полетели годы... Да еще как полетели... Иногда думала: видно, так устроена наша женская доля — у одних любовь, у других работа. Попала в ваш район... Впрочем, теперь уже наш район. Нравится он мне. Солнечный, красивый, люди работящие. И все шло так хорошо, так спокойно до той самой сессии райисполкома, на которой его увидела. Разве я думала тогда? А увидела и поняла — он! Особый какой-то. Умный. Властный! Кстати, познакомила-то меня ты с ним!

Ермакова. А то без меня бы не познакомилась!

Чернобривцева. Наверное бы, так и было. Район не государство, разминуться трудно. И как видишь, не разминулись. Но это был он... И все остальное ушло в сторону. А когда спохватились, уже были пройдены все барьеры. Ему нельзя, и мне нельзя, а барьеры позади...

Вначале о них не думаешь, а когда начинаешь думать, уже все поздно. Все поздно.

Ермакова. Остановиться никогда не поздно. Все зависит от тебя.

Чернобривцева. Это с вашей медицинской точки зрения. Так и началась наша тайная жизнь. А что же... Да ведь и правильно... Нельзя, чтобы в жизни все делалось открыто. Тогда все меркнет, превращается в обыденность... А так эта тайна вроде вечного праздника.

Ермакова. А не черный это праздник?

Чернобривцева. Праздник не может быть черным... Недавно я фильм видела... Не помню, по какой старой книге... О любви фильм и о первых годах строительства. Какие женщины были! В кожаных куртках, красных косынках... С наганами за поясом... И все красивые... И все знали, за что борются, и не знали, как это делать... Новое и новое... Жизнь новая. А какая она новая? Грезилось только предшественницам нашим. Завидую я им! Да, завидую... И в то же время думаю, что если бы могли, они бы и нам позавидовали оттуда, издалека. Какие мы стали? А какими еще станем? Но только, Аня, не по схемам. Самое страшное в жизни, это когда она по схеме строится... Что такое хорошо, что такое плохо... Возьми объективно, что я за человек?

Ермакова. А в самом деле, что ты за человек?

Чернобривцева. Я тоже управляю в некотором роде государством... Не всем, конечно, государством, частицей в районном масштабе... Но частицей государства... Советская власть? И я люблю, всем нутром люблю эту самую власть, потому что именно она и меня и тысячи других женщин сделала людьми, человеками. Сделала человеком и не отняла всех человеческих качеств. И не только не отняла, а прибавила их, обогатила, что ли, меня. Как же мне противно бывает читать или видеть, когда изображают нас постными, праведными, без сучка и задоринки... Неправда это. Или лгут те люди, или не знают... Или то и другое вместе. Нет, Аня, мы люди и ничто человеческое нам не чуждо.

Ермакова. Ты уже и Карла Маркса в свое оправдание притянула.

Чернобривцева. Что ж, Маркс был хороший человек, если он это так правильно понимал.

Ермакова. Ну, он и еще кое-что понимал.

Чернобривцева. Читала. Может, и не все, но читала. Знаю, Аня... Может, и не так хорошо, как это, но знаю. Во всяком случае, до вчерашнего дня все хорошо знала... Как во сне была... А вчера проснулась.

Ермакова. Вот я и думала: снизойдет на тебя что или не снизойдет?

Чернобривцева. А вчера проснулась...

Ермакова. Зачем же ты поехала туда, да еще в дом вошла?

Чернобривцева. Хоменко виноват. Не знаю, из каких соображений он меня потащил...

Ермакова. Может, догадывается?

Чернобривцева. Может, и догадывается... Только что бы ни было, почувствовала я себя безмерно виноватой перед этой женщиной. Оказались мы с ней словно лицом к лицу, по обе стороны барьера стоим. Только она совершенно безоружна, а я... А я словно целюсь в ее сердце... И просто могу ее убить. Понимаешь, убить.

Ермакова. Ну, ну...

Чернобривцева. Для нее же вся жизнь — Григорий. Он, только он, и никого другого. В таких случаях даже детей забывают. А я

все же, расстанусь если с ним, выживу... Выживу? Но одновременно и без него жить не могу. Ведь первый раз в жизни эта самая проклятая любовь по-настоящему пришла ко мне. И в то же время понимаю, все надо рвать, давить в себе безжалостно... Все, все, иначе грех будет, большой человеческий грех, который уже потом никогда не снять с души... Камнем будет лежать и к земле давить. Вот сижу сегодня дома, тебя попросила побыть со мной... Выговориться надо! С кем мне поговорить? Душу открыть? Тетке? Так я ее отпустила на два дня... Отпустила, потому что жду Григория...

Ермакова. Сегодня?

Чернобривцева. Сегодня, Аня, сегодня! Сижу с тобой, говорю, а сама прислушиваюсь, не хрустнет ли ветка за окном... не он ли...

Ермакова. Как же вы так смело?

Чернобривцева. Сказала ему, что уеду, и не уехала... И он знает, что не уеду. А тут еще его дочь Анюта. Как будто все понимает! Все! Словно совесть в глаза смотрит. Что мне делать?

Ермакова. По этим болезням, Оля, я диагнозы не устанавливаю.

Стук в дверь.

Чернобривцева. Он! *(Стремительно поднялась.)*

Ермакова. А что же мне делать?

Чернобривцева *(взволнованно).* Что хочешь! Что хочешь!

Ушла, возвращается с Березиным.

Березин *(не скрывая удивления, Ермаковой).* О-о, Анна Алексеевна? А я тут проезжал... Дай, думаю, заеду... А вдруг дома? *(Чернобривцевой.)* А вы и дома?

Чернобривцева *(улыбаясь).* А я и дома.

Березин. Не уехали, значит?

Чернобривцева. Не уехала, значит. Не уехала... Надобность миновала. Вот сидим с Анной Алексеевной, чаевничаем.

Березин. Да, вижу... Может, и мне найдется чашка чая?

Ермакова. Думаю, что найдется. *(Березину.)* А мне как раз и срок пришел уходить.

Чернобривцева. Да что ж ты... Посиди с нами...

Ермакова. Пора. У меня завтра дел много. До свиданья, Григорий Васильевич.

Березин. Жаль, конечно, но до свиданья.

Чернобривцева и Ермакова уходят. Березин закуривает, стоит у стены возле окна. Возвращается Чернобривцева. Березин нервно оглядывается.

Чернобривцева. Что с тобой?

Березин. Закрыла бы ставни, Оленька.

Чернобривцева *(закрывая ставни).* А что случилось?

Березин. Возле дома твоего встретил рыбака нашего, Дудко.

Чернобривцева. Ну и что?

Березин. Почему-то оказался возле твоих ворот. Счеты со мной свести грозился.

Чернобривцева. За что?

Березин. Браконьер... Судить должны...

Чернобривцева. Вот и мы с тобой браконьеры, Гриша.

Березин. Ты уж скажешь!

Чернобривцева. А разве нет? Ставни закрываем, людей боимся. Тоже вроде как воруем...

Березин. Что ты сравниваешь! Несчастные мы люди, вот и все.

Чернобривцева. А говорил, что счастлив со мной.

Березин. Счастлив и несчастлив.

Чернобривцева. Это как же?

Березин. Счастлив потому, что люблю тебя, и несчастлив потому, что не могу открыто быть с тобой.

Чернобривцева. Какое ж тут счастье, если не можешь быть со мной?

Березин. И все равно счастлив! И надеюсь, что буду с тобой, чего бы мне это ни стоило!

Чернобривцева. Боюсь, слишком дорогой ценой купится это счастье.

Березин. Все равно будем вместе!

Чернобривцева. Нет, Гриша, не будем, не будем вместе!

Березин. Это как же не будем?

Чернобривцева. Давай вместе скажем друг другу: да, люблю, очень люблю, но счастье не может быть ворованным.

Березин. Так я и знал, что после вчерашнего дня ты скажешь такое. Зачем ты приезжала?

Чернобривцева. Я и раньше бывала в поселке...

Березин. В поселке, но не дома.

Чернобривцева. Но это тоже, сам посуди, подозрительно. Что это за районный работник: приезжает, а у председателя не бывает. Как ты думаешь?

Березин. Так как ты думаешь, все станет подозрительным?

Чернобривцева. Уже стало...

Березин. Это Хоменко тебя притащил!

Чернобривцева. Хоменко, но что от этого меняется?

Березин. Догадывается, наверно, старый черт!

Чернобривцева. Я отговаривалась, а он настоял... «Твоя работа, Чернобривцева, тебе за Дом культуры отвечать».

Березин. Всюду сует свой нос!

Чернобривцева. Наверно, решил жену твою показать поближе, чтоб увидела я все, поняла и ужаснулась тому, что мы с тобой совершаем.

Березин. А что мы с тобой совершали?

Чернобривцева. Нет таких статей в уголовном кодексе, а в сознании, в совести есть.

Березин. Да что ты совесть трогаешь?

Чернобривцева. А что мне еще осталось трогать? Больше нечего. Нечего, Гриша, больше трогать.

Березин. Я и сам извелся весь!

Чернобривцева. Вот видишь.

Березин. Ничего я не вижу. Ничего! Одно вижу — что не могу без тебя. Не могу!

Чернобривцева. А надо... Надо, Гриша!

Березин. Старый черт! Сам на ладан дышит, а живым жизни не дает!

Чернобривцева. Да что тебе дался Хоменко? Он хороший, добрый человек.

Березин. От его доброты у других сердце останавливается.

Чернобривцева. Может, когда-нибудь благодарить его будем, что остерег нас от страшного дела.

Березин. Да, конечно, я лично на бумажке с розовой каемочкой благодарность ему отпишу.

Чернобривцева. А может, так выйдет, что напишешь.

Березин. Все ему утешение будет вперемежку с пенсией.

Чернобривцева. Куда-то мы с тобой от главного уходим все в сторону.

Березин. Никуда мы не уходим и никуда не уйдем!

Чернобривцева. Уйдем, Гриша. Уйдем! Я все решила для себя.

Березин. Одна за двоих решаешь?

Чернобривцева. Надо нам расстаться с тобой.

Березин. А я не хочу!

Чернобривцева. Я тоже не хочу... Но иначе мы с тобой Женю убить можем.

Березин. Зачем ты говоришь такое?

Чернобривцева. Чтобы представил ты себе, что ждет нас с тобой.

Березин. Давай уедем куда-нибудь.

Чернобривцева. Куда?

Березин. Мало места на земле...

Чернобривцева. От себя никуда не уедешь. Если что случится, все за тобой по пятам ходить будет.

Березин *(подходя к Чернобривцевой)*. Оленька...

Чернобривцева *(отступая)*. Не надо... Не надо, Гриша.

Березин. Надо! Надо! И тебе и мне надо! *(Обнимает Чернобривцеву.)*

Чернобривцева. Но я же не хочу этого! Не хочу!

Березин. Неправда!.. Неправда!

Стук в окно. Чернобривцева отпрянула от Березина. Стук повторился.

Чернобривцева. Кто это?

Березин. Какая разница.

Чернобривцева. Погоди. Я выйду.

Березин. Постой... Не выходи.

Чернобривцева. Нет, Гриша... Мало что может быть.

Накинув шаль, быстро уходит. Березин стоит, напряженно смотря на дверь. Чернобривцева возвращается.

Чернобривцева. Никого нет.

Березин. Тебе показалось...

Чернобривцева. А тебе?

Березин. Может, ветка обломилась, в окно ударила.

Чернобривцева *(вздохнув)*. Кто-то стучал... Стучал кто-то.

Березин. Оля, Оленька... *(Обнимает Чернобривцеву, целует.)* Нет никого в мире, кроме нас. Никого!

Чернобривцева. Ой, Гриша... Гриша! Да что же это такое?!

Занавес.

Картина 2-я

Кабинет Хоменко в райкоме партии. Современная мебель. Сельские экспонаты. Диаграммы, большей частью рисованные, с виноградными лозами, винными бочками, рыбами. Входит Хоменко. В руках у него газеты. Он бросает их на стол. Подходит к окну, открывает его, но, подумав и как бы впервые посмотрев на небо, закрывает и только тогда садится в кресло. Едва Хоменко развернул «Правду», раздается телефонный звонок. Не отрывая глаз от газеты, Хоменко снимает трубку.

Хоменко. Слушаю. А кому ж здесь еще быть? Слушаю, Николай Иванович. Ты откуда? Отсюда? Понимаю, раз отсюда, то вернулся. То есть как ничего не добился? А зачем же ты ездил! Что значит не смог? Ну, давай приходи. Прямо сейчас и приходи! *(Повесил трубку, подумал и снова снял трубку.)* Маша? Ну, как спала? Рано встала? Все рано встают. Ну-ка, соедини меня с Ермаковой.

В дверь заглядывает Дудко.

Д у д к о. Можно?

Х о м е н к о. Обождите.

Дудко закрывает дверь.

Анна Алексеевна? Хоменко говорит. Вы уже на месте?.. А где ж мне еще быть? Кошкин вернулся с пустыми руками. Сейчас придет объясняться. Загляните вместе с ним... А что делать?

Повесил трубку, вздохнул, снова снял трубку. В кабинет заглядывает Д у д к о.

Д у д к о. Можно, товарищ секретарь?

Х о м е н к о *(в трубку)*. Погоди, Маша. *(Дудко.)* Я ж сказал, обождите.

Дудко закрывает дверь.

Валя вчера свадьбу сыграла, три дня гуляет, под дверью никого нет. Вот я и за технического секретаря. Соедини меня, Маша, с Чернобривцевой... Ольга Семеновна? Что это голос хриплый? Простудилась? Да, конечно, время осеннее. Кошкин вернулся из области... Вот именно — безрезультатно. Ермакова и Кошкин будут у меня. Зайди... У тебя люди? Заканчивай с ними и приходи. Да, голосок у тебя сегодня... Прополоскала бы чем-нибудь. *(Повесил трубку.)* Войдите. *(Но никто не входит. Уже громче.)* Заходите! *(Дверь не открывается. Поднимается, идет к двери, открывает ее, через порог говорит.)* Что сидите? Не слышите, что зову?

В дверях появляется Д у д к о.

Д у д к о. Вы сказали — обождите, вот я и сижу.

Х о м е н к о *(возвращаясь к столу)*. Что у вас?

Д у д к о *(стоя возле стола)*. Жалоба.

Х о м е н к о. На кого?

Д у д к о. На председателя колхоза.

Х о м е н к о. На какого председателя?

Д у д к о. На Березина... Садиться у вас разрешается?

Х о м е н к о *(не сразу)*. Садитесь.

Д у д к о. Меня под суд отдают, а он не заступается.

Х о м е н к о. За что под суд отдают?

Д у д к о. За рыбу...

Х о м е н к о. Это как же за рыбу? Человека — и вдруг за рыбу под суд отдают?

Д у д к о. Что вы, не понимаете?

Х о м е н к о. Браконьерил?

Д у д к о. Рыбохрана накрыла...

Х о м е н к о. А что ж ты ко мне с жалобой пришел? Тебе к адвокату надо идти, а не в райком.

Д у д к о. Трое детей у меня, жена...

Х о м е н к о. Дети, что ли, посылали тебя рыбу воровать?

Д у д к о. Нужда...

Х о м е н к о. Нужда? Отыскал словечко... Да вы побогаче тут всех хлеборобов да виноградарей.

Д у д к о. Из колхоза он выключил меня...

Х о м е н к о. Так сам взял и выключил?

Д у д к о. Не сам, сообща...

Х о м е н к о. А что ж тебе, орден за воровство давать?

Д у д к о. Не орден, а снисхождение можно было б сделать... Что я, один этим занимаюсь?

Х о м е н к о. Не один, значит? А кто еще?

Д у д к о. А вы что, следователь?

Хоменко. Я не следователь... Так что ты, дружок, не в ту дверь попал. А к следователю тебя и так вызовут...

Дудко. Вызовут и хрен с ними... Только я председателю не прощу... Он у меня сам на крючке сидит...

Хоменко. Какой еще крючок?

Дудко. Обыкновенный... По бабам ваш Березин шалается... Подумаешь, рыба... Тут люди гибнут...

Хоменко. Какие еще люди гибнут?

Дудко. В тюрьму пойду, а ему отомщу... Жене его глаза открою, что он у вашей Чернобривцевой ночует.

Хоменко. Ты брось клевету разводить!

Дудко. Не клевета — видел вчера...

Хоменко. Что ты видел?

Дудко. Как в темноте прошествовал председатель к ней... Обождал я, думаю, выйдет, подойду еще раз... Обращусь... Не вышел... Вышла врачиха...

Хоменко. Какая еще врачиха? Что ты путаешь!

Дудко. Ну, эта... Райздрав... Ермакова, что ли... Она вышла... А он не вышел... Я в ставенку постучал, думаю, выйдет все же. Вышла... Чернобривцева... Что ж, я к ней обращаться буду? Не вышел я из кустов... Обождал... Нет председателя... Как свет погасили, я и ушел... Чего я, под окнами его бабы милостей ожидать буду?

Хоменко *(поднялся из-за стола. После паузы.)* Ишь-ты, чего замыслил...

Дудко. А чего ж я один страдать буду? Пусть и он пострадает, хоть по этой, по семейной, по личной, линии...

Хоменко *(вздохнув).* Сколько детей у тебя?

Дудко. Трое...

Хоменко. Сколько ж тебе грозит?

Дудко. От года до двух. Главное, из колхоза выключил...

Хоменко. Ладно, иди... фамилию-то я твою не спросил...

Дудко. Дудко, Захар Ефимович. Воздействуйте на председателя.

Хоменко. А ты сам еще обратись к нему.

Дудко. Обращался уже, хватит!

Хоменко. А ты еще раз обратись. Завтра.

Дудко. А чего завтра?

Хоменко. Сегодня ж его дома нет. *(Раздраженно.)* Нет его дома!

Дудко *(направляясь к двери).* Ежели не воздействуете, в тюрьму пойду, а ему отомщу! *(Ушел.)*

Хоменко поднялся, прошелся по комнате, посмотрел в окно, вернулся к столу, снял телефонную трубку.

Хоменко. Машенька, а ну-ка вызови мне Березина. *(Слушает, невнимательно просматривая газету.)* Нет! В райцентре... Ясно. *(Положил трубку. Стук в дверь.)* Войдите.

Входят Ермакова и Кошкин.

Ермакова. Здравствуйте, Антон Петрович.

Хоменко *(приглядываясь к Ермаковой).* Здравствуйте, Анна Алексеевна... Здравствуйте...

Ермакова. Что вы на меня так смотрите?

Хоменко. А отчего бы мне и не посмотреть на вас, Анна Алексеевна... Не на Кошкина же мне смотреть.

Кошкин. Антон Петрович, требуется ваш звонок.

Хоменко. Куда?

К о ш к и н. В крайком. На комбинат еще какие-то срочные заказы пришли.

Х о м е н к о. Что может быть более срочным, чем заказы для новой больницы!

К о ш к и н. Я говорил им.

Х о м е н к о. Трудящиеся района ждут открытия больницы к празднику.

К о ш к и н. И это сообщал.

Х о м е н к о. Строители обязательства приняли.

К о ш к и н. И это излагал.

Х о м е н к о. Излагал?

К о ш к и н. Очень даже подробно. Говорят, раньше половины ноября заказ не выполнят.

Х о м е н к о. Это как же: мы с тобой, Кошкин, строили больницу, а ленточку разрезать другие будут?

К о ш к и н. В крайком надо вам звонить или ехать самолично.

Х о м е н к о. Какой же ты прораб, если не смог вырвать наш кровный, наш общественно необходимый заказ!

К о ш к и н. Я ж не рвач... Как мне вырвать?

Х о м е н к о. А я, Кошкин, за тех рвачей, которые могут вырывать... Полюбуйтесь на него, Анна Алексеевна. Ездил, командировочные проедал, и что?

К о ш к и н. Звоните... С вами посчитаются.

Х о м е н к о. Что ты ко мне со звонком прицепился, у меня и так в голове с утра звон стоит.

Е р м а к о в а. Случилось что?

Х о м е н к о. Случилось...

Е р м а к о в а. А что именно?

Х о м е н к о *(укоризненно Кошкину).* Ах, прораб, прораб...

К о ш к и н. Вы же сами говорили, что главный прораб по больнице вы сами...

Х о м е н к о. Мало что я говорил... Зарплату ты за прорабство получаешь. Аккуратно получаешь?

К о ш к и н. В соответствующие дни.

Х о м е н к о. Ладно, Кошкин, позвоню я в соответствующий день, выполню твою работу.

К о ш к и н. Я могу идти?

Х о м е н к о. Можешь... Чтоб все остальное в ажуре было. Завтра с утра на строительстве буду.

Кошкин ушел.

Е р м а к о в а. Что случилось, Антон Петрович?

Х о м е н к о *(расстроен).* Выходит, придется звонить... Надо звонить... А позвонишь — начнут здоровьем интересоваться.

Е р м а к о в а. Вот и я о здоровье.

Х о м е н к о. Это ж к середине ноября — раньше Нового года не откроем.

Е р м а к о в а. Не откроем.

Х о м е н к о. Значит, мы строили, а ленточку будут другие разрезать?

Ермакова молчит.

Не думайте, Анна Алексеевна, что во мне честолюбие играет... Отыграло уже... Но я в эту больницу всю душу вложил.

Е р м а к о в а. А куда вы ее не вкладывали!

Хоменко. Навкладывался... Вот и хочется последний аккорд завершить. Именно, последний аккорд! *(Неожиданно.)* Вы вчера не были у Чернобривцевой в гостях?

Ермакова *(неуверенно).* Была...

Хоменко. Извините, Анна Алексеевна, нужно мне один момент выяснить... Не заходил при вас к ней... Березин?

Ермакова. Я... я не видела его.

Хоменко. Ясно. У них что, роман?

Ермакова. Откуда же я могу знать?!

Хоменко. Знаю, Анна Алексеевна... Я все знаю... Если бы не знал, мне б жилось легче. Ведь не их жаль... Не их... Жену его жаль... Узнать ведь может. Как перенесет? А сегодня вы не видели Березина?

Ермакова. Нет... Он у меня не был...

Хоменко. А чего ему у вас быть? *(С легкой завистью.)* Он же здоров как бык. Ладно, Анна Алексеевна... Не видели так не видели. Смотрите там за Кошкиным, прорабы — люди обманные. *(Подает руку Ермаковой.)* Счастливо, Анна Алексеевна.

Ермакова *(не уходя).* Может, я чем могу помочь?

Хоменко. А чем вы можете помочь, если не видели вчера Березина?

Ермакова, смущенная, выходит.

А может, и в самом деле не видела? Кто их разберет, этих женщин? *(Снимает телефонную трубку, потом, передумав, вешает ее на рычаг.)*

Входит Чернобривцева.

Чернобривцева. Ушел Кошкин?

Хоменко. И Ермакова твоя ушла. С ними вопрос ясен.

Чернобривцева. А с кем не ясен?

Хоменко. С тобой, Ольга Семеновна... С тобой!

Чернобривцева. Не понимаю.

Хоменко. И я не понимаю.

Чернобривцева. Но я бы хотела знать, зачем вы меня вызвали.

Хоменко. Вызывал я тебя по делу, а спрашивать буду по другому вопросу.

Чернобривцева. Я готова отвечать.

Хоменко. Готова ли?

Чернобривцева. Если, конечно, это не загадки.

Хоменко. Какие уж тут загадки. Кроссворды и ребусы сплошные. *(Прокашливаясь.)* И говорить-то по этому вопросу трудно... И даже неудобно...

Чернобривцева. Вам неудобно, а мне тем более, если я не знаю, о чем вы говорить собираетесь.

Хоменко. Как у тебя личная жизнь идет?

Чернобривцева. Какая личная жизнь у одинокой женщины?

Хоменко. Одинокой... А уж так ли ты одинока?

Чернобривцева *(неуверенно).* Вообще-то, конечно, не одинока... Работы хватает...

Хоменко. Слушай, Ольга, не могу я с тобой в прятки играть. Не так я к тебе отношусь. И ты со мной не играй в эти самые прятки. Я, можно сказать, горжусь, что в нашем районе ты в большую деятельницу выходишь. *(Смотрит на Чернобривцеву.)* Что ж ты молчишь?

Чернобривцева. Ожидаю, когда к вопросу перейдете.

Хоменко. К вопросу... Это не вопрос, это целое происшествие, Ольга... Доходили до меня слухи, что у вас что-то там с Березиным... *(Замолчал.)*

Чернобривцева *(напряженно)*. Ну?

Хоменко. Не верил... Думал, брешут, замарать хорошую женщину хотят.

Чернобривцева. Меня замарать трудно.

Хоменко. Выходит, что уж и не так трудно. Скажи откровенно, Ольга, что у вас происходит? Знать-то я должен... Может, посоветовать что придется. Не чужие вы оба для меня люди.

Чернобривцева. Не хочется мне вам правду говорить...

Хоменко. А придется.

Чернобривцева. Только чтобы вы поняли.

Хоменко. Да уж буду стараться.

Чернобривцева. Все очень просто — люблю я Березина.

Хоменко. И все?

Чернобривцева. И все!

Хоменко. И что ж будем теперь делать?

Чернобривцева. А так и дальше будем жить.

Хоменко. Это только в театре да в кино так просто бывает... Да еще в некоторых современных романах. А в жизни эти романы героям так боком выходят, что потом полжизни человеку исправлять надо, чтоб одна половина жизни с другой сошлась. Что ты, другого мужика найти не могла?

Чернобривцева. Не нашла.

Хоменко. Вышла бы замуж за кого-нибудь.

Чернобривцева. За кого-нибудь замуж не выходят.

Хоменко. Парней так много холостых.

Чернобривцева *(горько)*. А я люблю женатого. Антон Петрович, я очень уважаю вас. Вы человек...

Хоменко. Заметила?

Чернобривцева. Не так просто найти человека, который был бы тебе во всем близок.

Хоменко. Да что ты в этом Березине нашла?! Грубый мужик. С людьми не умеет обходиться.

Чернобривцева. Умеет... *(Со вздохом.)* Умеет, Антон Петрович. Так уж прямо говоря, я виновата... Все это время кляну себя... А как побывала у Березина в доме, совсем покой потеряла.

Хоменко. Задело, значит, тебя?

Чернобривцева. Я же не слепая... Но как быть?! Ведь не любит он ее, а меня любит. Значит, вот так отказаться от него и уйти в сторону?

Хоменко. А сейчас ты разве не в стороне? Сейчас-то ты разве счастлива? В подполье? Дубьем не бьют сейчас, не то время, а все же с людьми считаться надо. Выйдет все наружу, что с тобой будет? Ни мужа, ни работы.

Чернобривцева. Что-то одно останется.

Хоменко. А ты что предпочитаешь?

Чернобривцева. Вы мне вопрос задаете?

Хоменко. Не вопрос... Размышляю вместе с тобой, как тебе помочь.

Чернобривцева. Не надо мне помогать, я сама справлюсь.

Хоменко. После одного моего разговора? Откажешься?

Чернобривцева. У меня еще до вас разговоры были.

Хоменко. Кто ж меня опередил?

Чернобривцева. Сама с собой разговаривала.

Хоменко. И что же?

Чернобривцева. Как подумаю, что оставить его надо,— жить не хочется.

Хоменко. Хочется не хочется, а жить надо. В обществе существуешь, много глаз на тебя смотрит.

Чернобривцева. Не могу я вам ничего сегодня сказать.

Хоменко. Подумай, Ольга... Люди у нас суровые... И сама полетишь, и его за собой потянешь.

Чернобривцева. Он ко всему готов.

Хоменко. Храбрец какой!

Чернобривцева. Не храбрец, а любит он меня... Если б не чувствовала любовь его, разве б могла я пойти на такое, сами подумайте!

Хоменко. Разговаривать с тобой трудно и неудобно, а не разговаривать не могу. И понимаю, что сплеча этот узел не разрубишь.

Чернобривцева. Все-таки нам везет.

Хоменко. Чем же вам везет?

Чернобривцева. Секретарь райкома у нас человек.

Хоменко. Человек... Этот человек свое сердце об таких, как вы, так измочалил, что процесс, как говорят доктора, уже необратимый. Иди думай, Ольга. И решай! Понимаю я тебя, пожалуй, а реально помочь не умею, так как на другой стороне вижу еще одну женщину... Больную...

Чернобривцева молча выходит из кабинета. Хоменко неподвижно сидит за столом, словно все еще разговаривает с Чернобривцевой. Посмотрел в сторону телефона, потянулся к трубке, снял ее. Говорит в трубку.

Передумал, Маша, думал крайком вызывать... Потом... Дела захлестывают. *(Повесил трубку, поднялся, подошел к окну, раскрыл его, смотрит на небо.)*

В кабинет входит Березин.

Березин. К дождю дело идет, Антон Петрович.

Хоменко *(вздрогнув)*. Будь ты неладен с твоим дождем!

Березин. Так нужен же дождь.

Хоменко. Дождь-то нужен...

Березин. Я, что ли, не нужен?.. А я Ермакову на улице встретил, сказала она, что интересовались вы мной...

Хоменко. Значит, встретились все же?

Березин. С кем?

Хоменко. С Ермаковой?

Березин. На улице...

Хоменко. А вчера у Ольги не встречались?

Березин *(легко)*. Встречались.

Хоменко. Значит, вместе у нее в гостях были?

Березин. Вместе.

Хоменко. Ясно.

Березин. Что ясно?

Хоменко. Типичная дамская круговая порука.

Березин. Ага...

Хоменко. Что «ага»?

Березин. Выяснил вопрос... Наряды на два сейнера получил.

Хоменко. Еще на что у тебя наряды есть?

Березин. Три трактора дают.

Хоменко. Здорово.

Березин. Так вы ж помогали.

Хоменко. Неужели я?

Березин. А вы что, забыли?

Хоменко. И зачем я тебе помогаю? Зачем я тебя поддерживаю? Зачем из-за тебя с начальством отношения порчу, чтобы колхозу твоему побольше техники выбить?

Березин. Так это же и в ваших интересах, Антон Петрович. Районные показатели значительно выше становятся.

Хоменко. Показатели-то становятся выше, а вот ты не очень возвышаешься.

Березин. С левой ноги сегодня встали, Антон Петрович?

Хоменко. Угадал, с левой... За тобой следую.

Березин. Это как же?

Хоменко. Хочу у тебя поучиться, как это «налево» работать.

Березин. Вы что, Ольгу Семеновну в виду имеете?

Хоменко. И на том спасибо, что не запираешься.

Березин. А чего ж мне запираться, когда вы и так все знаете?

Хоменко. Узнал вот сегодня.

Березин. Ну уж не сегодня!

Хоменко. Сегодня, сегодня, сокол ясный.

Березин. Что ж вы, случайно Ольгу ко мне в дом привезли?

Хоменко. Ах вот ты на что намекаешь!

Березин. Я намеки не люблю, я прямо говорю.

Хоменко. Если б ты так же прямо жил.

Березин. И живу прямо.

Хоменко. Не очень прямо, как выяснилось. Ты что, совсем уже Женю не любишь?

Березин. Это почему же не люблю?

Хоменко. И там любишь и там любишь?

Березин *(уже смущенно)*. Что значит — там и там?

Хоменко. А вот то и значит — там и там!

Березин. А вы что, всегда такой святой были или только в конце жизни?

Хоменко. За «конец жизни» тебе особое спасибо... Поблагодарил ты меня за все добро, что я тебе сделал.

Березин. Извините, неправильно выразился.

Хоменко. Выразился ты правильно, сказал, что думал... А насчет «святого» тоже отвечу... Не святой... Но до драм и трагедий дело не доходило... Ничьим жизням ничто не угрожало... Устраивался как-то.

Березин. А я не устраиваюсь...

Хоменко. Ты еще в фаэтон сядь и по району поезди с ней, чтоб видели все, какой ты храбрый.

Березин *(серьезно)*. Чего вы хотите, Антон Петрович?

Хоменко. Я хочу, чтобы ты понял, в какую опасную трясину тебя затягивает.

Березин. Я без Ольги жить не могу!

Хоменко. Ты двумя жизнями, кроме своей, играешь. Двумя! Ты знаешь, кто у меня был сегодня?

Березин. Кто?

Хоменко. Дудко.

Березин. Кто?!

Хоменко. Дудко, рыбак твой.

Березин. Был мой, да весь вышел.

Хоменко. Видел он тебя, как ты в дом к Ольге шел.

Березин. Ну и что?

Хоменко. Поговорить с тобой хотел...

Березин. Я с ним наговорился.

Хоменко. Ждал он тебя, когда от Ольги обратно выйдешь, даже в ставню стучал...

Березин. Сволочь!

Хоменко. А потом, когда свет погасили, ушел...

Березин. Ну и черт с ним!

Хоменко. А утром ни свет ни заря ко мне явился и сообщил то, чего я раньше не знал... Не знал раньше.

Березин. И вы ему поверили?

Хоменко. Я тебе поверил...

Березин. А что ж мне скрывать, когда вы и так все знаете.

Хоменко. Упрямый же ты человек, Березин... Но есть еще упрямей тебя. «В тюрьму сяду, говорил мне Дудко, а жене председателя сообщу, с кем он ночки проводит».

Березин. А ему какое дело?

Хоменко. Никакого. Он тебя просил снисхождение ему сделать...

Березин. Этому ворюге снисхождение?!

Хоменко. А раз ты его просьбу не выполнил, то он в отместку тебе, перед тем как в тюрьму отправиться, нож с ядом между ребер сунет.

Березин. Плевал я на этот нож!

Хоменко. Он говорил, детей у него трое...

Березин. Трое.

Хоменко. Много детей...

Березин. Может, вы за него заступиться решили?

Хоменко. А если ему условно дадут, где он это условно отрабатывать будет?

Березин. Где захочет, там и будет.

Хоменко. А если ему условно дадут, он бы и в колхозе мог остаться, с предупреждением, конечно, с последним... Как думаешь?

Березин. Он останется, а другие, глядя на него, под покровом ночи в его последователи перейдут? Так, что ли? Или у вас других дел в районе нет, что вы о браконьерах стали заботиться?

Хоменко *(вспылив).* Дел у меня в районе хватает, Березин... Я и больницу строю, но совсем не для того, чтобы по твоей дурости туда попадали такие прекрасные женщины, как Евгения Федоровна.

Березин. Не бойтесь, не попадет она туда!

Хоменко. Боюсь... Очень боюсь.

Березин. Да чтоб я этому браконьеру райскую жизнь устроил?! Не будет того! Не будет!

Хоменко. Смотри, Березин, плохо все кончится!

Березин. Женя никогда не поверит во все эти разговоры! От нее все как от стенки отскакивает! Не беспокойтесь, Антон Петрович!

Хоменко. Стенки тоже падают от ударов. Жизнь твоей жены меня беспокоит больше, чем твоя, Березин.

Березин. Я знаю, что говорю!

Хоменко. И я знаю!

Березин. И это все?

Хоменко. Пока все.

Березин. Можно идти?

Хоменко. Иди! *(Березин подает руку Хоменко, но тот отводит ее.)* Иди-и!

Березин резко выходит из кабинета.

(Снимает трубку.) Маша, соедини меня с прокурором! Да, да, с прокурором.

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Картина 1-я

Двор дома Березиных. Низко плывущие облака. Свист ветра. Летящие с деревьев желтые листья. Тревожный, то затихающий, то снова возникающий далекий гул. На крыльце стоит Березина. Возле нее Синица.

Синица. Болит?

Березина. Ничего...

Синица. Все говорят — ничего... А посмотришь, еще как чего! Человек всю жизнь чего-то ищет, а помрет — все на земле остается.

Березина. Ни у кого покоя нет.

Синица. А где его взять? У соседей не займешь, у них самих нету. И что ты все терзаешься, Федоровна?

Березина. Чувствую, буря идет, и Григория нет.

Синица. А ты не вяжи его, Федоровна, не вяжи. На него веревок не найдешь... Он только-только себя как личность обретать стал.

Березина. Куда ему еще больше себя обретать?

Синица. Тесно ему на море — ему окиян подавай.

Из дома слышен телефонный звонок.

Березина. Все утро ищут его, а где он? *(Уходит в дом.)*

У ограды появился Дудко.

Дудко. Хозяйка дома?

Синица *(настороженно).* Нету никого, одна я на хозяйстве.

Дудко. Доверили, значит?

Синица. Дом не рыба, в сетке не уворуешь.

Дудко. Помалкивала бы сама.

Синица. Не пришел час... Когда придет, замолкну и глаза закрою, чтоб твою физию разбойную не видеть.

Дудко. Вошла в доверие к председателю?

Синица. Это председатель вошел в мое доверие.

Дудко. Ладно, зайду еще...

Синица. А ты что в его дом ходишь? Он что тебя, в гости звал?

Дудко *(с угрозой).* Позовет еще! Сам позовет! *(Ушел.)*

Синица. Вот так сейчас же место тебе в красном углу освободит и чарку самолично поднесет.

Из дома выходит Березина.

Березина. Как надел с утра рыбачью робу, так и нет его... Антон Петрович звонил, буря идет. Голос я чей-то слышала здесь!

Синица *(махнула рукой).* Шалопутный этот к председателю рвался.

Березина. Кто?

Синица. Захар Дудко... Грозился.

Березина. В злости он сейчас большой на Гришу.

Синица. Нечисто работает, вот и попался. Сунул бы что рыбохране — и потопили бы это дело.

Березина. Взятки караются...

Синица. Взятки караются, а люди жить хотят. На взятку одна управа есть... Другая взятка.

Березина. Я просила Гришу, чтоб сделал что для Захара.

Синица. Ты ему добро сделаешь, а он тебя в корыте утопить готов. Я по его каторжной физиономии вижу... Как родился с преступной линией в голове, так и помрет с ней.

Березина. Все люди рождаются одинаковыми.

С и н и ц а. Все — да, а Захар Дудко — нет.

Б е р е з и н а *(тяжело вздыхает)*. Так сердце жмет...

Телефонный звонок.

Опять звонят. *(Ушла.)*

Во двор входит Ч а к а н.

Ч а к а н. Сидишь, Прохоровна?

С и н и ц а. Сидю.

Ч а к а н. Ну и сиди. *(Усаживаясь.)* Пододвинься.

С и н и ц а. Что тебе, места мало?

Ч а к а н. Мне всего мало.

С и н и ц а *(принюхиваясь)*. Оно и видно, что недобрал.

Ч а к а н. Простуды боюсь... Как ветер задует, меня такая тоска хватает... Все кажется — дунет и в море сдует.

С и н и ц а. И сдует... Ты мужчина легкий.

Ч а к а н. А у меня средство имеется — виляющая походка: иду — качаюсь, между ветрами лавирую. Он меня так, а я в сторону, он меня эдак, а я в другую. И выигрываю. А главное, в это самое время головой в подушку уткнуться и другой подушкой голову укрыть, чтобы бури не было слышно.

С и н и ц а. От всех бурь подушкой не укроешься.

Ч а к а н. Что да, то да. *(Поднимается.)* Отдыхнул и дальше пошел. *(Направляется к калитке.)*

С и н и ц а *(тревожно)*. Ты спать-то бы не ложился.

Ч а к а н. А что?

С и н и ц а. Буря... Все наличные силы должны наготове быть.

Ч а к а н. А я и во сне наготове, как услышу команду — сразу на две ноги вскакиваю. *(Ушел.)*

На крыльцо выходит Б е р е з и н а.

Б е р е з и н а. Хоменко сюда едет...

Слышен шум машины, хлопает дверца, во двор быстро входит Б е р е з и н. Он в рыбачьих сапогах, в брезентовой робе.

Б е р е з и н. Женя, буря идет.

Б е р е з и н а. Антон Петрович звонил, к нам едет.

Б е р е з и н. Что ему делать здесь?

Б е р е з и н а. О нас беспокоится... Ой! *(Схватилась за сердце.)*

Б е р е з и н. Что ты, Женя?

Б е р е з и н а. Ничего, Гриша.

Б е р е з и н. Легла бы... Перележи шторм. Мне на берег надо, к людям.

Б е р е з и н а. И я с тобой.

Б е р е з и н. Ты что?! *(Синице.)* Посмотрите, Прохоровна, за ней.

Из-за забора выглядывает и прячется Дудко.

Иди, Женя, иди полежи. Дай я тебя провожу. *(Подходит к жене.)*

Б е р е з и н а. Ты не беспокойся, Гриша. Анюта скоро вернется.

Б е р е з и н *(бережно поддерживая жену, ведет ее в дом)*. Идем, идем... Отдохни...

Б е р е з и н а. Как же я могу отдыхать в это время?

Б е р е з и н *(Синице)*. Помогите, Прохоровна.

Б е р е з и н а. Не надо мне помощи. Вот посижу здесь на крыльце, и хорошо.

Б е р е з и н. Ну, сиди... Сиди, Женя... Я буду на берегу.

Быстро уходит. Слышен звук рванувшегося с места «газика».

Синица. Ты б и вправду в постельку легла. Что тебе здесь бурю слушать?

Березина *(легко вздохнув).* Вот и отошло. И уже дышать можно.

Синица. Ну и дыши... Дыши полной грудью.

У калитки появляется Дудко Смотрит на Березину, словно решая, входить или не входить. Синица, увидев его, поднялась. Дудко медленно входит во двор.

Синица *(словно чувствуя, с чем пришел Дудко).* Ты потом зайди, Захар... Потом... Вишь, что в природе делается?

Дудко. Вижу. *(Остановился.)*

Синица. Тебе бы сейчас самое время возле своей семьи находиться, а ты сюда, как коршун, пробираешься.

Березина *(слабым голосом).* Уехал Григорий Васильевич на берег...

Дудко. А я не к нему, председательша... Я к тебе.

Березина. Чем тебе я могу помочь? Чем?

Дудко. Я к тебе не за помощью пришел... Хочу глаза тебе открыть. *(Подходит ближе.)*

Березина. Какие глаза? *(Отступает к дверям.)*

Синица *(Дудко).* Ты свои бесстыжие глаза отверни! Ты что вызверился здесь?

Дудко. Уйди, старая... Что ж она, так и будет жить, ничего не ведая?

Широкий раскат грома. Звенящий вой ветра.

Ты что думаешь, Григорий твой святой? В монастыре живет?

Синица *(схватив лежащую у крыльца метлу, бросилась к Дудко).* Ах ты бессовестный! Ворюга подлая... Мало свою семью к несчастью привел, арестант зловредный, еще и в другую лезешь! А ну марш отседова!

Дудко. Ты не больно размахивай метлой... Я один раз приложу — пойдет твой дух на тот свет в адские угодья!

Синица. Пока ты приложишь, я тебя по паршивой твоей физии так измордую, что дети твои, как от пугала, кидаться будут!

Еще удар грома. Ветер. Молнии. Хриплый голос радио: «Жители поселка! Сообщаем о бедствии. С моря идет волна. Бросайте дома! Выбирайтесь на высокие места! Спасайте детей! Жители поселка! Сообщаем о бедствии...» Голос радио заглушает протяжный вой сирены. Березина в ужасе слушает все, затем, не глядя на Дудко, пытается бежать. Синица цепляется за нее.

Дудко *(кричит).* У меня же... У меня же... *(Убегает со двора.)*

Синица. Остановись, Федоровна! Остановись!

Березина *(вырываясь).* Там Гриша! Гриша там! *(Выбегает со двора.)*

Синица. Там же и этот еще, пьяница проклятый! Утопнет ведь!

Тяжко выбегает со двора. Блещет молния. Воет сирена. Слышен шум подходящей машины. Во двор вбегает Иван, за ним входит Хоменко.

Хоменко. Григорий! Григорий!

Иван. Никого нет!

Хоменко. Надо вызвать спасательные команды. *(Уходит в дом.)*

Ваня стоит у калитки. Во двор вбегает Березин. Увидел Ивана.

Березин. С отцом приехал?

Иван. Он в доме.

Березин убегает в дом. И тотчас же вместе с Хоменко появляется на крыльце.

Березин. Где Женя?

Хоменко. Я вызвал людей из района!

Березин. Где Женя?! Я ж ее оставил в доме!

Хоменко. В доме никого не было.

Березин. Как не было?

Хоменко. Да не было, тебе говорю! И на дворе не было!

Березин. А где ж она? Где Женя? *(Хоменко.)* Оставайтесь здесь... У телефона... Кто будет прибывать... пусть берут катера... Лодки... Там огромная волна. Туда, Иван, туда...

Иван. Давайте! *(Хоменко.)* Будь здесь, отец.

Березин и Иван убегают. Хоменко идет в дом. Во дворе появилась Анюта. Вбежала и остановилась.

Анюта. Мама, мама! *(Бежит к дому.)*

Из дома выходит Хоменко.

Хоменко. Анюта!

Анюта. Где мама?

Хоменко. Нету мамы...

Анюта. Где ж она?!

Хоменко. Не знаю, Анюта. Не знаю.

Анюта. Мама! Мама! *(Бежит со двора.)*

Хоменко торопливо идет за Анютой. Гром. Свистит ветер. Молнии пронизывают тучи. Протяжно воет сирена. Закрывается занавес, но сирена продолжает звучать, постепенно сходя на нет. И как-то незаметно, густо возникает мелодия песни «Ах, эта красная рябина». Она звучит, заполняя печальным мотивом все пространство.

Занавес.

Картина 2-я

Все так же, но почти неуловимо звучит мелодия песни «Ах, эта красная рябина». Тот же двор дома Березиных. Яркий солнечный день. Чистое голубое небо. Облетевшие деревья. Наполовину поваленный забор. По двору как неприкаянная бродит Анюта. За ней с крыльца наблюдает Синица. Она молча стоит, прислонившись к косяку, и смотрит на Анюту. Делает Анюте какой-то знак рукой, но Анюта не обращает на нее внимания. Синица, вздохнув, уходит в дом. Слышен звук остановившейся машины. Анюта направляется к забору. Навстречу ей идет Чернобривцева.

Чернобривцева *(не сразу).* Здравствуй, Анюта.

Анюта. Здравствуйте.

Чернобривцева *(смотря на поваленный забор).* До сих пор вода дошла?

Анюта. У крыльца остановилась.

Чернобривцева. Страшная сила...

Анюта. Страшная... Что же вы давно не приезжали?

Чернобривцева. Работы много, Анюта.

Анюта *(с недоумением).* Работы? А я думала, вы как узнаете, сразу приедете сюда.

Чернобривцева. У вас такое горе... Чем я могла помочь?

Анюта *(вытирая глаза).* Помочь не могли, а все равно я думала, приедете...

Чернобривцева. Вот приехала...

Анюта. Хорошо, что приехали... Да только поздно...

Чернобривцева. Я и тогда сразу была здесь, но ты меня не видела.

Анюта *(всхлипнув).* Где ж мне было видеть.

Чернобривцева *(подходя к Анюте).* Девочка ты моя... *(Гладит Анюту.)*

А н ю т а *(доверчиво прижимаясь к Чернобривцевой).* Не уезжайте от нас подольше...

Ч е р н о б р и в ц е в а. Как же, Анюточка... У меня работы много.

А н ю т а. Здесь тоже найдется... Вон сколько надо делать всего! Папа с утра до ночи дома не бывает.

Ч е р н о б р и в ц е в а *(осторожно).* А как он себя чувствует?

А н ю т а. Все время людьми занимается... Детей устраивает... Семьи расселяет. *(Бодрее.)* Надо же переселяться с берега подальше.

Ч е р н о б р и в ц е в а. Надо, Анюта, надо. Это опасный берег.

А н ю т а. Я кинулась за мамой... Не успела... Ваня Хоменко меня в катер втащил. Он тут сколько людей поспасал!

Ч е р н о б р и в ц е в а. Да, да... Я слышала.

На крыльце появляется С и н и ц а.

С и н и ц а. Ольга Семеновна?

Ч е р н о б р и в ц е в а *(подходя к Синице).* Я самая...

С и н и ц а. Пожаловали к нам?

Ч е р н о б р и в ц е в а. Приехала...

С и н и ц а *(Анюте).* Иди, доченька, приготовь к столу, мужчины скоро явятся.

Анюта уходит в дом.

Ч е р н о б р и в ц е в а. А вы совсем сюда переселились?

С и н и ц а. Попросил Григорий Васильевич. Анюточке заниматься надо... Кто ж тут по хозяйству будет? Вот и пришлось...

Ч е р н о б р и в ц е в а *(оглядываясь).* Как же теперь тут жизнь идет?

С и н и ц а. Покойников схоронили, обратно к солнцу головы повернули.

Ч е р н о б р и в ц е в а. Слух идет, вы здесь тоже спасали кого-то.

С и н и ц а. Спасла... Один горемыка оказался... Нельзя ж было допустить, чтобы он на тот свет отправился через такую легкую смерть.

Ч е р н о б р и в ц е в а. Где ж тут легкая?

С и н и ц а. Во сне захлебнуться — одно удовольствие. Водичка соленая, за горилку принять мог.

Ч е р н о б р и в ц е в а. Только вас ничего не берет.

С и н и ц а. А кому я нужна, бессемейная... Одному радуюсь: не узнала Евгения Федоровна про то, что собрался ворюга этот сообщить ей. Грудью, можно сказать, заслонила покойницу от черной вести.

Ч е р н о б р и в ц е в а. Какой вести?

С и н и ц а. Захар Дудко этот, бог его покарал, между прочим, тяжко — жена его Клавдия тоже утопла... Захар этот Дудко вознамерился рассказать ей все про ваши отношения с Григорием Васильевичем... В тот самый час, когда ураган шел... Другого времени не выбрал... Гремело вокруг, а он с местью своей к Евгении Федоровне кинулся... Только я грудью ее заслонила... Ушла Женя на тот свет, не узнав ничего... Спокойней ей там будет, а вдовцу здесь, на земле.

Ч е р н о б р и в ц е в а. А откуда ж вы знали, если он не высказал ничего?

С и н и ц а. Я, Ольга Семеновна, сколько лет прожила, научилась чужие чувства разгадывать... Своих-то нет уже давно. *(Глядя в глаза Чернобривцевой.)* Ай ошиблась?

Ч е р н о б р и в ц е в а *(застигнутая врасплох).* Не то чтобы ошиблись...

Синица. А вам если тяжко, вы не признавайтесь... Я ж ведь не от любопытства, а для личной проверки.

Чернобривцева. Как же вам не признаешься в этом случае?

Синица. А вы и не говорите ничего... Я и так теперь довольна. Ее заслоняла, а не подумала тогда, что и вас заслоняла от клеветы. Хотя она вроде и не клевета, а правда... Только та правда, что клеветы горше.

Чернобривцева. Умный вы человек, Евдокия Прохоровна.

Синица. Наверно, умный, если себе в жизни никаких достатков не приобрела.

Чернобривцева. Скажите, как Григорий Васильевич живет?

Синица. А он здесь вроде как и не живет... Ночует разве... У него забот не убавилось.

Чернобривцева. Пережил-то он как все это?

Синица. Как мужчины переживают, так и он пережил... Страдал три дня, на четвертый глаза вытер. Хозяйки вот в доме нет... Меня и попросил за домом присмотреть... Людей-то больше стало приезжать... После горя всегда людей больше появляется. Вас только не было...

Чернобривцева. Трудно мне было сюда ехать, Евдокия Прохоровна.

Синица. Любовь-то ведь, как я понимаю, не только в радостях, но и в горестях проверяется.

Чернобривцева. Режете вы меня каждым словом под самое сердце.

Синица. Было б что резать...

Во двор входят Хоменко, Березин, Ермакова, Ваня.

Хоменко *(увидев Чернобривцеву).* Догнали, выходит, нас, Ольга Семеновна?

Чернобривцева. Догнала. *(Здоровается со всеми, в том числе и с Березиным.)*

Березин *(Синице).* Сготовили что, Евдокия Прохоровна?

Синица. Сготовила... Горячее все... Анютка на стол накрывает...

Березин. Прошу к столу.

Вместе с Хоменко, не взглянув на Чернобривцеву, уходит в дом. За ними следует Синица и Ваня. Ермакова и Чернобривцева остаются во дворе.

Ермакова. Я думала, и на этот раз не решишься.

Чернобривцева. Не спрашивал обо мне?

Ермакова. Обманывать не хочу... Не спрашивал.

Чернобривцева. Ни разу?

Ермакова. Ни разу.

Чернобривцева. Видишь... Зачем же мне было ехать?

Ермакова. Зачем — не знаю, но поддержать его тебе следовало.

Чернобривцева. У меня, Аня, тоже огненная колесница в душе прокатилась... Ураган словно пламенем выжег все. Последний ураган в моей жизни.

Ермакова. Зачем же так?

Чернобривцева. А как же иначе? Ехала я сюда, а в сознании одно — зачем еду? Раньше боялась оказаться здесь... В тот страшный день я видела его только издалека... А близко как было видеть? Позвонила как-то, подержала трубку и обратно положила... Знал же он, что я звонила, а не перезвонил... Значит, не нужна ему была я в то время. Вот и стараюсь не думать о нем, а если и думаю, то только

так, как будто все не со мной было, а с кем-то другим... Реальность прошедшего потеряла... Не суждено, значит. Так и останусь как была.

Ермакова. Не может же человек один оставаться.

Чернобривцева. Оказывается, может, Аня.

Ермакова. Пройдет год, есть такой обычай у русских людей...

Чернобривцева. Разве дело во времени? Что-то случилось такое... Вроде как открыто все теперь, а выходит, что смерть эта все входы наглухо захлопнула.

Ермакова. А ты не торопись... Все само собой сделается, откроются входы...

Чернобривцева. Не откроются... Теперь уже не откроются.

Ермакова. Конечно, советы давать всегда легче, чем исполнять их, но жизнь, Оля, идет... И какие бы смерть нам ловушки на дороге ни ставила, жизни ей не остановить. *(Настойчиво.)* Идем, ждут ведь нас.

Чернобривцева. Нет, Аня, в этот дом я больше не зайду.

Ермакова. Все ты перебираешь, Ольга.

Из дома выходит Анюта.

Анюта. А вас все за столом ждут.

Ермакова уходит.

(Подходит к Чернобривцевой.) Я прошу вас, Ольга Семеновна. Не обижайте наш дом. Он и так обижен.

Чернобривцева. Ах, Анюта, Анюта. *(Уходит вместе с Анютой.)*

Возле двора появляется Чакан. Некоторое время он словно бы изучает обстановку, затем заходит во двор, направляется к крыльцу, но возле самого крыльца снова останавливается. Очень ему хочется войти в дом, но что-то его удерживает. Наконец Чакан решительно поднимается на крыльцо, и в это время из дома выходит Синица.

Чакан *(огорченно)*. Опоздал, значит?

Синица. Не то чтобы опоздал, но и вовремя не явился.

Чакан. А чего ж не пригласила?

Синица. В этот дом все сами являются.

Чакан. А людей много?

Синица. Все, кроме тебя, в наличии.

Чакан. Значит, неполный кворум.

Синица. Одни здоровые, хворым места нет.

Чакан. А тебе не совестно?

Синица. За совесть теперь особая плата идет.

Чакан. Сколько с меня полагается?

Синица. Ровно столько, сколько у тебя после гулянок остается.

Чакан. Значит, совсем бесплатно. Теперь, Прохоровна, ты меня по гроб жизни обязана держать на своем довольствии.

Синица. За что ж такое наказание мне выпало?

Чакан. Если ты меня из воды вытащила, обязана весь оставшийся отрезок жизни содержать в сытости и при полном внутреннем обогреве.

Синица. На тебя и всякие тяжелые происшествия никакого влияния не оказывают.

Чакан. Оказывают.

Синица. Не очень заметно.

Чакан. Извлек истину: лучше переесть, чем недоспать,— целей будешь.

Синица. Ты что, всерьез вознамерился в дом прорваться?

Чакан. Когда людей пригласить забывают, что они делать вынуждены?

Синица. Дома сидеть.

Чакан. Тебе хорошо рассуждать в данном случае, а там в сей момент люди закусывать кончают.

Синица. Не век же им за столом сидеть.

Чакан. Им не век, а мне бы хоть минут десяток среди них оказаться. Пусти, Прохоровна...

Синица. Ну, иди, иди. *(Отступает от двери.)*

Чакан. Добрая все же душа у тебя.

Протягивает руку к щеколде, но дверь открывается и на крыльцо выходят Хоменко, Березин и Ваня.

Хоменко. О, дед Чакан? Где ж ты пропадаешь?

Чакан. Председатель работой загрузил, потери учитываем.

Хоменко. Нелегкий труд.

Чакан. Да и не больно тяжелый... Потери-то большие, подсчитывать мало что осталось!

Хоменко. Да, сокрушил вас ураган.

Чакан. Сокрушил, но не окончательно... После урагана люди повысохли, опять за свое берутся.

Хоменко. Молодцы, значит.

Чакан. Есть которые молодцы, а есть которые как были кривой корягой, так и не выпрямились.

Хоменко. Это как понимать?

Чакан. Как есть, так и понимать... Захар Дудко, к примеру... Супружницу его Клавдию нашли утопленной прямо в доме... Детей только успела на чердак запихнуть, а сама, грешная стяжательница, захлебнулась... Так ее и нашли обмотанной чулками, в которых десятки да пятерки... Не мельче трешницами набиты чулки были... И сама бы спаслась, если б за деньгами не кинулась...

Хоменко *(Березину)*. Это правда?

Березин. Правда... Поскольку вы за него перед прокурором похлопотали...

Хоменко. Он и так наказан сверх меры.

Березин. Мы вопрос пересмотрели и восстановили в колхозе...

Хоменко. Правильно сделали.

Чакан. Ага... По-христиански... Он с этих чулок деньги повытаскивал, на солнышке подсушил, утюжком разгладил, чтоб хруст им вернуть, а теперь новую хату мечтает на месте старой воздвигнуть, поскольку старая саманная была, от воды развалилась.

Хоменко *(Березину)*. Заливает дед?

Березин. Да не один Захар Дудко, а еще несколько не желают съезжать с берега.

Хоменко. Как же не желают, если решение принято?

Чакан. У них свой расчет, товарищ секретарь: к воде ближе — денег больше. Ночка темная, баркас глубокий, рыба не считана... Зачем у государства одолжаться, когда в море можно все расходы покрыть.

Хоменко. Неужели от ссуды отказываются?

Березин. Есть такие, что и отказываются. *(С упреком.)* Вот вам и все для человека, Антон Петрович.

Хоменко. Ты всех под одну гребенку не стриги.

Березин. Я не стригу...

Хоменко. Собственные недостатки в работе за счет административных взысканий не скроешь. Воспитывать надо...

Березин. Либерализмом их не воспитаешь.

Хоменко. А что же ты ожесточенный такой?

Березин. Причин для этого, как вам известно, много.

Хоменко *(смущенно)*. Все равно руки опускать не следует.

Березин. А я и не опускаю... Я только говорю к тому, что люди разные у нас и тяжелые события выявляют их души.

Чакан. Ага, это точно... Вот я, например, до конца жизни своей готов каждый день за здоровье Евдокии Прохоровны сто грамм принимать... Особенно ежели их еще бесплатно поднесут. Товарищ секретарь, можно ей медаль «За спасение утопающих» выдать?

Синица. Не нужна мне твоя медаль.

Чакан. Это как же не нужна, когда дают?

Хоменко. А разве дают?

Чакан. А разве не дают?

Хоменко. Я что-то не слышал...

Чакан. И совсем даже напрасно... Это же надо — вспомнить про меня в ту самую минуту, когда море хлынуло, забежать в хату и спасти меня спящего!

Хоменко *(Синице)*. Неужели спал?

Синица. Подушкой голову накрыл и спал...

Чакан. Она с меня подушку скинула. Табурет на стол поставила, а вода уже по пояс плескается, на чердак крышку откинула, сама залезла, а меня на табурете за волосы держит... У меня и так растительность редкая, а она последние по одному отдирает...

Синица. А за что еще его держать было, когда он силы потерял?

Чакан. А я стою на табурете и печально гляжу, как вода все выше подбирается...

Синица. А я сверху гляжу и думаю: как до шеи дойдет вода, а там и выше, зачнет он последние пузыри пускать...

Чакан. И ничего не пожалела для меня, кофту скинула, рубашку скинула...

Синица. Будет тебе подробности высказывать.

Хоменко *(Синице)*. А скинула?

Синица. Скинула... Человек же пропадает.

Чакан. В этот момент, когда увидел я, на какой подвиг она решилась, проснулась во мне сила мужская. Я рубашкой ее обвязался, руки воздел, за краешек чердачный уцепился, ногами в воде поболтал, табуретку в тот момент водой смыло... Что было делать и как случилось, сам не знаю,— на чердак как ангел прямо в ее объятия и вознесся.

Синица. Тьфу, будь ты проклят!

Чакан. И крышкой все это происшествие прикрыли. И сидим, как Адам и Ева, на чердаке и зубами от холода дребезжим... Тишина. А тут Ваня на моторке оказался, через окошко вытянул нас да еще спасительнице моей тужурочку свою отдал, чтобы стыд прикрыть, и отчалили мы с ней от этого бедствия навстречу новой жизни. Ей не то что медаль — ей орден положен. Как же мне за ее здоровье не принять теперь?

Из дома выходят Ермакова и Чернобривцева.

Хоменко. Действительно обязан ей жизнью своей.

Синица. Навязался на мою голову.

Чакан. Теперь ей от меня отказаться совершенно невозможно. Должна смотреть за моим здоровьем, чтоб я его не терял ни при каких происшествиях.

Хоменко. В случае чего и подлечить можно. Через неделю открываем больницу. Так я говорю, Анна Алексеевна?

Ермакова. Да, Антон Петрович.

Иван. Отец, тебя в сельсовете ждут.

Хоменко. Да, правильно... Идемте, Анна Алексеевна. *(Уходит с Ермаковой и Иваном.)*

Березин *(Синице)*. Евдокия Прохоровна, поскольку вы отвечаете теперь за жизнь товарища Чакана, обязаны его покормить хорошенько.

Чакан. И не только покормить...

Синица. Иди уж, утопленник. *(Уходит с Чаканом в дом.)*

Чернобривцева молча идет со двора. Березин молча смотрит ей вслед. И только когда Чернобривцева не очень уверенно взялась за калитку, Березин шагнул за ней.

Березин. Ольга...

Чернобривцева. Что, Григорий Васильевич?

Березин. Что случилось?

Чернобривцева. Очень многое.

Березин. С тобой что случилось?

Чернобривцева. То же самое, что с тобой.

Березин. Почему же тебя так долго не было?

Чернобривцева. Чем я могла тебе помочь?

Березин. Я не в помощи нуждался.

Чернобривцева. А в чем же?

Березин. В твоем голосе.

Чернобривцева. Я звонила тебе...

Березин. И молчала при этом...

Чернобривцева. Ты бы и сам мог откликнуться...

Березин. На твой голос... А его не было.

Чернобривцева. Я, Гриша, на себе тяжелую вину чувствую.

Березин. А ты-то при чем?

Чернобривцева. И все равно чувствую...

Березин. Стихийное бедствие...

Чернобривцева. Если б она не чувствовала, что ты уходишь от нее, не кинулась бы за тобой.

Березин. Не надо так, Ольга. Все, что было, было по любви... Разве ты можешь отрицать это?

Чернобривцева. Не могу.

Березин. Можешь меня презирать, но я скажу тебе, о чем я думал это время... Не все время, конечно... У меня много скопилось, что сказать тебе.

Чернобривцева. Говори.

Березин. Думал я очень много о тебе... О Жене, конечно, тоже думал, но меньше... Меньше... Человек она была хороший... Очень хороший.

Чернобривцева. Как страшно звучит — была...

Березин. Как ни звучит, а была... И уже нету. Нету ведь?

Чернобривцева. Зачем ты так? Она живет еще, Гриша, существует... Мертвые долго продолжают жить в сознании живых.

Березин. Не преувеличивай, Оля... Конечно, мне очень ее жаль. Анюту жаль, матери лишилась... Но дочь уже большая, не ребенок.

Чернобривцева. Как ты не видишь?! Анюта еще совсем ребенок.

Березин. Мне показалось, что дочь не сторонится тебя...

Чернобривцева. Встретила меня доверчиво... Анюта была первой, кого я увидела здесь.

Березин. Мне кажется, я догадываюсь, почему она так тебя встретила. Дочь сейчас не столько думает о себе, сколько обо мне... Возможно, ей кажется, что мое спасение сейчас в тебе.

Чернобривцева. Нет, нет!

Березин. Живое продолжает жить, Ольга. Кто осудит человека, который после такого пусть не сразу, но находит себе друга в жизни? Сама жизнь требует продолжения жизни.

Чернобривцева. Если бы у человека было только сердце, а не было разума, тогда с этим можно было бы примириться, но когда есть мысли, память...

Березин. Ты сама противоречишь себе!

Чернобривцева. В чем я себе противоречу?

Березин. Когда погиб твой муж, которого ты любила... Любила?

Чернобривцева. По-своему любила...

Березин. Все любят по-своему... Ты ж не окончательно отринула все человеческое?

Чернобривцева. Это другое...

Березин. Нет, не другое... В тебе же нашлась сила полюбить снова? Что же ты молчишь? Или это была не любовь?

Чернобривцева. Любовь...

Березин. А сейчас ее нет?.. Почему ты молчишь?

Чернобривцева *(тихо)*. Есть...

Березин. Тогда что же это все?

Чернобривцева. Не можем мы быть вместе! Не можем...

Березин. Но ты же говоришь, что любишь меня?!

Чернобривцева. Люблю, но она стоит перед глазами!

Березин. Оля, это было так давно... Так давно... И все, что было, так давно ушло.

Чернобривцева. Почему ушло?

Березин. Я не любил ее... Плохо это, но не любил. А для нее я был все, один свет в окошке...

Чернобривцева. А если я подчинюсь тебе?

Березин. Ты — нет. Ты не можешь подчиниться.

Чернобривцева. Подчинилась же я тебе однажды.

Березин. Ты не мне подчинилась, ты любви своей подчинилась. Хорошо жить друг с другом могут только разные люди.

Чернобривцева. Значит, мы разные?

Березин. Разные.

Чернобривцева. А мне кажется, слишком одинаковые.

Березин. В главном, может быть, и одинаковые, но только очень разные... И в этом наше счастье с тобой! Обо всем я и думал все это время... Мы должны быть вместе... Пусть не сразу... Пройдет время...

Чернобривцева. Нет, Гриша, нет! Я не найду в себе силы! Не смогу переступить через это!

Березин. Но ведь ее уже нет в живых!! Нет ее, пойми!

Чернобривцева. Поэтому и не могу!

Березин. Значит, ко всем моим горестям ты решила прибавить новые, самые тяжкие?!

Чернобривцева. Ты сильный, ты выдержишь!

Березин. А какой толк от этой выдержки?

Чернобривцева. Наша с тобой совесть будет чиста.

Березин. О чем ты думаешь? О чем ты думаешь?! Ты же понимаешь, когда-нибудь я женюсь...

Чернобривцева. Ты еще полюбишь... Жизнь продолжается.

Березин. Что же ты хочешь?.. Неужели одна смерть должна тащить за собой еще две, а может, и все четыре мертвых жизни? Разве это не большее преступление перед собой? Да что перед собой?! Перед обществом!

Чернобривцева. При чем здесь общество?

Березин. Ты нужна мне как друг, как самый близкий человек в мире. Я-то выдержу! Я-то выдержу! А толку с этой выдержки? Я и так уже выдерживал все это время! Думал, тосковал о тебе... Вспоминал, какая ты!

Чернобривцева. А какая я?

Березин. Что я буду тебе говорить?!

Чернобривцева. Говори! Я хочу еще раз услышать!

Березин. Единственная... Любимая...

Во двор входит Иван, на крыльце появляется Анюта.

Иван. Григорий Васильевич, вас отец зовет.

Березин. Меня всегда отец зовет... Скажи, занят я, занят! *(Увидел Анюту.)* Ладно, идем! *(Уходит с Иваном.)*

Чернобривцева стоит одна, не замечая идущей к ней Анюты.

Анюта. Ольга Семеновна, что с вами?

Чернобривцева *(очнувшись).* Анюта, ты?

Анюта. Я... Что с вами?

Чернобривцева. Ничего... Ничего... Анюточка...

Анюта. Ольга Семеновна...

Чернобривцева. Что? Что, Анюта?

Анюта. Не оставляйте папу...

Чернобривцева *(плача и обнимая Анюту).* Если б ты только знала, что говоришь! Если бы ты только знала! Прости, Анюта! *(Прижала к себе Анюту и пошла со двора.)*

Анюта идет за ней, но останавливается у поваленного забора. Появляется и горько смотрит вслед Чернобривцевой Березин. Звучит мелодия песни «Ах, эта красная рябина».

Занавес.

ПАВЕЛ БОЦУ

★

ИЗ ПОЭМЫ «ДОМ НА БУДЖАКЕ»[1]

С молдавского

ПЕСНЬ НА ПОРОГЕ ДОМА

Немало
Я, мама,
Для нашей беседы
Собрал светлых слов.
Так левкои в букеты
Для наших с тобой собирал вечеров...
Но нынче, боюсь, отыскать мне не просто
Тот холмик убогий на сельском погосте,
Что столько терпел от дождей и снегов.

Все мысли мои о тебе.
Вижу Дом.
Он спрятан в тени низкорослых акаций.
Воспоминаньями к Дому влеком,
Я вижу, как ты,
Озираясь тайком,
Меня пытаешься доискаться.
Все мысли мои о тебе.
С ними свыкся.
Тебя превратил бы в застывшего сфинкса,
Но в сфинксах нет жизни,
И нет у них сердца,
И сердцу живому у них не согреться.

О, если б тебя восхвалил непомерно,
Я был бы как дождь, что, враждой обуян,
Крадет жизнь и почву у юных семян...
Что я без тебя?..
Лист бездомный, наверно...
Лист, ставший и ветру и ливню покорным,
Поскольку не связан ни с ветвью, ни с корнем...
Поскольку в крестьянских лачугах не сыщешь
Ни клина железного, ни гвоздя,
То скобы ковали, держа их в ручищах;
Чтоб Дом стал надежным и вечным жилищем,
«В час добрый!» — хвалили его, как дитя.

[1] Буджак — низменная равнина на юге Молдавии.

И пели:
«Дом-домище,
Ты мокнешь
В дождь-дождище,
Ты дрогнешь
Под ветрами
И мерзнешь
Под снегами.
Но что нам ветер дикий
С дождем или со снегом?
Мы строгой базиликой
Твою украсим стреху!
Ветвями винограда
Укутаем громаду,
Посадим рядом иву,
Пусть опускает гриву —
Серебряные ветви —
На наш Домище светлый.
Ты, ивушка, скорей
Стеной своих кудрей
Укрой со всех углов
Наш Дом от всех ветров,
От всех дождей,
От всех снегов...»

Мой Дом!
Старый Дом,
На завалинку сброшу
В который уж раз эту тяжкую ношу.
В который уж раз и в который уж год
Дом вновь возникает во мне и растет...

ПОЛЯ В ИЮНЕ

И вот сменил поземку ветер теплый,
Поля, освобождаясь от снегов,
Еще в потеках
собирают толпы
Тяжелых неуклюжих дудаков.

Под ручейков спокойное журчанье
Чужую ношу сбрасывают с плеч,
Чтобы в испарине, души не чая,
Перед весной покорно навзничь лечь.

Считали дни,
Мгновения считали.
И вот,
Почуяв близость небосвода,
Поля, как птицы, крылья расправляли,
Поля, как птицы, жаждали полета.
И так же,
как смычка прикосновения
Ждет скрипка,
так же с трепетом поля

Надеялись:
придет пора весенняя,
Мир зацветет и оживет земля.
И будто бы сбывалось предсказание,
Что не закатится
на небе солнца шар,
Вот так поля почуяли заранее,
Что где-то на подходе
чирешар![2]

Вот так же,
хоть она камнями скована,
Но к морю пробивается река
И знает, что безбрежно,
глубоко оно,
И видит паруса издалека.

Как соком переполненные яблони,
Что чуют тяжесть будущих плодов,
Поля узнали чирешар.
Он явлен был
Им в беловатой кипени цветов.

И сразу хлынули поля в низины,
Надеясь раньше встретить чирешар,
И столько было жажды в них и силы!
Травой взрастая,
голос их дрожал:

«До твоего прихода чахло время,
Как древо... Ветки падали с него:
Ведь без тебя бы вымерли деревья,
Кусты и травы...
Было б все мертво.

И высохли бы реки так,
что ныне,
Явившись к нам, ты не узнал бы нас.
Мы прятались под белою полынью
От ненасытных, алчных глаз.

Казалось, ночь продлись еще хоть час —
И звезды не удержатся на небе.
Но время старое
разорвано, как цепи,
Мы к солнцу двинулись,
и не удержишь нас!»...

НОЧЬ С БОМБАРДИРОВЩИКАМИ. 1941 ГОД

Железные птицы в небе
Точат клювы во гневе.
— Жена, поскорей
Одень детей! —

[2] Так называют в Молдавии июнь — месяц созревания черешни.

Но как соберет она сразу
Всех сыновей своих?
Ведь их у матери много.
На неведомую дорогу
Жизни вывела их.

И где бы ни начиналась война,
Далеко ли,
близко отсель,
Материнское сердце она
Сначала берет на прицел.

Стон — и в дома бездонных глазницах
Красные, как зрачки,
От взрывов вспыхивают зарницы...
Оставь надежду.
Беги.
Оставь цветение садов,
Юную оставь любовь —
И выживешь
Всем смертям вопреки.

Ночь заполнена шумом шагов.
Шаги. Шаги. Шаги.
От убийц укрытье одно —
В погреб,
В подвал беги...

ВИНО СОРОК ПЕРВОГО ГОДА

Хорошую службу служат селу
Подвалы и погреба.
Там сходятся люди воздать хвалу
Болезни врачующему вину
Иль просто забыть себя.

Но это вино — у него судьба
Своя... — запах дыма в нем.
Какой давили тогда виноград?
И кто в дымном привкусе виноват?
И кто был тогда корчмарем?

Вино сорок первого...
Поднеси
К губам — и почуешь ты
Огня цветы,
пожарищ следы,
Пространства, выжженные до черноты,
Вкус горя, запах слезы...
Вино сорок первого...
Дымно оно.
В нем огненных брызг букет.
Оно на пожарах раскалено.
Чьи руки тебя породили, вино,
Предвестника стольких бед?

Шел огонь через луг,
Шел полем он,
Подымался он в небеса,
Виноградники впитывали огонь,
И сосала огонь
Лоза.

Вино сорок первого...
Чуть плесни
В кружку,
на землю чуть...
Погибших в сражениях помяни
И тех,
что в погребе погребены,
Тоже не позабудь.

И младшего помни...
Забыли в подвал
Его унести тогда.
Накрыт зипуном, он в комнате спал,
И смертный его не задел металл.
Но он с тех пор сирота...

Жизнь бессмертна,
Нрав у нее упрям.
И поэтому, смерть поправ,
Босиком идет она по полям,
По полям,
Где пепел и кровь пополам
Перемешаны с буйством трав.

Коварна ночь.
Но иная судьба
Не дана.
Стой в Доме своем.
Будь опорой Дому вместо столба,
Будь опорой...
И Дом защитит тебя...

О, вино сорок первого...
Горечь в нем.

Перевел В. КОРНИЛОВ.

ВИКТОР КОЗЬКО

★

ВИСОКОСНЫЙ ГОД

Повесть

Возвращение

Я был одновременно сыном и пасынком этому городку. С тех пор прошло немногим более десяти лет, а он уже не хочет узнавать меня. Так одиноко, как в первые минуты в родном городе, я не чувствовал себя в самом дальнем чужом краю.

Неприкаянно, как подкидыш, стоял на тротуаре мой чемодан; рядом с ним стыл я. Мы мешали всем. Но людская толпа обтекала нас, как река обтекает остров. И ни у кого не было ко мне ни любопытства, ни привета. Я узнавал и не узнавал свой город.

Как слоеный пирог, он и сейчас населен и горожанами... и деревенскими жителями, приехавшими на базар, паровозными гудками, запахами угля и яблок. Он начинается из лесов и смыкается с лесами. Кажется, у него нет ни начала, ни конца. Я знал его, как не знал самого себя. Городок был беден, нищ, гол, но приветлив. Он задыхался от голода, но из последнего кормил две сотни послевоенных детдомовцев. Недоедал, недопивал, но собирал рубли, копейки, куски хлеба и отправлял в далекий Ашхабад людям, пострадавшим от землетрясения. На содержании у города было множество сирых, увечных, потерявших в войне здоровье белорусов, русских, цыган и евреев. Но он не жаловался на свою долю.

Настал черед, он дал кусок хлеба и мне. И я говорю ему сейчас: спасибо. Не только за хлеб — за милосердие, терпенье, за то, что именно здесь я почувствовал себя человеком. Спасибо за всех, кто рос в таких городишках в неуютное послевоенное время, кому они заменили отца с матерью.

Все сейчас в моем городе вроде бы на своих местах. Книжный магазин — каменный дом с кривой, от фундамента до крыши трещиной. Лужа у когда-то единственной водопроводной колонки. У этой колонки всегда было полно ребятишек, они и сейчас отираются возле нее.

Маленькие городишки, как старики, не любят нововведений. Но что же переменилось? У города новый, непривычный моему глазу цвет. И дело не только в том, что перекрасились дома и заборы, речка из светлой и прозрачной стала желтой, одряхлела и заросла травой,— я же запомнил и пронес через все только серые и темные тона. Город в моей памяти был неподвижен и неизменяем, как на старой фотографической карточке, а он жил. И сейчас он мне удивительно напоминал

тот большой и современный сибирский город, в котором я теперь живу.

Эта улица раньше не была покрыта асфальтом. Я помню ее седой от перегретого, как зола, песка. Из-за коричневых корней деревьев, оплетавших улицу, у меня летом никогда не заживали ссадины на ногах. Кровь от ушибов густела, посыпанная дорожной пылью, чернела.

Могу ли я забыть, как когда-то я испытал здесь чувство полета?

В тот день небо было синим и глубоким, каким оно может быть только в конце лета. На придорожных кустах дрожала паутина. Лесные тропы и стежки переметали белые кружева грибниц. Окраины звенели от птичьего грая. Я шел по облитому солнцем белому песку и смотрел, как колышется небо — чуть приметное, настоянное летом голубое марево. Потом неизвестно почему побежал. Побежал прыжками. Мне очень хотелось оторваться от земли, рассечь маячившее надо мной марево. И мне — это помнится с каждым годом все отчетливее — удалось подняться. Я парил над желтым от солнца песком. Легко и свободно вдыхал запах хвои, идущий от стоящих у дороги сосен.

Я парил. Я знаю это. И с этим воспоминанием я не расстанусь, если даже сильно захочу. Потому что гораздо позже в снах я не раз переживал этот первый свой полет. Его сладкая жуть и сейчас наполняет меня уверенностью, что стоит мне только сильно пожелать — и я опять оторвусь от земли, взмахну руками и поплыву над знакомыми мне до постоянной заплаты на крышах домами.

Маленький автобус, давно уже изгнанный из больших городов, везет меня к родному дому. Раньше я ездил по этому городу в автобусе только из любопытства или озорства. Город из конца в конец — три километра. Это ли расстояния! Но неожиданно три километра растягиваются в десять. Старые проезды закрыты, надо объезжать, круг огромнейший, и я рад.

Автобус вступает в лес. По краям дороги все те же сосны, ободранные до живого осями телег. Меня и радуют и пугают густо встающие у лесной дороги травы. Травами наш лес никогда не был богат. Все больше сосновые шишки, прикрытые сосновыми иглами, по-местному — глицей. По этим глицам мы пасли коров.

Мы — это хлопцы с Подольской улицы. Хлопцы — Леня Ревский, Володька Збышко, или, как все его звали, Украинчик, Арсень Кривой, Леша, Мила, Нина Улитины и я. У Улитиных фамилия Збышко. Улита — это мать их, а отца нет, зовут детей по матери.

Отцов или матерей нет ни у кого из нас, нет у многих, кто живет рядом с нами. Подольские улицы — а их сразу три на город, и все они рядом — богаты на сирот и сироток. Город зовет нас всех, подольчан, злыднями, бандитами. Мы окраина. У нас свой закон: обмануть, стащить. В глазах города мы те, для кого нет ничего святого. Но если бы только город знал, как мы чисты в своей вороватости, драках, обмане, мечтах и бедности. Бедность наша у всех на виду, а слезы недоступны постороннему глазу. Мы ведь не от хорошей жизни, не с жиру воруем из вагонов свеклу и жмых, жарим на пастушьих кострах и едим июньские молодые побеги сосен, чуть позже колоски ржи и пшеницы. И от этого у нас, как у галчат, вечно черные лица и рты. Из обручей, стащенных с железнодорожных платформ, мы куем себе сабли и мечи. Наш главный оружейник — Володька Украинчик.

Как янычары, спрятав под лохмотья сабли и мечи, в полдень пригнав коров, мы уходим в город на разбой. И городские сторонятся нас, когда мы идем вместе, и бьют наших, когда ловят в одиночку. Но мы редко плачем, видно, все потому, что нас часто бьют, бьют все кому не

лень: городские хлопцы, грузчики и обходчики со станции, лесник и объездчик. Два последних — наши кровные враги. Нам кажется, что у них только и дел как гоняться за подольскими пастухами.

На глице и шишках коров не накормишь, молока не попьешь, а поля и пастбища принадлежат колхозам. Но нам все равно, чья бы земля ни была. Мы, подольчане, идем по ней, как саранча. Что не поедают коровы, то вырывают про запас для них и себя пастухи. И коровы наши тоже, как саранча, прогонистые и юркие, вороватые. Под вечер мы иной раз запускаем их в овсы, а то и в картошку. Как они едят, как затравленно озираются по сторонам и как убегают, заслышав наш тревожный клич... Наши коровы, как лошади, знают даже, что такое галоп. Галопом мы всегда покидаем стражу — огромное поле, на краю которого когда-то стоял дом лесника, мужа Улиты. О доме сейчас напоминают только головешки. Сохранился сарай да несколько яблонь.

Мы любим гонять коров в стражу. В конце лета тут для нас яблоки, желуди, ржаные колоски и грибы, а для коров — сочная, густая трава. Лесник и объездчик тоже знают о нашей любви к страже и приходят сюда с палками, специально для нас припасенными хлесткими длинными дубцами. Из-за этих дубцов у лесника и объездчика прозвища — шершни; подольские не знают их фамилий. Сколько раз ловили они нас на яблонях, и как мы бегали от них, как екали селезенки у коров, убегавших вместе с нами!

Но мы тоже хитрые. Крутим коров в центре поля, возле небольшого березового гая. В этом гаю мы чувствуем себя гораздо уютнее, чем дома. Дома крик, попреки, ремень, комнаты, полные мух, из каждого угла глядит бедность. А в гаю мы были богачами: поле, лес, небо — простор и воля. Можно становиться хоть на голову. Но Подольская делала из нас хороших хозяев, расчетливых и бережливых, учила добром не кидаться. Мы убрали с полей камни и в березняке сложили из них очаг. Выкопали неподалеку колодец. Брали из него воду и запивали ею сухой и горький привкус пережаренных колосков. На старой березе приспособили качели. Почему лесники ни разу даже не попытались оборвать их, не порушили нашего очага, не засыпали колодца — это для нас было загадкой.

Это для меня и сегодня загадка. Сегодня у меня, пожалуй, больше загадок, чем полтора десятка лет назад. И самая главная — почему я не могу остановить автобус, войти в лес и превратиться в подростка-пастуха. Почему это невозможно? Ведь подросток тот — это и есть я. Он живет во мне. Это он сейчас смотрит на родные места моими глазами.

— Ну, привет,— беззвучно, одними губами, шепчу я ему.— Признал?..

— Ты чужой...

— Я приехал, чтобы стать своим.

— Врешь. На Подольскую не возвращаются. С Подольской только уходят. Я не хочу с тобой водиться. А будешь приставать — поколотим.

— Я тоже подольский.

— Подольский? А от лесников можешь убежать? Можешь босыми ногами, не морщась, ходить по сосновым шишкам, по стерне, есть колоски и цветы сосны, воровать жмых?

— Могу, но, понимаешь...

— Нет, ты не подольский.

— Ты прав и не прав. Я сейчас больше подольский, чем тогда, когда мы пасли с тобой коров в страже. Но ты знаешь только одну Подольскую и не догадываешься, что их были тысячи. И я на каждой из них жил, принадлежал каждой из них.

— Хитро. В городе навострился так?

— Да, поумнел в городах разных. И в них не раз встречал тебя. Потому и не забыл.

— Чистенький, ухоженный, откормленный. Поколотить такого приятно.

— Драться я тоже умею. Подольский ведь.

— Злости в тебе не видно. Живот выпирает, а у злых живот на спине. Заелся, зажрался, лицо, как икона, светится. Таких Подольская всегда била, на место ставила.

— Злость теперь не в животе, а в голове начинается. И...

Автобус задергался, зачихал и остановился. Я очнулся и вышел. Место поначалу показалось мне незнакомым. Редкие малорослые сосны, кривые березки-хмызняк. Какое-то полузаросшее травой болотце.

Я обогнул автобус. Он почти прислонился к дубу с огромным гнилым дуплом внизу. Еще не осознав, что делаю, я опустил руку в дупло, но ничего не нашел в нем, кроме трухи. Разгреб труху — пусто. Удивился. В этом дупле жил удод, пестрая, красивая птица. Куда она девалась? Попробовал всунуть в дупло голову и еще больше удивился. Голова не проходила. Я обдирал щеки, но не сдавался. Как это, ведь раньше я протискивал в дупло даже плечи, что могло случиться?

Я смотрел в темноту широко открытыми глазами. Запах прели, как когда-то давным-давно, в детстве, бил в ноздри. Я различал в темноте коричневую, расслоенную на ромбики и квадраты труху, слышал злобное, почти змеиное шипение испуганного удода и понимал, что ничего этого для меня уже не существует. Все это прошло. Удод, наверное, давным-давно сдох, или его съел хорек. Сколько минуло лет.

Саднил ободранный лоб. Как в детстве, было чуть-чуть жутковато от непроницаемой темени в дупле. С трудом я высвободил голову. В глаза ударила весенняя, яркая зелень. Только дуб, под которым стоял автобус, был по-стариковски черен и сух. Он будто вышел из моих взрослых одноцветных снов. Я часто видел его таким, каким он сейчас стоял передо мной, потому, наверно, и не сразу узнал это болотце в лесу, в пятистах метрах от дома. Я погладил шершавую и жесткую кору дуба. Как мы не любили его в детстве! Даже сейчас не могу припомнить у себя злее врага, чем он. Дуб рос близко от нашей улицы, одиноко и заброшенно. В народе такие дубы с давних пор носят прозвища глухих. И по народной примете, нельзя купаться, пока они не распустятся. А они не распускаются в иную пору до глубокого лета.

Автобус ушел. Я не захотел ехать в нем. Я пойду к своей родной улице по вот этой петляющей, опутанной корнями стежке. По ней я когда-то гонял коров. По ней, чувствуя себя подростком-пастухом, я пойду домой, в детство. Саднит ободранный лоб. Все дальше в прошлое меня уносит память, к первым моим шагам по этой земле, по этому лесу.

Мальчишка-подросток в спадающих лохмотьями на босые ноги штанах из чертовой кожи бежит впереди меня с березовым прутом в руке.

— Подожди,— прошу я его.— Что мы все время бегаем друг от друга?

Он сбивает прутом листья с берез и не глядит на меня.

— Когда ты уезжал отсюда, ты обещал мне первому рассказать про все. Я слушаю.

— Ты прости. Я был раньше, как бы тебе сказать... самоуверенным. А сейчас... Нет... Я сдержал уговор, но я боюсь. А вдруг все не так? А вдруг все не то? Подольская нетерпелива и не умеет слушать, она командует и приказывает, а все эти годы я учился слушать. Ты же любишь командовать.

— А ты не боись... Шершни, которые били нас в страже дубцами, умерли.

— Умерли твои, а мои шершни живут.

— Не понимаю, о чем ты...

— Это к лучшему. Слушай...

Начало

Под стрехою сарая еще висела усохшая крапива, на перекладине двери в сарай лежали дробные белые камешки, на притолоке в избе торчал вторкнутый тещей и забытый всеми нож. На воротах во двор ветер раскачивал березовые сухие ветки. Три-четыре недели назад улица встречала троицу — зеленый летний праздник. Березой, камешками и крапивой боронились от ведьм, ведьмарок и злых ведунов. Трофим с Ульяной верили и не верили в них. Но береженого бог бережет. Руки не отсохнут, если воткнуть в дверь сарая пучок крапивы, а нечистой силе, есть она или нет, дорога в хлев к корове заказана. Остречется она у ворот, повернет назад. И семья будет с молоком, скотина и человек не узнают ни приворота, ни порчи.

Веселый был праздник, почти детский. Они — бывший деревенский байстрюк, никогда не знавший отца, Трофим Прыгода, видевший вдосталь хлеба только по праздникам, и такая же байстрючка Ульяна Говор — наконец-то дождались своего лета. Выстрадали свое хозяйство, вырвали сиротскими слезами, мозолями и дом, и хлев, и корову, и семь соток огорода. И великим счастьем было перед зеленой древней троицей остекаться крапивой, устилать полы пахучей березой, обвивать крыльцо хмелем, перемазываться клейким молодым листом березы...

Трофим держал в руках хромовые сапоги, но не чувствовал радости. Первые в жизни самим справленные сапоги. Как Трофим любил прохаживаться в них по избе под одобрительное потрескивание половиц, слушать постреливание задников, поскрипывание подошвы. Ноге было вольно и легко. По улице, по песку он будто плыл. И солнце глядело в его сапоги, как в зеркало.

Солнце и сейчас играло в глянце хрома. Сыпало веселым дробящимся светом на стол, на лицо Трофима. Но душа его была глухой к этой радостной игре света.

— Папа, у тебя сегодня выходной? Пойдем в лес?

— Пойдем, сына, пойдем, не путайся под ногами.

— Это ты меня путаешь... Выходной — значит, надо выходить.

Сыну Диме немногим больше двух лет.

Трофим слышит, как жена гремит тарелками. Перебирает каждую, дышит на нее и трет, будто перед гостями стол готовится накрывать. И горка фарфора тоненько и празднично позвякивает. Рождает одни и те же мысли. Оба они к своей посуде непривычны. Оба в деревне у своих матерей ели из деревянных или глиняных чашек, в которых сегодня и свинье стыдно поднести. Ели и вовсе без посуды. Высыпала мать на чистый стол чугунок картошки — паронок, сыпала на край стола горсть соли или льняного пережаренного семени, ставила бутылку с перетертым хреном. Макали они паронки в соль или семя, запивали хреном и тому были рады.

— Ульяна, посуду не трогай,— говорит муж.— Везти далеко. Перебьем, а после собирай по тарелке. Закопаем в огороде.

Трофим строжится, командует женой, тещей и только сам не знает, что же делать ему. Садится на табурет, снимает ботинки и переобувается в сапоги. Ботинки отшвыривает на середину комнаты. Жена

снова выставляет на стол чашки, блюдца. Теща по второму разу густо мажет швейную машинку солидолом. Женщины сегодня удивительно послушны. Хотя бы для приличия одна заспорила, огрызнулась. Было бы легче, покойнее.

Дима устремляется к ботинкам. Трофим прохаживается по избе и прислушивается к скрипу сапог. А скрипят они, будто ничего и не случилось, будто журавли, которые по весне вернулись из теплых южных краев — курлы-курлы,— хряско и радостно.

— Не трогай! — кричит он сыну, который пробует укусить ботинок. Шлепает его и выпроваживает за дверь.

— Ох и рукастый же ты,— вздыхает теща.

— И что это? Чем ни старее человек, тем больше он вздыхает,— говорит Трофим теще.

— Поживи, порадуйся с мое, поймешь,— как всегда отвечает она.

Трофим молчит. Будто кто-то рукой сжимает сердце. Первый раз после месяца войны он чувствует боль, оглядывает избу и понимает, откуда пришла она. В доме кавардак, какого давно не было. «Бог ты мой,— думает Трофим,— сколько же всякого хлама приходится на человека. И когда-то было заводить все это?»

Сердце не отпускает. Не натешилось оно ни любовью, ни семейным счастьем. Кажется, только вчера сыграл он свадьбу. Выставил за околицей села хлопцам четверть горилки. Выкуп за невесту. Хлопцы отвернули с дороги колоду. Трофим гикнул на лошадей, и те зазвенели бубенцами, заполыхали над лугами ленты и расписные рушники. И так без остановки, словно все под гору, под гору, до 22 июня сорок первого года. А дальше опять дороги. Паровоз, как мужик-новосел, все время в пару, в работе, и при нем будто привязанный — он, Трофим Прыгода, машинист. И во всех поездах, ночью и днем: беженцы, беженцы. Весь мир от мала до велика поднялся и бредет неведомо куда.

По серым проселочным, лесным и полевым дорогам скоро брести его жене, сыну, теще. Они еще не знают об этом, не догадываются. Они не видели, он видел. Видел, как на одном из полустанков упал замученный дорогами старик. Куда брел, от кого бежал он, одной ногой стоящий в могиле? Думал ли, что на глухом разъезде, именуемом четыреста семнадцатый километр, как у загнанного волка, хлынет из его рта пена...

Трофим принес ему в своей мазутной фуражке воды. И когда старик поднялся и снова зашагал, Трофим догнал его и отдал последний кусок хлеба. Старик спрятал хлеб за пазуху и не оглядываясь побрел по серой дороге — ни спасибо, ни до свиданья. И Трофим, провожая его взглядом, впервые понял: это война.

«Черт бы ее побрал, эту войну,— думает он сейчас.— Не могла ни погодить, ни начаться раньше, когда был один, без жены, сына, тещи... Начал обживаться, жить по-человечески. Из помощника машиниста перешел в машинисты. Кончил скитаться по чужим углам, поставил свой дом. И вот на тебе...» Трофим не может оторваться от огромного черного, окованного медью тещиного сундука, занявшего стол. «Как гроб,— думает он,— чей только неизвестно». Жена заворачивает в тряпки, кладет в сундук серебряные ложки, достает из платяного шкафа выходное пальто.

— Все в землю да в землю,— ворчит теща,— как в могилу... А носить что будешь?

— Немец же, мама, идет.

— И немец ходил, и поляк... А все равно и под немцем и под паном, а носить что-то надо. Ох, горе мое, горе.

— Горе еще будет. А сейчас... Ну-ка, Ульяна, помогай.

Трофим становится на кровать и снимает со стены ковер — тихо плывущих под луной по озеру лебедей, Ульяна помогает ему. В последний раз глядит не наглядится на них.

Плывут белые лебеди, улыбается женщина, навалившись грудью на плетень, сладко жмурится, крутит ус казак. Глядит на картину и старая Говориха и видит в ней свою вдовью судьбу солдатки первой мировой войны. Не хотела она отдавать этот ковер в дочерин дом. Понимала: в сладкой-сладкой картинке горькая-горькая доля. Но разве молодым можно сегодня перечить, можно ли в них вложить свой разум и память?

«Долго-долго еще вам, лебеди, коптиться по деревенским и городским домам,— вздыхает про себя старая Говориха.— Ох, не меняется, ничто на свете не меняется».

Под ковром стена не оштукатурена. Голые, черные, чуть омоложенные рубанком бревна. Из пазов голой, без штукатурки стены бородами свисает ломкий мох. Ульяна смотрит и говорит мужу:

— Дощикатурить бы хату, Трофим.

— После, после, Ульяна.

— Все после да после. А вот теперь как жить... У людей мужики как мужики...

— Ну, оштукатурю, а дальше? — говорит ей Трофим.— Что замолчала? Давай дальше, про соседа, у которого не дом, а лялька. Так? А у тебя не мужик, а зломка кусок?

Появляется Дима. Он открывает дверь, но не входит в избу. Висит на клямке, перебирает ногами, смотрит то на отца, то на мать. И с воплем бросается к раскрытому, стоящему на полу утюгу. Бабушка перехватывает внука.

Дима отбивается, но бабка цепкая. Не выпуская из рук внука, она садится на табуретку возле печки и больше не поднимается. Молча следит из своего угла старая Говориха, как зять с дочерью собирают вещи и укладывают их в сундук. Смирился и посерьезнел Дима. Он исподлобья рассматривает избу. Чуть прищурив правый глаз, полуоткрыв рот, смотрит на стену, на которой привык видеть ковер, лебедей. Без ковра стена кажется ему интереснее. Он дотягивается до бороды моха, пробует его на зуб. Тут же следует шлепок. Но у бабки рука для внука легкая. Дима уже примеряется к сундуку. Елозит по бабкиным коленям.

А на полу, раскрыв черную зубастую пасть, все так же стоит утюг. Лежат отцовские ботинки.

— Бабушка,— сладко шепелявит Дима.

— Что, внучек?

— А я тебя люблю.

Говориха расслабляет руки. Кажется, обманул... И тут происходит совсем непонятное для Димы. Мать хотела бросить в сундук огромную клетчатую шаль — Дима ходил в ней всю зиму,— да раздумала.

— А ну как до зимы не кончится, в чем его носить,— сказала мать.

И бабка так сдавила Диму, что ему стало больно. Куда уж тут выскользнуть из рук.

— А я тебя любил,— хнычет Дима и не смотрит ни на утюг, ни на ботинки, требует: — Пусти, пойду гороха нарву.

— Горох еще зеленый,— отвечает Говориха.

— А я пойду проверю.

Говориха спускает внука на пол. Он топает к утюгу, хватает уголек и неумело прячет в ладошке за спину Мать смотрит ему в глаза, но не ругает. В руках ее все та же клетчатая, с длинной бахромой шаль. Дима пятится от матери, раскрывает дверь, давит в ладошке уголек и убегает на улицу.

Ульяна не смотрит ни на мужа, ни на мать, но видит их, чувствует. Мать и муж для нее сейчас чужие. «Неужели они не понимают,— думает она,— в такой-то день переобуваться, наряжаться как на праздник... А эта тоже расселась, как в гостях. А может, у него какая на стороне завелась? — Ульяна прислушивается, как скрипят сапоги мужа.— Все может быть, каждую ночь поездки... Кто их поймет, эти поездки... Дура ты, дура,— тут же корит она себя,— война ведь, война...»

— Война,— произносит Ульяна вслух.

И слово это, короткое и вроде бы спокойное, будто вихрем срывает ее с места. С шалью в руках она мечется по избе. «Точно вихрь, смерч»,— думает Ульяна. В смерче, бешено крутящем пыль и мусор, в самом центре его она видит испуганные глаза сына, его ручонку, сжимающую украденный из утюга уголек.

Ульяне довелось только раз видеть смерч, девчонкой. Это было в голодный, бог знает какой уже год. Соседские дети посреди улицы ели хлеб. Она стояла возле хаты и смотрела на них. Ветер нес на нее запах хлеба, и от этого запаха как в оскомине сводило рот. Вдруг возле ног девчонки взвилась какая-то воронка. Рванул неожиданно сильный ветер. Воронка начала расти, расти и приближаться к Ульяне, по спирали ходили в воронке обрывки бумаги, щепа, трава, песок. Живой громадный штопор оторвался от земли, песком и щепой ободрал лицо Ульяны и взмыл вверх. Вкрутился в избу. Затрещала, поднялась и тут же грохнулась оземь крыша. Как живая постояла, пошаталась и рассыпалась по досточке, по жестяным заплатам. И все стало тихо. Ульяна, присев, укрыв подолом босые ноги, молча смотрела на лежащую в обломках крышу. Девчонки не могли ни дозваться ее, ни сдвинуть с места.

Прибежала мать, даже не глянула на крышу. Схватила дочь и бегом понесла к бабке, их деревенской знахарке. Знахарка два дня шептала над Ульяной и кропила ее водой, отпаивала напарами из трав. На третий день мать принесла ей последнюю в своем вдовьем хозяйстве курицу и забрала дочь домой. Что с ней было в те два дня, Ульяна не знает, помнит только, что у нее все время был страх за глаза. Их надо придерживать рукой, иначе они могут выпасть и потеряться. С глазами неладно и сейчас, Ульяна прикрывает их ладонями. Прикрывает, чтобы не видеть ставшего ей вдруг немилым дома. Среди голых, местами черных стен, среди кавардака на полу только мать, горюющая в темном углу у печки, казалась родной этому дому. Она лишь одна казалась здесь живой. И заглянувший снова в избу Дима сразу же бросился к бабушке. В его перемазанной углем ручонке было зажато с пяток плоских зеленых стручков гороха.

— Поспел! Поспел, баба! — разжал он перед Говорихой потную ладонь.

— Да нет же еще...

— А к вечеру поспеет?

— Поспеет,— сказала Говориха.

Дима вздохнул. До вечера было еще далеко.

Ульяна бросила в сундук последние, вышитые на свадьбу рушники. Потопталась, оглядывая избу, прошлась глазами по всем углам, тяжело и неловко, будто подняла непосильную ношу, зашаталась.

— Ох, куда ж это все, куда... Не дам, не дам... Трофим, мама, что ж это будет, куда вы глядите?

— Ну, вот и все,— вышла из своего угла Говориха.— Ты, Ульяна, поплачь. Повой. А ты, Трофим, готовь тележку.

Дима спрятался в бабкину юбку, как горошина в стручок. Трофим пошел к двери, постоял у порога.

— Ну, командуйте тут, мама,— сказал он.— Я за тележкой.— И быстро вышел.

Он готовил свою двухколесную, приспособленную для поездок в лес за дровами коляску, будто в глухую темную ночь собирался ехать на колхозное болото воровать траву.

Коляска была дорога ему так же, как жене ковер. Невелико богатство, но попробуй обойдись без нее в хозяйстве. Возил на тележке и картошку осенью с поля, и глицу из леса корове на подстил, а летом траву и дрова. По соседям каждый раз не набегаешься, да справному мужику и стыдно что-то в долг просить. Трофим, пока сладил свой транспорт, обошел все свалки железного лома, выпил за него со сварщиками не одну бутылку вина. И вся работа собаке под хвост. Все бросать — и жену и сына,— брать винтовку и борониться уже по-настоящему, не как на троицу, без смеха, со злостью. И злость росла в нем с каждым его шагом по родному двору, с каждым ударом по гвоздю. Он гнал их в сухое неподатливое дерево по самую шляпку. Бил хлестко и резко, будто стрелял. И казалось ему, что он вбивает эти гвозди не в доску, а себе в душу.

И душа его отрешалась от мелких хозяйских забот, перестраивалась на новую, военную жизнь, так же как лет пять назад перестраивалась с деревни на город. Привыкала после волов, «цоб-цобе» к паровозу, инжекторам, грохочущей стали рельсов. И он готов уже был со своей деревянной коляской ехать туда, где под снарядами дыбилась земля, горели хлеба, текла кровь, только бы немец не дошел до его дома, не снял с места и не погнал в пекло его семью.

Он смазал колеса. Не понравилась боковая доска. Трофим потрогал ее, подумал, навалился всем телом и сломал. Но, как на грех, взамен ее ничего не было. Трофим приподнял плохо прибитую доску на крыше сарайчика. Еще подумал, что не по-хозяйски оголять крышу: пойдут осенние дожди, вся вода потечет на дрова. И все же оторвал.

Пора было переносить вещи. Но Трофим все тянул. А теща с женой ждали его. Они сидели молча и прямо в отдалении друг от друга. Такими они сидели, когда Трофим пришел к ним со сватами.

«Слава богу,— будто мотала пряжу, вспоминала сейчас старуха.— Зять достался неплохой, грех жаловаться. Не обижал и дочку и за мной доглядал... А что будет дальше?» Она не боялась войны. За свой век она три раза горела. Бывало, выскакивала из огня с детьми в чем только мать родила. По-новому заводила хозяйство, вставала на ноги. И это с тринадцатью детьми, без мужа. Ей не везло на мужей. Свой, родной, не вернулся с германского фронта, а два примака были неплохие, хозяйские мужики, оба померли. Два раза в самые голодные годы ее обкрадывали, выводили корову, уносили курей, оставляли только стены да то, что было у нее и детей под боком. Не жаловалась, билась из последнего, но ее дети с торбой за спиной не ходили по дворам и селам за куском хлеба, как соседские.

Не боялась старая Говориха умереть. Она верила, что переживет войну. Боялась за детей, у каждого из них были уже свои дети. Вот за них, внуков своих, и болело у нее сердце. Случись что-нибудь с их родителями, сумеет ли она поднять всех этих Дим, Петров, Марусь...

Дима, пригревшись, как котенок, молчал у бабкиных ног. Ему пора было спать. Он хорошо знал свой час. Но всегда надеялся: авось родители забудут. Надеялся и сегодня, потому и молчал, старался не обнаружить себя.

Ульяна не вытерпела:

— И куда он запропастился, окаянный? Мотает жилы!

Дима испугался и захныкал.

— Что тебе? — Ульяна взяла сына на руки, почувствовала, как к горлу подступает тошнота.

Первый раз она почувствовала это в то памятное воскресенье, но мужу ничего не сказала. Он без нее в то воскресенье за один день почернел. Сейчас она думала, что ей делать. Говорить мужу, или потихоньку, не тревожа его, искать подходящую знающую бабку, или оставить все как есть. Может случиться и так, что родить не успеет. Немец, говорят, где-то рядом.

— Поехали.— Трофим появился на пороге.

— Яму копай глубже,— сказала теща.— Дальше положишь, ближе возьмешь. Соломы бы постлать на дно. Солома не дает гнили. Слышишь?

— Ладно,— отозвался Трофим.

— А ты, Ульяна, собирайся тоже,— распоряжалась теща.— Все под богом ходим...

— Молчи! — накинулась на мать Ульяна.— Хотела, а теперь никуда не пойду. Пропади оно все пропадом. Трофим, куда я без тебя?

— Не хоронишь же еще? — отстранил жену уже далекий и не принадлежащий ей Трофим, и она бросилась сначала к машинке. Погладила ее, припала к сундуку. И вдруг сникла, отошла. Села на материно место в углу, у печи. Все эти скрытые для глаза, упрятанные в узлы вещи сразу стали ей ненужными. Вековечная бережливость еще приказывала в последний раз проверить все и проследить, чтобы ничто не потерялось, не разбилось. Но эта же деревенская трезвость подсказала Ульяне, что все эти костюмы, отрезы, платья, машинка — наживное. Душа зашлась в жалости к мужу. Ульяна, выросшая без отца, ценила мужа, ценила как отца своего ребенка, как мужчину в доме. Она любила Трофима, но любовь сейчас молчала. Война отнимала у нее опору, руку. По-другому смотреть в эту минуту на Трофима Ульяна, как ни старалась, не могла. И чтобы перебить это нехорошее, некрасивое, что встало между ней и мужем, она всплеснула руками и запричитала:

— Кто все это донашивать будет? Кто на машинке моей шить будет?..

— Собралась бы, прошлась,— не отставала от дочери мать.

— Не, мама, немило уже все мне. Чую я... Дима, ты пойдешь с папой. Иди, все запоминай. Все это твое. Запомнишь, Димочка? Иди.

— На новую квартиру? — обрадовался Дима и сноровисто боком, боком заковылял к порогу.

Без жены, вместе с тещей зять вынес и погрузил на коляску вещи. Хотел ехать, но теща хватилась:

— Куда ж ты без лопаты? Пальцами копать будешь?

Пока Трофим разыскивал лопату, на крыльцо вышла Ульяна, склонилась над Димой:

— Гляди, сынок, запомни, все запомни.

Дима поглядел на стоящее над избой солнце, перевел сощуренные глазенки на мать. Трофим толкнул тележку и почти бегом выкатил ее со двора. Жена с тещей вышли за ворота и долго смотрели ему вслед.

— Одурела ты совсем,— сказала Говориха дочери.— Запоминай. Как будто он что соображает. Запомнит...

Но Дима все же запомнил. Запомнил не место, где с отцом схоронили вещи, а гораздо большее — день со всеми красками, цветами, радостью и печалью. Это было первое остановленное им мгновение жизни.

Много лет спустя стоило ему только подумать о том дне, прикрыть глаза — и он сразу видел мать. Не всю, правда, а только уроненные на колени белые руки, видел сидящую у печки бабушку, похожую на добрую, но ослепленную солнцем сову. Перед его глазами все время двигался, мельтешил отец. Он хорошо помнил его синий железнодорожный китель, горячие от солнца сапоги. Помнил тележку у крыльца,

желтое неподвижное солнце. А что не смог запомнить, то позже увидел во снах. Сны его об этом дне, чем больше проходило времени, становились отчетливее и подробнее. И сейчас он знает все. Знает не только то, что было в этот день, но и то, что было до и после него...

— Вот видишь, я сдержал уговор,— сказал я, спрятал листки и закрыл чемодан.— Что же ты молчишь?

— Кто такой Дима? — спросил подросток-пастух.

— Ты не узнаешь себя?

— Меня зовут не Дима. Я не знаю ни Говорихи, ни Ульяны, ни Трофима с этой глупой фамилией Прыгода.

— Но все они жили на улице Подольской.

— А я их не знаю...

— Но поверь мне, это ведь все о тебе. Ты ведь начинаешься с того дня, о котором я тебе рассказал. В твоей жизни был такой день?

— Нет, ты все придумал. Это было ни с каким не с Димой. И совсем по-другому... День этот был короткий-короткий. Как будто не в самом деле. И серо-серо, как вечером в лесу у костра. А потом я увидел солнце, как желток в молоке, оно стояло на месте и совсем не высоко. Я поглядел на него, и мы с папой пошли. Сначала мы шли полем, и поле все белое-белое, сухое, без травы. И я все время щурился, потому что солнце было и на земле, лежало у меня под ногами и слепило. И в лесу так. Иглы у сосен были желтыми, и много-много игл. Я на них щурился и устал. Папа посадил меня в коляску. И еще я помню крышку швейной машинки, желтую и горячую, и песок желтый. И вообще все было горячее и яркое-яркое. Настоящее. Желтое так желтое, белое так белое... Ты все испортил.

— Так уж получилось... Хочешь, я все порву. Я уже рвал много раз. И это бы порвал. Но боюсь: буду рвать и забывать, забывать. Пусть все остается как есть. Я приехал, чтобы все показать тебе... Но кем ты стал? Кто ты есть?

— Фезеушник...

— Такой большой? Фезеушники такими не бывают. Ты врешь.

— Да... ФЗО я уже окончил давно. А фезеушником останусь навсегда, в душе как бы. Таковы мы оба с тобой. На всю жизнь подпоясаны широким фезеушницким ремнем с блескучей пряжкой. Мы с тобой начались и кончимся под смех и плач деревенской гармошки. И как мы ни будем шустрить, всегда, как тень, следом за нами будет идти наша фезеушницкая память, война...

— Да... Стоило ли уезжать отсюда? Столько лет где-то шляться, чтобы навсегда остаться фезеушником. Вся наша Подольская, как ты говоришь, в душе фезеушная.

— Хорошо...

— Что же хорошего? Работа. Работа. Грязь. Недостача... Кино по праздникам. А ведь я видел тебя летчиком, геологом, ученым, министром. А ты... фезеушник. Ты дурак?

— Иногда.

— Я так и знал. Мачеха говорила тебе правду. На ее месте я бы не давал тебе даже хлеба с сахарином. Одним фезеушником больше, одним меньше.

— Иногда, когда я чувствую себя дураком, я тоже так думаю. Но что ты можешь знать о фезеушниках? Не сахар у них, конечно, хлеб...

— Это уж я знаю.

— Ни черта ты, брат, не знаешь... Фезеушником, настоящим, не так-то просто стать. Это, может быть, еще потруднее, чем выбиться в министры.

Про хлеб фезеушницкий

— Помнишь вонючий лесок и овраг в нем, куда мясокомбинат вывозил отходы? На поляне возле этого леска ты с мачехой полол просо. Солнце стояло высоко. Просо разомлело от жары, стало серым и квелым, вы с мачехой тоже. С утра у вас не было во рту маковой росинки...

— И пришел батька. Принес булку хлеба. Без одной верхней корочки. Он тоже был голодный и ощипал корку, пока шел к нам. Хлеб пах мазутом. Папа пришел на поле прямо с поездки, в грязном. Он сказал: «Зайчиков хлеб»...

— Он всегда говорил так, когда возвращался из поездок и доставал хлеб из своего сундучка. В тот день мы втроем под сосной на краю просяного поля разломили зайчикову буханку и всю бы съели, если бы мачеха не опомнилась и не спрятала горбушку на вечер. В жизни вкуснее хлеба, чем тот, недоеденный мною, я не пробовал.

— А ты помнишь, как я его ел? Я отламывал по крошкам, мял в руках, закатывал в середину по щепотке соли. Клал катышек хлеба на нёбо и сосал, как конфету.

— Я про это забыл. Вот откуда, значит, я люблю соль. Так вот фезеушницкий хлеб был так же сладок, как и зайчиков. По вечерам, когда ФЗО уже засыпало или готовилось засыпать, когда был сыгран отбой, мы доставали из-под подушек и матрацев припасенные с завтрака, обеда, ужина краюхи, а по-фезеушницки птюхи — порции хлеба. Делили всем поровну и жевали неторопливо и бережно, как беззубые старики, как коровы жуют жвачку. Иной раз мы были и не голодны, но все равно под подушками, в подушках, чтобы не нашел мастер, прятались птюхи хлеба на всякий случай. Мы еще в Белоруссии были приучены заглядывать хотя бы на день вперед. Кто такие мы? Фезеушники-детдомовцы. Ты же знаешь про детдом?

Мы покинули его неожиданно. Уехали из Белоруссии далеко, и многие навсегда. Уехали в Сибирь, в ФЗО, чтобы стать шахтерами. Белоруссия в тот год могла нас обучить только специальности столяра-краснодеревщика: такие разнарядки по Белоруссии получил наш детдом. А тут вербовщик из Сибири, из Азии — набор в шахты.

Сначала нас было шестнадцать детдомовцев-белорусов. И Сибирь, ФЗО для всех нас шестнадцати начались с хлеба. В ФЗО нас не успели переодеть, как были в детдомовском, так и отправились на уборку первого целинного урожая. Ты не можешь даже представить, сколько сразу увидел я хлебов. Огромные, будто скирды соломы на токах и сушилках, бурты пшеницы, нескончаемые, как шляхи, гоны пшеничных полей. И работа, работа, работа до одурения. Я сначала попал на комбайн. «Пойдешь работать к Потемкину»,— сказал, улыбаясь, бригадир-полевод.

Уже на второй день я понял, почему он улыбался. Потемкин был совсем не Потемкин. Степан Кутный была его фамилия. Низенький, хилый мужичонка, кажется, кривоногий, но за это не ручаюсь, потому что я не видел, как он ходит по земле при свете дня. Он все время был на комбайне один, без штурвального. Штурвальные от него посбегали. И стоял он на мостике без смены, в хорошую погоду — в старом, без пуговиц, бог его уж знает какого цвета пиджаке или такой же бесцветной, застегнутой под подбородок гимнастерке. Мне с копнителя была видна его худая, давно не мытая шея да часть спины с налипшими на одежду остьями пшеницы. Когда накрапывал дождь или сыпал снег, Кутный надевал брезентовый дождевик и по снегу и дождю продолжал уборку Над кабиной комбайнера торчал, покачивался только остроко-

нечный дурацкий колпак брезентовика. Как он выводил меня из себя, как мне хотелось прицепить к нему погремушку...

Но в первый день мне понравилось на копнителе комбайна. Было солнечно и тепло. Беспрерывно и густо сыпалась пшеничная солома. Я воображал себя Ильей Муромцем, этаким богатырем с вилами-копьем в руках, вставшим перед всеми змеями-горынычами. И Потемкин для меня еще не был Потемкиным, и он мне тоже нравился. Он походил немного на отца. Добрые, но несколько подзавядшие и выцветшие на солнце глаза, добрые, мягкие, вконец изъеденные солнцем волосы, а на щеках две глубокие, охватывающие лицо подковой морщины. И все это подсвечено мягкой, чуть даже стеснительной улыбкой: каков уж, мол, есть, таким и принимайте, люди.

Но день шел, шел и не кончался. Комбайн ходко бежал по полю. Горло и уши забило остьями пшеницы. Глаза слезились, но я не пытался вытирать их. Вяло ковырялся вилами и исправно жал на педаль сбрасывателя. Ко всему сбрасыватель где-то заело. И приходилось прыгать в копнитель, руками оттягивать защелку, вместе с соломой вываливаться на стерню. А комбайн шел ровно и быстро. И мне надо было бегом догонять его, закрывать на ходу копнитель. А ноги уже не слушались. Умер, испарился Илья Муромец, а змеев-горынычей прибавилось. Они уже были не только в глазах и ушах, но и кололи спину, подмышки. Горели в тяжелых кирзовых сапогах ноги.

Но я знал — мне надо выстоять. Сначала я говорил себе, что мне надо выстоять, потому что я убираю хлеб. Хлеб, которым я мог накормить батьку, мачеху, детдом, весь мир. Но после полудня я уже и думать позабыл, что я убираю. Мне надо было выстоять, потому что стоял у штурвала Степан Кутный. Стоял и покуривал махорочку с самосадом, и ветер нес на меня вместе с запахом хлеба сладковатый запах самосада.

А мне было горько. И я теперь знаю почему. Ты помнишь, и дома и в детдоме — нигде я не был белоручкой. Я считал, что знаю работу и не боюсь ее. Дома я пас коров, рубил дрова, греб сено. В детдоме я наравне с мужиками косил, метал стога. И лугу ли, лесу ли, полю, думалось мне, не родной ли я? Я не боялся самой черной работы, знал: глаза боятся, а руки делают. А тут, на поле, испугались и глаза и руки. Я испугался, что солнцу не будет заката, полю — конца, Степану — устали. Я, когда забирался на копнитель, чувствовал себя огромным и сильным. А тут будто приплюснули меня, сжали, и стал я меньше мухи, комаром, я считал, что меня можно сдуть ветром. Боялся, что затеряюсь в сваленной копне соломы.

Признаюсь тебе, я заплакал. Я плакал тягуче, нудно и долго. Пока не разозлился на паскудное бесконечное поле, на хлеб, за которым пришлось ехать на чужбину, на весь белый свет. И я бился со всем этим белым светом, колол его железными вилами и, как в омут, вниз головой бросался в солому и срывал защелку копнителя. Барахтался и выползал из копны на стерню, как выползает среди зимы из своей берлоги поднятый охотниками медведь. И когда комбайн наконец остановился, я тут же бросился к Степану:

— Что?

— Гляди-кось! — уставился на меня Кутный.— Торопишься?

— Тороплюсь...

— Запаришься.

Он обошел меня и направился к копне соломы. Начал прощупывать измочаленные молотилкой колосья.

— Две нормы, хлопец, мы с тобой сегодня ахнем. А ты откуда такой ушлый?

— З Беларуси... З Палесся...

— Знаю. «Мокрай трапкой па голаму бруху» — гавораць?

— Гамонять.

— Гляди-кось, гамонять?

— Гамонять. А ты, гаманливы таки, в войну кем был в наших краях?

— Ну-ка, следователь, бери вилы. И гляди-кось у меня. Копны по всему полю, как понос тебя прохватил, раскидываешь. Ставь рядком да ладком.— Ворча что-то себе под нос, он поднялся к штурвалу.

И все пошло сначала. Только мне работалось легче. То ли вечер снял усталость, то ли я приноровился, но поля не боялся, не боялся работы. Руки за день хотя и отяжелели, но я опять чувствовал в них силу. Сам по себе наладился и сбрасыватель у копнителя. Я огляделся, и мне, знаешь, понравилась Сибирь. Конечно, не Белоруссия, не наш лес, не наше поле, но тоже хорошо.

Стоял сентябрь, а береза уже пожелтела. Много березы — и по краям поля и на самом поле. Желтая пшеница, желтые скрасна листья березы, а трава еще зеленая. И вокруг тихо. Вдали, среди берез, бьется в свету, играет в закате солнца небольшое озерко. От него ползет по полю холодок. А комбайн развешивает, как ленту, сероватый и теплый шлейф пыли с дымом. И въезжаешь в этот шлейф, будто входишь в наш родной дом. Пахнет свежим хлебом и чуть-чуть керосином.

Солнце раскраснелось и нырнуло то ли в озеро, то ли в березы. Степан остановил комбайн. Я думал — все, отработались. Но Кутный не торопился глушить двигатель.

— Иди сюда! — крикнул он мне и привалился к копне соломы.

— А я тебя и отсюда вижу,— ответил я ему.

— Так ты хочешь знать, где и кому я служил в ваших краях?

— А мне все равно, где и кому ты ни служил.

— Партизанил я в ваших краях.

— А я не следователь...

— Гляди-кось, все еще не отошел... Народ ваш не сердитый, работящий, гляди-кось, как ровно копны ставишь.

— Две нормы есть? — спросил я его.

— Две-то есть.— Он подошел к копнителю.— Третью бы надо было. В потемочках, в потемочках, глядишь, и наскребем. Свежо, лунно будет, пока пшеница отойдет, мы и урвем. Погода стоит... Хочешь не хочешь, а рви, пока хребтина не треснет.

И комбайн пошел в потемочках. Пошел быстрее, чем днем. Потемочки стали ночью; как на мороз, вывалилась яркая и полная луна. А Потемкин и не думал покидать полосу. Я несколько раз задремывал. И наверное, уснул бы, если бы ветер не донес до меня голос Степана. Я встряхнулся и прислушался. Кутный пел. Тогда начал петь и я. Бог его знает что выкрикивал я в ту ночь, даже охрип.

Степан остановил комбайн, когда начали сереть звезды.

— Как в копнитель набьется полно соломы, так крикнешь мне. Пошабашим. Четыре нормы.

Я не помню, как мы приехали к полевому стану. Кутный ли занес меня в будку, сам ли я зашел, не знаю. Остаток ночи я так же яростно, как и днем, боролся с соломой. Барахтался и бился в ней: то она меня засыпала и я умирал, то я вновь оживал и вылезал из соломы. И наконец выбился из сил, сдался. И тут почувствовал, что меня кто-то трясет за плечо. Я изо всех сил старался притвориться сонным, мертвым. Но меня подняли с нар и поставили на ноги.

— Иди умойся,— услышал я голос Степана и хохот ночевавших в будке механизаторов.

Я так и не понял, над чем они хохотали. Открыл глаза, а сам прислонился к нарам. Надо мной склонился Степан. Глаза его были красными и слезились, красным, будто протертое рашпилем, было и лицо. А шея, как и вчера, оставалась непромытой. По кадыку чередовались, бежали к впадине на груди темные и светлые полоски: как стекала вода, так и остались следы.

— Угробишь парнишку, Потемкин,— гудели мужские голоса.— Не двужильный и ты. Пораньше приезжай, хоть на бабу сил немного оставь.

Я шел к умывальнику так, будто только сегодня утром научился ходить, и не верил ни в твердость земли, ни в свои ноги. А в спину мне, кажется, вбили кол. Я был весь прямой и негнущийся. Меня сейчас можно было переставлять и двигать, как вещь. И за столом колом стали в горле и масло, и хлеб, и каша. Я не думал,что впереди у меня такой же бесконечный, как и вчера, день, и не боялся его. Мне было все безразлично.

До серых звезд я выстоял на мостике копнителя и второй день. Много дней. Потерял им счет. Все они утонули в гуле мотора комбайна, в копнах соломы, в мелькании желтых пшеничных полей, в белых березовых колках. И когда настал день — комбайн Степана Кутного-Потемкина сломался, я не обрадовался. Чувствовалось приближение зимы: уже высыпал по утрам на пшеничные валки иней, все чаще на целые дни небо затягивали холодные, низко идущие над землей тучи и вперемешку с дождем громадными хлопьями валил снег. А хлеб, очень много хлебов лежало и стояло в полях у черных озер, у голых колков. Видеть, как гибнет хлеб, как он, живой и темный, мертвеет, покрывается синью и вбивается непогодой в землю, слышать, как гудит в сломанных, уже негнущихся стеблях холодный ветер, страшнее самой страшной усталости и работы.

Тот самый бригадир, который направлял меня на копнитель к Потемкину, приехал на полевой стан. Мы со Степаном ждали летучку.

— Поможет летучка? — спросил Степана бригадир.

— Как мертвому припарка,— сказал Степан.— Все. Моя уборочная кончилась. Отпелся.

— Как хлопец? — кивнул бригадир на меня.

— Сколько ты ему там написал?

Бригадир достал блокнот, посчитал и присвистнул:

— За полтораста трудодней.

— Пусть хлопец остается со мной. Гляди-кось, выправлю свой гроб с музыкой. Выйдем снова на подборку... А нет — отдохнет.

— На сушилке не хватает народу. Горит хлеб...— И бригадир на своем мотоцикле отвез меня в деревню.

До этого я нигде не видел и не слышал, что хлеб может гореть. Оно и понятно. Зерно горит тихо. Кончается, как человек, у которого уже нет сил бороться с болезнью. Так же молча, как возле покойника, ходят мимо него люди. Разница лишь в том, что в такие минуты этим людям нельзя попадаться под горячую руку. Помнишь, как тебя однажды беспричинно выпорол отец? Я понял причину, когда попал на ток. Вспомнил: перед этим как раз к нам приехала бабка и в слезах рассказывала, что в колхозе выкашивают пшеницу и жито — зеленя, сеют многолетние травы: «Мужики плачут, а косят». Ты тогда сказал бабке: «Дураки. Раз жалко, не надо косить».

Рассудил... твоя беда — правильно рассудил. И отец это знал без тебя, и мужики знали, и бабка наша... И отец в ту минуту бил не тебя, а того, кого не мог побить, бессилие свое и боль.

На току в сушилке Сибири я понял отца и мужиков, которые плакали, а косили жито и пшеницу-зеленя...

«Одним совком меньше... еще одним... еще одним...» — подгонял я себя и шуровал распаренную пшеницу в ненасытную железную утробу сушилки «ВИСХОМ». Железные челюсти черпаков конвейера подхватывали зерно и несли в жар. Они бежали наверх переполненными, а из нижних люков пшеница еле сочилась. Я старался не смотреть туда.

Меня раздражала спокойная неторопливость моего напарника Лени Дрозда. Он работал в фуфайке и, казалось, еле поворачивался. Вонзал совок в пшеницу и нес ее в приемник, словно отец новорожденного.

— Шуруй, Ленька!

Совок мелькает в моих руках. А Ленька только улыбается. Русый его чуб описывает плавные круги-дуги от бурта к приемнику, от приемника к бурту. Через два часа я устал. Совка из рук не выпускал, но он тянул меня за собой. Мне очень хотелось упасть на него и не подниматься. И будь что будет. Гори она ясным огнем, эта пшеница. Через полчаса, час я бы, наверное, упал, но не выдержал Дрозд. Неторопливо прислонил совок к «ВИСХОМу», разгреб соседний с нашим бурт зерна и сказал мне:

— Ложись.

Приказал. И я лег в горячую пшеницу, как в постель. Ленькин чуб описывал все те же плавные дуги: от бурта к приемнику, от приемника к бурту. Я лежал, смотрел на это равномерное покачивание напарника, и перед моими глазами вставал деревенский луг. Так же плавно и неудержимо мощно покачивались, ведя косу, косари в пестрядных белых одеждах, так же нетерпеливо и сонно на глаз вели серпами жнеи, зная, что до конца полосы — как до неба. Так же размеренно поднимался над головой кряжистого дядьки колун. И разлетались, лопались, как переспевшие арбузы, крученые дубовые чурки, жменя к жмене ложились в сноп жито и пшеница, плыли по левому боку от косарей ровным рядком подрезанные травы.

— Леня! — закричал я.— Леник, зачем ты послушал меня, зачем ты поехал в Сибирь учиться на шахтера? Тебе нужно не уголь добывать, а хлеб растить. У тебя это лучше получится. И тогда все будут сыты.

Дрозд смотрел на меня, как мы все смотрели на директора детского дома, когда он уговаривал всех нас стать садовниками, и улыбался, как обычно в детдоме, когда мы, детдомовские активисты, тянули этого авторитетного для ребят парня в «общественную жизнь». Улыбался простецки, но, как всегда, помалкивал. И я чувствовал себя с ним как в кабинете директора.

— Ты только правильно пойми меня, я хотел как лучше,— сказал я Дрозду.

— Я понял.— Дрозд на минуту опустил совок.— Я давно понял. И не за тобой я в Сибирь потянулся. В чужом краю среди чужих людей легче искать себя, просторнее. Мы же пока с тобой казенные люди. Нас никто не спрашивает, чего мы хотим, нам дают что есть.

— Я выбираю свою дорогу сам,— сказал я.

— Это хорошо,— ответил Дрозд.— Но это тебе только кажется. Выбирать нам еще придется не скоро. Пока же мы люди казенной судьбы. И кончится она, когда все кругом будут сыты.

— Ты такой умный, что я ничего не понимаю. Научи же меня, как мне жить?

Дрозд опять улыбался простецки и ясно, как улыбался мне в ответ отец, когда я приставал к нему с расспросами о его солдатских подвигах, о его четырех годах на войне.

— Я брату хочу написать,— сказал Дрозд.— Пусть приезжает сюда в Сибирь. Тут все есть. Земля, вода, трава. Хозяин только нужен — голодный и работящий.

— А мы где нужны? Кому и зачем? — не отставал я.

— Мы еще не хозяева,— ответил Дрозд и вздохнул.— Мы горелики, как наш Вася Горелик, как картошка сверху в чугунке — еще сырая, а уже подгорела.

Скрежетали и злились сушилки и веялки, красно светились в сизом тумане тлеющие вполнакала электрические лампочки. И вдруг наступила тишина и темнота. Умолк железный лязг «ВИСХОМов» и «Кузбассов», перестал тарахтеть колесный трактор, крутящий динамо-машину сушилки. Дрозд в темноте отыскал меня и улегся рядом.

— Один — ноль,— сказал он.

— Что? — не понял я.

— Один — ноль...— повторил Дрозд.— В нашу, а может, и не в нашу пользу.

Приводной ремень к динамо-машине порвался. Перекур с дремотой.

— Починят.

— Опять порвется. Три — ноль за ночь. Еще раз порвется ремень. Потом загорится зерно в сушилке «Кузбасс» — это когда кочегаришку Горелика нашего мастер под утро водой обольет. Тогда будет три — ноль.

— В чью же пользу?

— С одной стороны, в нашу. Нам что... Мы не сеем и не пашем. Хозяина не видно. Председатель колхоза изо дня в день талдычит: «Товарищи фезеушники, хлеб — наше богатство. Наша задача в срок и без потерь убрать его, не дать ему сгореть. Все до последнего зернышка — в закрома...» Мы здесь больше трех недель, и каждый день я слышу одно и то же. За это время и попугая можно было бы другим словам обучить, а этот, видно, на всю жизнь заведен одни и те же слова повторять.

— А что ему остается?

— Ничего.— Ленька повернулся ко мне.— Я бы на его месте хоть ремень хороший на сушилку дал. Колхозников бы на сушилку поставил — всю деревню, а то они картошку в своих огородах копают да по базарам ездят... Сгорит пшеница.

Я молчал.

— Уже сгорела.— Дрозд отвернулся от меня, заелозил, зарываясь поглубже в пшеницу.— А в детдоме — семь лет я в нем прожил, и ни в один из годов не удалось и попробовать из детдомовского сада спелого яблока. Весной в столовой нашей на первое и второе такой кондер: крупинка за крупинкой гонятся с дубинкой. И прямо из столовой все мы в сад на яблони, как гусеница, за весну всю завязь объедаем... А тут — горит пшеница, сгорела. Все уже знают, и председатель тоже. Хлеб от нас идет не на элеватор — там своя запарка, свой горелик и свой ремень держит все. Переливаем из пустого в порожнее.— И он заплакал, засморкался в прелую пшеницу.

Я лежал, слушал, крепился и тоже не выдержал. Плакать было сладко и легко. Сладчила во рту перегоревшая пшеница. Слезы катились к подбородку, пощипывали и беззвучно падали в зерно. Пощипывали и духмяно парили сушилки, тихо постреливало остывающее от жара железо. Жаром полнилась грудь.

— Ты почему плачешь? — спросил я Дрозда.

— Не знаю,— ответил он.

— Я тоже. Хочется плакать, и все тут. Не стыдно даже.

— Больно,— сказал он.

— Ты плачь в голос,— посоветовал я ему.— Все равно никто не услышит, зато легко будет. Я, когда поменьше был, всегда с криком ревел.

— Не могу,— сказал Дрозд.— Стараюсь, а не выходит, как раньше.

И мы тоненько попробовали завывать. Но слез уже не было. Горело только лицо, а дышалось легко, будто после грозы. Мы молча лежали в теплой пшенице и не могли понять, с чего разревелись.

Вася Горелик, кочегар «Кузбасса», Дрозд и я жили в одном доме. Вместе и вышли со двора сушилки.

— Какой сегодня сон видел? — спросил Горелика Дрозд.

Вася не ответил. В детдоме я его плохо знал. Он приехал недавно и был в другой группе.

В детдоме он жил особняком, никого не подпускал к себе, никого не задевал сам. Ни с кем не делясь, жевал по ночам коржики и печенье, хрустел яблоками, которые присылала ему мать. Его не любили, но не трогали. Больно уж противно верещал и плакал он после драк. И всем было боязно его дикого страха. Но по дороге в Сибирь Горелик начал нам нравиться. Благодаря ему мы были сыты все шесть длинных суток пути. Каждому из нас на дорогу выдали всего лишь по пятерке. А Вася умел торговаться со старухами на привокзальных базарчиках. Умел выждать и не упустить тот миг, когда раздавался свисток паровоза и цены падали.

— Я надую всех и уеду отсюда,— говорит он сейчас.— Я буду летчиком, а не фезеушником. Кроме хлеба, вам ничего не надо. Вы ничего не знаете о небе. И правильно, что никто не считает вас за людей.

— Поколотим? — спросил я Дрозда.

— Без пользы,— сказал он,— его бить, что облезлого пса. Поджимает хвост и все равно лает.

— Я человеком хочу стать,— с болью сказал Горелик.— А фезеушники не люди. Недаром анекдоты о них рассказывают. Одна бабка жалуется другой: огород испортили, огурцы потоптали. Фезеушники, наверное, сочувствует соседка. Нет, отвечает ей бабка, следы-то человеческие...

— Это о тебе анекдот,— сказал Дрозд Горелику,— о тебе. Уже потому скотина, что так о других людях думаешь. Хороший человек о другом до такого не додумается. Это я тебе поклясться могу. Хороший человек, он везде хороший.

— А я плевал на это. У меня цель. Когда добьюсь ее, я тоже буду хорошим. Когда человек добился всего чего хотел, ему только и остается как стать хорошим. А пока надо учиться кусаться и меньше верить всяким там словам.

— Сволочь ты,— сказал Дрозд.— Бог жабе пока хвоста не дал. Отрастишь хвост — будешь великой сволочью. Вострн лыжи, смывайся из ФЗО, потому что тебя в нем и прибить могут.

— И убегу,— напрягся, застыл, будто и впрямь собрался бежать, Горелик.

— Не успеет убежать,— обернулся ко мне Дрозд.

Однако Горелик победил мастера, довел его до белого каления. Мастер ставил Горелика на все работы: и на комбайн, и на прицеп, и к «ВИСХОМу», и к веялке. И отовсюду наш Вася или сам сбегал, или дожидался, когда его гнали. Сейчас он на самой сачковой должности — в кочегарах, но и тут сачкует.

— Мастер хороший? — спросил я Дрозда.

— Сам увидишь

С Дроздом мы в детдоме были в разных группах, подружились в дороге. Нас четверо друзей: Дрозд, я, Толя Беликов и Коля Казерук.

Толя где-то в поле на комбайне, а Коля в деревне, отвозит зерно от комбайнов. Я очень хочу увидеть его, но не знаю, смогу ли сегодня. От жара «ВИСХОМа» горят щеки, ноют предплечья и почему-то ноги. А спать не хочется совсем. Потемкин отучил.

Хозяйка, высокая и крепкая старуха, наливает нам в огромные эмалированные кружки молока. У Горелика в кружке, как говорят, с верхом, а у нас чуть побольше половины. «Бог с ним,— думаю я,— скорее бы до постели». Разморило в тепле. Хлеб перед нами свежий, теплый, видно, был поставлен в печь на ночь. Ноздреватый, мягкий, пышный пшеничный хлеб с коричневой, как у боровика, корочкой. Ни в детдоме, ни дома я такого не ел. Я сжимаю положенную передо мной хозяйкой горбушку и тут же расслабляю ладонь. Горбушка распрямляется, будто я ее не сжимал. Хороший хлеб, по-хозяйски выпечен. Я сегодня заслужил его.

...Сладок, говорят, хлеб заработанный. Не верь, не верь этому. После работы, когда ты не можешь пошевелить ни ногой, ни рукой, хлеб горек. Не веришь мне — спроси об этом у тех, кто растит и печет этот хлеб. Спроси любую из домохозяек: сладок ли ей обед, ужин, после того как она трижды угорит у печи или плиты? Горек, когда ты видишь, как гибнет хлеб, и ничем не можешь исправить этого, хотя ты силен и работящ. И я чувствовал — горчит моя горбушка, отдает запахом браги и сизым туманом... Сладок хлеб в памяти, сладко вспоминать.

На следующий день Горелик убежал на работу раньше нас. Но когда мы пришли на сушилку, среди ребят его не было.

Тракторист опять клепал приводной ремень.

— Как ты работаешь? — злился, глядя на него, мастер.— Это же не ремень, а гремучая змея, склепка на склепке.

— Так и работаем: сутки чиним, час едем.— Тракторист был пожилой и спокойный.

— Я бы не поехал,— наседал на него мастер.

— А едешь.— Тракторист неторопливо и аккуратно постукивал по заклепкам.— Запрягли, и едешь.

Мастер сплюнул и отошел к нам.

— То-то и оно-то,— рассудительно продолжал тракторист.— Все мы так, на словах только. А вот справку за вашу работу сельсовет не дает вам. А без справки ты что?.. И мне справка нужна. Помню, в тридцать девятом году...

— Пошли,— сказал мастер,— пошли, сейчас поедем.

Но поехать нам не удалось еще с полчаса. У тракториста что-то случилось с трактором. А мастер хватился, что нет Горелика. Некому кочегарить на «Кузбассе».

— Где он? — вскинул голову в сторону Дрозда мастер.— Где он, староста?

В пообтертом, коричневом с красной искрой костюме мастер и впрямь показался Дрозду петухом, и Дрозд улыбнулся:

— Не знаю, Владимир Дмитрич. Опять, наверно, портянки забыл и на полдороге вспомнил. Пошел наматывать. А может, в лужу влез, ноги промочил и сейчас сушит у костра.

— Шутишь?

— Горелик с нами шутит,— сказал Дрозд.

И тут появился Горелик, как маятник, покачиваясь взад и вперед. Подошел к мастеру. Владимир Дмитрич выжидающе молчал.

— Иду сейчас я мимо кукурузы,— сказал Горелик.— Ти-хо, ти-хо. И вдруг ветер как зашумит — у-у-у, да снова у-у-у...

— У-у-у,— протянул мастер, подражая Горелику.— А дальше?

— А дальше... Как шарахнет по кукурузе, большой, черный...

— Конь,— подсказал кто-то Горелику.

— Корова,— обиделся Вася.— Шпион. Усы — во. Рожа... шпионская. И что-то закричал. Ну, я не дурак, ни дрына, ни винтовки... Как смальнул в кусты.

— Кто?— спросил Дрозд.

— Шпион.

— А ты?

— А я в кукурузу. А потом вокруг деревни... И вот дрожит все, а на работу иду...

— Иди, иди,— сказал мастер.— Иди, Вася... домой. Собирай манатки — и в училище к замполиту. Скажи: Окунев отказывается от меня категорически. И передай ему: пусть он тоже от тебя отказывается. Понял? Передашь?

— Передам... Спасибо, Владимир Дмитриевич.

— За спасибом я к тебе лет через пять приду. Сам разыщу...

Горелик повернулся и, ни с кем не прощаясь, пошел.

— Портянки свои не забудь! — вдогонку ему крикнул Дрозд.

— Хорошо,— обернулся Горелик, постоял, посмотрел и скрылся навсегда.

У сушилки все время ворчали подъезжающие с зерном от комбайнов грузовики. Я все надеялся увидеть Колю Казерука. Но он, видимо, отвозил хлеб на другую сторону.

— Северное сияние! Северное сияние!

Мы с Дроздом отложили совки. Но сияния в ту ночь я толком не рассмотрел. Приметил только очень далеко, у самого горизонта, какую-то радугу. Но радуга вытянута по всему небу, а сияние только по краю и полукольцами. И холод от них. Может быть, это была просто холодная ночь, не знаю. Но я раза два или три передернул плечами, озяб. На меня шел грузовик. Я посторонился. Один из грузчиков спрыгнул из кузова. Я хотел спросить, кто у него напарник. Но грузчик приложил палец к губам и прошептал:

— Ти-и-хо...

Открыл боковой борт. К моим ногам хлынуло зерно. Вместе с зерном полетел на землю темный барахтающийся ком.

— А? Что? Куда?

С закрытыми глазами и склоненной набок головой передо мной стоял Коля Казерук. Рядом хохотал, держался за живот грузчик:

— Спит! Спит, как сурок. Лег и умер. Все время так его выгружаю, а отучить спать не могу.

Подошел Дрозд. Мы втроем пошли к нашему «ВИСХОМу», в тепло. Коля лег на зерно и в минуту уснул. А мы с Дроздом быстро наполнили приемник зерном и подсели к Коле. Дрозд тихонько засыпáл Казерука пшеницей, а я смотрел на Колю и не узнавал его. Так ли мы встретились бы даже после дня разлуки в детдоме?

Я учился с Казеруком в одном классе, мы сидели за одной партой. И подружились потому, что не могли не подружиться. У него была не только нелепая фамилия, нелепым было все, что он делал. То разводил кроликов и раздавал их по детдому и поселку. То перекапывал детдомовский двор в поисках клада князя Пашковского, в имении которого мы жили. То вдруг начинал копить деньги, заготавливал и сдавал в аптеку травы, сушил на солнце лозовое лыко, продавал знакомым поселковым хлопцам все что на нем было, а потом им же раздавал и деньги. И никогда у него ничего не было. Верил он всем безгранично и вечно кому-то помогал: воспитателю вскопать огород, детдомовской лошади для обмахивания летом от слепней подвязывал к хвосту пеньку. Лошади были самой сильной его страстью, они, случалось, и кусали его, били копытами, но не обманывали, как люди.

Казерук умудрился и в ФЗО прибыть без полученных в детдоме фуфайки и сапог. Фуфайка еще в Гомеле приглянулась какому-то деду, и Коля тут же отдал ее ему. Когда мы хватились, деда и след простыл. Не нашли мы в поезде, уже за Уралом, и молодого целинника, который выгодно променял свои давно просящие каши ботинки на сапоги Казерука.

Казерук на все наши слова простодушно хлопал глазами и решительно не понимал нас. Логика его была потрясающей.

— Фуфайка и сапоги казенные. Сейчас тепло, а к холодам нас переоденут в фезеушницкую форму,— говорил он нам.

Наша полесская бережливость и мудрость отскакивали от Казерука и лопались, будто мыльные пузыри. Мы махнули рукой и, каюсь, всю долгую дорогу нещадно эксплуатировали его. А он был только рад нашим все растущим прихотям и возможности исполнить их. И вот сейчас неутомимый и вечно жизнерадостный Казерук выдохся. Губы у него запеклись, а щеки были сухими и шелушились. На щеках, как на ласточкиных яичках, повсюду проступали веснушки.

Утром ровно в восемь мы направились к своему дому. Казерук был с нами. На крыльце дома вместо половика лежали теплые, из байкового одеяла портянки Васи Горелика.

— Паскуда,— сказал Дрозд и выкинул их в грязь.

— А может, не паскуда? Может, он прав?..

— Не знаю... Не думаю,— сказал Дрозд.

Через несколько дней после встречи с Казеруком к нам в дом ввалился Толя Беликов. Выглядел он гораздо лучше Казерука, и встретились мы шумно.

— Щеки, щеки, хомяк, наел! Хорошо, видать, устроился,— ходил возле Беликова Дрозд.

— Отлично! — кричал в ответ ему Беликов.— Комбайн — зашатаешься, сносу нет. «Коммунар» называется. Старше меня в два раза. Списан двадцать лет назад. А бегает как молодой. Ночь — не остановить. А только солнышко — как вкопанный. Тягачом не сдвинешь...

— Толкаешь, значит? — ворвался я в поток Толькиных слов.

— Ремонтирую. Руки, гляди...

Руки у него действительно были... Таких цыпок у меня никогда не было даже на ногах.

— Хороши руки. Приехал за заменой?

— Рук? Не... А «Коммунар» свой я ни на что не променяю. Я его сам в музей сдам... Руки мыть приехал, в баню комбайнер отпустил: техника, говорит, уже твоих рук боится, потому и ни с места днем.

Руки его в тот день нам так и не удалось отмыть. И свои-то мы отмыли в городской бане не с первого захода. Не в один день и даже не в один месяц сошли с нас чирьи, полученные от сквозняков.

Дороги

— День добрый,— здоровается со мной парнишка с большим газетным свертком в руках. Я давно уже заметил его. Он делает второй круг у пруда и все присматривается ко мне. Что ему надо?.. Чистенький городской мальчишка на прогулке. Для меня же лес никогда не служил местом для прогулок. Я шел в него всегда на работу; за ягодами, грибами, пасти корову, за глицей корове на подстилку, за дровами.

— А в дупле, в этом дубе,— встряхивает прилизанным светлым чубиком парнишка,— когда-то удод жил...

— Жил? Удод?

— Да.— Парнишка откидывает со лба волосы, портит свой чубчик.— В болотце и сейчас живут пятеро утят. Кто-то подстрелил уткумать. Я принес им хлеба.

— А куда девался удод?

— Удод в школе, в живом уголке.

— Да... Какой же хлеб у тебя для уток?

— Чернуха...

— Черный питательнее,— говорю я ему.

Счастливые утки, счастливый удод. А были ли птицы в моем детстве до того, как кончилась война? Нет, не помню ни единой птахи. Их тогда не было, были самолеты. Великое множество самолетов. Потом только появились птицы, пчелы и мухи. А до этого одни самолеты да цветные мошки в глазах от голода...

Широкий растоптанный деревенский шлях узок. Был шлях, а сегодня дорога. Бог знает на какую такую свою погибель бредут по ней люди. Солнце до белых болячек, до черных трещин пропекло землю. Сегодня оно, может, и не жаркое — немцы идут в стальных касках. Сегодня людей печет боль за оставленные хаты, за свои покинутые селища, на которых им не лечь уже рядом со своими родичами. А смерть уже не пугает. «Не может она быть лютее такой жизни»,— думает Ульяна, меряя километры. Она идет с детьми. Дима сидит у нее на закорках, а Тому, полугодовалую дочку, она успела спеленать, закрутить в платок, перекинуть его себе через шею и несет дочку на груди в платке. Ульяна знает, что с таким грузом ей далеко не уйти. Горько только помирать на этой дороге, среди чужих людей. Была горечь, но не было жалости. Жалости даже к детям своим в Ульяне не стало уже давно. И откуда ее напастись?

Считай, два года уже, как мир взбесился. Два года, как сгинул муж Ульяны. При немцах он прожил с нею только неделю. А в конце недели Трофим, проведав, что их сосед, кочегар с его паровоза, Ефим Рудой поступил в полицию, с утра ушел к нему. В полдень Ульяна выбежала из дома, услышав во дворе Рудых крик и плач.

Плакал Ефим. Он сидел верхом на Трофиме и колотил его головой о землю.

— Ты меня кормить будешь?! — кричал он.— Может, и мать мою к себе возьмешь? Она тоже голодная. Где твоя... Советская власть? Сейчас власть та, которая с хлебом. Той и служить буду.

Мать Ефима семенила возле мужиков и только всплескивала руками. Ульяна схватила что попалось под руку — это была лопата-штыковка — и занесла ее над Ефимом.

— Не тронь! — закричал Трофим и скомандовал парню:— Слезь!

Мужики поднялись с земли. Ефим глянул на Ульяну и заревел в голос.

— Новая власть,— сказал Трофим,— Ефим Ефимович Рудой. Вот какую гниду в соседях держали.

— Убью! — закричал Ефим.

— Сопли подотри,— сказал ему Трофим.

Парень послушно начал развозить по лицу кровь из разбитого носа.

— Ну, пойдешь со мной? — спросил его Трофим.

— Пойду,— согласился парень,— только ты молчи про полицию.

В доме Трофима нашлась еще бутылка тещиной самогонки. Мужики выпили ее под молчание женщин. Трофим поцеловал сына, наказал жене, что делать по хозяйству. Ефим тем временем сбегал к себе домой за винтовкой, которую получил в полиции. И они ушли, подались в сторону леса. Ульяна больше их не видела. Вот уже второй год ни слуху ни духу от них. За это время успела помереть Ефимиха. Ульяна сама обмыла и схоронила ее без единой слезинки и жалости в душе, без

капли былого страха перед покойниками. Живые были ей страшнее мертвых.

Томе не исполнилось еще и двух месяцев, как у Ульяны пропало молоко. Кормила чем бог пошлет. Не думала она, что доведется ее дочери сосать куклу. Хорошо еще, что мать в деревне запасливо живет. Старая Говориха своих детей вырастила на маковых куклах. И для внучки нашла припрятанный еще в лихие голодные времена клунок с маком. Ульяна жевала мак с хлебом, заворачивала в марлю и толкала в рот дочери. И сосала дочка, цундолила свою куклу, а насосавшись, засыпала. От мака все дети тихие, сонные. Тихой и квелой растет и Тамара. Сколько уж сегодня с утра пройдено, а хоть бы голос подала.

«Заснула бы ты, дочка, и не проснулась,— думает Ульяна.— Обеим бы нам легче было. Хватит мне лиха и с Димой...»

Дима засучил ногами, заелозил на закорках:

— Солнышко головку печет.

— Пойди, сынок, ножками.

— Болят ножки.

«Разморило его,— думает Ульяна,— и сама-то я уж как кисель. Лечь бы сейчас на землю, на дорогу. И... будь что будет».

В хвосте колонны через каждые пять — десять минут гремят выстрелы. Кончаются чьи-то мучения. Ульяна старается не слышать этих выстрелов. Гонит и гонит ее вперед людской поток. Она будет идти, пока не потемнеет в глазах, пока небо не сравняется с землей и не опрокинется дорога. Тогда она поползет по ней. Чтобы хоть на минуту отвлечься, забыть усталость, Ульяна старается вспомнить что-нибудь веселое.

Вчера Дима принес ей бараньи рога, большие, крученые, белые от ветра и дождя.

— Мама, шуп принеш...

Ульяна сначала не поняла, что за «шуп» принес сын. Дима радовался:

— Немец, мама, дал. Добрый немец... «Матка шуп варить», сказал.

— Чтоб он подох, твой немец! — закричала Ульяна.— Чтобы ему, фрицу поганому, кроме этих рогов, больше ничего не довелось есть! Подавиться ему этим бараном! Выкинь, сынок, отнеси где взял.

Дима унес рога из дома. А вечером она увидела их в чугунке в сенях...

Нет, ничего веселого не приходило на память. Серая пыль, взбитая людьми, как стадом коров, заслонила солнце. От нее серо все вокруг.

— Димочка, сынок, давай ножками. Я тебе ручку дам.

— А Тому несешь?

— Тома маленькая, девочка. А ты мужчина, большой.

— А далеко ножками?

— Нет... Вон до той сломанной груши.

Дима сползает со спины, и Ульяна чувствует, как прибывает сил, теперь бы глоток свежего воздуха, один глоток. Все тело до печенок пропиталось пылью. Ульяна пробивается к краю дороги, к ветерку.

Гребет ногами придорожную мягкую пыль Дима. Уже давно прошли грушу. То, что осталось от груши — черный корявый обрубок ствола, белые ободранные ветви, как кости. Дима на руки не просится, загребает серую, словно соль, пыль и все оглядывается, крутит по сторонам головой, будто старается запомнить дорогу. Мать рада, что сын не капризничает, можно перевести дух. И тоже смотрит по сторонам. Но глазу не на чем остановиться. Вокруг все серое, рябое и постылое.

А какими приветливыми были раньше молчаливые деревенские шляхи. А по краям шляхов разлаписто и густо росли груши и яблони, знаменитые белорусские дички и дули. Пока доберешься глазом до верхушки, шапка слетит, а на вершине колесо и буслиное гнездо. И на одной ноге на краю гнезда задумчиво и тихо стоит, как сивый деревенский дед, бусел. Не морили раньше шляхи людей. Устанет человек, а на пути его скамеечка, глечик с водой или же в стороне колодец. И тень над головой: от вишен и черешен. Сорвет человек ягоду и разгонит дремоту и усталость. И дальше в путь-дорогу босиком, под шапками деревьев. Сапоги или ботинки бережно завернуты в чистую тряпку и — за спиной на палке.

Любила деревенские шляхи и Ульяна. Любила выйти на заре и пойти по зеленым прохладным подорожникам, по мягкой теплой дорожной пыли. Иди хоть на край света. Были шляхи молчаливы и грустны, но добры и зелены. А сейчас будто саранча прошла. Голо вокруг. Земля спеклась и высохла. Все спалила война. И шлях — как вывалившийся от жара и боли язык земли, а желтым пятном прикипевшее к небу солнце — больной ее глаз.

Рядом с Димой и Ульяной, сложив руки на автомате, бредет немец. «Черт с гнилого болота»,— глядя на его рогатую каску, думает Ульяна. Немец не из молодых, лоб его разрезают морщины, а в морщинах блестит пот. «Гляди ты, как у человека,— удивляется Ульяна,— а все равно ты фриц. Фрицем родился, фрицем живешь, фрицем и подохнешь...» Фриц, как и Дима, загребает ногами пыль, бредет устало, плечи его обмякли. «Снять с него мундир, автомат да каску, поставить в колонну — был бы человеком,— думает Ульяна,— за сорок тебе, видать по всему». Она знает, что иные из пожилых немцев бывают помягче к народу. У нее на квартире как-то стоял один пожилой. Сам себе стирал белье. Диме дал губную гармошку...

— Дядя, а как тебя зовут? — неожиданно обращается к немцу Дима.

Ульяна дергает сына за руку так, что тот едва не падает: подальше, подальше от этих дядек, говорить долго они не любят. Но Дима не понимает матери и не отстает от немца.

— А как тебя зовут? — снова спрашивает он.

— Киндер? — показывает немец пальцем на Тому и Диму.

«Повылазило тебе, что ли»,— думает Ульяна, выдавливает улыбку и говорит:

— Киндер, киндер...

Немец качает головой. Ульяна видит, что из-под обметанных пылью ресниц на нее смотрят сочувственные глаза.

— Их хабе фюнф киндер,— говорит немец.— Петер, Курт Иоганн, Лотта... Лотта...

Он указывает рукой на Тому. Видимо, Лотта у него тоже грудная.

— Иоганн,— тычет немец в Диму.— Иоганн, Петер...

Немец поднимает руку над головой, хохочет. Хлопает себя по каске. И тускнеет. «Стреляет уже,— думает про себя Ульяна,— уже с автоматом твой Петер». Но вслух говорит:

— Да...

— Я, я...— повторяет немец.

— Ты, ты, злыдень,— не выдерживает Ульяна,— наплодил злыденят! И наших детей стрелять пошел, чтобы тебя и земля не приняла. И Петера твоего и Лотту.

— Я, я,— вздыхает немец.

Люди со страхом оглядываются на Ульяну. Бредущая рядом с Ульяной старуха больно тычет ее сухим кулаком в бок. И Ульяна замолкает. Опустив голову, задумался немец.

Вьется дорога, курится пыль. По этой пыли молча и тихо катится людской ком. На росстанях дорог у повязанного самотканым вышитым полотенцем креста взметнется желтая старческая рука, но не для знамения. Проклятия шлет она богу и людям за то, что допустили такое. Взовьется мягкая, как зола, пыль, грохнет как охнет выстрел. И все.

Дима вырывает руку. Ульяна из последних сил сдерживает скользкую потную ладошку.

— Еще немного, Димочка, может, дадут передохнуть...

— На ручки...

Ульяне кажется, что она горит на огне. От жара вот-вот лопнут глаза. Занялись, трещат охваченные огнем волосы на затылке. Но боли нет, не чувствует она боли. Небо уже сравнялось с землей, и дорога опрокинулась. Ульяна думает, что она уже умерла. И удивляется: до чего же легкая и не страшная смерть. Но она все еще идет. Идет, шатается, будто выбирает, где помягче упасть, волочит за собой по земле Диму.

— Я... Я...— качает головой немец и подхватывает на руки Диму. Ульяна не видит этого и не выпускает ладошки сына. Немец мягко отталкивает ее. Она клонится, клонится. Вот-вот упадет. Ульяну подхватывает и поддерживает старуха.

— Терпи, терпи, молодица. Недолго осталось,— приговаривает старуха.

Ульяна не слышит ее, но продолжает передвигать ноги. И кажется ей, будто идет она не деревенским изуродованным шляхом, а схватившимся зеленью и цветами весенним лугом. Ногам свежо и щекотно от проступающей с болота влаги, от налипших на них трав и лепестков цветов. Воздух запашист, будто перед дождем. Цветов вокруг — некуда ногу поставить, в жизни столько не видела. Гудят, ныряют среди голубых колокольчиков шмели. На стрелистых травах стеклянно светятся стрекозы. Где этот вольный и добрый луг, удивляется Ульяна, неужели на том свете? А шмели вокруг нее вьются, работящие, как на земле.

— Терпи, терпи, молодица,— наконец прорывается к Ульяне голос старухи,— да не гни меня к земле. Я ее, матушку, и так лбом достаю.

«И чего она кричит,— думает Ульяна,— что это она ко мне пристала?» Шмели умолкают. И Ульяна понимает, что это гудели вовсе не шмели. Это плачет, гудит шмелем Тамара. Но у нее нет сил успокоить дочку. Нет сил сглотнуть засевший в горле горячий ком. В глазах прыгают цветные мошки. Цветными комьями крутится, мельтешит мошкара.

— Ну вот и ладно,— отчетливо доносится до Ульяны голос старухи,— а то я думала, пришел и мой час. Тебе, такой молодой, с детьми конец. А мне к чему старой землю месить?

Ульяне страшно: зачем она выжила? Ведь уж приготовилась к смерти. Совсем было померла, побывала на том свете. Не похож он на этот, неплохо там. Проклятая старуха вызвала. И теперь придется жить.

Ульяна видит, что Дима на руках у пожилого немца. Сын спит, положил ему голову на плечо, будто на руках у отца. И Ульяне безразлично, что фриц несет ее сына. Скорее бы кончался этот шлях. Скорее бы станция, а там в вагоны. И будь что будет.

Но им сегодня не добраться до станции. Шлях чужой и незнакомый. Ни сел, ни хуторов, ни передохнуть, ни воды испить. В платке у пояса хлеб и кусочек сала. Ульяна ощупывает платок. В руках катается твердый, с куриное яйцо шарик. Кукла. Нажеванный для Та-

мары в дорогу хлеб с маком. Кукла высохла и затвердела. Ульяна держит ее в сухой ладони и не знает, что делать. Нет у нее слюны, нет воды, чтобы размочить хлеб с маком. Бутылка опорожнена Димой и выброшена еще на первых километрах пути.

Серым и сухим, как рашпиль, языком Ульяна пробует куклу. Старуха не отстает от Ульяны. Она вытаскивает из складок своей широченной цыганской кофты зеленую бутылку и передает Ульяне. Но в бутылке почти пусто. Она отпотела, на стекле внутри поблескивают лишь капельки воды. Несколько капель мутнеет на дне. «Что эти капли? Хоть потом смачивай куклу»,— думает Ульяна. Но и пота нет. Все высушило солнце.

— Не гребуешь если, давай я нажую,— говорит старуха.

Ульяна уже ободрала десны. Капли крови блестят на серой марле. Но Ульяна еще думает: доверить или нет куклу старухе. Та почти вырывает ее.

— Я чистая. Болестей нет. А дитю все равно. Им все родные. Ох, девонька, знаю я тебя. И матерь твою Говориху. Ох, досталось ей, и тебе досталось...— Старуха шепелявит, жует куклу.— Лампековшкая я... от твоей деревни три версты. А что, Говориху оштавили, не взяли в Неметшину?

— Оставили... Дома ее не застали. А я вот из города пришла и попалась... А тебя-то зачем и куда, бабуля, гонят?

— Я дошку шпрятала, так они меня... Мне-то одно помирать... Корми.

Старуха передает куклу Ульяне. Ульяна подносит ее ко рту дочери и слушает, как она чмокает. Прислушивается и старуха.

— Ест. Жить будет,— говорит она.— А что на кукле растет — не бойся. Я тоже на кукле, а во какая живая. И дочка моя на кукле — вся в меня.

Ульяна не отзывается, и старуха укоризненно выговаривает ей:

— Без разуму вы, молодые. Думаешь, старая, вот и разболталась... Нет! Я по этой дорожке не первый раз иду и по своей воле и подневольно... На ней без гомонки нельзя. А нам с тобой прямая гибель. Давай ты мне, я тебе, все путь короче.

— О чем, баба?

— Да хоть как молодой была, грешила?

— Ну, вы, баба, и скажете.

— А что? Когда и грешить, как не в молодые годы... Возле меня хлопцы гужом вились. Нечто плохо? На этом свете не успеешь, на том не согрешишь... Твой-то где?

— На войне.

— Война кругом. А он в каком краю?

— Ой, не знаю. Не трави ты меня. Нас заняли, он из дому ушел и как в воду.

— И зять мой так. Может, вместе с твоим. Ты о нем не переживай. Не сахар и ему, конечно, а все не так, как тебе. Мужикам всегда легче. Соскочил, отряхнулся, подался, а баба всю жизнь мучайся... И не грешила я, дочка. Один грех на мне: есть хотела всю жизнь. В старцах ходила, куски собирала. Так детей и кормила.

— Куда гонят нас, баба?

— Известно куда... Ты-то, может, и выживешь, а меня — в печь. Человечина, говорят люди, горит хорошо, как смоловые поленья сухие... Дым только черный.

— И не страшно, баба, говорить такое?

— От страха никуда не убежишь, и под печкой найдет. А жить хочется, ой как хочется. Бутылочку ты зря мою выкинула. В дороге все сгодится, и не угадаешь когда... Ты вот молодая, жить только на-

чинаешь, разум твой повострей моего. Скажи: от кого наши беды, от черта или от бога?

— Неверующая я, бабушка. Ни в кого уже не верю.

— Ой, зря, девка, ой, зря. Живешь-то ты как без веры?

— От кого же наши беды, баба?

— От человека, от человека все идет.

— От меня?

— И от тебя, донька. От меня. Вот толком еще не пойму сама: от мужика или от бабы больше зависит. С одной стороны, все живое идет от нас. Мы во всем и виноваты, выходит. А с другой, подумаешь — сила вся в мужике. Мы только половинки. Вот тут у меня как раз голова нараскаряку. Тут и приходится и о боге и о черте вспомнить. Я баба смирная, дала миру мужика. Ты тоже смирная и тоже мужика выродила. Мы обе на них радуемся. А они меж собой на кулаках живут. Кто виноват? Мы, бабы, дурное у нас молоко, выходит? А может, у мужиков семя отравное?

Так за разговором мерили они километры.

Перед заходом солнца пришли в лесную деревушку домиков в двадцать пять—тридцать. Дома были чистенькие, ладные. Резные коньки на крышах, резные голубые, как вязаные, наличники. Садики возле домов. Через заборы свешивались тяжелые ветви яблонь с наливными краснобокими яблоками. Не верилось, что на свете есть война. Удивительно было только то, что ни на улице, ни в окнах — нигде не было видно ни одного человека.

— Сховайка,— сказала старуха Ульяне,— недобрая деревня. Плохо говорят про нее люди... Сховают, спрячут тут нас — и концов никто не найдет.

Ульяна молчала. На закорках у нее опять сидел Дима. Все так же рядом с ней продолжал шагать пожилой немец.

Прошагали всю деревню, не спугнули ни кошки, ни собаки, ни курицы. У крайнего дома колонну остановили, разделили. Большую часть — подростков и женщин без детей — погнали дальше. А старух и матерей с детьми оставили. Таких набралось немного. Всех их завели во двор стоящего на отшибе дома. Вплотную к дому примыкал сарай. Возле сарая, на крылечке, на завалинке, у избы и разместились люди. Лежали и сидели где кому досталось.

Ульяна с детьми присела у калитки, открывающейся на огород. Сразу же за калиткой начиналась кукуруза. Она росла вдоль забора, и здесь, возле забора, было посвежее. Но отдышаться ни Ульяне, ни людям не пришлось. Немцы принялись загонять всех в сарай. У Ульяны не было сил сдвинуться с места, и пожилой немец помог ей встать. Она приняла его протянутую руку и другой, свободной рукой потянула Диму. Поднимаясь, она заглянула немцу в глаза и испугалась. В глазах его стояли слезы. Пошатнулась, оперлась о калитку. Калитка раскрылась. Немец толкнул ее в раскрытую калитку. Толкнул сильно. Она едва не растянулась, но устояла, ломая кукурузу, побежала по борозде. Немец тут же захлопнул за ней калитку. Но этого она уже не видела.

— Куда мы, мама, куда? К папе в лес? — испуганно спрашивал ее Дима.

— К папе, к папе, детка, молчи...

Но за спиной, у сарая, стоял такой гвалт, плач и стон, что едва ли кто-нибудь мог их услышать. Ульяна споткнулась, упала, через нее перелетел Дима, захныкал.

— Молчи! — прикрикнула Ульяна.

Подняться она не решилась. Поползла. Дима шел рядом. Кукуруза кончилась. Впереди показалась черная кривая жердь изгороди, а за

ней редкий низкорослый кустарник. От кустарника до изгороди было рукой подать. Но Ульяна не решилась засветло выйти из кукурузы. Во дворе, который она только что покинула, было тихо. Больше не слышно было ни людских голосов, ни стона, ни плача. Изредка лишь доносился лязг железа да короткие команды немцев-конвоиров. «Что это они там затевают?» — подумала она и тут же забыла о немцах. Она развязала платочек с едой, откусила высохшего за день, жесткого, как кирпич, хлеба, но проглотить не смогла, сосала, как конфету, и ждала.

Попробовал откусить хлеба и Дима, но не сумел, принялся за сало. Ел его без хлеба, рвал зубами, как волчонок. В сумерках положил остаток сала на расстеленный платок. Пора было уходить. Но не так-то просто было решиться идти. Ульяна понимала, что вот-вот, с минуты на минуту Дима уснет, но не было сил, которые могли бы ее заставить шевельнуть хотя бы ногой.

И все же она решилась, хотела подняться, как вдруг за спиной всплеснулось и накрыло ее, заставило опять прижаться к земле огромное зарево. Взметнулся, ударил в небо душераздирающий вопль. Он держался на нечеловечески высокой ноте. И казалось, не ветер раздувает красные языки пламени, а людской голос выплескивается огнем и мечется, не зная места, от боли.

Ульяна схватила жесткий, как камень, хлеб, недоеденное сыном сало. Ломая зубы, вгрызлась в краюху, кровенила об нее губы, десны. Рвала сало, глотала не жуя. Когда есть уже было нечего, поднялась, при свете пожара набрала, наломала в платок кукурузных початков. И пошла не прячась и не скрываясь. Опять на закорках Ульяны сидел Дима, и тень, отбрасываемая ею, была похожа на двугорбого верблюда. У нее не хватило сил перелезть через прясла. Она сломала жердь и не разбирая пути скрылась в красных кустарниках.

Ночь застала Ульяну в лесу. Она шла по целику в сторону, где, ей казалось, должна быть железнодорожная станция. Никак не могла выйти на торную дорогу. На пути изредка попадались тропки, но их быстро скрадывала темнота, они терялись в кустарниках. Ульяна торопилась, в ушах у нее все еще звенел вопль.

Туман стал гуще, сгустилась перед рассветом и темень. Пропали дорожки, остались только кусты да деревья. Женщина почувствовала: под ее ногами хлюпает вода. Болото. Когда вода дошла до щиколотки, Ульяна повернула назад. Попробовала обойти болото, но оно было повсюду, в какую бы сторону она ни бросилась. Лучше было бы, наверное, повернуть назад, выйти на сухое место и дождаться рассвета, но Ульяна знала — если до рассвета не прибьется к людям, не выйдет из леса, то не выйти ей никогда.

Вода обняла уже колени Ульяны, когда она почувствовала запах дыма. Она прижалась щекой к ольхе и втянула воздух. Тонкий и острый запах защекотал нос. Дым. Но откуда шел он? Серый непроглядный туман застилал болото. До восхода солнца оставалось немного. Но Ульяна просила солнце, чтобы оно не торопилось, в ночи огонек виден дольше. Она пошла, казалось ей, даже побежала. Счастье, что болото было не топким. Воды стало меньше, и женщина чувствовала, что выбивается на сухое место. Она увидела мелькнувший среди ольхи, среди тумана огонек. Но не торопилась радоваться, могло и померещиться. А запах дыма все усиливался. И вот она увидела впереди костер, две или три фигуры возле него. А сил не осталось. Костер заплясал, задвоился в глазах. Она запнулась и упала на ровной, без единого сучка, без единого корня стежке. Поползла, закричала изо всех сил, ей казалось, очень громко, на весь лес. Но изо рта вылетал

только хрип. Кричал Дима. Глаза его были закрыты, он отполз от матери, искал, не мог найти ее и плакал безутешно и тоненько.

Люди, сидящие у костра, услышали этот детский плач, пошли навстречу ему. Они подняли Ульяну и Диму. Поначалу не разобрались, что у нее еще один ребенок. И когда Тамара подала голос, удивились.

— Гляди ты,— всплеснула руками женщина,— сколько их тут. Как гороху в стручке... А ну, Рыгорка, шукай еще. Может, и третий есть.

Рыгорка, парнишка лет тринадцати—четырнадцати, пошарил в кустах с одной, с другой стороны, ничего не нашел.

— Нету, все тута, мама, в куче,— сказал он. И вместе с матерью понес Ульяну с Тамарой к костру.

Диму взяла на руки прибежавшая вместе с ними девчонка. Он плакал, но на голос у него не хватало силенок, не было и слез, и он всхлипывал и икал. Ульяна временами слышала его всхлипы, она слышала весь разговор, но не могла отозваться — отказал язык.

Рыгорка с матерью поднесли Ульяну к костру. Она поняла это по тому, как пахнуло жаром в лицо. Ей померещился сарай в Сховайке, она дернулась от огня, выскользнула из рук Рыгорки, упала на землю и провалилась, потеряла сознание.

— Оживает, никак,— поняла по-своему этот рывок Ульяны женщина, склонилась над ней. Увидела белые закатившиеся глаза: — Марья! Воды! Скорей, отходит! В курени бежи, скликай народ.

Девчонка с Димой на руках бросилась от костра. И вскоре к нему потянулись женщины. Одна из них ложкой раскрыла Ульяне рот, разжала зубы и влила воды. Женщины развязали платок, занялись Тамарой.

— Личико! Уже личико посинело,— заголосила вновь набежавшая Марья.

— Правда,—сказала ее мать.— Кого тут вперед ратовать — не поймешь...

— Мать спасаем, мать, бабоньки,— начала распоряжаться невысокая, но широкая, коренастая, подпоясанная солдатским ремнем женщина.

— Мать, мать отхаживаем, правильно, Домна,— загомонили женщины.— Дочка еще груднячок, помрет — матери же легче.

— Живая девочка, живая еще! — закричала Марья.— Губами перебирает!

— Ну и голосистая же ты, брат,— поморщилась Домна.

Женщины замолчали. Немного погодя Домна распорядилась:

— Ну, Лукерья, твоя находка, ты себе в курень и забирай. Богато жить будешь... Два мужика в твоем курене. Не перечь. Прокормить подмогнем. По куреням, бабоньки.

Женщины понесли Ульяну с Тамарой в шалаш, где уже спал Дима. Домна осталась у костра. Подворошила его, бросила сухих веток. Вспыхнул огонь. При свете его она уже не казалась широкой и коренастой, выглядела щуплой и худой, некрасивой. Мешки под глазами, мужские скулы. Лицо мужское до носа, а рот маленький, подбородок птичий. Ремень поверх фуфайки, тяжелые солдатские кирзовые сапоги не по размеру, как на вырост, ни дать ни взять — солдат-недоросток. Домна вытащила из кармана фуфайки кисет с табаком, ловко и быстро скрутила самокрутку, взяв из костра голыми руками уголек.

Поднималось солнце. Быстро редел, уползал в лощины и кустарник туман. Из него проступили деревья, островерхие, из жердей, курени — шалаши. Можно было оглядеть весь островок. Был он неболь-

шой, почти правильной круглой формы зеленый шар среди воды. И только в том месте, где чадил еще костер и сидела Домна, островок клином чуть врезался в болото. Из зеленого шара островка, от куреней к костру и дальше, к болоту, бежала единственная хорошо заметная стежка. Она доходила до самой воды и терялась в ней.

На островке, окруженном со всех сторон водой, не густо, но зато крепко росли могучие, в четыре-пять обхватов, дубы. Черные, будто каторжники, опоясанные серыми кольцами-кандалами от весенних паводковых вод, косматые, в длинных бородах темного моха. Под ветвями дубов к их стволам и жались островерхие курени. Домна загасила самокрутку и поднялась.

...Ульяна очнулась где-то на третий или четвертый день.

— Дети... Где дети? — сразу же спросила она.

— Живы твои дети,— обрадовалась Лукерья. Она уже боялась, что Ульяна так и не выкарабкается. И придется ей тянуть на себе и своих и чужих детей.

— Приведите мне моих детей.— Ульяна недоверчиво оглядела Лукерью.

— Да живы же, тебе говорю. Никто не позарится на твое богатство. Свое такое добро не ведаем как сбагрить... Меньшая твоя вон гноит дочерину рубашку. А больший с моим Рыгором последние штаны по кустам продирает.

— Дима... Дима,— дважды слабым голосом позвала сына Ульяна.

— Ох, божа ж ты мой, божа,— вздохнула Лукерья,— все мы, бабы, на одну колодку как по одному заказу. Злиться или веселиться, не знаешь.

Лукерья вытерла рукавом кофты глаза и вышла из куреня. Привела Диму. Вслед за ними вошла в курень и Домна.

— Ты не будешь больше помирать, мама? — бросился к Ульяне Дима.

Ульяна приподнялась на локте, но рука не выдержала ее, и она снова легла. Сын припал к матери, обнял ее за шею и замолк, на шее его билась и щекотала материн лоб синяя тонкая жилка.

— Где я? — задыхаясь в цепких руках сына, спросила Ульяна.

— Среди людей, девонька,— громко ответила ей Домна и засмеялась. И лицо ее, неправильное, широкое, мужское до носа, а от носа до подбородка детское, похорошело, растянулось, уравнялось.— Среди своего брата. Сховайские мы. Деревня наша знаменитая, Сховайкой называется. И мужики у нас все знаменитые, конокрады все. И бабы все в своих мужиков удались. Только не укрыла нас Сховайка... Немцы выгнали нас из наших хат, так мы сюда подались. А ты кто такая?

— Городская я... Пойду сейчас, пойду,— снова попыталась приподняться Ульяна, но не смогла.— Вот полежу еще капельку и помаленьку пойду.

— Никуда ты, девонька, не пойдешь.— Домна прикрыла Ульяне ноги дерюжкой.— Лежи уж... Зима придет — в землянки переберемся, построим. Немец заявится — обороняться будем. А пока поправляйся.

— Уйду. Я все равно уйду,— запротестовала Ульяна.— Не могу я тут оставаться. Не могу, дом у меня, муж... Кто ему скажет, где я, где дети? Придет, а меня нет...

— Так...— Домна хотела еще что-то сказать, но, видимо, не смогла. Подхватилась и выбежала из куреня.

— Куда ты с детьми? — спросила Ульяну Лукерья.— Или тебе одной ночи мало? Оставайся уж... не объешь. Слушай Домну. Она у нас все знает.

— Чего это она убежала так быстро? — спросила Ульяна.

— Про мужика ты заговорила. Убили ее мужика немцы... Сгиб он. Председателем колхоза у нас был.

Помолчав, Лукерья добавила:

— Ты не гневайся, если что, на меня. У меня тоже двое, побольше твоих... А все равно дети. Знаю, как с ними достается.

— Спасибо тебе, тетка, на добром слове. А идти мне надо. Гонит меня, будто кто-то толкает в плечи. Крутит, вертит. Где остановит, приткнет, не знаю. Знаю одно: идти, идти, идти...

Но ни в этот, ни на следующий день, даже через неделю не удалось Ульяне покинуть остров. Дня через три после разговора с Димой и Лукерьей она могла бы уже отправиться в путь. Но случилась беда.

Хотя на острове было немало и женщин и детей, Дима привязался к Домне, и та привечала его. Подкармливала чем могла, пекла для него печеники. Из-за печеников все и произошло. Домна с Димой заложили в костер картошку, пригорнули ее со всех сторон золой. Пока она доходила, женщина отлучилась. Дима ждал, ждал ее и не выдержал, полез в костер за печениками. Разгреб угли, наклонился над потрескивающим шипящим картофелем. И то ли не устояли детские слабые ноги, то ли от постоянного недоедания и жара, бьющего ему сейчас в лицо, у него закружилась голова...

Как раз в эту минуту будто от боли реванул в болоте невидимый бык-ревун, голос его полетел ветром по вершинам деревьев, Дима уперся в горящие угли обеими руками. Он плакал, верещал, но голос его тонул в реве быка. Качались, стонали дубы. Переворачивалась с ног на голову земля. И перевернулась бы совсем, опоздай хоть на мгновение Домна.

Женщина успела вовремя. Выхватила мальчишку из огня, прижалась сухими губами к закрутившимся от жара светлым волосенкам на его голове. Не чувствуя под собой ног бежала на плач сына Ульяна.

— Не плачь, не плачь, мама,— вздрагивая всем телом, стонал в материнских руках сын. И слезы не переставая текли по его лицу. Он размахивал руками, будто хотел выбросить их и вместе с ними избавиться от боли. Мать дула на его руки, и глаза ее были закрыты. Ей страшно было глядеть на сына.

Руки заживали долго и трудно. Дима не спал, метался ночами от боли. И сквозь эту боль шло к нему сознание еще не взрослого человека, но уже и не ребенка. Он просыпался каждое утро с вопросом, и матери все труднее и труднее было отвечать ему: почему огонь жжет, почему мы живем в курене, есть ли у нас папа, почему он не прогонит немцев, почему огонь не жжет немцев, будут ли немцы, когда я вырасту?..

Не все могла принять и вместить в себя детская память. Почти ничего не могла она объяснить ему. Она принимала в себя и откладывала, как в архив, на долгое хранение предметы, запахи, цвета. Из них складывался свой, никому не доступный мир, в котором реальностью была только война, а все остальное придумывалось.

Дни для Ульяны были тягучи и медленны, для Димы же они мелькали, как страницы книги с картинками, которую листает человек, не знающий грамоты. Синее небо, зеленые деревья, черная вода, серая, застиранная материнская рубашка, которой перевязывали руки. Провал от боли, цветные вспышки страха. И опять синее, зеленое и желтое и запах лука. Мерзкий запах лука и неприятные цвета, неопределенные серые, водянистые, коричневые, рассыпающиеся и скользкие одновременно. Лук был печеным, печеным луком лечили руки. Белое-белое — яйцо, куриное ли, птичье, бог его знает. Яйцо где-то достала Домна. Прозрачный студенистый белок; светящийся, как маленькое

солнце, желток. И прохлада в руках. И снова серое-серое, соленое — жеваный ржаной хлеб, жар и прохлада в руках. Повязку сняли.

Домна несет Диму по лесу, на ветвях кустов уже дрожит осенняя, в росе паутина.

— Эх, брат ты мой,— говорит Домна Ульяне,— железная же ты женщина. Стальные вы все... Счастливые... Муж, дети. А я вот, брат, одна. Не война — и жить бы не стала.

— Не надо об этом, Домна,— просит Ульяна.

— Не надо? Твоя, брат, правда, не надо... А все же чем ты живешь?

— Не живу я, они меня тянут.— Ульяна приподнимает Тому, показывает на Диму.

— То-то и оно-то...— Домна сбивается с ноги и долго подлаживается под шаг Ульяны.

— Молодая ты,— как можно ласковее говорит ей Ульяна.— Кончится война, выйдешь замуж, нарожаешь еще...

— Пока она кончится, у меня и рожалка, брат, сгорит. Уже... Не бабы мы после таких мук. Счастливые, у кого дети... Будете счастливыми...

— Если только доживем,— перебивает ее Ульяна.

— А ты живи. Тяни, тяни. Дух выпрет — тяни. Только не бегай больше с места на место, слышишь?

— Слышу, Домна. Только, может, меня судьба гонит, может, меня судьба так хочет охранить.

— Судьба настигнет везде... Что я тебя учу. Бегай, ходи по свету, авось и сбежишь от судьбы.

У железнодорожной станции женщины прощаются, целуются.

— Если что,— говорит на прощание Домна.— К нам дорогу знаешь.

Она быстро целует Диму, достает кисет, бумагу и уходит. Товарным поездом Ульяна, Дима и Тома едут к своему городу. Едут на открытой платформе. Весь поезд из платформ, забитых серым молчаливым людом. И только на одной из них пиликает губная гармошка. Дима слушает нерусскую непонятную песню, смотрит на веселящихся на соседней платформе людей. Солнечные зайчики от никеля гармошки бьют ему в глаза, и он никак не может понять, почему это на соседней платформе веселятся только пятеро, а остальные, сбившись в кучу, молчат. Взгляд Димы останавливается на одном из молчащих, еще молодом человеке. На голове его повязка, не совсем свежая, темная, но в теплоте дня, от солнечного зайчика, бьющего в глаза, кажется белой-белой. И на белом бинте красно и ярко, опять же от света дня, проступает кровь. В руках человека с повязкой горбушка хлеба. Хлеб старый, зацветший, как пролежавшая вечность в земле медная монета, зеленый-зеленый.

Не понять Диме, почему человек с такой тоской смотрит на этот ярко-зеленый хлеб. Ему невдомек, что это наш пленный красноармеец. Через много-много лет он вспомнит его снова. А сейчас он с матерью уже далеко от поезда. Мать почти выламывает неподдающуюся калитку. Дима бежит за матерью к своему дому, к пропыленному, давно не видевшему ноги человека крыльцу.

Дома

Какая же она маленькая, улица, на которой я рос. Она ли это? Я помню ею длинной-длинной. Летом мне не всегда хватало дня, чтобы пройти ее из края в край, а народу на ней жила уйма, целых три враждующих мальчишеских республики. Где только помещалась вся

эта ребятня?.. С одной стороны — белая громада мясокомбината, с другой — двухэтажное зеленое здание электростанции. Два-три десятка домов между мясокомбинатом и электростанцией и есть улица.

Я стою у края леса, у вырытой бомбой воронки. Когда-то она была тоже огромной, глубокой. А сейчас это просто яма. По краям ее и на дне ни травинки. Окопы, блиндажи и на Полесье, и в Брянских лесах, и в Смоленщине уже давно заросли травой. Заросли, а в ямах от бомб трава никак не может зацепиться, они заполняются водой. Вода в них желтая, и в воронках часто тонут дети.

Тропинка огибает воронку и через поле бежит на мою улицу, к моему дому. Я стою у края ямы, смотрю на тропинку, и нет сил ступить на нее. Я боюсь. Вглядываюсь в свой дом и боюсь его. Далеко-далеко от моего Полесья, от моей Белоруссии из сибирского шахтерского поселка давным-давно ушел на войну человек и пропал без вести, брат моего сибирского друга. Через двадцать с лишним лет в дом моего друга постучался незнакомый человек. Попросился переночевать, поставил бутылку «московской». Пил молча, на расспросы отвечал: да, нет. Когда бутылка опустела, молча поднялся и ушел — как камень под воду. И друг мой который год мучается. Ему кажется — неизвестный был его братом. Когда мы с ним пили, я смотрел на него и думал, на кого же он похож, где я видел его раньше. И только после того, как он ушел, понял, что он похож на меня... Я убеждал его — брат не может молча уйти от родных, из родного дома. А сейчас знаю — может. Но я не уйду.

На улице ни души, но мне кажется, что она, как в праздники, полна народу. По домам я узнаю друзей, вижу знакомых. И мне не помешает даже то, что многие избы рублены уже без меня. Исчезли соломенные и гонтовые крыши — черепица, шифер везде, многие дома одеты в штукатурку. Но по прищуру окон, по печным трубам, по цвету наличников, по тому, как стоят на земле и смотрят на меня дома, я узнаю тех, кто в них живет. Я из одного времени с этими домами, как они ни рядятся, как ни укрываются черными телеантеннами, блестящими проводами, как ни малюются в голубые и белые тона. Это время забудется только тогда, когда забудемся мы.

Какой сверкающе белый нарядный домишко смотрит на меня. Его вплотную обступил, зажал со всех сторон сад — яблони, груши. Дом среди подпирающей его зелени кажется игрушечным, кажется, что он стоит на одной ноге. Нарядность и красочность его не обманут меня. Я знаю, ему тяжело и дышать и стоять, не хватает ему места на земле. В этом доме живет, как прозывают ее по-уличному, Украинчиха-цекалка. Живет тесно и неловко. Она строилась после войны. По бедности ставила этот маленький домик, из железнодорожных шпал складывала маленький сарайчик, покупала маленькую коровенку, чуть ли не с козу ростом. С маленьким Володькой Украинчиком мы пасли коров. Он выходил из своего маленького домика и всегда первым делом, как птица хватает мошку, взмахивал головой, хватал воздух. Я тут же смотрел на его дом, потому что мне все время казалось, будто у дома сползает крыша.

В огромном, как барак, черном, вытянутом в длину доме живет со своим многочисленным потомством Улита, высокая, сухая, вечно в черной одежде женщина. Я вижу не только ее дом, но и представляю, что в нем внутри. Может быть, в нем сейчас и телевизор, и приемник, и ковры, и диван-кровать. Но я вижу длинные, от стены до стены, без надточек, тяжелые, с широкими щелями половицы. Широкие, на всю ораву, вместо кроватей полати.

Меж домов Улиты и Украинчихи-цекалки мой, отцовский. Отец мой не весельчак, но посмеяться любит И дом улыбается всеми тре-

мя выходящими на улицу окнами. Для меня в его улыбке есть что-то смущенное, просящее об извинении.

Почти телячья радость срывает меня с места, несет к родному дому. И чем ближе я к нему, тем яснее различаю неведомые мне раньше черты, новые его приметы. Акация у забора. Забор не нов, но крепко подновлен. Доски, доски, а меж них нет-нет и прокидываются мшистые, зеленые у основания столбики, расщепленные из сосен трухлявые штакетины. А за ними бледно-зеленый, только-только выбросивший усики горох. Как хочется закричать! На всю улицу скрипит, голосит калитка. Я спотыкаюсь о бетон дорожки. В глаза бьет бетон фундамента, стекло веранды. Непривычно. Но бетону и стеклу не смутить моей памяти. Катится из конуры под ноги мне громадный черно-рыжий пес.

— Прочь, скотина!

Пес поджимает хвост и задом, задом на брюхе уползает к конуре. Глаза у него испуганные, виноватые и злые. Я еще успеваю приметить прибитую дождем горку глины у забора и рассохшееся деревянное корыто возле нее. До чего же однообразен мир. Как от камня, брошенного в воду, в памяти расходятся круги. Корыто, горка глины и дом... среди старых черных бревен — новые, свежие. Дом опять пересыпали. Новые бревна желтые, проолифленные — чувствуется достаток.

Я рву на себя дверь, вхожу в дом. И нет во мне больше ни радости, ни горя. С детства знакомые запахи кружат голову. Отец в фуфайке, сидя на опрокинутой табуретке, толчет для поросенка картошку, не выпуская из рук кочерги, испуганно и виновато смотрит на меня.

— И собака пропустила,— говорит он мне срывающимся голосом.

— Пропустила, пропустила...— повторяю я.

Мне хочется броситься к нему на грудь, но я не могу сдвинуться с места.

— Она тебя не покусала, сынок?

В глазах мутная пелена, я моргаю часто-часто. Если бы он вскочил мне навстречу, обнял бы — я бы не поверил. Но я верю неподвижности и бросаюсь к нему первым.

Кочерга падает на пол. Шершавая щека обдирает мне лицо, губы.

— А он признал тебя,— тихо, но убежденно говорит мне отец.— Услышал, признал своего. Иначе бы покусал. Злая собака, всех кусает... Меня тоже... Увидела бы тебя твоя мама... Ты уже перерос ее, выше меня.

Многочисленные, родившиеся без меня и при мне братья и сестренки окружают меня. Не решаются еще подойти сводная сестра и мачеха. Я сам подхожу к ним.

Отец снимает фуфайку, вытаскивает из шкафа новые, не сбитые хромовые сапоги.

— Магазин еще открыт? — Это он спрашивает у мачехи.

Она мечется у печи. Выставляет чугунки, горшки, заглядывает в них и заставляет обратно.

— Открыт, открыт,— торопится мачеха.— Сидите, я сама сбегаю.

— Не надо,— останавливает ее отец.— Я пойду с сыном. Или ты устал? — Это уже ко мне.

Я устал. У меня все уже припасено в чемодане, в магазин мне не надо. Но я ведь всю жизнь, все эти годы мечтал пройтись с ним по родной улице. И чтобы обязательно он был обут в хромовые сапоги, чтобы он был в своем железнодорожном синем, с зелеными кантами

кителе. К чему врать, от кого прятаться? Мечтал. У меня ведь тоже растет уже сын...

Мы выходим во двор. Отец молодо бежит к повети, туда, где стоит двухколесная тележка. Я иду за ним.

— Не то, не то,— останавливает он меня.— Сад я хочу тебе показать.

Мы идем в сад, шагаем по картошке к яблоням, грушам, вишням.

— Помнишь?

Отец показывает мне на одну из самых старых и больших яблонь. Ветви ее, наверное, еще с прошлого года подперты палками. Интересная яблоня. Одна половина тянется вверх, а вторая опустила ветви к земле. Но я ничего не помню.

— Ну как же? — тускнеет отец.

Только в молодом яблоневом и вишневом саду я заметил, как он постарел. Сколько я его помню, он ходил легко, чуть даже подпрыгивая при каждом шаге, ходил, выпятив вперед грудь, будто разрезал ею воздух. А сейчас он выставляет вперед голову, крутые плечи опали и обмякли. Лицо в коричневых глубоких морщинах, и во многих из них виноват я...

— Как же ты ничего не помнишь? Ведь ты эту яблоньку выкопал и принес из лесу. В каком это году?.. Да бог с ним. Твоя яблоня. Правда, один коворот я спилил и прищепил житницу. А второй как был, так и остался — дичка... После морозов только едим. Перемерзнет, сладкая...

Отец вздыхает, вздыхаю и я.

— Вишни вон твои, грушка... Остался бы, и дом бы был твой.

Мне приятно. Не потому, что мог бы получить в наследство дом. Хотя я знаю, на нашей улице достаток, богатство и сам человек измеряются домом, садом, хозяйством, недвижимостью. Мне хорошо шагать по своему саду, знать, что в нем растут посаженные мной деревья. Я сейчас живу в большом городе и все время хочу посадить дерево. Я настолько врос в этот большой город, что уже забыл, что когда-то сажал деревья. Забыл, что где-то на берегу Случи и Припяти растут посаженные мною березы. В этом же моем городке, в школе, в которую я начинал ходить, растут посаженные мной липы и груши. Жалко, что теперь мне их никогда и ни за что не узнать. А смогу ли я когда-нибудь собраться и посадить новые деревья в том большом городе? Здесь я их сажал, не понимая, до чего же это хорошо. А когда вырос и понял — не могу. То ли времени нет, то ли не хватает слепого, всепреодолевающего детского желания. Скорее всего лень. Лень, у которой на случай — отговорка, причина. И дом мой в большом и дальнем городе стоит и смотрит окнами всех пяти этажей во двор-пустырь, на жидкие и тощие кустики городских декоративных кустарников. И сын мой считает их лесом, деревьями. Он, наверное, не знает и уже не узнает тоски по настоящему дереву...

Я щупаю шершавые листки своей яблони.

— С какой же стороны дичка?

— Как раз с твоей.

— Заметно. Лист поменьше и не такой мясистый. И тени, наверное, совсем не дает...

— Я больше люблю дичку,— говорит отец.— Хотя ты и дал мне жизни... Отнял...

Я не решаюсь сорвать лист, мне кажется, что это все равно как из живого тела вырвать кусок мяса.

— Ты спили совсем дичок,— советую я отцу.— На топорища. Яблоневые топорища, знаешь, какие?

Вижу по глазам — отец мне не верит.

— А вообще, пусть они растут обе вместе,— говорю я снова,— дикая и садовая яблоня на одном корню.

— Потому и оставил... житница — хорошее яблоко. Но его уже и смак забудешь. А дичок, он только весной после снега и хорош. Откусишь — и помолодеешь.

Половина яблони дикая, светлая и легкая, другая половина — садовая, темная и тяжелая. А яблоки, завязь, пока еще одинаковые, с лесной орешек. Ствол до разветвления серый со стальным, но живым оттенком. Один ствол на два сорта яблок.

— Как они цветут? — спрашиваю я отца.

— Обыкновенно, как яблони...

— Вместе или порознь?

— Не упомнил... У садовой розоватый цветок, но запах слабый, у дикой — беленький, а духмяный...

Я в последний раз смотрю на сморщенные, как лица у новорожденных, яблоки. Глотаю слюну и иду к моей вишне. Мне очень хочется вишневой смолы. Мы в детстве делали из нее клей, чернила, а чаще всего ели. Закладывали за щеку желтый янтарный комочек и сосали, как сейчас сосут леденцы. И помнится, вишневая смола была вкуснее шоколадных конфет. Верно ли это, я сейчас хочу узнать.

Смола еще молодая, не затвердела, срывается легко, но липнет на руках. Я заталкиваю пряный комочек смолы в рот вместе с клочком приставшей к ней вишневой коры.

— Вкусно? — не выдерживает отец.

— Очень...

Но это неправда. Вкусно не очень. Приятен лишь необычайно сгущенный вишневый запах. Боясь расстаться с ним, я не достаю сигарет. Несу вишневый запах по пустынной, будто вымершей улице. Отец идет грудью вперед, легко, с подскоком, плечи его подняты и откинуты назад. Закатное солнце играет на начищенных до блеска голенищах сапог. Передки же посреди запылились. Мне хочется нагнуться и протереть их.

— И куда весь народ подевался? — удивляется отец.— То ни проехать, ни пройти. А сейчас некому ни здравствуй, ни прощай сказать.

Мне тоже хочется, чтобы кто-нибудь да вышел на улицу. И я успокаиваю отца:

— На работе, наверное, все. Улитины дети где работают?

— Поуезжали все. Выучились и уехали кто куда. Одна Улита на старости осталась.

— А Володька Украинчик?

— Здесь... Зайдем к нему.

Мы сворачиваем к калитке Володькиного дома. Дверь в избу открывает нам его мать.

— Добрый вечер! — шумно и радостно здоровается с нею отец.

— Вечер добрый,— отвечает женщина и долго и пристально всматривается в мое лицо.— А це, кажись, твой хлопец? — обращается она к отцу.

— Зацекала, будто не похож, не в меня. Выше батьки вырос... А где Володька?

— В поездке.— Женщина не отрывает от меня глаз.— Вот-вот должен вернуться.

Мы покидаем дом, женщина идет вместе с нами. Во дворе я задерживаюсь, оглядываюсь. Ищу погребок, в котором Володька Украинчик показывал Подольской улице кино. Двадцать копеек за вход. И спертый, сырой, пропахший керосином воздух. Тусклое мерцанье коптилки, заключенной в сбитый из досок ящик с прорезью. Ящик, помнится, служил проекционным фонарем. В прорезь вставлялась промасленная

узкая полоска бумаги с рисунками — кинолента. Свет коптилки падал на рисунок, и на куске белого картона появлялось изображение. Это и называлось кино. Так мы впервые смотрели «Тарзана», «Сталинградскую битву» и больше всего «Молодую гвардию». «Молодая гвардия» шла в Володькином кинотеатре-погребке каждый вечер. Он показывал нам ее даже бесплатно. Бесплатно делал нам наколки — «Не забуду мать родную», «Нет в жизни счастья»...

Погребка и следа не было. На том месте, где он когда-то стоял, сейчас росла малина. Не было Володьки Украинчика — он уехал в поездку. Был в поездке Володька, на которого мы все, подольчане, бесталанные, но всегда готовые к драке, чуть ли не молились. Работал кочегаром, помощником или машинистом паровоза Володька, которому все подольчане, несмотря на нищету и бедность воображения, прочили самое малое — художественное училище... Фезеушницкая улица. Ты прав, мой двойник.

— До свиданья,— вежливо кланяюсь я матери Володьки.

— Ты приходи вечером с сыном! — уже за калиткой кричит все еще стоящей во дворе женщине отец.

— Он рисует? — спросил я у него, когда мы немного отошли от беленького, задавленного зеленью домика.

— Кто? А... Может. Но всё паровозы, паровозы... И что он в них нашел? Ты и не заметил? На стене его дома нарисован паровоз...

— Чокнулся?

— С чего? Нет, помощником машиниста работает. Уважают его. Скоро машинистом пойдет.

Вечером в доме отца было шумно. Дробно семенила от стола к печи мачеха. Застолье ломилось. Блины, оладьи, мясо, колбасы, студень Уже ставить было некуда, а мачеха все подносила и подносила. Отец поднял чарку:

— Ну... Сын мне сто рублей привез. Подает, а я спрашиваю: «У тебя на книжке сколько лежит?» «Нет у меня, говорит, книжки». А у меня на книжке триста рублей, новыми, копейка в копейку. Не надо мне денег, своих девать некуда... Война б не помешала — улицы бы ими мостил. А и так добра. Як гаворать: дай божа завтра то жа.

И он опрокинул чарку. Отец не знаю когда, но уже успел хватить до стола.

— Приехал, и на том спасибо,— гудели гости, закусывая,— не забыл дорогу — и ладно...

Ко мне подсел двоюродный по матери брат, тоже подвыпивший.

— Принял перед тем, как сюда идти,— объясняет он мне.— Я здесь гость такой— всегда нежданный.

— Я ждал тебя.

— Знаю. К тебе и шел. Долго, годов пять, считай, я за тобой ходил. А сегодня сюда как на крыльях летел...

Он положил на стол изуродованную правую руку, сжал единственные два пальца на ней:

— Ты помнишь, как уезжал?

— Помню,— ответил я.

Но он все равно принялся рассказывать.

— Идешь ты мимо нашего дома, а я навоз накладываю в сани. Еще не зажили оторванные пальцы, кровенят, холодно. Приметил тебя. Куда? — допытываюсь. «Не ведаю»... И ушел. Я тебе: постой, постой! Куда там... постой. Отвез навоз, пригнал волов и бросил все. Заплакал — и за тобой... До Урала проехал, а не нашел...

— Я ближе, здесь рядом, в детдоме был...

— Молодец.

— Черт его знает.

— На мачеху сильно не обижайся. Да и на батьку тоже. Хоть и говорят: матка умерла — батька ослеп, но он тебя любит. А у мачехи свои дети, свои заботы. Ты ей чужой, не легло ни у тебя к ней, ни у нее к тебе сердце. Ты молодец, что сам дошел до этого. Молодец, я тебе говорю. Слушай брата. Переломил себя, съехал, выучился, в люди вышел.

— Переломил, съехал... Убежал из дому. Учился у всех и везде. А как в люди выходят, так и не понял.

— Слушай брата, я тебя буду учить: не будь солодким — сосмокчут. Не будь горьким — выплюнут. Будь как есть, как мать родила.

— Спасибо.

— Тебе спасибо. Подался я за тобой, на Урале специальность получил. А то бы всю жизнь волам хвосты крутить. Живу с достатком. Ни горький, ни солодкий — человек. И черт мне не брат. И ты, гляжу, тоже... На войну только не кивай, не списывай на нее ничего.

— Что мне списывать на войну.

— Тебе, может, и нечего, хотя кто его ведает... Мода сейчас пошла такая — на войну все сваливать. На войну, на хворобу... на черта лысого. Если неудачливый да ленивый, незаслуженный, не обласканный, самим собой обойденный, так обиженный. А кем? Войной? Не умом же. На ум еще ни один не кивнул, не пожаловался. Всяк по-своему метит урвать от жизни. И солодким и горьким прикидывается. А попробуй его — так он никакой: ни матки, ни батьки, а так — пришей кобыле хвост, пристебай иванович...

— Первая колам, другая соколам,— командует застольем отец,— ну, гости дороженькие, чем богаты, тем и рады. Пробачьте, коли часом что не так.

Не успели гости закусить, как на пороге появилась бабка Ничипориха. И снова показалось мне, что никуда я не уезжал, ни на один день, ни на один час не расставался со своим городом, улицей. И все, что раньше было со мной, приснилось.

Так же, как и годы назад, любопытно и ярко блестел, касался нижней губы Ничипорихи стальной нержавеющий и не знающий износу зуб. Не прибавилось и не убавилось на лице ее старческих ржавых пятен, годы не выправили и не согнули ее спины. В коричневой, длинной до пят хламиде-платье, в сером застиранном платочке была она как прошлогодняя камышина, которую не смогли переломить ни осенние хлесткие ветры, ни нудные дожди, ни снега, ни солнце. В руках Ничипорихи была чашка с медом. Она всегда ходила в гости с медом. Только поэтому, наверное, и держала пчел. Первой заявлялась она на родины и крестины, свадьбы и похороны. И всюду была желанной. Гулянка без нее была не гулянкой, праздник не праздником. Умела бабка и попеть, и поголосить, и выпить любила. И как это только я забыл о ней?

Ничипориха задержалась на пороге, привыкая к свету. И прямо с порога начала:

— Да что же вы сидите с грибами? Ай не к столу пришлась, не чакали? Иде гостюхна ваш? Бери бабу под руку да наливай пополней.

Я повел Ничипориху к столу.

— Ну-ну, постой,— остановила она меня.— Подивлюсь я на тебя. Матухна, вылитая матухна...

— Пригубь, Ничипориха.— Отец поднес бабке стакан.

— Не, так у людей не водится. Кто в этом доме сегодня самый дорогой, тот пусть меня и потчует.

Она не присаживаясь приняла из моих рук стакан, кульнула его и закусила своим медом.

— Ох и солодкая, отрава. С одной и не разберешь — что соложе, ти то мед, ти то горилка. Одной, хлопча, чаркой Ничипориху не угомонишь, с ног не собьешь. Давай по другой. Да помни — в разор ты меня ввел. Последний мед принесла тебе к столу, чем теперь троицу буду сустрекать?..

Под говорок обмочила свой стальной зуб в водке, облизала его, кульнула еще и повеселела:

— Ну что, хлопча, пуп твой не развязался? — Ничипориха толкнула меня в бок и засмеялась.— Не бойся — что Ничипориха завязывала, то и могила не развяжет... Ну, кого хороним: ни гомонки, ни песняка?

Ничипориха налила всем остальным. И потекла беседа. И в отцовском доме стало мне тепло и уютно, как никогда и нигде не было хорошо ни в один из самых долгожданных и радостных праздников. Всколыхнулось застолье, загудело, забродило. Неразговорчивых сделало болтливыми, непесенных — голосистыми, стеснительных — смелыми. И я забыл обо всем на свете — о злой и доброй своей памяти, о жизни в этом доме. Хотелось только одного: чтобы этот вечер никогда не кончался. Век бы сидеть и слушать родную полузабытую «говорку». Каждое слово со смыслом и к месту. Где еще я смогу услышать его, где еще я так порадуюсь ему?

Закружив, завертев людей, Ничипориха замолчала и не мигая вгляделась в меня. Глаза ее были строгими и ясными, без хмельного наплыва, без старческой блеклости.

— На могиле матери был?

— Не успел еще...

— Горилку пить поспеваешь.— Старуха покачала головой.— Все мы вот так. Пить да гулять. Памятник на могилу ставить приехал?

Я замялся. Я как-то даже не думал об этом.

— Гляди, хлопча, гляди... Високосный год живем. Что ни крестины, то хлопчик, что ни отел, то бычок. Бычки не к добру. И не поспеть можешь. У суседнем селе перед весной растелилась корова бычком с двумя головами. А ден пять тому назад дождь с громом был. И вдарила маланка в стог с прошлогодним сеном, а под стогом стояла жанчинка. Шугануло в нее полымем, и из него вышел человек. «Горе, горе вам, люди»,— сказал и в огонь ушел. Все как перед той войной... Гляди, что надумал делать — делай, делай не откладывая. Бегом сейчас жить надо, особливо нам тут, в Белоруси. Все войны праз нас идут... Что глядишь так? Думаешь, напилась? Не гляди, Ничипориха розуму не пропье... Перед той войной тоже все так было. Какое счастье в руки народу шло. И земля так родила и хлебом, и сеном, и грибами, и ягодой. И все как к черту в прорву ушло... Тигра тут у нас перед войной появилась, объявилась, народу тьму погубила.

— Откуда же здесь тигру взяться?

— А вот думай-гадай. Знал бы, где упасть, соломки бы подстлал. А еще...

Бабка оседлала своего любимого конька. Для многих сидящих здесь война — любимый конек, для многих она еще не кончилась и кто его знает когда кончится. когда заживут ее раны, кто их может залечить, придумать такое лекарство, чтобы хоть во хмелю не пекла людей давняя боль? Я не хочу про войну. Я хочу белорусских песен, белорусской говорки с пословицами-поговорками. Но мне, наверное, сегодня не суждено больше ничего слышать, кроме как про войну.

— У меня вон сколько орденов,— подсаживается возле меня отец.— Слушай, сынок, записывай про войну. Записывай, пока мы живы. Ордена...

— И жена под крыжом на деревенском кладбище, и дочка рядом

с ней малолетняя, и сын ушел из твоего дома по чужим людям куска хлеба просить. Ты про это мне хочешь рассказать?

Лицо отца темнеет, стареет, наливается кровью, обвисают щеки. На подбородке, на шее возле правого уха спелой брусникой рдеют, наливаются рубцы старых ожогов. Козырьком жидко и жалко свисают надо лбом выцветшие, изъеденные солнцем волосы. Мне жалко его, я ведь люблю его, перегрыз бы любому другому, кто осмелился бы сказать то, что сейчас сказал я, глотку. Но я уже не могу остановиться:

— Я тоже многое видел и перенес немало. Ты ведь даже не потрудился узнать, чем и как я жил все эти годы...

Отец уже трезв. Схлынула от щек кровь, лицо его светло и задумчиво. Только возле губ наливаются, синеют желваки. Я хорошо знаю эти желваки, они всегда вздувались перед тем, как он снимал ремень, когда до беспамятства наливался гневом. Я жду ремня. Но у него слезы.

— Это было в ту зиму, может даже в тот самый день, когда убило нашу маму...

Я делаю протестующий жест: ради бога, не надо мне истории. Но отец не обращает на меня внимания.

— Я тебе ничего и никогда не рассказывал. Это в первый и последний раз... Так вот, я говорю, в тот день. Ночью я вспомнил тебя, маму, Тому. Мама пришла ко мне во сне и сказала: «Я ухожу, Трофим, далеко и совсем, оставляю на тебя наших детей. Но всегда буду следить за тобой, как ты будешь приглядывать за ними». На рассвете чужое горе отбило мне память. Я посчитал сон блажью, а настоящее горе было рядом... На рассвете наш отряд наткнулся на засаду. Командиром был твой дядька, Каринич. Постреляли. И он приказал нам готовиться отходить. Отряд уже разворачивался. Но тут вдруг с немецкого боку стрельба стихла и заговорило радио: «Партизаны! Каринич! Ты не будешь стрелять в своих детей. Складывай оружие, твои дети идут к тебе». И правда. Со взгорка по снегу, глядим, идут хлопчик и девочка. А за ними немцы. Каринич прикипел. И закрутился на месте, как граната перед тем, как взорваться: то к нам повернется, то к детям. А потом припал к кусту и кричит нам: «Всем до единого отходить!» Не помню, кто отходил, кто не отходил. Передо мною встали ты и Тамара. И я прилег к Кариничу. А дети его миновали ложбинку и поднимаются к нам. Тихо так идут, сумрачно. И небо сумрачное, тихое, и снег как бы посерел, и немцы серые. Все будто неживое, нарисованное. Идут хлопчик и девочка по снегу, хлопчик впереди протаптывает дорожку, а девочка отстала, в след его ступает. Хлопчик подождал ее, взялись они за руки и вдвоем по целику и от куста, за которым мы с Кариничем лежим, глаз не отрывают. Каринич поднимается. А у меня ноги отнялись, катаюсь как колода по снегу, и звон в ушах. И тут надо мной как бомба разорвалась. Оглох, ослеп и чувствую, будто кто несет меня над землей. Это весь отряд наш побежал за Кариничем, и мои ноги бегут... Каринича схоронили на другой день, соседа нашего Ефима Рудого рядом положили. А от детей даже латки от пальто или рубашки не нашли... Вот и вся война в этих двух детях для меня. Все, что я хотел тебе рассказать. Чтоб ты помнил это, глядя на своих детей...

Мне постелили в сарае, на сеновале. Так захотел я сам. Долго не идет сон. Вздыхает корова. Сено старое, перетертое, колкое. Я отвык уже спать в сене. Сквозь щели сарая пробивался свет луны, и в ее свете струилась пыль. Пыль от прошлогоднего сена, пересохшего на солнце древнего моха в пазах сарая и бог знает еще от чего. Я задыхался от этой пыли, от сухого лунного света першило горло. Наконец

луна повернулась, лунная дорожка побежала теперь по моим ногам, я заснул. И во сне дразнит меня подросток-пастух: «Ты должен уйти отсюда. Тебе здесь нечего делать. Отец сейчас не спит, плачет в избе из-за тебя».

Но ведь мы с тобой давным-давно навсегда покинули эту улицу, решили вместе уйти отсюда. Ведь ты — это я. Я — ты.

— Решали вместе, но ничего не вырешили и разделились. Ты решил уйти, а я был за то, чтобы остаться. Я кричал, надрывался — останься. Ты задавил меня, не остался. А чего добился? Что из одного нас стало двое? Один скитался по свету, другой рвался и мыкался здесь. Тебе не понравилась мачеха, но ты не подумал об отце. А после твоего ухода его в этом сарае дважды вынимали из петли. Ты не подумал, что так может случиться? У тебя нет сердца.

— Неправда.— Я очень хочу проснуться и не могу. И что есть мочи кричу: — Неправда!

— Правда. В тебе есть жалость, память, но сердца нет. Ты сверх меры трезвый, ты знаешь только то, что хочется тебе.

— Есть, есть у меня сердце. Как бы все эти годы я жил без него? Память, жалость — это и есть мое сердце. Оно погнало меня из дому, привело меня в ФЗО, оно прибило меня к Сибири и опять к Белоруссии.

— Это я позвал тебя в Белоруссию. Я был рядом с тобой и в ФЗО. И все, что было с тобой в Сибири, в ФЗО, не настоящее.

— Вот я и поймал тебя. Без сердца ли, с сердцем, но все было настоящее, мое. И никому я ничего не отдал из того, что было. В Сибири я по-настоящему и до конца узнал себя. В Сибири я был и остался белорусом, как буду, видимо, сибиряком в Белоруссии. Так уж заведено в этой жизни.

(Окончание следует)

МАКСИМ ТАНК

★

ПАРТИЗАНСКАЯ ШКОЛА

С белорусского

Дощатая вывеска
«Партизанская школа»
Уже давно сдана как реликвия
Вместе с оружием самодельным,
Вместе с гранатами и листовками,
Вместе с походными сухарями,
Сводками боев
И берестяными кубками —
В мемориальный музей.

А в самой школе,
Снесенной фугасами,
Осененной чащей годов
И молчаньем курганов,
Покрытой небом воспоминаний,
В школе, где некогда на бересте
Дети старательно выводили
Крылатые строки Купалы:
«Партизаны, партизаны,
Белорусские сыны»...

В школе,
Где арифметикой овладевали,
Подсчитывая патронные гильзы,
Эшелоны, пущенные под откос,
И вычисляя,
Сколько еще потребуется
Мужества и взрывчатки,
Чтобы добить войну;

В школе,
Где учились обманывать голод
Ягодами и грибами,
Маскироваться в зарослях папоротника
И в гуще вереска
И ждать, ждать
Погибших...

В этой школе
Теперь обучаются
Птицы —
Вить гнезда из переливов и пересвистов,
Зверята —
Зашифровывать свои тропки,
Мураши —
Строить шалаши из хвойных иголок,
А молодняк-подлесок
У подножья опаленных сосен-ветеранов,
Вторя ветру,
Разучивает партизанские песни,
Звеневшие здесь.

Перевел ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ.

НИНА СЕМЕНОВА

★

В ВОСКРЕСЕНЬЕ РАНО УТРОМ...

Повесть

— Леха, Леха,— кричала мать, бегая по двору,— ты куда скрылся? Березовой каши захотел? Уж я тебя накормлю, как поймаю. До новых веников не забудешь!

Леха не слышал. Он сидел на коньке крыши и, задрав голову, глядел в небо. Ночь ползла откуда-то снизу — от леса, лезла прямо на солнце, а солнце хоть и светило ярко, но уже ни чуточки не грело и, медленно отступая, гасло. В последний раз оно вдруг вспыхнуло, рассыпав по земле лучи как стрелы. Солнце подняло их и нырнуло в тучу.

— К дождю,— сам себе сказал Леха и слез с крыши.

— А, вот ты где! — ничуть не удивилась мать и скорей по привычке, чем от злости мазнула Леху рукой по затылку.— Ноги помой, а то цыпки нарастишь — кровавыми слезами заплачешь.

Леха не заплакал, а засмеялся. Он ждал целый день той минуты, когда мать придет с фермы, подоит корову, накормит поросенка, загонит кур и возьмет к себе Натку. А Леха тем временем улизнет на речку. В тот час сбегаются на берег старой речки Дымки все деревенские ребята. Там, где на ее пути встает запруда, она разливается глубоким озером. Дед Егорыч зовет это озеро виром и рассказывает про мельницу, что стояла над ним когда-то: в революцию мельницу порушили и остались теперь от нее одни камни на берегу да в воде черные дубовые сваи. С берега, правда, они не видны, потому что под водой, но кто не дурак, тот знает, ведь с них так здорово нырять в воду. Нырнешь у свай, а вынырнешь у самого того берега, где стоят две березки, а под березками всегда — девки с парнями. Парень-то, если признаться, всегда один — рыжий Коляй, да и ему скоро в армию идти, а девки все разные. Тут и Нютка, и Светочка, и Танюшка с Наташкой.

— Эй, Леха, давай кто глубже нырнет! — кричат Танька-Манька.

Их все так зовут — Танька-Манька, даже если они поврозь, хотя поврозь их никто и не видит, а всегда вместе, потому что они парнятки. А кроме них, у бригадира Сани Маленького еще две пары парняток, но Танька-Манька — старшие.

— Давай,— соглашается Леха.

— Гляди, как мы надуваемся.

Леха глядит — они и в самом деле круглеют, как резиновые мячики, и он пугается:

— Танька-Манька, хватит, а то пузы лопнут.

— Не лопнут, потрогай! — кричат они.

Леха не знает, у кого трогать: не то у Таньки, не то у Маньки,— а они вдруг обе перестают надуваться и хохочут, тыча пальцами прямо Лехе в лицо:

— А где твой глаз? Косой!

— Ничего я не косой, меня пчела укусила.

От обиды Леха сначала хотел заплакать, но раздумал — перед кем плакать-то — и, разогнавшись, крикнул:

— Глядите, нырну, синий камень достану!

— Не достанешь, не достанешь!

Леха нырнул, да зря поторопился, и воздуху ему до дна не хватило.

— Ну, достал? — крикнули Танька-Манька и поплыли к другому берегу.— Догоняй!

Леха догонять их не стал. Он присел на край сваи, отдыхая. Ребра ходуном ходили у него под кожей, но он упрямо повторял:

— А вот и достану.

Достать синий камень со дна вира была мечта всех деревенских мальчишек; тот, у кого был синий камень, на весь год становился командиром. Прошлым летом командиром был Костя, он из города к бабке Аксинье приезжал в гости, а сейчас к другой бабке в Москву поехал. Борьба за командирство разгорелась снова. Не было ни одного дня, чтоб ребята не ныряли в вир в надежде достать синий камень.

И хотя вода в виру была холодной, как у лягушки брюхо, Леха нырнул еще раз. До дна он достал, схватил камень, но когда вынырнул и разжал ладонь, то увидел — камень был вовсе не синий, а серый, и он со злости запустил его далеко в кусты. Оттуда как ошпаренный выскочил белобрысик Митя.

— Ты что кидаешься, а то как дам под дыхало!

Леха не стал с ним драться: его раз толкнешь, а он уж домой — жаловаться. А тут ночь надвинулась, хоть и горел еще в небе закат, полыхал березовым огнем, а вода в реке была от заката тихой и красной.

Он посидел немножко на берегу. И пошел потихоньку домой, ведь дома-то небось все уже спали.

Проходя мимо хаты деда Егорыча, Леха не удержался, чтоб не заглянуть в приоткрытую дверь. Дед стоял на коленях и молился — только бороденка тряслась. Хотя сам не раз признавался, что в бога не верит, а просто каждый день итог подводит. Вот и сейчас он подводил итог.

— Ну, слава богу, суббота прошла, о господи, а что исделал? Картоху распахал — раз, колодец почистил, и все? Ох, старость не радость, рано ты, стерва, нагрянула. Ох, господи...

Леха только усмехнулся, слушая деда, потому что вспомнил, как бабка Аксинья про него рассказывала: «Злыдень как есть, а еще хвастается, будто в молодости красивый да сильный был. И придумает, козел старый. Да на него ни одна девка, бывалыча, и не глянет, бороденка на нем и та не росла. А теперь хвастается».

«Завтра воскресенье»,— подумал Леха и обрадовался. Каждое воскресенье приезжает из города Галина, гостинцев привезет и с Наткой побудет, а Леха пойдет с отцом в лес.

Леха кубарем влетел на свое крыльцо, хотел тихонько проскользнуть через сенцы в хату, но мать строго спросила:

— Ноги вымыл?

— А то! — обиделся Леха и юркнул поскорей в дверь.

Натка уже спала, посапывая в своей люльке, и Леха тоже вроде стал засыпать, как вдруг услышал, что кто-то плачет. Леха прислушался, и у него даже в животе похолодело — плакала мама.

— Все люди как люди,— сквозь слезы шептала она,— а ты что зверь лесной.

«А,— догадался Леха,— это она отца ругает, потому что он лесником работает».

— Ну, скажи, чего ты на центральную усадьбу не хочешь переезжать? И квартира в рассрочку, и свет, и водопровод, и клуб.

— А лес там есть? — спросил отец.

— Весь свет в окне — твой лес. А у нас дети растут. А что они тут видят? В деревне одни старики остались.

— Ладно, не реви,— успокоил ее отец,— сам про детей знаю. Да нельзя отцово подворье бросать. Ну, уйдут люди из малых деревень, а земля как же? Кто за ней приглядать-то будет? Из центральной далеко не увидишь, а земле близкий глаз нужен. Ты об этом подумала?

Он немного помолчал, а мать все плакала.

— А с другого конца повернуть,— сказал отец.— Кто об земле-то заботится?

— Земля, земля,— плакала мать,— а сам от колхозу сбежал?

— Лес — это тоже земля.— Отец будто не возражал, а сам с собой рассуждал.— Да и где мы там корову держать будем, на балконе, что ли?

Леха слушал, как они ругаются, то злобно, то ласково, да так и заснул, будто в вир нырнул, а как нырнул, то увидел: на дне его полным-преполно синих камней, бери сколько хочешь. Леха нагреб целые карманы, чтобы всем по камушку дать. А когда раздал все камни, тогда и проснулся, потому что делать во сне стало больше нечего. В хате было темно от тополя, что рос под окном, от него ползли по полу дымные тени. Леха вспомнил про воскресенье и мигом слетел с кровати. Затянул потуже штаны, чтоб не спадали, и выскочил на улицу.

Ни отца, ни матери во дворе. Ну, мать, ладно, на ферму потопала, а отец? А еще говорил: «Дите обмануть — что плюнуть в колодец». Правда, Леха уже не дите, ему с осени восьмой год пойдет, но все равно ведь — плюнул. Кто теперь из того колодца пить-то будет?

Леха прислонился головой к притолоке крыльца и заплакал. Остановиться никак не мог. Но и плача все же услышал, как скрипнула в хате люлька — это Натка выползла из нее и приползла к порогу.

— Еха, не плачь,— сказала она.

— Ага, если б тебя так.

Натка, вдруг поскользнувшись, упала, перекатилась через порог. Леха бросился к ней на помощь.

— Ушиблась? Больно?

Она сморщила нос и засмеялась. Натка всегда смеялась, когда совсем было не смешно-то.

— Ну, ты, хватит дурочку корчить,— сказал ей Леха,— давай одевайся и пойдем папку искать.

Натка послушалась, натянула кое-как на голову свое платье, красное в синюю клеточку, но продеть руки в рукава не смогла.

— Эх ты,— укорил ее Леха.— Ну, ладно, лезь на карпушки.

Натку уговаривать не пришлось — она тут же ухватилась за его шею худыми цепкими пальцами.

— Тише ты, а то задушишь.

— Ты мой конь, Еха,— сказала Натка и снова засмеялась.

На деревне было еще пусто, только туман стелился по земле, а внизу, под туманом, шли гуси — к виру на водопой спешили.

«Где же папка? — думал Леха.— Может, к бригадиру подался?»

И он повернул к хате Сани Маленького. Хата его была лучше всех других хат: обитая резным тесом, под шиферной крышей, как-никак, а первое в деревне начальство. Леха рассчитал: раз солнце еще не поднялось над лесом, значит, бригадир дома. Отправил всех людей на работу, теперь сидит и отчет составляет. Составит отчет и повезет на центральную, в контору. И все.

Леха потоптался немного в сенцах, чтоб дать о себе знать, но никто из хаты не выглянул, и он вошел. Нет, Леха маленько не угадал, и Саня не отчет составлял, а сидел у припечка и ладил ботинки.

— Дядь Сань, мой папка к вам не заходил?

— А ты чей? — Саня вскинул голову.

Он у всех так спрашивал, потому что сам признавался: люди у него в голове не держались. Цифры по надою, проценты за выкос — пожалуйста, все помнил, а вот лица нет.

— Старков я,— сказал Леха.

— А, Старков. Ну, проходь. Батя дома?

— А чего б я его искал?

— И то правда,— ничуть не удивился Саня,— ну погодь, ботинки налажу, вместе искать пойдем.

Саня сидел на скамеечке перед большой деревянной колодой и сам чуть виднелся из-за нее, а перед колодой валялись ботинки разных фасонов, цветов и размеров.

— Вот ребят своих обуваю,— пояснил Саня и, заколотив гвоздь, отложил молоток на колено.— Значит, не думаете на центральную переезжать? — спросил он.

Леха молчал.

— Эх, люди. Для вас государство старается, можно сказать, в доску бьется, а вы — не хочу. Вот я сейчас по деревне пойду, буду расписку со всех сымать. Мне так председатель и приказал: кто не хочет переселяться — расписку.

Через полуприкрытую дверь прихожей из комнаты доносился шум голосов — там двойняшки в паровоз играли. Леха посмотрел на них, и ему нестерпимо захотелось тоже покататься на паровозе. Но прежде ведь надо было отца найти, к тому же Натка все время дергала сзади за штаны, ныла:

— Еха, пошли.

— Успеешь, не на пожар.

Леха приоткрыл дверь пошире и увидел «мою молодуху». Она сидела перед окном и вязала чулок. И хотя звали ее тетей Ариной, все в деревне называли ее не иначе как «моя молодуха», как звал ее сам Саня. До колхозной работы он ее не допускал — не хватало, чтоб жена бригадира хряп свой гнула. И еще: я ли не хозяин? — говорил он всем.

Вместе с Лехой они вышли на крыльцо. Солнце уже разогнало туман, и открылась глазам деревня — все восемь дворов, не считая дома бабки Аксиньи. Бабка жила за рекой, и, можно сказать, не жила, а так — небо коптила. Одна-одинешенька, ни кола ни двора, а на дворе — собака Гавка.

Но у бригадира был, как видно, свой резон, поэтому он и решил начать свой обход именно с бабки Аксиньи.

Делать нечего, и Леха с Наткой тоже двинулись вслед за ним через реку Дымку.

Когда-то раньше, рассказывал отец, еще до войны, на этом берегу дворов совсем не было, вся деревня Старики помещалась как раз за рекой, большая, шумная, дворов на сорок. Теперь же от нее остались одни печки. Были и хаты, стояли заколоченные, но год за годом их растаскивали на дрова, а кирпичи ведь на растопку не сунешь, вот и остались от деревни одни печки. Тут печка, там печка, а между ними бурьян, кусты.

— Обезлюдела деревня-то,— сказал Саня.

— Как это — обезлюдела? — не понял Леха.

— Да так. Жили люди, а теперь их нету.

— Куда же они поделись? — не поверил Леха.

— Кто куда, брат. Много в войну полегло. А кто остался —в чужие края подались. Человек, брат, что рыба, ищет где глубже.

— А ты, дядь Сань?

— Что я?

— Ну, как рыба?

— Я, брат, туго корнями оброс. И рад бы в рай, да грехи не пускают.

Леха немного подумал.

— А какие у тебя грехи?

Саня не ответил.

Еще издали они увидели, что в хате у бабки Аксиньи топится печка, но когда вошли, то ни в сенях, ни в горнице никого не обнаружили. «Спряталась небось бабка,— подумал Леха,— она всегда так: как увидит бригадира, так и прячется — от греха подальше».

Но Саня тоже, очевидно, знал этот ее маневр, потому как ни в чем не бывало подвинул к столу скамейку, сел: мол, подождем.

Видя такой поворот, бабка Аксинья не замедлила тут же явиться.

— Батюшки-светы,— зашептала она, вылезая откуда-то из-за печки,— а когой-то мне бог прислал. Товарищ бригадир, проходи, садись, гостем будешь.

Но так как Саня уже сидел, то ему пришлось встать, и бабка снова усадила его за стол. Проворно слазила куда-то в подпол, достала бутылку «столичной». Бутылка была неполная и заткнута бумажной пробкой. Бабка ловко откупорила ее, налила.

— С праздничком тебя, товарищ бригадир.

Саня отказываться не стал, это было не в его правилах, и выпил.

Бабка Аксинья снова ринулась в подпол и достала Сане кусок сала и соленых огурчиков, а потом поднесла и еще стаканчик.

Выпив и закусив как положено, Саня приступил наконец к главному.

— Ты, мать,— начал он вежливо,— как живешь-можешь, на что жалуешься?

Бабка Аксинья сразу пустила слезу. Никогда раньше она не слышала от бригадира таких слов и заплакала. Правда, плача, она все прикидывала в уме: не к добру это, ох, не к добру.

— А жалуюсь я на весь белый свет,— сказала она,— и на тебя во-первости. Ты что же ко мне никогда не зайдешь, не покалякаешь?

Бабка Аксинья явно настраивалась на долгую беседу. Но Саня не дал ей долго беседовать, а сказал напрямик, чтоб с делом с этим поскорей разделаться:

— Спущена нам директива, бабуся, чтоб всей деревней на центральную усадьбу переселяться. Ты как на этот счет — согласна?

Бабка не поняла, а может, сделала вид, что не поняла.

— Вот что,— сказал Саня,— мне прямой ответ держать надобно, будешь ты переселяться отсюда, старая, или нет. Если нет — пиши расписку, что не желаешь и что идешь против.

Бабка постояла в недоумении, пошамкала и вдруг рухнула перед Саней на колени.

— А, Санечка, а, миленький, а, пожалей же ты мою душеньку...

Саня рассердился.

— При чем тут душа, если я тебе дело предлагаю. На выбор: или же лесу на хату, а то и квартиру в рассрочку. В двухэтажном доме. Будешь жить и песни припевать. А надоест петь — в кино сходишь. Тебе же лучше, старая.

Бабка поднялась с колен, лицо у нее стало каменным.

— Ну, вот что, товарищ бригадир, я и сама знаю, что мне лучшей, а что хужей. Мне, может, лучшей с тобой брехаться, чем тое кино глядеть. Может, мне от кина судорога делается. И говорю я тебе: никуда со своей селибы не двинусь. Туточки я родилась, туточки мне и смерть принять. А будешь силком выгонять — сучку свою спущу.

Саня поглядел на нее жалостливо и не стал больше спорить, сунул бумажку:

— Распишись.

Бабка взяла карандаш, послюнила его и охотно поставила на бумажке крест. После этого она снова запела:

— Приходи, Санечка, приходи, миленький...

А Саня так расстроился, что на обратном пути вместо хаты деда Егорыча влетел в свою собственную.

— Хозяин дома?

Парнятки его сидели за столом и ели блины, а как увидели Саню, так и есть перестали. И только «моя молодуха» не испугалась, а подошла к мужу и молча начала стаскивать с него сапоги.

— Ты что? — крикнул на нее Саня.

— Набрался уж с утра пораньше,— сказала она, но в голосе ее не было злости.

— Это кто набрался, я? — закричал Саня.— Да я трезв как стеклышко! А с вами и пошутить нельзя? Эх, люди!

Он отобрал у «моей молодухи» сапоги, надел их, почистил и еще перед зеркалом повертелся — хорош? Потом кивнул Лехе:

— Пошли, что ли?

Леха изрядно проголодался, бегая за Саней, и теперь, увидев, как уплетают парнята блины, ощутил тихую сосущую боль в животе, но Саня торопил:

— Давай, давай, а то и к полудню не успеем.

Леха покорно побрел за Саней. Он уже забыл, что вышел отца искать, больше всего хотел узнать: согласится ли дед Егорыч переселяться на центральную усадьбу? А если нет?

Дед в сенцах точил топор.

— Не подходи — зарублю,— пошутил он и пригласил бригадира в хату.

В хате было чисто подметено и вкусно пахло жареной картошкой. А на окошках стояли цветы.

— Чем могу служить? — церемонно спросил дед Егорыч и три раза тряхнул своей жиденькой бородой.

Саня с решительностью и непреклонностью объяснил.

— Давай баш на баш,— внезапно предложил дед,— хочешь, сегодня первый пример кину? И хатенку свою — по бревнышкам, к чертовой матушке! Но за это...— дед Егорыч помедлил, собираясь с силами,— помоги мне жениться, а?

Саня Маленький захохотал.

— Разве ж в этаком деле нужен помощник? Ты еще, Егорыч, и сам в силах!

Дед Егорыч опустился на лавку.

— Так ведь она меня и слушать не хочет.

— Кто? — заинтересовался Саня.

Борода у деда вздернулась кверху.

— Сказать?

— Скажи.

— А ежели секрет?

Саня скрипнул бригадирским ремнем.

— Ты, Егорыч, мудрец,— сказал он.— А ежели надсмехаться надо мной вздумал, то ведь со мной шутки плохи. А тут сенокос не за горами. Сенца могу тебе и не дать.

— Как так?

— А так. Ты ведь отрезанный ломоть. Был когда-то колхозником, а теперь же нет.

— Я на пенсии,— сказал Егорыч,— и государство...

Но Саня не дал ему договорить, вынул бумажку:

— Распишись!

— Погодь, погодь,— сказал дед Егорыч и прошел в угол, где, накрытый желтой тюлевой занавеской, стоял сундук. Открыл, покопался в нем и достал красную тряпочку.

— А это ты видел? — спросил он и сунул бригадиру под нос какую-то бумажку.

Саня прочитал: «Благодарность красноармейцу 5-го батальона Чичкину Якову Егоровичу за взятие Перекопа».

— Ну, нашел что показывать! — сказал Саня Маленький и отвернулся, стал глядеть в окно.

— Ладно,— согласился Егорыч и еще покопался в тряпочке.— Читай далее! — приказал он.

Это была почетная грамота от правления колхоза «Красный застрельщик». Внизу стояла дата — 1 мая 1943 года.

— Это все старые заслуги,— вздохнул Саня.— Давай уж лучше женись.

Дед оживился:

— А в сваты пойдешь?

— Скажешь к кому — пойду. Чего не сходить? В сваты, брат, можно сходить, это не на войну.

— К Алисе.

У Лехи и коленки дрогнули. Ну, ладно на бабке Аксинье пускай женится, ну, на тете Анюте... Но на Алисе... И имя-то у нее странное, потому что Алиса была нездешняя. А что в Стариках очутилась, так это в войну. Забросила она ее сюда вместе с матерью беженцами. А мать вскорости снарядом убило. А как похоронила мать на стариковском могильнике, так уж и не захотела уезжать. Осталась в колхозе. Потом замуж вышла. А Федор тот, муж Алисы, как в армию ушел, так с той поры и не возвернулся. Вот и осталась Алиса — не вдова, не замужняя жена и не разведенка. Потому что с кем разводиться, когда Федора и за хвост нигде не поймаешь, по всей стране путешествует. И, наверно, потому, что была Алиса нездешняя, коса у нее вилась ниже пояса.

Да разве Алиса за него пойдет, за такого сморщенного?

Леха нахмурился и даже думать об этом не стал, хотя дед Егорыч, будто догадавшись, о чем Леха думает, сам тут же голос подал:

— А кого ей ждать-то? Какого прынца заморского? Кругом на десятки верст глухомань, край света белого. А за мной — все ж таки при хозяине.

— Ладно,— согласился Саня Маленький,— Алису я тебе, Егорыч,

так и быть, сосватаю. Она давно на центральную перебраться хочет, да одна — не решается. Ты только сам гляди не сплошай.

— Будем стараться! — обрадовался дед Егорыч и даже каблуками прищелкнул: солдат да и только.

После деда Егорыча они двинулись к Алисе.

Алиса была на ферме, но увидев, что в хату направился сам бригадир, прибежала.

— Зачем пожаловали?

Бригадир сразу не сказал зачем. Постоял, поглядел на нее, головой покачал. Алиса так и заалелась вся.

— Ну, правда, говорите, зачем пришли, а то ведь мне некогда.

— Да вот в сваты меня к тебе обрядили,— сказал Саня,— соглашайся, пока не брезгуют.

— Ай, ну вас!

И тут увидела Леху с Наткой.

— Милые вы мои, я сейчас...

Бросив Саню посреди двора, она сбегала в огород и нарвала клубники.

— Ешьте, угощайтесь на здоровьечко.

Ни у кого в деревне не было клубники, а у Алисы была. Целых пол-огорода засажено. Леха сначала хотел отказаться, но увидел, как Натка сгребала целые пригоршни — и в рот, даже красные слюни у нее потекли, и тоже не вытерпел — взял ягодку. Его и Натку Алиса почему-то очень любила. Особенно его, Леху. Где ни встретит, обязательно гостинец за пазуху сунет. Да еще прижмет к себе, поцелует.

— Лешенька Михайлович, весь в батю-то.

Мать однажды заприметила это, набросилась на нее:

— Ты что это моих детей милуешь? Своих нет, так на чужих кидаешься.

Ничего не ответила тогда Алиса, заплакала и ушла прочь, а вечером слышал Леха, как мать отцу выговаривала:

— Чтоб ты в ее сторону и глянуть не смел! Ишь, распутная, через детей к мужику подбирается.

Сейчас Алисе не перед кем было стыдиться и она закармливала Леху вовсю. А Натку даже на стол посадила, тарелку с клубникой ей между ног поставила — ешь не хочу.

Саня махнул рукой и вышел.

Алиса, занятая детьми, и не заметила, что он ушел, оглянулась: нет никого, ну и ладно. А Леха наелся клубники, молока еще выпил и солидно сказал:

— Тетя Алиса, ты за деда Егорыча не ходи. Знаешь, какой он сморщенный.

Только теперь Алиса, казалось, поняла, о ком вел разговор Саня, и расхохоталась.

— Так это за него Саня меня сватает? Ну, Егорыч, пень трухлявый, чего задумал-то!

Глаза у Алисы были черные и смеялись весело, а потом она заплакала:

— Да я лучше в вир головой!

Она снова притянула к себе Леху, поцеловала в макушку.

— А кто мне люб, Лешенька, об этом никому не скажу.

Лехе хотелось спросить: кто? Но Алиса уже заторопилась — коров доить.

Она вытерла слезы, хотела уйти, но Натка уцепилась ей за шею, уговаривала:

— Тетя, не плачь.

— Ну, ладно, не буду.

А Лехе приказала:

— Ты матери-то не говори, что у меня были, а то заругается.

— Вот еще,— сказал Леха,— если ей все говорить...

Когда они с Наткой снова вышли на улицу, настроение у обоих было прекрасное. А что им еще надо: сыты, здоровы, солнышко светит. Вот только отца они так и не нашли. Наверно, все-таки один в лес ушел. Может, снова саженцы повез?

Леха все удивлялся: и так деревьев кругом полно, а отец еще подсаживает — зачем? «А затем, сынок, что не одним днем человек живет. Вот мы помрем, а лес все равно будет расти».

Леха не понял: как это мы помрем? Но спрашивать не стал, а отец тоже промолчал, он вообще не любил говорить много. Молчал и молчал, и Леха знал почему: в лесу целый день, с кем там поразговариваешь?

За кустами калинника он услышал чей-то смех и двинулся прямо туда, потому что сразу сообразил: так смеяться, захлебываясь как от щекотки, могла только Галина.

Рядом валялся мотоцикл.

Ага, значит, и Виталька здесь. Тогда надо удирать. Сунешься — сразу отлупит. Но куда ж Натку?

И Леха подтолкнул ее к кустам.

— Иди, там няня.

Натка сразу все поняла и отважно двинулась за кусты. Тотчас оттуда выскочил Виталька.

— А, это вы. А я на работу опаздываю.

Следом за ним вылезла и Галина и как ни в чем не бывало запела сладким голосом:

— Наточка, деточка, я так по тебе соскучилась.

Виталька уже завел свой мотоцикл и нетерпеливо ждал, пока Леха куда-нибудь отвернется. Лехе что, он отвернулся, и Виталька на ходу чмокнул Галину в губы.

Леха был рад, что избавился наконец от Натки. Та уцепилась Галине за подол и, будьте уверены, теперь не отпустит. А Лехе — свобода.

Он направился домой — хоть сапоги надеть, если в лес идти.

— Ну что ж,— размышлял он по дороге,— раз папка меня не взял, я сам в лесу его разыщу.

Но разыскивать отца Лехе не пришлось: отец был дома. Мало того, еще и ругался с Саней Маленьким. Правда, он не ругался, а Саня Маленький наступал, кричал, грозил в суд подать. Отец лишь усмехался:

— За что в суд-то?

— А за то! — Бридадир прыгал перед отцом, высоким и худым.— За то, что ты моих баб опять в лес сманиваешь!

— Да не сманиваю я. Погоди, не суетись.— Отец был настроен миролюбиво.— Осталось тыщи две досадить. Саженцы кончаются.

— А в колхозе работать за них — дядя? Нет, Мишка, шалишь, кончилось мое терпение. Я, можно сказать, из кожи лезу, хозяйство веду, а он только свистнет — все мои бабы к нему на посадку. Это разве порядок?

— Непорядок, нет,— засмеялся отец,— а отчего так? Не знаешь? Оттого, что государство с ними сразу расплачивается. Заработал — получи. А ты за три месяца уже задолжал и невесть когда рассчитаешься.

— Так ведь не я. Колхоз задолжал. С меня взятки гладки.

— Вот в том-то и дело, что каждый оправданье имеет: не я и хата не моя. А раз ты бригадир, то должон с председателя спросить!

— Должон, должон,— передразнил его Саня,— а ты мне что за указ? Я сам тебя, если хошь, к любой стенке прижму.

— Ты?

— Я.

Отец смеялся, но Леха заметил, как в его глазах, узких, черных, загорелись зеленые огоньки, и это было не к добру. Правда, отец тут же и смирил себя, спросил добродушно:

— И что ж ты мне сделаешь, бригадир?

— А то! Сотки отберу — по миру пойдешь.

Отец перестал смеяться.

— Сотки отобрать — не имеешь такого права.

— Имею! Раз не колхозник — сотки долой.

— У меня жена в колхозе трудится.

— Жена не в счет. Жене мы оставим, а твою долю — к чертям собачьим.

— Знаешь что,— сказал отец,— не дорос ты еще до меня, Санечка!

Этот намек был для Сани смертельной обидой. Он весь побелел и выхватил из кармана блокнот и ручку.

— Так,— сказал он, и голос его зазвенел,— так и запишем. Тринадцатого июня, в воскресенье, в семь часов сорок минут утра лесник Михаил Старков оскорбил бригадира колхоза «Красный застрельщик» при исполнении им служебных обязанностей... Свидетели есть? — обернулся он. Но так как свидетелей не было, один Леха стоял столбом посреди двора, Саня захлопнул блокнот, сказал с угрозой: — Я теперь тебя, Мишка, и без свидетелей упеку. Теперь ты уж у меня ни в жисть не отвертишься.

Отец отвернулся от него и, увидев стоявшего во дворе Леху, подошел к нему, взял за руку и сказал:

— Пойдем. Мы же в лес с тобой собирались.

* * *

Леха и раньше уже много раз бывал в лесу — и один и с отцом,— но сегодня он шел и удивлялся, будто в первый раз.

— Видишь, Леха, деревья — как и мы, люди. Дубы-мужики крепко стоят на ногах, березки, как бабы,— белые, тонкие. Ну, а папоротники — дети малые.

Куда они шли с отцом, Леха не знал, а только знал, что шли к солнцу. И в самом деле солнце в лесу — рукой достать. Протянуло лучи свои между веток и держится, оторваться от земли не хочет.

«Вот бы ухватиться за луч,— думает Леха,— да и взобраться на небо, а оттуда как крикнуть...»

— Эй, люди! Я вас вижу, а вы меня не-ет!

Отец укоризненно смотрит на Леху.

— Ты что кричишь? Лес крикунов не любит.

И опять они долго идут молча, пока Леха наконец не выдерживает.

— Пап, а пап,— спрашивает он,— а как ты думаешь, Саня и родился таким?

— Каким таким?

— Ну, маленьким.

Отец немного помолчал, словно не знал что ответить.

— Маленькими, сынок, все рождаются. Только потом жизнь одних в рост гонит, а других к земле гнет. Думаешь, ему сладко всю жизнь с бабами воевать?

— А тебе? — спрашивает Леха.

— Что — мне?

— Не скучно тебе в лесу? Целый день-то?

— Нет,— смеется отец,— в лесу весело.

Отец ходит в лес не просто так, а на работу — это Леха знает, только какая ж это работа. Работать — это косить, лен брать, коров доить, а он ходит по лесу, и все. То вешку зачем-то поставит, то указатель к столбу прибьет. А то остановится возле какой-нибудь осинки, ухо к стволу приложит, послушает. На Лехин глаз, так все деревья в лесу одинаковые, а для отца — нет. Завидует Леха отцу — вот бы и ему так — и просит:

— Пап, научи.

А отец смеется, не учит, только говорит:

— Гляди, сынок, гляди.

Леха во все глаза глядит, но ничего такого не видит, а видит только, что отец зарубки на тех деревьях ставит, где дятел долбит. Поставит зарубку и скажет:

— Спасибо.

— Кому это ты спасибо говоришь? — удивляется Леха.

— Дятлу. Он ведь мой помощник. Он насквозь дерево видит и сразу мне знак подает. На здоровое он ни в жизнь не сядет, а больное со всех сторон обстучит. Как доктор.

«Чудно»,— думает Леха и спрашивает:

— А если два дня и две ночи идти, лес кончится?

— Кончится, сынок.

А Лехе кажется, что лес по всему белому свету тянется. Леха пугается:

— Пап, ты где?

— Тут я. Чего кричишь?

Отец стоит возле толстой смолистой сосны и, придерживая рукой кепку, смотрит вверх. Леха тоже поглядел вверх, а сосны-то и нет: один ствол из земли торчит, а верхушку как ножом срезало.

— Кто это ее? — спрашивает Леха.

— Молния покорежила. Придется теперь этакую красоту на дрова пустить.

— Хорошо,— соглашается Леха,— а то у деда Егорыча совсем дров на зиму нету.

— Ишь ты,— говорит отец и треплет Леху по стриженой голове,— жалостливый, как мать. Ладно уж, скажи деду, пусть забирает сосну. Мне не жалко.

«Теперь уж непременно дед Егорыч женится,— вспоминает Леха.— Сам говорил: только б дровишками на зиму запастись, а там и за свадьбу».

Но отцу он не говорит про свадьбу, а только спрашивает:

— Пап, а пап, а правда она красивая?

— Кто?

— Тетя Алиса, кто ж еще?

Молчит отец, будто не слышит вовсе. Леха уже заметил: он часто так — его о чем-нибудь спросишь, а он не отвечает и только потом, когда уже забудешь, ответит.

— Правда.

И еще Леха заметил, что в лесу отец бывает добрее.

Они отмахали небось верст с десять, но солнце все равно обогнало их. Оно поднялось уж высоко в небе и оттуда, с высоты, безжалостно жгло головы.

Лес стал вдруг редеть. Оглянулся Леха — он уже на поляне стоит, а через поляну дорога.

— Передохнем, что ли? — спросил отец, и Леха тут же почувствовал, как заломило у него под коленками.

Они выбрали место посуше и сели. Отец расстелил газету и стал выкладывать на нее лук, сало, хлеб. Леха только облизывался. И тут загудела машина. Она выскочила из леса и пошла колесить не разбирая дороги: ямка так ямка, кочка так кочка, только синий дым из выхлопной трубы.

— Сам едет,— сказал отец, и Леха понял: председатель.

Машина резко затормозила, и председатель не вышел, а как-то вывалился из нее. Был он толстым, коротконогим, а когда снял шляпу, то Леха увидел, что и голова у него как мячик: круглая и голая.

— Здорово, леший! — сказал председатель и протянул отцу руку.

Отец улыбнулся:

— Здоровы будьте, Иван Захарыч.

Председатель придирчиво оглядел разложенную на газете еду.

— Хорош у вас стол.

— Не побрезгуйте и вы нашей хлеб-солью,— предложил отец.

— Не побрезгую.

Он присел рядом на кочку, азартно потер рука об руку, потом щелкнул пальцем по горлу:

— А это?

— Не употребляю,— сказал отец.

Председатель не поверил.

— Печенкой, что ль, страдаешь?

— Нет, здоров. Не приучен просто.

Председатель захохотал, причем Леха заметил, что хохотала у него лишь правая сторона лица и правый глаз хохотал, левый же был серьезный и неподвижный.

— Слушай,— отхохотавшись, сказал председатель,— давай меняться: ты в председатели, а я вместо тебя в лесники.

— Зачем? — спросил отец.

— Работенка у тебя подходящая. Ни начальства, ни подчиненных, сам себе голова.

— Начальства хватает,— сказал отец и засмеялся,— без начальства какая ж работа. Только мое начальство в лес ни ногой.

— Чего ж так? — заинтересовался председатель.

— Комарья, видать, боится.

Теперь уж председатель хохотал так, что и хлеб из рук выронил.

Председатель вытер руки белым платком, надел шляпу.

— А знаешь что, леший? Иди-ка ко мне в бригадиры. Мне позарез непьющие мужики нужны.

— А Саня Маленький как же? — спросил отец.

— Об нем не толкуй. И для него дело найдется. А ты мне нравишься.

— Я не девка, чтоб нравиться.

Отец поглядел в небо, и глаза у него засинелись.

— Спасибо на добром слове, Иван Захарыч, а только без лесу мне не прожить.

— Ты сколько тут получаешь?

— Семьдесят пять.

— Ну вот, а у меня будешь по две сотни зарабатывать.

Отец нахмурился.

— Разве в деньгах дело?

— А в чем?

Отец подумал немного.

— Я берегу красоту,— наконец сказал он.

Председатель зевнул и откинулся на траву.

— Сто лет не был в лесу. Тишина какая...

— Соснули бы часок, Иван Захарыч!

— Хорошо бы! — снова зевнул председатель.— Да в третью бригаду надо наведаться. А как тут у вас Саня Маленький,— вдруг спросил он,— не озорует?

— Я не доносчик,— отвернулся отец.

Председатель уже стал надевать сапоги, но один сапог надел, а с другим так и заснул в руках. Повалился на бок, шляпу под себя подмял.

— Это его на войне, сынок, так изувечило,— пояснил отец, кивая в сторону председателя.

«Председатель хороший»,— подумал Леха. Жаль, что отец ему на Саню Маленького не нажаловался. Уж председатель приструнил бы Саню совсем с бригадиров снял, а поставил бы отца. Переехали бы они на центральную усадьбу, и Леха каждый бы день в кино ходил. А то за все годы два раза только и был в кино: «Чапаева» смотрел и «Осторожно, бабушка».

Леха помолчал, помолчал и тоже заснул. А когда проснулся, то ни председателя, ни отца не увидел.

— Папка! — закричал он в страхе.— Где ты? Меня ж волки съедят.

— Не съедят! — Отец вышел из-за куста, в руках у него был кузов, полный прошлогодней клюквы.— На-ка попробуй.

— Не, лучше Натке,— сказал Леха,— она ж маленькая.

— И Натке хватит. Ешь.

Обратная дорога к дому показалась Лехе куда короче. Вдруг увидел, что у старой елки щенята дерутся. Тузят друг дружку лапами, все морды расцарапали. Он подбежал и стал их размирять.

— Цыть! Чего не поделили?

Щенята зарычали и набросились на Леху, стали срывать с него штаны. Но тут подоспел отец.

— Ты что, не видишь — это ж волчата! Скорей убегай, а то волчица явится.

Они отбежали шагов на двадцать, и отец сделал на сосне отметину.

— Завтра с ружьем приду.

— А меня возьмешь? — с надеждой спросил Леха, но тут же вспомнил про Натку и про то, что воскресенье уже кончается.— А почему ты сегодня ружье не взял? — спросил он отца, хотя и знал: забыл отец про ружье. Тут не только ружье, а самого себя позабудешь, если бригадир Саня привяжется. До чего ж липучий, как муха.

«Ладно,— мечтает Леха,— вырасту я, тоже лесником стану. Или председателем. А может, летчиком?»

Сейчас, уходя от волчьего логова, они спустились в лощину и угодили прямо к кринице. Вокруг сырое болотце, а посередке родничок бьет, пузырится, даже брызги разлетаются. Леха напился, идти стало куда веселее. А еще под березкой он поймал ежа, засунул его за пазуху, ежик катался под рубахой, щекотал, и Леха не хотел, а смеялся. Из-за ежа он и отстал от отца, а теперь догонял, потому что подходили к дому и Лехе хотелось по деревне пройти вместе с отцом. Пусть видят все, что идут мужики с работы, умаялись, есть хотят, но бодро шагают нога в ногу. Правда, никто не встретился, никто не увидел, как они идут.

Леха не унывал. Зато в окна небось все глядят. Глядят и завидуют: вот так работнички.

Так они шли и ничего не подозревали, и только когда во двор вошли, почуяли что-то неладное. Визжал в хлеву поросенок, Красуля мычала недоеная.

— Ты чего, пап? — быстро спросил Леха, потому что почувствовал, как дрогнула рука, за которую он держался.

С крыльца, растрепанная, заплаканная, навстречу им сбежала Галина. Она раскрывала рот, хотела что-то сказать, а слова не получались.

— Говори! — крикнул отец.

— Мать... в больницу... надорвалась...

— Как надорвалась? — не понял Леха.

— Силос из ямы тащила, а в животе у нее что-то... лопнуло.

Леха как стоял, так и сел на крыльцо — у него тоже внутри будто лопнуло что-то.

* * *

— Рак,— расползлось по деревне,— слыхали, бабоньки, у Веркито Старковой рак. Только, вишь, до поры до времени он тихонько сидел, спрятавшись, а как она надорвалась, тут и выполз наружу. Говорят, в городе самый главный профессор ее смотрел, всю чистенько обследовал — не нашел. Потому что рак этот не простой, а ползучий. Вот он и ползет по всему телу, разве его обнаружишь? А как к сердцу доползет, тут и конец.

Леха тосковал. По матери. Сколько уж дней прошло, а ее все нет. По отцу. Он хоть и каждую ночь дома, а будто и не отец вовсе. Глаза хмурые, черные. Встанет с постели, ружьишко за плечи — и в лес. И Галина из города не приезжает. Приходится Лехе самому хозяйствовать. Бывает, тетя Алиса забежит, схватит Натку и унесет с собой. С утра и до вечера работы у него теперь по самое горло: и Красулю выгнать, и курам хлеб покрошить, и картошки наварить, поросенка накормить. О том, чтоб на речку сбегать, и думать нечего.

И вдруг однажды под утро затрещал мотоцикл: Виталька! А с ним заявилась и Галина. Подарков понавезла: отцу рубашку и галстук, Натке шапочку с ушками, а Лехе петухов на палочке. Расхвасталась:

— Я на работу устроилась. В магазин.

— А институт как же? — спросил отец.

— Лови там, где ловится. В институте еще пять лет на сухом пайке, да и после института сто рублей. А я уже сейчас сотенку имею.

Отец потоптался перед Галиной, ушел во двор, а во дворе все ходил и сам с собой разговаривал. О чем — Леха не знал.

Потом он вернулся в хату, достал из шкафа рубашку с галстуком, вернул Галине.

— Возьми-ка,— сказал он.

Галина так и хлопнулась на диван.

— Ты у нас, папахен, в прошлом веке живешь. Взгляды у тебя какие-то допотопные. Я ведь не украла, а купила. На свои, на собственные.

— Все равно,— сказал отец и крикнул в окно:— Леха!

Леха всунул в дверь голову.

— Отдай и ты свой гостинец, сынок.

Леха моргнул и заплакал.

— Ты чего? — спросил отец и нахмурился.

— А я его съел,— сказал Леха,— я ж не знал.

— Эх, папка, папка,— вздохнула Галина,— сам чудик и из детей чудиков делаешь. А ведь им в нашем веке жить, не в твоем. Ты думаешь, им легче с твоими-то взглядами жить будет?

Леха вышел с отцом во двор. Ему было неловко, что он съел Галинин гостинец, и поэтому он все время вертелся у отца под ногами, заискивал.

— Пап, ты куда?

— Стригунка надо напоить.

— И я с тобой.

— Неси уздечку.

Леха принес и только хотел взобраться на Стригунка, как увидел Витальку. Сидит на завалинке и прутик ломает, а тот не ломается — гнется лишь. Леха и про Стригунка забыл, подошел и сел для компании рядом. Так они немного посидели, и Виталька спросил:

— Значит, погода, говоришь, нелетная?

Леха ничего не говорил, но глянул на небо и подтвердил:

— Выходит, нелетная.

Виталька росточком был маленький, но сильный страсть и прутик все же сломал. Отбросил подальше в крапиву.

— Вот в том-то и дело, браток.

А Леха спросил:

— Виталька, зачем тебе летная погода? Что у тебя, самолет есть?

Витальке и говорить нечего. Правда, может, он потому замолчал, что Галину увидел. Галина мыла полы и выскочила на крыльцо в одной рубашке и в юбке. Виталька покраснел, а ей хоть бы что, выплеснула грязную воду прямо ему под ноги и спросила:

— Ну, что вылупился? Не видал, что ли?

А Виталька хоть и видал, но глаз отвести не мог.

Так они стояли друг перед другом и молчали, Лехи небось стеснялись. Лехе что, он лишь усмехнулся, взял веревку и пошел Красулю перевязывать. Красуля была стельная, и в стадо ее не гоняли, а пасли возле речки — навязывали. Объест Красуля траву вокруг себя, потом Леха придет и переведет ее на другое место. Красуля терпеливо ждет, пока он с веревкой возится, затем изловчится и лизнет его. Язык у нее длинный, шершавый, даже щекотно сделается.

— Иди, Красуля.

«И за что только ее Красулей прозвали? — думает Леха.— Один рог к самому уху закорючился, другой и вовсе сбит, тряпкой замотан, зато на лбу белое пятнышко, как звездочка».

— Красуля, Красулечка,— гладит он ее по морде,— скоро у тебя теленочек родится?

Скоро — мычит Красуля.

На обратном пути Леха неожиданно решил завернуть к виру, но раздумал — холодно. К тому же вспомнил: может, Виталька на мотоцикле покатает? Если он еще не уехал. Оглядел двор — нет, не уехал, мотоцикл у забора валяется. И дверь в хату закрыта. И вдруг услышал голос Галины:

— Пусти.

— Не любишь? — Голос у Витальки был хриплый, придавленный.

— Значит — не люблю.

— А раньше любила? Помнишь, у родничка? Звезды светили...

— Светили да погасли. Пусти!

Виталька долго молчал, только курица как закудахтала — рада, что яйцо снесла.

Из-за курицы Леха и не услышал, что говорил Виталька, а что Галина кричала, услышал:

— Ну и нашла! Нашла! А кто ты мне, чтоб спрос держать? Кто?

— Не узнаю я тебя, Галина. Раньше такой не была.

Но Галина не думала сдаваться.

— Эх, миленький. Жаль мне тебя. Ничего ты не видишь, не знаешь. А я потому такая, что жизни настоящей хлебнула.

Возле хлева отец запрягал Стригунка, а тот не давался, всхрапывал, не вставал в оглобли.

Леха посмотрел на небо. Оно было хмурое, грязное.

— Пап, ты куда, ведь дождь скоро.

— Ничего, только жердей привезу, может, управлюсь.

— А зачем жерди?

— Посадки огородить. Коровы весь молодняк затоптали.

Не успел он уехать, как хлынул дождь. Леха даже за ворота выбежал: может, вернется отец? Нет, не вернулся. Вымокнет весь, и Стригунок тоже. Леха сел на крыльцо и стал глядеть на дождь, как он со стрехи капает. Соберется на соломине большая-большая капля и шлеп в лужу, опять соберется — и шлеп. Хорошо под звон капель сидеть.

— Эх, мама б была, блинов бы спекла. Со сметаной...

И вдруг Леха вспомнил: а что, если зажмуриться?

Сначала было темно, потом что-то засветилось в темноте, какая-то точка, стала шириться, расти, все ярче, ярче, и Леха почувствовал, что это идет к нему мама. На голове у матери был платок, а в руках белый узелок с гостинцами. Она развязала узелок и дала Лехе пряник, а потом обняла его и поцеловала. И от ее мягких, теплых губ, от ласковых рук так Лехе стало приятно, что он засмеялся и смеялся долго-долго, а потом спросил:

— Мам, ты скоро домой придешь?

— Скоро, сынок, вот сено сгребу и приду.

Леха удивился:

— А разве в больнице тоже сено косят?

— А как же? Не будем сено косить — подохнут коровы-то.

— Ты не волнуйся. Мы с папкой накосим.

Мать стояла у плетня и ласково глядела на Леху, а он не мог понять — грустная она или веселая.

— А Натка где? — спросила она.

— Спит еще.— И снова повторил: — Ты не волнуйся, Натка жива-здорова. И Галина тоже. Вот только папка...

— Что он?

— Я вчера пошел поросенка кормить, а он стоит в хлеву и плачет.

— Чего ж это он плачет?

— Не знаю. Наверно, тебя жалеет.

— Раньше надо было жалеть!

Леха даже вздрогнул и открыл глаза. Дождь уже прошел, и по всему небу растянулась радуга. Один ее конец в тучу ушел, а другой радуга в вир опустила. Леха хотел заплакать: мам, куда ты ушла? Но тут дед Егорыч окликнул его:

— Лех, а Лех, подсоби-ка.

Дед Егорыч доставал из колодца воду и никак не мог ведро на крюк нацепить — пальцы не слушались. Леха помог ему и сказал:

— А еще жениться думаешь.

Дед Егорыч закашлялся, потом пояснил:

— А потому и думаю, чтоб жена хоть воду носила. Эх, Леха, без хозяйки в доме одно разорение. А так я еще молодец молодцом.— Он подмигнул Лехе.— Как, на твой взгляд, можно мне годов пятьдесят дать?

Леха поглядел на деда, какой он желтый, сморщенный, и охотно дал ему пятьдесят годков.

— Ну вот,— обрадовался Егорыч,— а она еще брезгует. Да за такого молодца кто хошь пойдет.

Леха решил сходить на ферму, поглядеть, как там идут дела.

Кроме матери и Алисы, на ферме работали еще три доярки —

Лида, Аннушка и тетя Ксеня. Они уже заканчивали дойку и готовились выгонять коров в поле.

— А я вчерась из магазина иду,— рассказывала между делом тетя Ксеня,— встречаю Саню Маленького. Уговаривал Верки Старковой группу принять.

— А ты?

— А я сказала: пускай свою молодуху заставит.

— Правильно!

Коровы мычали, не хотели из хлева выходить, но пастух уже торопил:

— Пошли, пошли.

Затихали вдали и голоса доярок, теперь Леха оставался в хлеву один и мог делать все что душа пожелает. Хочет — в футбол погоняет, хочет — на луну полетит.

— Внимание! Приготовиться! Старт!

Однажды Леха чуть и в самом деле не улетел. Началась гроза, а он в это время как раз в силосной башне сидел. Молния как ударит, только искры кругом, а Леху наземь швырнуло как щепку какую. Теперь его и за сто рублей не загонишь в башню, а на крыше зато аисты поселились, гнездо свили и живут.

Леха вышел аистов поглядеть, но их не было, улетели лягушек искать. Теперь когда прилетят? К вечеру только. Он поглядел туда, куда они улетели, и ахнул. За речкой, как раз в том месте, где кончался вир, стояли машины. Много машин, и даже не машин, а домиков на колесах. В домиках были окна, а на окнах занавесочки. Под одним из таких домиков лежал шофер. Леха сразу это определил, потому что руки в мазуте.

Шофер, очевидно, спал: муха по носу ползала. Но как только Леха подошел, шофер открыл глаза и подмигнул ему:

— Здорово, кореш.

Леха не понял, что такое «кореш», но поздоровался.

— А магазин где-нибудь есть здесь поблизости? — спросил шофер.

— На центральной, верст семь с половиной.

— Нет, это нам не с руки.

Шофер вдруг резко поднялся и сделал на голове стойку. А Леха с удивлением увидел, что брюки у него были на гвоздиках. Самих гвоздиков, правда, не было видно, но повсюду, где можно и где нельзя, торчали от гвоздей шляпки.

— Умеешь так? — спросил шофер, все еще стоя на голове.

— Не-а,— признался Леха,— зато я на пузе играть умею.

— Ну-ка покажи.

Леха показал, но шофер даже не улыбнулся.

— Это что,— сказал он.— Я знал одного пацана, так он языком ухо свое доставал. А ты — попробуй.

Леха попробовал — не получилось.

— Эх ма! Закурить и то нечего. Не знаешь, где достать можно?— спросил шофер.

— Разве у деда Егорыча,— вспомнил Леха,— самосад.

— Самосаду не употребляю. А еще кое-что тут нельзя ли достать? — спросил он.

— У деда Егорыча,— догадался Леха,— если он сам не всю выпил.

— Самогонка, что ли? — спросил шофер и поморщился.

— Ага.

Шофер долго молчал, разглядывая плывущие по небу облака.

— Вот глухомань. И как тут люди живут?

— А что? — сказал Леха.— Живем, не жалуемся. У нас тут весело.— Лехе стало жаль шофера, и он предложил: — А хочешь, в вир нырнем, синий камень достанем.

— Зачем? Веди лучше меня к своему деду Егорычу.

По дороге Леха спросил:

— А вы зачем сюда приехали?

— Кино снимать. Натуру у вас тут нащупали.

Дед Егорыч встретил их с радостью.

— Все у меня, мил друг, есть: и закурить и выпить, Заходи, не побрезгуй, сегодня ведь праздничек.

Дед поднес шоферу стаканчик. Тот выпил и весь сморщился: пахнет. А дед Егорыч между тем пустился в философию:

— Ругаются, что я пью. Да разве я пью? Вот дед у меня был отменный пивак. А я так — душу тешу.

Леха проводил шофера обратно к машине, и только тут они наконец познакомились. Оказалось, что шофера зовут Яшей, как и деда Егорыча.

Леха стрельнул глазом и сразу определил, что здесь, на берегу Дымки, что-то случилось за время их отсутствия.

Возле печек сновали люди, протягивали провода, ставили прожекторы. Распоряжался людьми один, весь лысый, но с густой черной бородой, как бог в углу у бабки Аксиньи. Бог этот держал в руках какую-то трубу и кричал в нее:

— Левей! Ты что, не видишь, Капустин? Левей надо! Ай-яй-яй, а теперь правей. Не Капустин ты, а Морковкин, дурень. Ставь свет! Свет ставь! Камеру, камеру на рельсы! Выше, выше, еще выше! Мотор!

— Кто это? — спросил он у Яши.

— Режиссер.

Яша был под хмельком, но держался чересчур прямо.

— А зачем он в трубу кричит?

— Чтоб все видели, что он тут главный.

Это и без трубы было видно, по одной бороде, но Леха промолчал. А дальше как грохнет что-то, как задымит! И вдруг прямо над головой он услышал голос. Не голос, а рев:

— Мальчик, мальчик, чей это мальчик — убрать к чертовой бабушке! Хотя стоп! Верный кадр.

Режиссер подбежал к Лехе, оглядел его с головы до ног, даже в ухо зачем-то подул, приказал:

— Загримировать! Одеть сиротой! Живо!

Леха чуть не рассмеялся ему в трубу. Он хотел сказать режиссеру, что он вовсе не сирота, но ничего этого сказать не успел, потому что чьи-то быстрые цепкие руки подхватили его, содрали с него рубашку, штаны, вместо них напялили на голое тело какие-то лохмотья и еще сажей лицо вымазали. Леха отбивался как мог, а режиссер кричал:

— Вот это натура!

Потом Леху вытолкнули под свет прожекторов и приказали:

— Плачь!

Леха засмеялся:

— Чего мне плакать, я ж не дурак.

— Плачь! Плачь! — кричал режиссер.— Видишь, война, и деревню твою спалили, и мамка твоя умерла!

— Сам ты дурак! — рассердился Леха и пояснил: — Мамку мою в больницу свезли, и завтра мы к ней поедем. Чего мне плакать?

— Нет, ты не понимаешь.— Режиссер отбросил свою трубу и говорил тихо, чуть слышно, не говорил, а убаюкивал: — Ты кино про

войну видел? Ну вот. А теперь представь, что война не в кино, а здесь, в ваших Стариках. Фашисты летают, бомбы бросают, слышишь?

Он поднял руку и взмахнул ею: дескать, огонь! А за кустом и вправду как грохнуло!

Леха вскочил и побежал за куст — поглядеть. А что тут глядеть? Одна печка за кустом и та вся развалилась от взрыва, лишь дымок еще вьется. Под ногами вдруг что-то пискнуло. Глянул Леха, а это воробьенок. Наверно, гнездо было в трубе. Воробьиха птенцов вывела и улетела за червяками, а тут и грохнуло. Воробьенка из гнезда вышвырнуло и крылышко оторвало. А он ничего не понимал и только пищал.

Леха поднял воробьенка и плюнул ему в рот, тот жадно глотнул и еще попросил: пить, пить! И вдруг глаза его стали закатываться. Леха плевал и плевал ему в рот, но воробьенок и лапки уже вытянул. И тогда Леха сам закричал в страхе:

— Мама!

Слезы так и полились у него из глаз.

— Свет! Мотор! — закричал режиссер, и тотчас же Леху оглушило, ослепило, бросило вместе с воробьенком наземь. Воробьенок выскользнул из ладони, а сам он пополз по земле, по кирпичам, по камням, цепляясь за них своими лохмотьями.

Когда съемка закончилась, режиссер даже заплакал от радости и поцеловал Леху.

Он не понимал, почему его поздравляли, целовали и угощали конфетами. Шофер Яша вел его домой. Довел до крыльца, пригласил:

— Приходи завтра, еще интересней будет.

— Что я, дурак? — сказал Леха.

— Ну, как знаешь.

Яша уже перекинул через перила ногу, чтоб не сойти, а спрыгнуть с крыльца, да так и замер на месте — нога повисла в воздухе.

— Кто это? — подмигнул он Лехе.

Леха проследил за его взглядом и пояснил:

— Корова, Красулей зовут.

— Вот недоросль! — Яша поправил на голове берет.— Кто под коровой, спрашиваю?

— А это сестра Галина,— отмахнулся Леха, но тут же предупредил: —У нее жених есть. Виталька.

— Боксер? — спросил Яша.

— Не, тракторист.

— Тогда лады. Я твой друг. Будь ласков, составь знакомство.

— Как это?

Галина уже подоила Красулю и несла молоко в хату.

— Разрешите помочь? — спросил Яша, подхватил ведро и чуть не выплеснул молоко наземь.

— Приветик,— сказала Галина,— всю жизнь только о тебе и мечтала.

Леха только глазами моргнул: вот те раз, их и знакомить не надо. Они сразу нашли общий язык. А Леха пошел спать.

* * *

В субботу начинался в Стариках престольный праздник. Собственно, праздника было два — троица и духов день, но праздновали его за один, зато гуляли три дня.

Отец еще загодя сходил в лес и принес охапку веток, разукрасил ими двери и окна, а Леху разбудил рано: на речку за явором.

— Пусть будет у нас в хате так, как матерь любила.

Лехе, известное дело, неохота с утра в холодную воду лезть.

— Свистушек себе нарвешь,— напомнил отец.

Делать нечего — Леха выпил кружку парного молока и поплелся за речку.

По утренней росе зябко босым ногам, но зато какая тишина кругом. Лягушки и те замолкли — всю ночь тарахтели, как тракторы, а к утру, видать, и их сон сморил.

«А я уже встал»,— подумал Леха.

Впереди у болотца послышался плеск воды. Оказывается, кто-то первей его встал и рвет уже явор. В тумане не разобрать кто это, и тогда Леха, приставив к плечу палку, крикнул:

— Руки вверх!

От испуга Танька сразу шлепнулась в воду, секунду погодя за ней шлепнулась Манька.

— Приветик,— сказал он и подал и одной и другой по палке,— хватайтесь!

Леха не стал волынку тянуть — вода была холодная, нарвал поскорей явора и айда домой.

Леха отдал отцу явор, выпустил на двор кур, накормил поросенка и улизнул к виру. Здесь уже было полным-полно ребят.

— Эй, Лех, давай сюда!

Посмотрел, а это опять Танька-Манька, уже просохшие, со всей остальной своей компанией.

— Ну чего вам?

— Побегли к бабке Аксинье.

— Вот еще — бабку Аксинью я не видел.

— А у ней поп.

— Какой?

— Какой, какой! Ну какие попы бывают? С бородой и кадилом.

Но тут заиграла музыка.

Играл Славка — деда Егорыча городской внук. А народу уже было на виру много-премного: в Старики приехали из других деревень.

Девки, женщины, сгрудившись на берегу, кидали в воду венки из березовых веток.

— Гляньте, поплыл!

— Чей же этот?

— Бабки Аксиньи?

— Готовься, старая, к свадьбе!

— А этот тонет! Тонет!

— Алиса, неужли твой утонул?

— К несчастью это, ой, к горю.

— Ладно вам.

— Какое у Алисы горе?

— Чур на вас! Вон Алисин поплыл!

Но вдруг смолкли и смех и шутки: на дороге, взбивая пыль, появился на мотоцикле Саня Маленький. От его дома до вира — два шага шагнуть, но таков уж характер у бригадира: лихо подкатил к самому кругу и осадил мотоцикл. Привстал на нем, как на стременах.

— Дорогие товарищи колхозники! — сказал он.— Традиция есть традиция, и этой традиции нам не переломить!

— Ура-а! — раздался в толпе голос деда Егорыча, которого внук Славка держал уже под руку.

Довольный такой поддержкой, Саня Маленький продолжал:

— Давайте ликвидируем старые обряды, как завивание венков— раз,— он поднял над головой руки и стал загибать пальцы,— броса-

ние их в воду — два, зажаривание яичницы и употребление спиртных напитков — три! И установим праздник Весны.

— Ну нет, бригадир, так дело не пойдет! — подал вновь голос дед Егорыч, и все поддержали его.

— Какой же это обряд — яешня с водкой?

— Ладно, ладно,— Саня был в благодушном настроении,— насчет выпивки и закуски я пошутил. Во всем же остальном,— крикнул он с медью в голосе,— никакой пощады! Так я говорю?

— Так! Так!

— Вот это бригадир!

Бабы окружили его плотным кольцом.

— Товарищ бригадир, а премии выдавать будешь?

— А кино привезут?

— Нельзя,— сказал Саня.— По религиозным праздникам кино показывать возбраняется.

— Какой же он религиозный?

— Сам только что сказал — праздник Весны.

— Нет, нет, бабоньки,— упорствовал Саня,— сказал нельзя — значит, точка. И не уговаривайте меня, я и так сегодня чересчур с вами добрый.

Но бабы не унимались. Алиса встала перед ним, руки на груди сложила:

— Ну, Санечка, ну, родненький...

Саня поглядел на нее затуманенным взглядом и сдался.

— Разве что научно-популярный,— пообещал он.

Бабы недовольно загудели:

— Научный да популярный ты своей молодухе показывай!

— Мы и сами знаем, как картоху сажать!

— А нам про любовь давай!

Бригадир незаметно улизнул на ферму.

На ферме резали быка Агрессора.

Леха хотел было увязаться за бригадиром, но раздумал — стало жалко Агрессора. «Вот смешно,— думал он,— прозвали Агрессором, а какой он агрессор, если у него кольцо в носу?» Дед Егорыч ухаживал за ним, поил, перевязывал и делал это по доброй воле: Саня Маленький трудодни за это начислять отказался.

— Какая теперь от него польза,— сказал он деду Егорычу,— когда мы на искусственное осеменение перешли.

Бабы как услышали, что Агрессора режут, сразу расхлюпались:

— Такого-то красавца!

— Из самой Бельгии привезли. Порода.

— Ничего, бабоньки, зато с мясцом будем.

Славка-гармонист заиграл вальс «На сопках Маньчжурии», и все кто мог закружились среди березок.

А Леха побежал домой поесть. Дома никого уже не было, но на загнетке стояла сковородка с яичницей.

Он ел и принюхивался. Ветки березы, дуба, клена, развешанные на окнах, на дверях, за ночь привяли и разносили по хате теплый, прилипчивый лесной запах. Так обычно пахнет в бане — от веников, брошенных после парки.

«Где же Натка? — думал Леха.— Наверно, отец с собой взял. А может, уже Галина из города приехала?»

Так или не так, а он был свободен и снова побежал на праздник. И тут по дороге увидел отца. Он сидел под дубом, а рядом ползала по земле, собирала прошлогодние желуди Натка. Дуб этот был самый приметный в деревне. Когда-то ребятишки из озорства втащили на его макушку покрышку от «Беларуси» и подожгли. От покрышки

загорелся и сам дуб, не весь, а только макушка. И вот теперь снизу он был зеленый, а сверху черный. Обожженные сучья корявились над зеленью.

Леха хотел подбежать к отцу, но, увидев чуть поодаль Алису, остановился.

— Как же ты с ними справляешься, с бесенятами? — спрашивала Алиса, а Леха понял: бесенятами были они с Наткой.— Один и один?

— Галина из города приезжает.

— Галина, считай, отрезанный ломоть. А ты так и думаешь век вековать?

— Рано еще об этом,— сказал отец и нахмурился.— Ты сама свою судьбу-то устраивай.

Алиса глянула на отца, и глаза ее заблестели от слез.

— Сам знаешь, какая у меня судьба.— Она помолчала и вдруг заговорила быстро, не сдерживаясь: — Извелась вся, ни одной ночи не сплю, а ты хоть слово какое сказал бы. Все молчком. Ты не думай, что я твоему горю радая. Когда Вера была, разве я что думала? Ни единым словечком не обмолвилась.

— Хватит! — сказал отец.— Попела — и ладно. Дите б постыдилася.

Алиса заплакала.

— Это ты-то меня стыдишь? Эх, голубь мой ясный.

Она встала.

— Не пожалел бы потом, Михайло Иванович.

И пошла прочь как пьяная, волоча за собой шелковую красную косынку.

Лехе жалко стало Алису, и он пошел за ней.

Над рекой стоял дым коромыслом. Кто пел, кто плясал, а кто уже лежал под кустами. Веселье лилось, переплескивалось через край.

И вдруг среди этого веселья раздался чей-то страшный, захлебывающийся крик:

— Агрессор!

Музыка тотчас же смолкла, и все увидели бегущего с фермы Саню Маленького. Саня бежал и кричал:

— Помогите!

Следом за ним с обрывками веревок на шее мчался незарезанный бык Агрессор.

— Ложись! — крикнул кто-то, но никто его не послушался, а все кинулись к гумну, потому что оно было рядом.

Сане бы тоже податься к гумну, но он гумна вроде и не видел, а летел посреди улицы и кричал:

— Спасите!

Вбежав в гумно, люди наперебой стали давать Сане советы:

— Жми, жми, Саня!

— К виру давай!

Саня услышал и кинулся к виру. Но подбежав к самой воде, в нерешительности остановился.

— Ныряй! — кричали ему из гумна.

— Да он, вишь, воды боится!

— А еще бригадир!

Саня изловчился и нырнул. Бык подбежал к воде и осадил. Только головой мотнул. Потом спустился к воде и стал пить. А Сани все нету. В гумне даже забеспокоились:

— А вдруг утоп?

— Говорила ж — он плавать не умеет.

— Возьмет дай не вынырнет.

Но Саня все-таки вынырнул. Далеко, у того берега. Вылез, отряхнулся от тины и только тогда оглянулся. Агрессор на противоположном берегу спокойно пил воду.

— Тьфу, змей полосатый, только праздник испортил,— ругнулся Саня.

Потом он увидел, как к Агрессору подошел дед Егорыч и, похлопав его по морде, взял за веревку и повел обратно на ферму.

* * *

Утром отец запряг Стригунка, разбудил Леху с Наткой.

— Собирайтесь, в город поедем. Мать хочет с вами попрощаться.

Леха не заставил себя долго ждать, быстро натянул штаны, рубаху, а когда зашнуровывал ботинки, вспомнил:

— Почему — попрощаться? Повидаться хочет. Небось соскучилась?

Для Натки не нашлось ни одного чистого платья — все вымазала, и отец сказал:

— Ладно, надевай какое есть, в городе новое купим.

— Купим, купим.— Она запрыгала с радости, а Леха обиделся:

— Все Натке покупают, а мне никогда.

— Ты мужчина,— сказал отец и больше объяснять ничего не стал: мужчина — и все, думай как хочешь.

Леха и так знал, что он мужчина, но все равно обновку получить хотелось. Хорошо еще, что Леха новую кепку надел. Виталька ему подарил, потому что ему она стала малая.

На телегу отец положил свежего сена, на сено еще одеяло, в одеяло укутал Натку. Леха с отцом ехал спереди, поэтому и увидел, как выбежала из хаты Алиса, босая, растрепанная.

— Михайло Иванович, да куда ж это с детьми? Оставил бы мне. Аль не доверяешь?

— Вера привезти белела.

— Погодь-ка минутку,— попросила Алиса и, сбегав в хату, вынесла тарелку клубники.— На гостинец ей.

— Спасибо, только она уж и в рот ничего не берет. Мука одна.

— Ой, батюшки...

Отец стегнул Стригунка.

— Но-о, поехали.

Ночью, видать, прошел дождь, и дорога была вся в лужах. Стригунок старался обойти лужи, но телега все равно то и дело вязла в грязи. То одно колесо увязнет, то другое. Лехе надоело смотреть вниз, на лужи, и он лег рядом с Наткой, стал глядеть в небо. Глядел, глядел и увидел: небо куда-то тоже ехало. Ехали, чуть покачиваясь, облака, ехало солнце. А одно облако было похоже на верблюда с двумя горбами. Потом горбы куда-то исчезли, и облако стало похоже на паровоз.

— Пап, а пап,— спросил Леха,— а если десять коней в одну телегу запрячь, они паровоз обгонят?

Отец не ответил, может, не слышал.

Выехали на шоссе, здесь телега пошла ровнее, и Лехе захотелось спать. Но он пересилил себя — вот еще, дома выспится — и снова спросил:

— Пап, а кто может выпить за один раз два литра водки?

— Не знаю,— отозвался отец,— разве что великан.

Леха рассмеялся.

— А вот и не угадал. Дед Егорыч — вот кто. Зараз два литра выпьет и женится на Алисе.

Отец чуть улыбнулся, но тотчас же и нахмурился, брови сошлись на переносице.

— Пускай женятся. Я им не помеха.

До города добрались к полудню. Леху все ж таки укачало, и теперь, проснувшись внезапно от трамвайного звонка, он с любопытством стал разглядывать город... Город как город, и флаг на телевизионной вышке, и дома с балконами. Удивило его то, что дома почему-то все были похожи один на другой. А Натка на дома не глядела, а все на машины и хлопала в ладоши.

— Дура ты,— сказал ей Леха,— машин она не видела. Ты лучше на трамвай погляди. Видишь, у него дуга, как у нашего Стригунка.

Натка не успела поглядеть на трамвай, потому что они въехали на больничный двор, а во дворе было поле, и толстые дядьки в полосатых штанах играли на нем в футбол.

«Вот так больница,— подумал Леха,— и я б в такую больницу лег, если в футбол играют».

Правда, вслух он ничего не сказал, стал дальше глядеть. А дальше отец ссадил их с телеги, Стригунка к столбу привязал и повел их по каким-то широким лестницам, длинным коридором, пока не открылась стеклянная дверь, и тут Леха увидел маму. Он не увидел ее, нет, просто увидел, но не узнал, потому что лицо у нее было не мамино— худое и серое, и зубы наружу. Леха в страхе отшатнулся даже, но все же это была мама — он догадался по рукам. Они были все в тонких и темных морщинках, в которые навечно въелась грязь, а может, не грязь, а навоз, ведь она всю свою жизнь возилась с коровами.

И вот этими темными, теплыми, радостными руками она притянула Леху к себе и замерла — заплакать у нее не было сил.

А Леха прижимался к ней, чувствовал ласковое материнское тело, но тоже не плакал — боялся.

Потом она чуть оттолкнула от себя Леху и прижала Натку, а та заплакала. Наверное, она тоже не узнала маму, хотя, приглядевшись, Леха увидел: глаза — мамины. Синие и горячие.

Отец молча стоял возле матери и, положив ей руку на голову, тихонько гладил по волосам, как маленькую. А Леха, чтоб успокоить Натку, пустил ей в глаза зайчика. Это зеркальце на тумбочке лежало, он и сообразил. Натка руками замахала, отбиваясь от зайчика, и перестала плакать, а Леха стал пускать зайчиков по потолку и по стенам, пока не подошла тетя в белом халате и не отобрала у него зеркало.

Мама вздохнула и сказала:

— Ну, идите, хватит.

И Леха обрадовался: ему больница не понравилась.

Теми же длинными коридорами они вышли на улицу. Стригунок терпеливо скучал возле столба, ожидая их, а толстые дядьки уже не играли в футбол, они сидели на скамейках.

— Поздно уж,— взглянув на солнце, сказал отец, и они поехали ночевать к Галине в общежитие. Леха уже ничего не помнил, а помнил только, что их с Наткой положили спать, а рядом еще примостилась Галина. Отец же не ложился, а сидел у стола, глядя в одну точку, и так небось всю ночь просидел, потому что, когда Леха утром проснулся, он все еще глядел в эту точку.

Леха подошел к окну и увидел далеко внизу такого маленького Стригунка. Мимо него сновали машины, с грохотом проносились трамваи, а он, опустив между ног голову, все еще дремал.

Галины в комнате уже не было,— она уже побежала в больницу,— и Леха принялся разглядывать общежитие.

Отец два раза выходил на улицу — Стригунка напоить, хлеба в магазине купить,— а Леху не пускал: еще заблудится.

А когда в третий раз вышел, долго не возвращался. От нечего делать Леха стал глазеть в окно. И тут увидел: вот те раз, отец с Галиной сидят на телеге и разговаривают. А потом Галина как упадет лицом в сено, не то заплакала, не то засмеялась, не поймешь с высоты.

«Чего это она?» — подумал Леха, и сердце у него заколотилось, как воробей в клетке. А тут еще Натка спряталась под кровать.

— Еха, тю-тю.

— Сама ты тюха-матюха,— разозлился на нее Леха.— Не даешь человеку подумать.

Подумать ему все равно не пришлось, потому что в комнату вошел отец и сказал:

— Собирайтесь, поедем за матерью.

Леха даже подпрыгнул от радости. Вот это счастье так счастье: маму домой отпускают. Теперь уж ему не придется одному возиться с Наткой с утра до вечера.

— Ура! — закричал он и, перепрыгивая сразу через две ступеньки, полетел вниз, к Стригунку.

Галина все так же лежала на телеге, уткнувшись лицом в сено, и всхлипывала.

Стригунок всхрапнул, когда его снова запрягли в телегу, и взял рысью, ни машин, ни трамваев не боялся. Леха закрыл глаза и стал вспоминать маму.

Натка ткнула его в бок кулаком:

— Еха, ты пишь?

— Да не сплю я, отстань!

— Не пи,— сказала Натка,— а то мама совсем не придет.

— Много б ты понимала!

На этот раз отец с Галиной оставили детей на дворе, а сами ушли в больницу, даже забыли Стригунка привязать. Пришлось Лехе слезть с телеги и самому его привязать. Стригунок недовольно мотнул головой, натягивая поводья. Верхняя губа у Стригунка дернулась и поползла вверх, обнажая зубы,— так он смеялся. Леха тоже улыбнулся, потом поймал на асфальте божью коровку и подал ее Натке. Натка божьей коровке не понравилась, и коровка улетела от нее. А тут в доме напротив открылась какая-то дверь, и вышла из нее Галина. Слезы текли у нее по лицу, а увидев играющих ребят, она еще пуще расплакалась. Следом за Галиной в ту же дверь вынесли длинный белый ящик, поставили на телегу, так что Лехе с Наткой пришлось потесниться.

Отец взял в руки вожжи.

— Но, Стригунок, поехали.

Леха ничего не понимал: а где же мама?

Отец помог Галине тоже взобраться на телегу рядом с ящиком, но она все равно плакала. Отец рассердился:

— Ребят хоть пожалей, глупая.

Галина послушалась отца. Она обхватила ящик руками и затихла, изредка только всхлипывала и ловила ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. А отец шел и шел рядом с телегой, опустив низко голову, и показалось Лехе, что он стал какой-то маленький, как бригадир дядя Саня.

И вот тут Леха и решился, чтобы сделать это. Он уже знал, как это делается. Надо просто крепко-крепко зажмуриться. И все станет наоборот. Не так, как есть, а как хочется.

В последний раз он быстро глянул на ящик и зажмурился. Пошли в темноте красные круги, прыгали, наскакивали друг на дружку, но ничего наоборот не становилось.

Леха жмурился и жмурился до ломоты в ушах, но все равно видел Стригунка, бредущего по дороге, отца с вожжами в руках и на телеге длинный белый ящик.

«Гроб,— вспомнил Леха,— вот как он называется, гроб».

И как только он это вспомнил, красные круги ударили в голову, а что-то огромное, черное, как туча, разом навалилось на него и накрыло, как одеялом. А Лехе показалось, что он нырнул в вир за синим камнем. Нырнул и не вынырнул.

* * *

Без него прошли похороны, без него мать отвезли на кладбище и зарыли в яму, без него плакал отец, теперь уж в открытую, никого не стесняясь. Без него начался сенокос, и жизнь снова стала налаживаться. А Леха все это время лежал на дне вира, где было много синих камней, бери какой хочешь, но Лехе они уже были не нужны, он вовсе не хотел быть командиром, а хотел только пить.

Вот для того, чтоб напиться, он и вынырнул однажды из вира, а когда вынырнул, то рядом со своей кроватью увидел отца, Натку, тетю Алису, и уже обратно нырять в вир ему не захотелось.

В хате было светло, не то что на дне вира, и Леха, вздохнувши, сказал:

— А вот и я.

Тетя Алиса заплакала, а отец поднял его на руки и вынес на улицу. На улице светило солнце и пели скворцы, и Леха засмеялся от счастья, потому что за всю свою жизнь он не слышал, чтобы так они пели.

Он повернул голову и глянул отцу в глаза. Глаза были синие и мокрые.

* * *

Началась страда, и, как нарочно, пошли дожди. Виталька работал теперь на жатке и косил рожь на бугре за Дымкой. Он часто наведывался к Лехе, хоть Галины и не было. Иногда брал его с собой в поле.

Раньше бы Леха пылал от счастья, сидя рядом с Виталькой за рулем жатки, а нынче ничего не радовало его.

Вечером заснул рано, проснулся — отца нет. Поглядел на стенку — ружьишка нет тоже. Взял ружьишко да и в лес. Сам же говорил: лес для него в любом горе отрада.

Проснулась Галина — Леха и не слышал, как она ночью приехала.

— Ты куда, Лешонок, лыжи уже навострил? — спросила она.

Леха покрутил пальцем у виска: дескать, какие лыжи, заговариваться, что ль, стала.

— На двор захотел.

— Я тебе покажу на двор! Совсем без матери от рук отбился. С Наткой сегодня будешь сидеть!

— А ты? — спросил ее Леха.

— А ты мне не тыкай! Я тебя враз подженю! До новых веников не забудешь!

Леха вспомнил мать, как она вот так же хорошо ругалась на него, и заплакал.

— Леха, лучше уймись!

— Не уймусь. А будешь такая злая, никто замуж тебя не возьмет. В девках останешься.

— Что ты понимаешь, дурачок!

Леха не стал больше с ней спорить. Вышел на крыльцо. Утро бы-

ло синее и чуть красное — за речкой, откуда солнце всходило. Правда, его еще не было видно, и Леха подождал, стоя на крыльце. Ему захотелось поглядеть, как оно будет вылезать из-за леса. Вылезет и подмигнет Лехе: «Ну как? Достал синий камень?»

А Леха ничего-то и не достал и даже забыл, когда в последний раз и в вир нырял, все некогда. А может, сегодня попробовать?

Он спрыгнул с крыльца и помчался к виру, но до вира не добежал, потому что встретился на деревне с целой процессией. Впереди шел дед Егорыч, чистый, побритый, подстриженный, в новом синем костюме, по левую руку от него Саня Маленький, а по правую гармонист Славка. Они важно шагали по деревенской улице, будто плыли. Поперек груди у Славки и у бригадира висели вышитые полотенца, а дед Егорыч хоть и был без полотенца, зато с белым цветком на кепке. Они заходили в хаты и приглашали на свадьбу.

Гармонист Славка развел меха:

Меня сватал конопатый,
А рябой наперебой,
Я рябому отказала,
Конопатый будет мой.

Обычай требовал: пока всех не обнесут, дружкам капельки в рот нельзя брать. Поэтому Славка изливал свою тоску в песнях:

Ой, товарищ мой, товарищ,
Помоги мне, сироте,
Съел я курочку живую,
Шевелится в животе.

Обошли всю деревню и вернулись назад. В хате у деда Егорыча было уже все приготовлено.

Егорыч, окинув зорким взглядом стол, приказал:

— Ставьте еще самогонки! Гулять так гулять!

Леха подмигнул деду Егорычу и сказал:

— Дед Егорыч, а ты сегодня как молодой.

— Цыть ты! Какой я тебе дед? Ишь, вражонок! — рассердился Егорыч и хотел выгнать Леху вон из хаты, но тут вмешался бригадир Саня Маленький:

— Тише вы! Дайте сосредоточиться!

Он готовил речь для свадьбы.

Егорыч попробовал его урезонить:

— Разве на свадьбе речи говорят? На свадьбе пить-есть надобно. Да еще песни петь.

Но Саня его обрезал:

— А тебе я слово, кажись, не давал... Жениху слово последнее.

Спор пришлось прекратить — уже начали собираться гости. Не замеченная никем тихонько протиснулась среди гостей и Алиса.

Дед Егорыч запротестовал:

— Не по правилам это. За невестой надо ехать.

— Ладно, где уж тут по правилам жить,— сказала Алиса,— начинайте свадьбу, да поскорей, чтой-то мне выпить хочется.

Дед Егорыч лишь с удивлением глянул на нее: вид у Алисы был отчаянный.

Вдовы сели в куток и запели:

Ай, на лозе-лозе,
На белой березе
Кукуша кукует.
Кукуша кукует.
Мне горе вещует.

— Да какую ж вы песню поете? — крикнула им Алиса и заплакала.

Снова пришлось вмешиваться бригадиру Сане Маленькому.

— Ты чтой-то ревешь, весь порядок нам нарушаешь? — упрекнул он Алису и на вдов тоже прикрикнул: — Перестаньте голосить, сперва тост провозгласить требуется!

За столом все замерли.

— Дорогие товарищи колхозники! — сказал Саня.

— Горько! — крикнула бабка Аксинья. Она сидела в самом углу, возле печки, и ничего не слышала.

Дед Егорыч так и ожег ее взглядом, но вовремя спохватился и с готовностью повернулся к Алисе. Та залилась краской и отвернулась. За столом наступила тягостная тишина — все ждали, что будет дальше.

Спас положение опять же Саня Маленький.

— Но я еще не закончил, уважаемые товарищи,— сказал он, и все облегченно вздохнули.

А внук Егорыча Славка, воспользовавшись минутой, снова растянул гармонь:

Милый Вася, я снялася
В белой кофте под ремень,
Не в такой, в какой хотела,
В какой Васенька велел.

— Так давайте же выпьем за счастье наших молодых! — заглушая гармонь, вскрикнул Саня.

После второго тоста, который провозгласил сам дед Егорыч, ринулись в пляс вдовы: Лида, Ксеня и Аннушка. Они плыли по кругу, как утицы, и разом взмахивали платочками.

— Выходи, подруга! — стали зазывать они и Алису.— Попляши напоследок в девках-то.

Алиса не стала упрямиться. Она вышла из-за стола, плавно повела руками туда-сюда. Потом будто вздрогнула и пошла сыпать тонкими каблучками, как только не сломятся.

Разнесчастная родилась,
Разнесчастная умру,
Но залеточку милова
Никому не уступлю!

Дед Егорыч, сидя в красном углу, поправил на голове пробор. Ему понравилось, что Алиса назвала его залеточкой, и не выдержал, ноги так и заходили под столом. Но для храбрости он еще раз украдкой приложился к стаканчику. И только уже потом вышел на круг.

— Эй, гармонист, жарь шибче-ка!

Он с ходу ударил вприсядку — половицы и те застонали. Так он и шел по кругу, пытаясь догнать Алису, но та бойко увертывалась от него. Один раз только и удалось Егорычу догнать ее, ухватить за косу, но Алиса так рванулась вместе с косой, что Егорыч чуть не упал при всем честном народе. Он бы и упал, да внук его Славка, видя такой оборот дела, бросил гармонь и кинулся ему на выручку.

За столами у деда Егорыча была вся деревня и только не было одного Мишки Старкова.

«Вот чудак — в лес удрал,— думал Леха об отце. И он решил: — Пойду-ка я поищу его».

Где-то за спиной остановились звуки гармошки, затухли людские голоса, потом уже и собак не стало слышно. Леха шел по лесу и, чтоб

не так было страшно, посвистывал. Это ему отец всегда говорил: «Страшно — посвистывай».

А впрочем, Лехе не было страшно, правда, если б не ветер. Гудит, завывает в вершинах сосен, как все равно волк голодный. Леха старается не думать про волка, но чем больше он не думает, тем больше думается. А сзади тихо кто-то по пятам крадется. Остановится Леха и — раз — обернется: никого нет, а как пойдет, шаги снова вдогонку, мягкие, осторожные. Тени от веток тоже шевелятся. А тут еще сова как ухнет замогильным голосом: спать хочу.

— Ну и спи,— сердится Леха,— что людей зря запугиваешь?

А про себя он думает: «Если б я просто так по лесу ходил, тогда, конечно, страшно, а я ведь отца ищу, как разведчик. А разве разведчики чего-нибудь боятся?»

— Папка-а! — кричит Леха не потому, что совы боится, а чтоб спугнуть эти тихие, крадущиеся за спиной шаги. Он прислоняется к стволу березы и долго слушает, не ответит ли где отец. Нет, не отвечает. Тихо в лесу. Не тихо, конечно, а просто человеческого голоса не слыхать. Зато на все лады разливаются птицы.

Долго Леха ходил по лесу и вдруг услышал выстрел.

— Отец!

Сломя голову он помчался туда, откуда долетел выстрел.

И когда подбежал, то увидел: сидит отец на пне, а перед ним, распластавшись крыльями по земле, лежит перепеленок.

— Зачем ты его? Он же маленький,— сказал Леха, и отец ничуть не удивился, увидев его перед собой, а только сказал:

— В сам деле — зачем?

Потом он поднялся и, не глядя больше на перепеленка, стал разряжать ружье.

— Пошли отсюда, Леха.

По дороге домой Лехе нестерпимо хотелось рассказать отцу про свадьбу. Он уже и начал было рассказывать, но отец закричал на него:

— Замолчи!

Леха обиделся и замолчал. И так они молча прошагали всю дорогу, а Леха думал: «Нет, уж пора мне синий камень достать и быть командиром, а то каждый кричать может».

Когда подошли к деревне, отец повернул к дому, а Леха — к виру: зачем решенное дело откладывать? Влез на сваю и, набрав полную грудь воздуху, нырнул. И показалось ему на этот раз так светло вокруг, будто это не вода. Будто Леха не в вир — в небо нырнул. Долго он плыл, пока не уперся головой в дно. Теперь уж раздумывать было нечего, надо было хватать камни. Как можно больше. Авось и синий попадется.

Но что-то вдруг остановило его. «Зачем мне много? — подумал Леха.— Я один возьму». И точно, как подумал, так и увидел его: на черном дне лежал один синий камень. Леха схватил его и быстро-быстро стал подниматься вверх, даже глаза зажмурил. А когда вынырнул, то захлебнулся, вздохнуть не мог. Откашлявшись наконец, вылез на берег и только тогда вспомнил о камне, разжал руку. Сердце у него так и забилось, подпрыгнуло к самому горлу: на ладони и вправду лежал синий камень. Леха даже глазам своим не поверил и потер его об рубаху. Камень все равно был синим. Он оделся и спрятал синий камень в карман. Не в карман, а в руку, а руку держал в кармане, чтоб камень не потерять.

«Кому же мне его все-таки подарить?» — подумал Леха, потому что радость переполняла его, и он уже забыл, что сам всю жизнь мечтал о камне, чтоб стать командиром.

Леха помчался снова к деду Егорычу на свадьбу.

По дороге он еще встретил в лопухах Саню Маленького. Тот лежал вниз животом и невнятно выкрикивал:

— Даешь! Даешь!

А что «даешь», и сам, видно, не знал. Рядом с ним стояли Танька-Манька и за руки тянули его в разные стороны.

— Пап, вставай! Пап, люди смотрют!

— Даешь! — в ответ кричал им Саня Маленький и пытался встать, но Танька-Манька ему мешали.

Увидев подошедшего Леху, Саня Маленький сперва улыбнулся, а потом спросил:

— Ты чей?

Леха не успел и ответить, Саня сам догадался.

— На-кось, выкусь вместе со своим батей! — сказал он.— Хотел вместо меня бригадиром стать, да не вышло!

И от сознания собственного достоинства сам поднялся. Стоял прямо, как гвоздь, опираясь двумя руками на головы своих парняток. Леха не стал с ним связываться, пошел на свадьбу.

Голоса у всех осипли, но свадьба еще и не приближалась к самому своему разгару — не было драки. Гармонист кое-как играл, и все, кто был еще на ногах, толклись посреди хаты.

За столом сидели лишь жених с невестой и молча, сосредоточенно о чем-то думали. Леха даже удивился: все кругом пьяны, а дед Егорыч не пьян. И тетя Алиса тоже. Лицо бледное-бледное, а глаза грустные. И вдруг повеселели ее глаза. Леха поглядел туда, куда тетя Алиса глядела, и увидел отца. Дед Егорыч тоже увидел его и пригласил к столу.

— Миша, друг,— привстав навстречу ему, сказал Егорыч и протянул отцу стакан водки.— За здоровье, за счастье не побрезгуй.

И, странное дело, отец не отказался, а принял от него стакан, потом медленным взглядом повел по столу. Стол ломился от закуски: холодец, пироги, самодельная колбаса, куры, сало, яичница, мед прямо в тарелках — не стол, а скатерть самобранная.

— За счастье! — сказал отец и выпил залпом целый стакан.

Алиса охнула, потом рукой за горло схватилась и улыбнулась отцу жалко так, виновато, словно своей улыбкой прощенья попросила. Но отец прощать не стал, а грубо крикнул на нее:

— А ну-ка вставай! Хватит, поневестилась!

Дед Егорыч засуетился: как же так, люди добрые...

— Не в своей хате! Не имеешь права! — закричал он на отца и повернулся к Алисе за поддержкой, чтоб она, как хозяйка, тоже слово сказала. Но Алиса, привстав из-за стола и не обижаясь на грубые слова отца, шептала:

— А, Мишенька, а, голубчик мой, пришел наконец...

— Пойдем,— сказал ей отец и больше ничего не сказал.

И Алиса встала из-за стола и пошла за ним, даже ничего не спросила.

Леха глазам своим не верил. А по хате к дверям меж пьяных гостей прямо по разбитым стаканам шли, взявшись за руки, отец и Алиса. Все гости затихли и слова даже не вымолвили, только стояли и глядели, как они шли, и, может быть, не один из них подумал в эту минуту, какая это добрая и красивая пара.

И только после того как они ушли, а гости опомнились, и вспыхнула обязательная на каждой свадьбе драка. Дрался дед Егорыч со своим дружком Саней Маленьким, который опять притащился в избу.

* * *

Кому же все-таки подарить синий камень? Леха шел по деревне и думал. Может, деду Егорычу, теперь ведь он совсем один остался. А может, Таньке-Маньке, чтоб они командирами были. И рассуждал про себя: «Нет, Таньке-Маньке нельзя, их двое, а камень один, еще подерутся».

Над головой, шумно рассекая воздух длинными крыльями, пролетел аист, опустился в гнездо на силосной башне. «Может, на ферму сходить — попрощаться?» — подумал Леха. И пошел на ферму.

Коров, правда, на ферме уже не было — всех на центральную перевели, и пусто чернел хлев с засохшими по углам серыми кучами навоза. Скучно стало в хлеву, и Леха поскорей вышел на улицу.

Аист стоял в гнезде на одной ноге и дремал. Леха заложил два пальца в рот и свистнул, но аист и не думал пугаться, он только открыл один глаз и осуждающе поглядел на Леху.

Леха помахал на прощанье аисту и побежал к деду Егорычу.

Егорыч лежал на печке и стонал.

— Ой, Лешенька, ой, голубчик, спасибо, хоть ты навестил, а то ведь никакая собака не забежит. Как есть-пить за чужой счет, целое застолье набилось, а как водицы подать...

Леха вышел в сенцы, зачерпнул ковшик воды, подал на печку.

Егорыч жадно хлебнул, задохнулся и закричал:

— Ты что, пострел, мне голую воду суешь? Браги дай хоть глоточек!

— Так брагу небось всю выпили.

— Не всю,— успокоил его дед Егорыч,— что я, дурак, чтоб на похмелку даже себе не оставить?

Он рассказал Лехе, где найти брагу, и только тогда снова заохал:

— Грехи наши тяжкие...

Леха принес кружку браги и подал деду. На печке долго булькало, потом повеселевший голос оттуда произнес:

— Лех, а Лех, залезай-ка и ты сюда, поговорить по душам надобно.

Леха снял сапоги, устроился рядом с дедом Егорычем на припечке, молчал, ждал, пока заговорит он сам. Но Егорыч тоже молчал, и Леха уже подумал, не заснул ли он после браги. Нет, дед не спал, потому что вдруг спросил:

— Отец дома?

— Дома.

— Что поделывает?

— Вещи собирает. На центральную перебираемся.

— Все-таки надумали?

— А что, дед Егорыч,— сказал Леха,— поедем и ты с нами. На центральной и свет, и водопровод, и танцы каждый день.

— Во-во,— захихикал дед,— меня сейчас только на танцы. Дамы слева, кавалеры справа.

Он снова помолчал.

— Алиса, наверно, уговорила?

— Ага,— признался Леха,— отец раньше не хотел.

— А ты небось и рад?

— А то! — сказал Леха.— И Натка тоже рада, бегает за Алисой: «Тетя, тетя!»

— Ты вот что,— сказал дед Егорыч,— передай отцу, что зла я на него не таю. Куда уж мне за такой красавицей угнаться! Только пусть он ее не обижает. Передашь?

— Ладно, передам.— И добавил: — Он ее любит.

— А Сане зато, недоделку этому,— сказал дед Егорыч,— я еще струны натяну. Я ему покажу. Ишь ты, командир. Легко небось тремя бабами командовать. А я б поглядел, как ты кавалерийским эскадроном покомандовал. Кругом! Смирно! Шашки наголо! Рысью, дистанция два метра, марш!

Лехе стало смешно, и он предложил:

— А хочешь, дед, я тебе синий камень подарю?

— Подавись ты своим камнем! Ишь, пащенок, еще камнями грозится.

— Да не грожусь я! Синий камень, чтобы ты знал, счастье приносит!

Дед Егорыч вздохнул:

— Мое счастье, милок, в глубокой яме схоронено. И дождусь я его, когда ногами вперед вынесут.

Леха хотел уже уйти, но Егорыч остановил его, спросил вкрадчиво:

— Лех, а Лех, как думаешь, если председателю все про Саню Маленького выложить, скажи — поможет?

— Поможет,— сказал Леха,— у председателя один глаз веселый.

Он побежал домой, но по дороге раздумал, повернул к виру. Вечерний синий туман ложился в лощины, а сквозь туман проглядывали звезды. И тут Леха подумал, что синие камни на дне вира, может, вовсе не камни, а звезды, которые упали с неба и не погасли.

Леха вздрогнул: сзади снова, как тогда в лесу, послышались осторожные шаги. Он замер, прислушался — нет, все вокруг было тихо. Наверно, просто волна в берег плеснулась.

Он пододвинулся ближе к воде и опять стал глядеть в нее, черную, мрачную. Долго глядел и ни о чем, казалось, не думал. А когда поднял голову, то увидел — рядом стоял отец. Он даже не слышал, когда тот подошел.

— Пап, ты чего здесь? — спросил Леха.

— Стригунка пришел посмотреть.— И вдруг пожаловался, как маленький: — Знаешь, Лех, жалко мне его отдавать.

— Куда отдавать? Зачем? — не понял Леха.

— В лесничество. Он же казенный.

Лехе захотелось утешить отца.

— А может, тебе на центральной другого дадут?

— Вряд ли. В колхозе теперь коней, считай, и нету.

— Ну, трактор,— сказал Леха.

— Трактор — это не конь.

«Конечно,— подумал Леха,— трактор не конь, зато сколько земли зараз пашет. В одном тракторе пятьсот лошадей сидит, Витальке рассказывал». Запряжет отец сразу пятьсот коней и поедет по полю, а с ним и он сам, Леха, на прицепе.

Леха так размечтался, что совсем забыл про отца, что он рядом стоит, о чем-то своем думает. Но, взглянув на него, Леха увидел, что тот хоть и стоял на берегу, но глядел поверх и дальше, туда, где шумел невидимый в тумане лес. И такая печаль была в отцовских глазах, тяжелых и черных, что Леха не выдержал.

— А ты, пап, зажмурься,— сказал он.

Отец не понял.

— Зачем?

— Чтоб все наоборот. Как ты хочешь.

Отец засмеялся, взъерошил волосы на голове сына.

— Эх ты, Леха. Ничего ты еще не понимаешь.

— Ага, ты мне не веришь,— обиделся Леха.

— Зажмуриться — дело нехитрое,— сказал отец и доверчиво обнял Леху за плечи,— но ведь зажмурившись всю жизнь не проживешь. Ты вот что пойми. Не жмуриться тебе надо, Леха, а во все глаза глядеть, чтоб жизнь на земле налаживать. Эх, Леха... Зажмуриться... Чего выдумал...

Отец ласково привлек Леху к себе, но тут же и оттолкнул легонько.

— Пойдем-ка, сын, домой, а то завтра вставать рано.

— Зачем? — спросил Леха.

— Поедем на центральную.

— Уже завтра?

— А чего ждать. Завтра и поедем, раз порешили.

Завтра, завтра, завтра! — запело все у Лехи в душе. Завтра, завтра, завтра!

* * *

На центральной усадьбе Лехе уже было многое знакомо. Виталька один раз захватил его да и прокатил с ветерком туда-сюда. Запомнил тогда Леха большой дом с колоннами — колхозный клуб, объяснил Виталька,— и сельсовет с красным флагом на крыше.

Но вот этих домов с балконами он тогда почему-то не заметил, потому что дома построили для них, для тех, кто переехал из деревни Старики. «Неужели мы будем жить в таком доме?» — екнуло радостно Лехино сердце. И Стригунок, будто почуяв его радость, повернул к одному из домов с балконами.

— Подождите меня здесь,— сказал отец и быстро куда-то ушел.

Ждать было скучно, и Леха спрыгнул с телеги и подошел к дому поближе. Больше всего его интересовали балконы: а вдруг обрушатся?

Но на одном балконе появилась девчонка и как ни в чем не бывало стала прыгать на одной ножке. «Смелая»,— подумал Леха. У девчонки чистым белым бинтом было перевязано ухо.

— А ты кто? Наш сосед? — заметив Леху, крикнула девчонка и свесилась через решетку балкона.

— Не знаю,— сказал Леха. Он боялся, что она упадет.

Девчонка помолчала, раздумывая. И тогда Леха решил действовать сам.

— Что это у тебя? — спросил он и для подтверждения тронул собственное ухо.

— А,— махнула она рукой,— вчера с мальчишками не из нашей деревни подралась. Я страсть как люблю драться,— вдруг засмеялась она и позвала Леху: — Иди ко мне.

Лехе стало весело, это не то что Танька-Манька, тех только пальцем тронь — сразу в слезы. Правда, Натка тоже любила драться, но ведь ее не побьешь — маленькая. А эта новая знакомая так храбро глядела на него сверху вниз, что у Лехи тут же зачесались кулаки.

— Только, чур, по больному уху не бить,— предупредила девчонка.

— А тебя как зовут? — спросил Леха. Не мог же он драться с человеком, если даже не знал, как его зовут.

— Марусей. А тебя?

Леха не успел ответить, потому что увидел отца. Рядом с отцом шагал и председатель, хотя Леха не сразу узнал его. На председателе был новенький черный костюм и белая рубашка, может, поэтому он и шел так гордо по улице.

Председатель помог тете Алисе слезть с телеги.

— Ишь, леший,— сказал он,— какую красу из лесу приволок.

Алиса засмеялась его словам, а отец нахмурился.

— Значит, все-таки решились хутор свой бросить? Ну, с новосельем вас! — Председатель сразу перевел разговор.

Он вытащил из кармана ключ и открыл новую скрипучую дверь. Повел всех на второй этаж.

— Вот вам квартира, живите и нас добром вспоминайте!

Отец сразу же по-хозяйски стал измерять шагами комнаты, придирчиво осматривал полы, притолоки, потолки, а тетя Алиса, не теряя времени даром, расстелила на подоконнике полотенце и выставила бутылку водки. Пригласила:

— Иван Захарович, пожалуйте с нами за компанию.

— Не могу,— сказал председатель,— сегодня общее колхозное собрание.

— Ну хоть пригубьте,— попросила Алиса,— на новоселье-то полагается...

Леха попросил отца открыть балкон и выскочил поскорей туда. Второпях он даже забыл испугаться и только почувствовал, как захватило у него дух не то от высоты, не то от радости. Отсюда, с балкона, вся центральная была видна как будто с большого дерева, с длинными широкими улицами, с аккуратными домиками, не такими, как в Стариках, а как в городе.

— А нам скоро газ подключат,— сказала со своего балкона Маруся.

— Зачем? — не понял Леха. Он знал: газ можно давать машине, чтоб быстрее бегала, а зачем его давать Марусе?

— Эх ты,— упрекнула его Маруся,— на газу можно яичницу жарить. Любишь яичницу? Ну вот, деревня...

Леха обиделся: как будто сама из города. Он уже хотел уйти с балкона, как вдруг Маруся предложила:

— Так будешь ты драться?

— Нет,— сказал Леха,— с воображалами я не дерусь. И к тому же некогда мне сегодня.

С балкона он увидел, как понуро стоял внизу Стригунок и Красуля яростно крутила рогами, стараясь сбросить с них веревку. Леха пожалел Красулю и спустился, чтобы отвязать ее от телеги, а отец заругался:

— Сам все сделаю. Ты иди с Наткой побудь. А то навалили все на Алису...

Никто ничего на тетю Алису не наваливал, она сама как угорелая носилась из комнаты в комнату, ставила и переставляла стулья, взбивала на кровати подушки, а на кухне еще и блины затеяла печь. Увидела вдруг Леху, бросила и блины и подушки и умчалась в магазин:

— Я сейчас, я мигом...

И правда, не прошло и каких-нибудь пятнадцати минут, как она появилась на пороге и протянула Лехе новенький блестящий портфель, даже не портфель, а ранец, объяснила:

— Чтоб не в руке, а на спине книжки носить, как по науке.

Леха чуть не взвыл от счастья. Он схватил ранец и выскочил с ним на балкон — похвастаться перед Марусей, у нее небось сроду такого не было. Но Маруся смерила его презрительным взглядом:

— Первачок-дурачок, зацепился за крючок.

— А ты! А ты! А ты... — закричал Леха.— Рваное ухо — вот кто ты!

— Зато я нынче во второй класс пойду,— ничуть не обидевшись, сказала Маруся.— А папа мой тракторист — вот.

— И мой будет трактористом,— сказал Леха и отвернулся от Маруси.— А захочет — и бригадиром. Его сам председатель уговаривал.

Вскоре они помирились с Марусей, потому что та не вытерпела и пришла им помогать устраиваться. А еще пришел Виталька и тоже стал помогать.

— Не трусь,— сказал он Лехе, когда они вместе диван вносили,— теперь я тебя каждый день буду катать.

— А как же Галина? — спросил Леха.

— Что Галина?

— Она ж тебя бросила.

— Ничего,— вздохнул Виталька,— не такая она дура, опомнится. Я подожду.

Кроме балкона, Лехе еще понравилась кладовка. Вот где можно будет от Натки прятаться. А еще понравилась уборная. И никуда бегать не надо, особенно в мороз, когда жуть как холодно.

Уходя, председатель пригласил всех в клуб на собрание, и теперь Лехе уже не терпелось, хотелось и туда сбегать.

Отец не пускал. Сказал, что в школу пойдут записываться.

— Когда?

— Да вот как только управимся.

Леха снова вышел на балкон, стал ждать, пока в доме управятся. У дома рос клен, ветки его чуть не в окно лезли, и Леха попробовал перепрыгнуть на него прямо с балкона. Не рассчитал и чуть не грохнулся наземь. Добро штаны за сук зацепились. Но сук закачался, и штаны затрещали. Леха молчал. Увидят — прибьют. Висел и размышлял, что же делать дальше.

Первой его увидела Маруся.

— Правда, там хорошо? — спросила она.— Ты немножко повиси, я тоже к тебе прилезу.

— Не смей! — крикнул он ей.— Убьешься!

Этот его крик и услышал, видать, Виталька. Но он был хорошим парнем и не стал никому докладывать, а просто подставил лестницу и снял Леху с дерева, лишь мазнул по затылку ладонью:

— Ну ты, летчик! Летать положено с парашютом, а не так!

После обеда — а обедали прямо на полу, стол еще не привезли из Стариков — отец повел Леху в школу. Тетя Алиса тоже хотела с ними пойти, но надо было доить Красулю.

Леха шел и одной рукой держал отца за полу пиджака — не будет же он, как маленький, держаться за руку. А на плечах скрипел новенькими ремнями ранец.

— Зачем он тебе? — спросил отец.— Нам же только записаться сегодня, и все.

Леха не послушался.

Записаться или не записаться, а у него, как у солдата, все должно быть с собой. Ранец за спиной, синий камень в кармане. Учительница посмотрит, скажет: «Этого обязательно надо в школу принять — настоящий солдат».

Учительница так и сказала:

— Ишь, какой бравый...

Тут еще пришел один мальчик записываться в школу, и учительница стала проверять их на сообразительность.

— Старков, а может, ты придумаешь мне задачку сам?

Леха думал, думал и ничего не придумал. А тот придумал.

— Два отнять два,— сказал он,— сколько получится?

Учительница погладила его по голове.

— Молодец, мальчик. Ну, и сколько же получится?

— Ноль! — гордо сказал он. А Лехе стало грустно — он не понял, что такое ноль.

Учительница стала ему объяснять:

— Ну вот, смотри, Старков. Например, у тебя было два яблока и ты их съел. Что у тебя осталось?

— Два огрызка,— сказал Леха.

Долго потом отец смеялся над Лехой, когда они возвращались из школы домой.

Леха обиделся. Разве ж он неправду сказал про огрызки, а они все смеются. Была б жива мама, она б не засмеялась.

— Хочешь, сынок, я байку тебе расскажу?

Леха вдруг так ясно услышал мамин голос, что даже обернулся. Никого вокруг не было, только отец шагал рядом. Леха подошел к телеге, одиноко стоявшей во дворе. Он залез на телегу, подстелил себе под голову сена и закрыл глаза.

— Рассказывай, мам.

Мать склонилась над ним — заговорила как запела:

— Шел бай по стене, нес лапти на спине, сбаить тебе байку ай не?

— Сбаить,— сказал Леха.

— Шел бай по стене, нес лапти на спине...

Дальше Леха не слышал. Только слышал, как Маруся вроде бы за ногу его дергала.

Леха поднялся к себе на второй этаж, тихонечко открыл дверь.

Тетя Алиса и Натка сидели вдвоем на кровати и бодались лбами, как маленькие. Так и он, бывало, бодался, только с мамой, а Натке было, видать, все равно с кем бодаться, и она весело смеялась, будто ее щекотали. И как-то так вышло, что Леха на минуту тоже забыл, кто это сидел у них на кровати и играл с Наткой, и спросил:

— Мам, а отец где?

Спросил и только потом опомнился: кого это он назвал мамой,— а тетя Алиса даже вздрогнула и вдруг заплакала, убежала в слезах на кухню.

Леха вышел на улицу. Хотел по привычке сбегать к виру, но вовремя спохватился — это тебе не Старики. Тогда он сел на скамейку под кленом. Скоро на балкон вышла Маруся, и Леха увидел, что у нее, кроме уха, была забинтована еще и коленка.

— Что? — спросил Леха.— Опять с кем подралась?

— Ага,— призналась Маруся,— с кошкой. А ты чего ж на собрание не пошел? У нас все пошли.

— А ты?

— Меня дом стеречь оставили.— И пояснила: — У нас замка нету.

— У нас тоже нету,— почему-то соврал Леха.— Зачем замок? В Стариках ни у кого замков не было. Айда на собрание.

Маруся согласилась, и они вдвоем припустились к колхозному клубу. Прибежали, запыхавшись, но зря торопились — собрание еще не началось. Возле клуба и внутри него было много людей. Но кругом были одни мужчины. Откуда столько? Вон в Стариках мужиков раздава — и обчелся. А тут на тебе, пожалуйста, сколько хочешь. «Неужели они все бригадиры?» — подумал Леха и стал искать отца.

Вместо отца он встретил вдруг Саню Маленького.

— Ты чей? — спросил его Саня и засмеялся: — Ну, как устроились?

— Помаленьку,— сказал Леха и зевнул, хотя был рад встрече.

— А я, понимаешь, решил повременить,— сказал Саня Маленький,— куда мне с моей оравой с места трогаться? Да и поглядеть, вишь ты, надобно, что из этой всей карусели получится. Надо мной и в Стариках не капает. Так ай нет?

— Не знаю,— сказал Леха.

Ему было как-то странно видеть здесь Саню Маленького. Здесь, на центральной, среди множества рослых мужчин Саня был и в самом деле маленьким и не ходил, как в Стариках, гоголем, а рассыпался мелкой пташкой. Даже с Лехой и с тем разоткровенничался.

— Ну, а с Алисой как? — спросил он.

— Что с Алисой? — не понял Леха.

— Мамкой ее зовешь?

— Вот еще!

Не хватало, чтоб он Сане Маленькому во всем признался. К тому же в толпе спешащих в клуб он не увидел, а услышал отца — тот смеялся. Леха уже давно не слышал, чтоб отец смеялся, и поспешил на этот смех. Но народу было столько, что его втиснули в дверь, перевернули два раза и усадили на скрипучий стул. Еще не успели все как следует усесться и люди стояли в проходах, как на сцену вышел председатель, а с ним еще человек пять.

Леха не заметил, как рядом с ним очутился отец, почувствовал, как кто-то пригладил вихор на его макушке. Поглядел вверх — отец. Леха потерся щекой об отцовский рукав.

Председатель говорил о каких-то процентах — и Леха ничего не понял. Зато он увидел, как в открытую дверь клуба залетела ласточка, покружилась над головами и уселась под потолком на люстру. Длинным своим клювом она тихонько постучала по стеклу и как зальется: «Чик-чик, мужики сено косят, а бабы яешню жарят». Прямо председателю не дает слово сказать.

Председатель взглянул на нее, нахмурился.

— А теперь, товарищи, вопрос, так сказать, частный, но важный. До правления дошли сведения о неправильном поведении бригадира стариковской бригады Сани... простите, Александра Богатырева. Пользуясь тем, что деревня Старики находится как бы в стороне и выпала из нашего поля зрения, он превысил данную ему власть, поставил себя над народом и потерял, таким образом, уважение колхозников. Я предлагаю от бригадирства его отстранить, тем более что Старики — деревня бесперспективная и ликвидируется совсем. Прошу голосовать.

Леха не верил собственным ушам. Наверное, все-таки дед Егорыч написал бумагу председателю, как обещался тогда, на печке. А может, председатель и сам догадался.

В это время отец взял его за руку, потянул к выходу.

— Пап, а кино?

— В кино завтра сходишь.

— Ага. Завтра не будет.

— Будет. Здесь кино каждый день крутят. Только смотри.

Ну, если каждый день, тогда Леха согласен. Он ухватился за руку отца, и они пошли широкой улицей центральной, как будто у себя дома. В окнах уже зажигались лампочки, хотя небо было еще в отсветах заката.

Их догнал председатель на своем «газике». Остановил машину.

— Садись, леший, подброшу.

— Спасибо, Иван Захарович, тут и пехом рукой подать.

— Садись!

Председатель уже успел переодеться в какую-то замасленную куртку и теперь не был похож на председателя.

— Ну как, леший, надумал ко мне в бригадиры?

Отец немного помолчал.

— Нет, Иван Захарович,— сказал он,— какой из меня бригадир. Бригадиру надо людей хорошо знать, а я... Мне на трактор хочется. Поглядел я — тут у вас техники!

— Насчет техники ты прав. К тому ж к весне еще три трактора обещают. Эх, леший, да мы такие дела развернем — самим чертям тошно станет.— Он внимательно поглядел на отца.— Ты в партию думаешь вступать?

— А я уже давно в ней, Иван Захарович,— сказал отец,— еще с армии.

Председатель даже машину затормозил:

— Какого ж черта? В партии, а в лесу хоронишься. Дурачком прикидываешься?

Отец молчал.

— Сани Маленького испугался! — горячился председатель, вертя баранку из стороны в сторону, избегая ухабов.

— Да не испугался я! Просто связываться не хотел.

— Ах, не хотел связываться? Белы рученьки марать? Дескать, пусть без меня для меня жизнь налаживают. Так, что ли? Нет, леший, ты сам рукава засучи да в драку. Вот это по-нашенски! Вот тут я тебе помощник, если хочешь. Но и ты мне должен помочь. Мужик ты, я вижу, разумный...

— Спасибо, Иван Захарович, вот мы и доехали.

Председатель протянул руку сперва отцу, потом Лехе. Причем, пожимая руку, он повернулся так, что Лехе был виден только один глаз — грустный. И он глядел так печально, как будто и у Лехи помощи попросил.

Засыпал в этот вечер Леха поздно. «А как же синий камень? — вдруг вспомнил он. Вскочил, достал его из кармана и положил себе под подушку.— Ладно,— решил, засыпая,— я его завтра председателю подарю: пусть у него оба глаза станут веселыми».

ВАСИЛИЙ ЮРОВСКИХ

★

МАТЕРИНСКОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Зимой сучки у лиственницы были одинаковые: корявые, суставчатые, с какими-то несуразными наростами. Но весной опушилась она свежей шелковистой зеленью, и только на растрепанной макушке зачернела сушинка: вроде шершавые материнские персты сложены в русское благословение.

...С теплом прилетела белобровая горихвостка. И песню первую спела именно с сучка-сушинки. Каждый рассвет на ней встречает. Порхнет и голосок подаст. Спинка сине-пепельная, а брюшко и хвостик — рыжеватые, будто бы солнышко обогрело. Оно, солнышко, где-то далече чуточку просвечивает, а горихвостка звонко да так сердечно вызывает:

— Фьюить-чуть-чуть-чуть!..

Солнце, должно быть, слышит ее: вздыхает розовым туманом и, светлое и ясное, вырастает над лесами и долами...

Поселился вблизи щегол — писаный красавец. И тоже на ней, на сушинке, затевает бойкое и задорное щебетание, словно выговаривает: «Петь-пели, будем петь... Пить-пили, будем пить»... И еще какие-то сверкающие бисеринки рассыпает сверху: уж так, видно, славно поется с материнского благословения!

Не поглянулась кому-то сушинка, и однажды не нашли ее птички. Аккуратной да опрятной смотрится лиственница, под стать комолым кленам на городских улицах. Стрижены они под одну гребенку, и хоть листвы копешки, а не слыхать в них птичьего голоса. И лиственница онемела...

Впрочем, случается этакое не с ней одной. Бывает, напишет кто-то языком матери-земли, а другому слова его корявыми покажутся. Ну, и вырежет он их, как ту сушинку: ровно да гладко станет, как на асфальте, только... безголосо. Невдомек иному: слово-то, с виду корявое, и было той самой певучей сушинкой — материнским благословением...

В ПОЛНОЧЬ

В полночь дохнул кто-то жарко в лицо и неразборчиво шепотом позвал. Я хочу проснуться и не могу. Немею телом и думаю: кто бы мог прийти ко мне на зарод сена за лесным угором?

Опять кто-то дохнул, и холодная капелька на щеку упала. Может, матушка моя к изголовью присела — обо мне закручинилась, и нечаянно слеза набежала? Как в детстве когда-то... Набродишься по лесам и полям за вороньими яичками, за мороженой картошкой, уткнешься на печке. Ноги в цыпках нечем прикрыть. А матушка присядет на верхний голбчик и горячей ладонью гладит, худого, измучен-

ного. Отец на войне где-то, и сами мы поильцы-кормильцы, и на корове Маньке ездим и ревем, когда она ложится под тяжелым возом...

Полно, родимая, отдыхай... Не ходи за сыном в леса дремучие, на болота зыбучие, за осоки резучие...

Я поднимаю веки и слышу: зашелестело от зарода отавой и стихло возле Крутишки. У самого лица звездами небо шевелится, заиндевелый Млечный Путь утянулся к тополиному селу Юровка. Никого нет. И вдруг пить захотелось. Не из омута, а из ключей в согре. Вода там живая, поди, тысячи лет сочится из земли. Звездный черпак туда свесился, и зеленая звездочка весело чиркнула небо — туда же спрыгнула. Вслед ей сова-полуночница хрипло прокричала: «Ау...»

Шагаю лесной угориной, из темноты навстречу березы высвечиваются, и подлетают к лицу прохладные листья. Пролетел сон, а все кажется, будто ждет меня матушка. Где-то присела, может, у ключа или колка вишневого, смотрит в мою сторону.

«Иду-у-у!» — кричу я в согру. Улетел голос лесом, и ответное эхо принесло мне приглушенное: «Жду-у-у-у, жду-у-у».

ГОЛОС ДЕТСТВА

Родился в березах какой-то незнакомый звук: вроде бы кто-то вскрикнул или застонал. А может, ветер раскачал где-нибудь две лесины, тесно прижатые, и они скрипнули? Но было безветренно, а звук повторился и заставил меня снова встрепенуться.

Кто-то негромко и осторожно запоскрипывал. Скромная и наивно-детская скрипочка зазвучала в лесу. Ищу музыканта, а его все нет. И вдруг «пли-плю, пью-пью» выдало его. Невдалеке на ветке сидела серая и невзрачная снегириха. Она-то и наигрывала свою прощальную песню.

Ничего звонкого не было в ней. Однако как посвежели и омолодились березы: румянец проглянул на них и веснушки порозовели. А снег потеплел и потянулся парком в небо.

Где-то снегири звучные капельки посыпали на березы. И полетела к ним снегириха. Стало тихо-тихо. Я пошел увалом к речке Крутишке, а во мне жила негромкая и простенькая песенка снегирихи.

Чем она взяла? Вроде каких только певцов не доводилось слушать. И тут знакомое и далекое вспомнилось мне...

Плетемся мы, десятилетние ребятишки, санной дорогой, тащим в мешках мороженую картошку — сладость военных лет. Вот-вот свалимся на снег и останемся в потемках волкам на съеденье. И вдруг с подгоры от Крутишки песня долетела. Матери наши везли солому на быках и затянули ее, горестно-печальную. Голоса у них простуженные, усталые, но как они душевно и ладно в протяжный русский напев складывались.

О чем рассказывала песня — забылось. Одно помнится: о еде не думалось, морозец отошел и в село, свою Юровку, незаметно пришагали. А когда засыпал я на полатях под тятькиной лопотиной, мне слышалось, как скрипели полозья и плыли над угором голоса матерей.

СЫНОВНИЙ ЗОВ

На осине-сухостоине топорщился и жалобно пищал молодой канюк. Рядом с ним на сучке сидел сорочонок-слетыш, поглядывал на него: или канючонку хочется есть, или он боится остаться один.

Канюк-родитель плавно кружился над распадком Крутишки. Услыхал писклявый голос своего дитяти, с резким криком повернулся к осине. Канючонок съежился: а вдруг бить или бранить станет?

Попутно подхватил канюк из пшеницы полевку, принес ее канючонку. Тот неловко проглотил мышь и замолчал. А куцехвостый сорочонок сидел, завидовал... Канюки между тем снялись и полетели вместе. Один сорочонок остался на осине. Да и куда ему торопиться? Успеет вырасти и всему научиться. А канючонку придется скоро лететь в дальние страны, подниматься над тучами.

Засмотрелся я на птиц, и почему-то невольно припомнилась история с моим сыном. Приключилась она здесь же, у реки. Надоело ему клубнику собирать, и он давай канючить: пойду да пойду в Песни. Я не держал: пусть идет себе.

За ягодой ушел я от переброда далеко. И сколько времени прошло, не знаю. Расшумелся ветер в старых березах на оплечье бугра, нес он низовой порывистый гул из согры. И каким чудом услыхал я отчаянно-потерянный крик — сам удивился!

«Сын...— мелькнуло в голове.— Заблудился, как пить дать заблудился». И представилась ночь, глушь, и он один, худенький и несчастный... Никто его не услышит: травы-то давно все сметаны в зароды.

С бугра на бугор побежал к сыну. Кричал, останавливался и прислушивался: в шуме, как во сне, откликался слабый зов сынишки.

Вот сейчас настигну... Но где он? Почему только березы слышу? Снова закричал. И тогда из ложка побрел мне навстречу сын. Весь сжался в ожидании брани или шлепка.

Молча пошли мы обратно. Из-за кустов поглядывали на нас круглые омутины, сочувственно вроде бы мигали камышами-ресницами: дескать, урок ему будет за своеволие. Если не сыновний зов, то как знать, чем закончилось бы все...

Поднял глаза — надо мной медленными кругами набирали высоту канюки. Родитель подбадривал молодого, а тот с испуга или радости пищал, но упорно поспевал за старым. Он улетел в небо, из жалкого птенца-канючонка превращался в смелую птицу...

Сын мой когда-то тоже расправит крылья. И может, поднимется в жизни выше меня и улетит дальше. Одно бы не забыл: подать сыновний зов, когда плохо станет... Пусть не будет уже меня, зато сама земля услышит и поспешит ему на выручку...

НА ЗАКАТЕ

Наплывают от реки робкие сумерки, и в островерхом шлеме монастырской башни затевается странная возня, слышно только умноженное эхом путаное хлопанье крыльев. Потом из насупленных пустых глазниц башни с гулким перекликом вырываются галки, собираются в черное облачко и уносятся в сторону скорого заката. Возвращаются совсем затемно и молча исчезают в черноте бойниц. А завтра вечером галки снова начнут метаться, и повторится то же самое.

Куда и зачем летают перед ночлегом шумливо-беспечные и, как многим кажется, бестолковые птицы?

Солнце устало застыло над далекими косогорами. И я отправляюсь к одиноким тополям, куда скрываются галки по вечерам. Я должен поспеть туда раньше них.

...Ежится на вечерней весенней изморози сизый дымок сигареты. Холодит спину бугристый ствол старого тополя. Высоко его спокойная вершина, и звезды кажутся светлыми капельками на раскидистых сучьях. Вдруг нарастает шум, и соседнее дерево темнеет от галок. Без галдежа и спора птицы рассаживаются на тополе головами к закату.

Ощутимо медленно идет время. Запад из золотисто-зеленого окрашивается в огненно-розовый, затем заволакивается малиново-фиолетовой дымкой, и только на полнебе еще сочится крошечный ро-

зовый родничок. Краски стекают, густеют за горизонтом, и снега обволакиваются сумраком. Галки неподвижно смотрят на потухающий закат и чуть слышно переговариваются между собой...

«Провожают солнце... Любуются на закат,— думаю про них.— Ишь, какие чувствительные». Хотел было встать и пугнуть птиц, которых природа обделила и голосом и пером, но тут другая догадка заставляет забыть о наивном открытии...

...Сотни лет назад скатал на веселом угоре первую избу мужик Марков. По нраву пришлось новоселье и многим иным крестьянам. Год за годом, а там уж и деревня появилась, и тополя встали выше тесовых крыш. По карнизам да чердакам прижились-развелись доверчивые галки. Заодно с крестьянами вековали они на веселой угорине.

Народилась новая жизнь на земле, зазвала она людей прочь от старых деревушек, по сторонам разманила. И стаяла на угорине деревня Маркова. Заросли усадьбы коноплей да крапивой, затянуло улочки-закоулочки конотопом. Отлетели тогда галки в каменные хоромы — монастырскую башню...

Оторвался я от дум своих: чисто на тополе. И ночь уже вызвездилась, и лишь по туманно-желтому озарению жилье людское угадывается. Один-одинешенек спешу к теплу и уюту домашнему.

Крадется от реки серый вечер, и вырываются из мрачной башни взволнованные галки. Они смыкаются в облачко и улетают опять к старому крову, на густые тополины.

...Где-то и у меня есть село, и родительское гнездовье с давным-давно оглохшей избенкой. И тополь стареет на задах. В той деревушке, в доме родном, на верхнем его голбце открылись глаза мои, там остались и детство и юность. Только... только когда же в последний раз бывал я там, у тополя?

В ТРАВАХ

Сыздали посмотрел — выстилается редкая травка, за березы да сосны скрывается. Вроде бы и живности никакой, одна зеленая прохлада. Зашел в лес, склонился и вижу: мшистым ворсом веснушчатая божья коровка не спеша пробирается. Передохнет — и дальше, передохнет — и дальше. А над кукушкиным льном какая-то мушка, схожая с вертолетом, нависла. Жужжит еле слышно, и, может, оттого вздрагивают у льна матовые капюшончики на золотистых ниточках.

Вправо глянул — чью-то торную дорожку рассмотрел. А кто на ней покажется? Наклонился ниже, жду. Ага, кто-то быстро-быстро навстречу семенит. Все ближе, ближе, уж совсем вплотную подкатил. Э-э, да тут крохотные черные муравьишки проложили свою путинку.

Забеспокоился муравей, приподнялся, поозирался и обратно повернул. Отодвинулся я, а сам глаз с «шоссейки» не свожу. Вскорости замечаю на ней ватажку муравьиную. Тот, знакомый, передком торопится, остальных за собой ведет. Куда они?

Бегут муравьишки, а я за ними тихонько двигаюсь. Вот замешкались, остановились под крупной капелькой-земляничиной. Ох и высоко она! Налилась июльским жаром, отяжелела, а никак не срывается, не скатывается. Посовещались о чем-то, и передний сперва один полез по стебельку. Взобрался он, а ягода и не качнулась. Тогда второй полез. И много их поднялось к румянистой капельке. Другие там, на земле, ждут.

Затрепетала земляника и медленно-медленно книзу повела стебельком. Спустились по ней муравьишки как на парашютике и всей ватажкой припали к ягоде-соковине. Опьянели от вкуса, от запаха

душистого, не нахвалятся яством лесным. И мою голову вскружило, и мне захотелось отведать красных капелек.

Кружаю по травам, туесок берестяной подставляю. А капельки в него кап-кап. Скоро через край посыплются, а их и не убыло в лесу. И мне хватит, и муравьишкам вдосталь, и мышке-норушке, и тетерушке с ребятишками, и каждому, кто сюда повернет.

Посмотрит сыздали — редкая травка выстилается, а склонится к земле — земляничному красногору обрадуется. И не забудет, вспомнит в мороз-трескун, снегосев-куржак. И мне выснится ватажка муравьиная да почуется запашок яства лесного.

У СТАРИЦЫ

Межзорье июньское — с пташий поскок. Еще не схлынула малиновость заката, а восток уже подрумянивается, небо там как бы светится изнутри. На юге в одночасье зажигаются две крупные звезды, и над ними в немыслимой густосини всплывает сверкающий парусок месяца.

Непотухаема светлынь летней ночи — хоть до утреннего светозара сиди у старицы и рыбачь. Но время кашеварить, и мы с жалостью оставляем удочки на самолов. Идем в кустарниковую сумеречь за сушняком, продираемся сквозь заросли, сквозь сочность зелени. То напахнет, как ужалит, крапивой, то повеет хмелем вперемешку со смородиной, то ощутишь вблизи приятную черемуховую горчинку. По ним, запашкам, и узнаешь где что растет.

Вприпляску пламенеет наше огнище. Постреливает угольками, бередит аппетит картавым побулькиванием ухи. Ее поджидаем да округу слушаем. Бок о бок с нами сумерничают речные сверчки — птахи скрытные, на глазах вертеться не любители. Заведут они без передышки свое «зер-зер-зер-зер» — в ушах звенит. Куда до них взаправдашним сверчкам заодно с кузнечиками...

В ивняковой непролази соловей-невидимка отчетливо начинает: «Фит-чур-фит-чур...» А через два молодецких коленца презрительно замечает: «Юу-лит, юу-лит». И как на исповеди, покаянно признается: «Пью, пью, пью, пью...» Сам же себя яростной скороговоркой пытает: «Чо, чо, чо, чо, что?..»

Из-за курьи отзывается второй, а там где-то третий, четвертый... И уж на то соловьям — вольному воля. Они то с захватывающим взлетом, то с придыхом и полушепотом со всех сторон рассыпают самоцветные переборы. Сдается порой, будто не листики трепыхаются, а вместе с соловушками свистит и щелкает тысячами узеньких язычков таловая гущь.

За ухой незаметно и развиднелось, остро запахло илом и сырым туманом. Свежинка утренняя погасила притаившуюся дремотину, позвала к насиженным местам. Идем и послуху не верим: на какой-то самый короткий миг тишина затаилась у старицы. Второпях тронешь отпотевшую ветку, и она охолодит лицо росяной влагой. И река и кусты ждут чей-то оклик, чью-то звонкую побудку.

Вон заиграло далекое желтистое облако, и словно роса зазвенела — снова посыпались самоцветы соловьиные. А на вершинку ивы взлетела доверчивая камышовая овсянка. На черной головке простодушной пичуги взъерошились хохолком непричесанные перышки. «Пти-пти-пти-пи, пти-пти-пти-прю» — выводила она свой собственный односложный мотив.

С правобережья откликнулась ярко-красная чечевица. Выпорхнула на роззелень ольхи и хвастливо посвистывает: «Что-то вижу?»

«Что ты видишь?» — озадаченно спрашивает ее вторая, растерянно озираясь по сторонам. И заранее знают: целый день красно-розовые самчики будут подзадоривать друг друга и, не найдя ответа, подерутся меж собой же. А самочки, шмыгая кустами, станут недоуменно повторять: «Чи-во, чи-во?»

Ожила взбуженная река. Под обрезом обрыва чмокают теплую гладь окуни, в курье нет-нет да и сверкнет овальным зеркальцем подлещик, у куста ударит в сердцах по воде щука.

Разная разность топит поплавок: то ерш топорщится на крючке, то резвый елец ухватит насадку. Или бронзовый окунь возьмет на таран: дескать, нас мало, но мы в тельняшках.

А когда притомит жара, когда станет из черемухи горлица убаюкивать нежным курканьем, отправимся на переброд — мелкое место — ракушник. И там после купания где-нибудь в тени сморит нас богатырский сон. И смыкая ресницы, будем счастливо размышлять: «Нет роднее и дороже русской земли. Вся-то она мягкая и добрая, как мать, ласковая...»

ПЕВУЧАЯ РЕЧКА

Между угоринами, то пашенными, то лесистыми, бежит сырыми низинами застенчивая речка-невеличка. Не враз ее и заметишь в буйной черемуховой волне и густоте ольшаника. Прячется она под нависью дремучих кустов и лишь ближе к Исети удивленно смотрит прозрачными омутами на недосягаемую лазурь неба.

Кажется, будто выбежала из сумеречной зелени русоволосая девушка да так и замерла в изумлении. Дух захватило у нее от солнечного простора, от величавой красоты русской земли. Там богатырский меднорудный бор, а там — березовые рощицы и поля, поля неоглядные.

Давным-давно дали речке имя Ольховочка. А еще называют люди речку Певучая. Редко где встретишь столько птиц, сколько гнездится их здесь по чащам и на луговинах. И каких только голосов не услышишь!

Ранней весной стекают в речку звенящие переливы жаворонков, дарят ей скворцы замысловатые напевы и шлют с высоты привет журавлиные стаи. Не облетят стороной утки и кулики — останутся с нею на все лето.

Нескончаемые песни поются, когда распустится листва и разнесет ветер вздохи черемухи. И кого тут нет... С первым светом утренним и до вечернего тумана перекликаются кукушки, соревнуются меж собой славки и пеночки-теньковки, неповторимо звучны трогательные строфы певчего дрозда, и всю жизнь внимал бы искусным перепевам синегрудок-варакушек.

А больше всего славится речка соловьями. Каждый куст свистит и щелкает.

Пройди неслышно кустами, всмотрись зорко — и заметишь немало слушателей соловушки. Притих возле своей голубки нежный вяхирь. Раздувает он винно-красный зоб, но не осмеливается заворковать; малая выпь как села на ольховый сук у воды, так и застыла по стойке «смирно».

Соловьиные паузы заполняют скрипуны-коростели. Им подсвистывают погоныши, и где-то бьют перепела. И все голоса, голоса...

Ни на день не расстаюсь с речкой и я. Закрою глаза, а передо мной все она, Певучая. Просвеченная солнышком, воспетая иволгами и соловьями. Соловьями на каждой ветке черемухи и бузины.

* * *

Заклубилась листва на ивняках и ольхе, скрыла от глаз речку Ольховочку.

Нетерпеливо сбегаем с высокой насыпи, перепрыгиваем через бетонный лоток, где шепелявит прозрачная струя, и мы — возле речки. Насаживаем на крючок дождевых червей, спускаем на самое дно красную кисть. Неужто побрезгует, проплывет мимо окунь-батюшка?..

Покоятся бамбуковые удилища на смородиновых кустиках, а мы сидим молчком. На Ольховочке в рыболове цена — терпение! Непоседа мигом обежит речку, досадливо сплюнет, смотает удочки и не оглянется больше на нее. «Лучше на Исети ершей-обмылков дергать, чем здесь пнем торчать день-деньской»,— бросит напоследок.

Но мы-то знаем ее причуды-капризы. Знаем, чем может взволновать да порадовать сердце рыбацкое. Пробьет час — и тронется в сторону поплавок, на поводу у него забьется сердце, и замрет рука в ожидании подсечки. А пока сиди, размышляй и внимай здешним певцам...

...Плывут по воде солнечные пятнышки. Где-то на самой верхней ветке черемухи расщебеталась серая славка. Восторженно как бы выговаривает: «Тир-ли, витюрли», взлетает, снова присаживается. А неподалеку журчит себе ручейком садовая камышевка. И только соловей заглушает ее, когда засвистит в неподражаемую «лешеву дудку».

А заслушиваться нельзя. Поплавок-то уже под кустом. И мигнуть я не успел, как он бойко нырнул вглубь. Ахаю и второпях схватываю удилище. Сопротивление сильной рыбины бросает в жар, бьет дрожь, и... до чего же велико желание поскорее увидеть свой улов. И когда окунь тяжело бухается в траву, к нему бросается и мой приятель. «Кило! Полкило!!!» — вырывается у него.

Не улеглись еще страсти, как вначале плавно, а потом стремительно повело леску на другой удочке. «Потерпи, потерпи...» — шепчу я товарищу.

Снова точно такой же полосатый окунь бушует, угодив в ведерко. Тут уж нам не до песен птичьих, не до цветочной разноцвети. Вспышка окуневого клева ослепляет и оглушает нас, пусть и на короткое время.

Но сойдет одержимость, засвежеет вечер — и опять будет покойно на душе. Опять мы услышим и птах, и шорох трав, и голова пойдет кругом от тягучей цветочной сладости...

ПО ГРИБЫ

Древний дедушка ласково говорит на ухо такой же старенькой бабушке:

— Бают, грибочки пошли. Теперь бы лукошко да за ними, молоденькими, сходить...

И оба улыбаются как-то лучисто и светло. Ну совсем малые дети.

И я тоже думаю о грибах. Право, весточка о них покоя не дает. Равно рыбаку услыхать о добром клеве где-то на речке. С вечера утра ждешь не дождешься...

Летние ночи — светлозоры. Закат еще не погас, а с востока слабый свет занимается. Белеет небо, звезды, словно глаза, зажмуриваются, а окна чистой синью наливаются. Нет-нет да и озарится край неба вспышкой молнии. Рокотнет сонно дальняя гроза — и снова тишина.

Выхожу сухой теплой дорожкой, а ближе к лесу росными травами шагаю. От берез туманной прохладой веет, просыпаются под золо-

ченым крылом зари птицы. Сперва с паузами, неуверенно, пропел певчий дрозд. Ему негромко отозвалась кукушка, а в соснах захлопала крыльями серая ворона, вроде бы певцам аплодирует...

Растекается рассвет по небу, высветляет полянки и межствольe березняков, оттесняет сумрак из борка в ельниковые посадки. Здесь и первые грибы ищу, склоняюсь к хвойному настилу. А на меня уже глядят блестящие маленькие маслята. Они то шоколадные, то сливочные, то светло-коричневые. Скользят из рук сами в корзинку, будто радуются. Дескать, экая рань, а уж и человек пожаловал.

Дышу я грибным запахом, неторопко брожу борком. Там ватажка маслят, а вот особинкой один пока приподнялся, на задорную шляпку хвоинку подцепил. Протягиваю руку и думаю: вдруг отпрыгнет он в сторонку и покатится сказочным колобком. Туда, где дикий голубь пробует ворковнуть, вслед за бурым зайчишкой и быстроногой косулей. Где-нибудь и лисоньку повстречает на лесной тропинке...

А солнышко тоже колобком взбирается все выше и выше. И все звонче зяблики — первые по лесу песельники — заливаются. Кажется, не листва и хвоя над головой, а одни только песни. Там дрозды стараются, тут иволги восторженно свистят, здесь лесной конек — «ты сияй, ты сияй» — упрашивает. То дятел подаст голос, то синички около дупла по-весеннему распоются.

Земля росой дымится, капли радугой переливаются. Покачнулась белоснежная ромашка и холодным душем обдала косолапый подберезовик. Не зябко будет ему в компании маслят и сыроежек. А тут еще сухой груздь забелел на опушке...

Маревая истома наполнила воздух, заголубела зеленая даль. Славно так выйти на свежий простор, постоять у алеющего шиповника. Земле родной улыбнуться и душу свою послушать. И весь я в сладостном ожидании: вот-вот раскинет земля скатерть-самобранку, пойдут люди по грибы и песни, и будет у них на сердце солнечно и радостно.

ПО ЛИСТОПАДУ

Отцветающим подсолнухом свесилось над лесами солнце.

...Не стерпел, вздохнул шумно ветер возле березы. Всплеснула она рукавами — и полетели-посыпались оттуда не то листья, не то желтогрудые птахи. Березки-подростки к матери своей обернулись и тоже пустили пташек. А осень прислушивается за бугорком, приглядывается красноглазой калиной. А может, она же уставила немигающие черные глазенки с крушины?

Слушаю перешепот лесной и спускаюсь в низину. Из отавы приподнялась, словно тоненькая девочка, поздняя купавка. Золотеет ее головка, и сама она, холодная, вздрагивает от утренней сырости. И совсем по-летнему раскрылся огненно-желтый колоборолник, а рядом в болотине взяла да и расцвела скромная калужница.

Не опустела округа, не замолчала: то парочка вяхирей, присаживаясь, собьет листву с берез, то поднимутся над деревьями стайкой горлицы. «Квох-ох, квох-ох» — шумят дрозды-рябинники, перелетая с безъягодных черемух.

В лесной прохладе все еще тоненько вытенькивают пеночки. Тут как бы лето с осенью на меже остановилось. Большие синицы со всех сторон то попискивают, то звоночками перекликаются. И полевые воробьи, как на базаре, о чем-то спорят. «Фи-фи-фи» — насмешливо кричит один, «чо-че, чо-чи-че» — частит другой. В охотничьем азарте на них внезапно налетает ястребок, и воробьишки молниеносно забиваются в кусты.

А леса все волнуются, перешептываются, и с шорохом летят, летят листья... В колодчике сверху листья, а на воде — медные полоски с краснотала, кругляшки с берез и осин. И все метет, заметает его листопад.

День засерел и сгас. И глухо стало, и вечер сиротливо мигнул огоньками звездочек. Только шорох и шушуканье в темноте, только листья за воротником моим, под ногами, на плечах. Дышат яблочным запахом и чем-то еще непонятно грустным и близким.

НА ВЫРУБКЕ

Раньше тут белела прямоствольная роща. На полянках собирал я тающую в руках землянику и духмяную клубнику, хрустящие сухие грузди и кисло-аппетитную костянику... А в урожайные годы натыкался на «его величество» — белый гриб. Благоговейно снимал перед ним шляпу и долго не решался взять в корзину...

А теперь уже не пропоют в березах птицы. Только приземистые лысые пни выбросили вокруг себя много побегов.

Да еще вымахал бурьян из иван-чая и борщевника, гранатника и репейника. Снега здесь глубоки, лишь торчат макушки бурых растений.

По старой памяти я часто торю лыжню на знакомый выруб. Знаю от лесников: скоро, по весне, рассадят по нему сосенки, и через пять—десять лет отпугнет ершистый борок заросли бурьяна. А пока можно вспомнить рощу, посмотреть на птичью столовую, угадывать по замысловатым петлям следов повадки зверьков и пернатых.

...Низкое солнце незаметно поблекло за фиолетовой щетиной лесов. Морозец покрепчал. Студеная тишина притаилась на вырубе. Выбрался на выруб дерзкий горностай. Приостановился, навострил мордочку и вдруг нырнул под заснеженный ворох хвороста. Оттуда он выбрался с мышью в зубах. Потащил добычу в гущину осинок, а там от него покатил надувом зайчишка. Невелик хищник, зато смелости и безрассудной отваги горностаю не занимать.

Привлек выруб и старого лобастого хоря. Он трижды пересек его, схватил мимоходом несколько мышей, а близ опушки спустился в хомячью нору. В ней хорь сыто закусил пестрошерстным хозяином и остался отсыпаться на целые сутки. Оттого и вход туда густо закуржавел.

Позже всех вылетела из пасти лесистого оврага охристо-рыжая неясыть. Правит тоже на выруб, где засекла мышиное раздолье. Кажется, наткнулись ее широкие крылья на невидимую стену. Задержалась на миг и бесшумно упала на снежную ровень. Промахнулась. Как бы не так! Из когтей совы бессильно свис мышиный хвостик...

Снег пушист, и после каждого падения совы на нем остается отчетливая вмятина. Вроде бы не птица охотилась, а кто-то озоровал, подбрасывая вверх треуголку. Сколько раз упала, столько и грызунов убыло из выруба.

...Жизнь на месте рощи идет днем и ночью. И сегодня опять я останусь на вырубе. Буду постукивать заиндевевшими валенками, ждать грустинку зимнего вечера, смотреть, как поднимется на юго-западе серебристый козырек молодого месяца, как сверкнут первые светлинки звезд.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

ВИТАЛИЙ СЕМИН

★

СТРОИТСЯ ЖИЗНЬ

— Входите, у нас пропусков нет,— сказал Виктор Ильич Гонцов, когда я попросил разрешения присутствовать на планерке.

В прорабке теснились человек 30 в пальто, дубленках, телогрейках. Низкий каютный потолок, двойные фанерные стены с утепляющей прокладкой. Горел «козел» — большая электроплита, смонтированная на круглых изоляторах.

Раньше такие «козлы» делали кустарно. Горели они в строительных общежитиях, пожарники охотились на них. Но, похоже, «козлы» победили пожарников! Этот сделан так основательно, что кажется изготовленным на фабрике по специальному заказу.

Прошу прощения за неидущее к делу воспоминание. Но «козел» в прорабке действительно меня поразил. Зиму пятьдесят третьего — пятьдесят четвертого года я провел на строительстве Куйбышевской ГЭС — в Шлюзовом поселке. В нашей комнате, где мы жили с приятелем, была плита под уголь, но за всю зиму мы ее ни разу не затопили. У нас горела электроплитка и два школьных реостата. Два самых обыкновенных учебных реостата. Они накалялись до малинового цвета и гудели, как телеграфные столбы. Дверь в комнату мы всегда запирали на ключ и прежде, чем открыть на чей-нибудь стук, выключали плитку и реостаты прятали под кровать.

Пожарники, однако, ловили «козла» на запах. В комнате, где он долго горел, не хватало кислорода — «козел» его съедал.

В маленькой комнате трудно что-либо спрятать. Тем не менее пожарники редко уходили с трофеями. Из большинства комнат их просто выгоняли. Однако всю зиму надо было запираться на ключ, прятать реостаты под кроватью, так что все это мне очень хорошо запомнилось. Вот почему я так удивился и обрадовался огромному стационарному электрическому камину, который обогревал в семьдесят втором прорабку на строительстве ББЗ — Большого бетонного завода — в Набережных Челнах.

Действительно, пропуск на строительные площадки КамАЗа был не нужен. Ничем не обозначалась и строительная площадка ББЗ. Но границу строительства вы ощущаете сразу, как только попадаете в зону звуковой вибрации. Это какой-то звуковой купол над изрытым снегом, перемешанным с грунтом и древесной щепой. Кажется, издалека видна не только башня ББЗ, но и звуковой купол, который поддерживается не одним, а десятком работающих моторов. Иногда из зоны звуковой вибрации вырвется ярко-желтый «ДТ-75» — этакий кузнечик пустыни — и, блестя начищенными снегом гусеницами, промчится мимо вас. Или один за другим несколько тяжелых «КРАЗов», давя снег протекторами, войдут в зону — зона звуковой вибрации не поколеблется.

От шоссе на ББЗ ведет автомобильная колея. Пешеходных тропинок тут нет. Пешком сюда не ходят. Автобус из Набережных Челнов идет не меньше тридцати минут. И те, кто сидит на планерке, приехали на «Волгах», «Москвичах», микробусах и даже самосвалах. Машины расположились вокруг прорабки и сотрясаются от работы моторов. Морозный воздух густеет от паров бензина.

В пятьдесят четвертом на строительстве Куйбышевской ГЭС прорабки так не выглядели. Это были кривоватые домики, сбитые из подручного деревянного материала, из досок, на которых проступала снежная, морозная сыпь. И уж, конечно, никаких машин вокруг себя прорабки не собирали. На Куйбышевскую ГЭС меня привели довольно сложные обстоятельства и молодой интерес к жизни. В то время эта стройка была великой, а сама ГЭС должна была стать самой большой в мире. А в этих словах, согласитесь, не только техническое, строительное или, скажем, престижное очарование.

В Набережных Челнах я побывал у двух бригадиров. Виктор Шатунов с матерью и Александр Пермяков с молодой женой жили в одной комнате большого многоквартирного дома. «На стройку в данное время,— сказано в объявлении отдела кадров КамГЭСэнергостроя,— принимаются только одинокие, которые продолжительное время могут жить в общежитиях». В прихожей я видел на вешалке множество рабочих стеганок. Квартира трехкомнатная, и каждая комната — общежитие.

— Москва не сразу строилась — Челны строятся сразу,— говорит по этому поводу генеральный директор Камского автомобильного Л. Васильев.

В самом деле, за 1970 год — сто тысяч квадратных метров так называемой полезной жилой площади. В 1971-м — вдвое больше. А в 1972-м — полтора миллиона!

Девяти-двенадцатиэтажные дома, которые здесь возводят московские и ленинградские строители, делают Челны одним из самых современных, красивых и благоустроенных молодых городов страны. В каждом микрорайоне — школы, больницы, магазины, детские сады, столовые — словом, все, что нужно жителю большого города. Весьма высок количественно и качественно уровень «услуг», которые предлагают челнинцам эти учреждения. Его принято обозначать все тем же словом «современный». В продуктовых, промтоварных магазинах Набережных Челнов вы чувствуете себя так же, как в магазинах Казани, Куйбышева, Воронежа. Как сложно было сразу выйти на этот уровень, а затем удерживать и улучшать его, можно составить представление по таким цифрам. В 1970 году Набережные Челны имели 35 тысяч жителей. Сейчас население почти утроилось. К 1975 году здесь будут жить и работать 350 тысяч человек. Старый город рос на тысячу человек в пятилетие. Теперь каждый год он принимает почти пятьдесят тысяч человек! Какие сложные организационные, транспортные, снабженческие, жилищные проблемы в связи с этим возникают, легко догадаться. Ощутить, почувствовать можно только на месте. Строится ведь не только город — строится гигантский завод, комплекс заводов, общая площадь которых превысит сто квадратных километров. По этой территории протянется 250 километров автомобильных и 120 километров железных дорог, 1000 километров трубопроводов. Только конвейеров (подвесных и толкающих) с автоматическим управлением завод будет иметь 150 километров. Производительность их такова, что КамАЗу ежегодно потребуется около 1 600 000 шин, больше двух миллионов тонн различных металлов — чугуна, стали, алюминия, свинца, никеля, меди, бронзы,— 115 тысяч километров электропроводов, свыше миллиона квадратных метров искусственных кож... В общем, строится нечто такое, что в таких масштабах еще не строилось. Литейный завод, например, даст почти 600 тысяч тонн всевозможного литья — намного больше, чем любой действующий завод у нас или в Европе.

На главную будущую продукцию КамАЗа уже можно посмотреть. Это мощные восьмитонные трехосные машины, способные с прицепами или полуприцепами на скорости до 90 километров в час везти 16—20 тонн. Три серии таких тягачей и самосвалов построили на Московском автозаводе имени Лихачева. На Ярославском моторном испытано около 50 образцов дизельных двигателей. 250 тысяч таких двигателей КамАЗ будет выпускать ежегодно. Это миллионы лошадиных сил! Однако новые масштабы не только больше, мощнее, обширнее. То есть то же самое, но побольше. Это новый уровень организации, новые строительные средства и методы. Задача ставится, когда уже накоплены силы для ее решения.

Самые беглые впечатления от КамАЗа — обилие мощнейшей строительной техники. Огромные строительные площадки, на которых поднимаются арматурные леса, поражают почти полным отсутствием людей. У тех, кто не очень знаком с современными строительными методами, появляется даже некоторое беспокойство. Они спрашивают: где же люди, почему их так мало? Им отвечают, что все люди здесь и что их ровно столько, сколько нужно. Привычный к традиционному строительству глаз на КамАЗе постоянно ошибается. Кровельщиков, например, ищет там, где они как будто бы должны быть — на крыше. Но кровельщики работают на земле. Монтажный кровельный блок, совмещенный с различными заводскими инженерными сетями, собирается на специальной площадке, подается по рельсам и ставится краном на место. Просто, быстро, целесообразно. Вместо множества подсобных механизмов, подъемных кранов требуется один, но чрезвычайно мощный кран. Гигантская кровля огромного цеха монтируется почти целиком на маленькой, имеющей удобные подходы рабочей площадке.

Особо надо сказать о буронабивных сваях, которые впервые на КамАЗе применяются в таких масштабах. Каждый знает, что любому строительству предшествует рытье котлованов. Строители это называют нулевым циклом. Можно представить себе, каких невероятных усилий потребовал бы нулевой цикл от строителей Камского автомобильного. Котлованы, которые пришлось бы вырыть под фундаменты автосборочного, кузнечно-прессового, ремонтно-инструментального, способны были бы вместить воду какого-нибудь Волжского водохранилища средних размеров. Затем эти котлованы надо было бы заполнять — закладывать фундамент. Мощность фундамента ставится в прямую зависимость от мощности нагрузок на него. А какие нагрузки должны дать 9 высокопроизводительных линий формовки, 10 автоматических линий горячековочных прессов с термическими агрегатами! Короче говоря, объем земляных работ нулевого цикла выразился бы цифрой со многими нулями (такие цифры называют астрономическими). Буронабивные сваи сокращают эту цифру в десять раз. Огрубленно все выглядит так: бульдозеры выравнивают площадку, цех ставится прямо на землю. То есть, конечно, на множество свай, которые с успехом заменяют массивный фундамент и выдерживают все производственные нагрузки. Время на устройство фундамента сокращается в три-четыре раза, производительность труда повышается в три раза.

Грандиозность задачи, сжатые сроки строительства заставляют проектировщиков, руководителей строительства искать методы, которые еще сегодня кажутся смелыми. Завтра и крупноблочный монтаж, и штампованный настил на крышах, утепленные стеновые панели, буронабивные сваи — все, что впервые у нас проверяется на столь огромном строительном полигоне, сделается нормой отечественной строительной индустрии. На КамАЗе вырабатывается новый строительный опыт.

И то, что «Челны строятся сразу», тоже, несомненно, ново. Строится город, который будет иметь крупнейшее в Европе тепличное хозяйство, скоростной трамвай, сотни автобусов и такси, гигантский холодильник, станцию технического обслуживания, которая по размерам не уступит большому авторемонтному заводу. Разумеется, здесь будет множество бытовых комбинатов.

Скоростной трамвай необходим Челнам в связи с особенностями планировки КамАЗа. Заводские цеха, расположенные на площади в сто квадратных километров, возводятся за пределами жилой зоны. Однако саму зону нельзя слишком отдалять от завода. Поэтому получается так, что городские районы разделяют большие расстояния (собственно Набережные Челны от того, что здесь называют Новым городом). О том, что скоростной трамвай должны пустить еще в этом году, говорили на встрече молодых строителей КамАЗа с руководителями горкома партии и стройки. Такие встречи здесь проводятся регулярно. Строятся они по типу вечеров вопросов и ответов. Вопросы задают строители, отвечают секретари горкома, руководители КамГЭСэнергостроя, начальники бытовых предприятий. Вопросы самые разные. Транспортные проблемы. Книжный магазин. Молодежное кафе. Картофель в меню рабочих столовых. Квартиры молодым специалистам.

И т. д. Встречи эти, насколько мне известно, тоже новость в практике великих строек. Самое важное, пожалуй, что вопросы не только ставятся — многие из них и решаются на месте. Так сказать, в рабочем порядке. Я хотел написать «мелкие», или, вернее, частные, вопросы. Но в гигантском живом организме стройки мелочей не может быть. Атмосфера такая, что спрашивают «в лоб», а те, кого спрашивают, выходят к трибуне. Но, конечно, это не только вечер «вопросов и ответов». Молодым строителям говорят о ближайших и отдаленных перспективах стройки, ставят перед ними сложные задачи. Это диалог старших и младших, и старшие не только отвечают, но и учат:

— Решать, решать каждому на своем участке — вот в чем наша задача!

Поименно были названы молодые прорабы, инженеры, которым совсем недавно доверили ответственные участки. В строительстве КамАЗа принимает участие почти вся страна — в Набережных Челнах трудятся люди 33 национальностей, представляющие 70 наших городов.

На встрече этой были и бригадиры комсомольско-молодежных бригад Виктор Шатунов и Александр Пермяков.

Они тоже задали свой вопрос (вместе подписали записку). Они спрашивали, почему пустые автобусы не останавливаются, когда рабочие-дорожники в конце смены хотят уехать домой. Если опоздал на «вахтовый» или пропустил рейсовый автобус, жди, когда появится новый рейсовый. Отвечал им секретарь горкома Раис Киямович Беляев. Судя по всему, вопрос был наболевший, и тут же было решено, что все автобусы обязаны подбирать запоздавших. На следующий день я убедился, что решение действует.

И о том, чтобы город выглядел красиво, чтобы подъезды к Набережным Челнам были интересно и современно оформлены, тоже заботятся «сразу». На КамАЗе есть группа скульпторов и художников, которая занята этим. Эскизы можно увидеть в кабинете заместителя секретаря парткома КамГЭСэнергостроя Валерии Шамильевны Масленниковой.

Однако то, что действительно приходится делать «сразу», каждый день,— жилье. Эту острейшую для любой стройки проблему на КамАЗе тоже решают по-своему. Тут минимум времянок (бараков нет совсем). Даже типовых общежитий — то есть домов с длинными, как в гостиницах, коридорами — здесь не так-то много. Строят обычные многоэтажные дома с изолированными квартирами. Временно их превращают в общежитие. Разумеется, общежитие есть общежитие. Но в то же время это и современная квартира со всеми удобствами. Те, кому на стройках приходилось жить в бараках или других времянках, оценят разницу. Кухня, вода, душ или ванна, центральное отопление. Наконец, осязаемая перспектива: подойдет твоя очередь — и ты вселишься сам. Въедешь в один из тех домов, которые заложены, закладываются, возведены наполовину или уже предъявлены приемной комиссии. Процесс улучшения, перехода из общежития в «малосемейку» — так здесь называют квартиры, в которых каждая семья имеет по комнате,— из «малосемейки» в изолированную квартиру так же непрерывен, нагляден, как и само строительство. Изолированная квартира, в которой сейчас общежитие, в свое время перейдет одной семье. Это живая форма связи с завтрашним днем, когда голод на жилье в городе будет удовлетворен.

Вот в такой квартире я побывал.

Пермяков работал в бригаде Шатунова, сам стал бригадиром, теперь оба готовились въехать в «малосемейку». Оба дорожники, встретиться с ними не так-то легко. С Шатуновым я виделся в комитете комсомола КамГЭСэнергостроя, но он был занят — шло заседание бюро. На автосборочном, где плотники-бетонщики Шатунова монтировали подкрановые пути, мне сказали, что бригаду перевели на другой участок. Нашел я Шатунова на новом месте — приехал, воспользовавшись планом, который на листе бумаги набросал сам Виктор. Парни и девушки обедали в домике-обогревалке, а Шатунов, прерванный на полуслове — он что-то рассказывал ребятам,— вовсе не обрадовался тому, что я так хорошо воспользовался планом, который он начертил. Шатуновым занялся фотокорреспондент, с ко-

торым мы приехали, и нам опять не удалось поговорить. И вот осталось воскресенье...

У Шатунова смущающая сдержанностью, несуетная манера разговаривать. Он молча ждет, пока задашь вопрос полностью. И еще немного ждет, не уточнишь ли, не спросишь ли еще о чем. Так что у меня было время почувствовать профессиональную стандартность своих вопросов.

— Откуда приехали? Из Воткинска, Вот-кинск, Воткинская ГЭС, наверное, слышали? По комсомольской путевке? Да нет, просто приехали. Прочли в газете и приехали. Почему приехали? Денег больше зарабатываем? На заводе я зарабатывал не меньше.

Так мы ходили вокруг да около, пока он не ответил на мой главный вопрос:

— Ну, вот если бы уехали отсюда, дураками бы себя считали.

Он говорил, что здесь есть интерес, есть жизнь. Что жизнь здесь ценна этим интересом. И завтра ожидается не меньше, чем сегодня. Он говорил и этими словами и другими. И было удивительно, что он так заговорил, и ничего удивительного не было, потому что я сам когда-то на Куйбышевской ГЭС записывал в блокноте: «Великие стройки — здоровье нации. На великой стройке ощущаешь, как молодо время, ощущаешь его структурность, включенность в него трех перспектив, о которых говорил Макаренко: ближайшей — завтрашней, средней и отдаленной. И это телесное, чувственное ощущение — на вкус, на запах, на бодрость и приподнятость. В литературе это можно сравнить с чтением Джека Лондона, через которое нормальный человек обязательно должен пройти. Есть люди неслышащие, но счастлив тот, кто и седым способен отозваться».

Года два назад я побывал в Шлюзовом, хотел разыскать барак, в котором жил. В бараке у нас была комната. По проекту она предназначалась под умывальник, располагалась чуть ли не в тамбуре, у самого входа, так что мы слышали шаги всех входивших и выходивших. Это была самая холодная комната в бараке, и жили мы в ней только вдвоем. Больше двух кроватей в ней нельзя было поместить. Между коек стояла тумбочка, на полу — электроплитка и реостаты. На тумбочке разобранный, то есть извлеченный из ящика приемник — приятель чинил приемники, денег он за это не брал, но приемник не спешил возвращать владельцу.

Вечером мы садились на койки, упирались коленями друг в друга, играли в шахматы «под» сгущенное молоко или «под» какао на сгущенном молоке. Приемник исправно работал и без ящика. Сквозь замерзшее окно светил фонарь. Скрипел снег в тамбуре под ногами тех, кто входил или выходил из барака. Если мы хотели позвать к себе соседей, стучали в стену. В общем, это была прекрасная комната, и получили мы ее готовой: вместе с кроватями, матрацами, одеялами и подушками. И никогда бы мне не жить в такой комнате, если бы не решительность приятеля. Он узнал случайно, что двое, занимавшие комнату, уехали, бросился за мной, и мы, схватив чемоданчики, вселились. Дня два я ждал, что нас непременно выгонят и осудят за самоуправство. И правда, через день или два кто-то открыл комнату своим ключом, заглянул, увидел нас и тотчас захлопнул дверь. Это был единственный случай, когда нас в нашей комнате потревожили.

Вставать нам надо было рано, а ложились поздно. Лучший джаз приемник выдавал после полуночи. Но дело было не только в музыке — жаль было гасить этот огонек, эту связь с миром, этот шорох и потрескивание эфира. Жаль было выключаться, гасить на несколько часов мозг, закрывать глаза. Красный свет спирали ложился на потолок, на обои. Чувства наши были взвинчены. Взвинчены были и наши мысли. Мы были молоды, но, как и все, в войну и в послевоенное время кое-что повидали, ходили сложными путями. Плитка и реостаты съедали в комнате кислород, но мы не замечали этого, наши легкие и сердца легко справлялись со своей работой. Но наши чувства, память, мозг не были в состоянии, как сказали бы теперь, перерабатывать всю поступающую информацию. Не могли

уравновесить ее с нашими книжными представлениями о жизни. Мы с приятелем, наверно, не во всем были похожи на Шатунова и Пермякова. Отношения с жизнью мы сознательно усложняли. Вернее, осложняли. Из всех путей на стройку мы выбрали, например, самый непростой — приплыли в Куйбышев на барже. Но, конечно же, Пермякова я прекрасно понимал. Не на каждую человеческую жизнь выпадает начало и завершение великого предприятия. Не каждый день чувствуешь себя включенным в то, что можно назвать творческим актом. По условиям гигантской стройки на Каме, у ребят все это есть. И надо, конечно, очень легкомысленно относиться к себе, чтобы добровольно в начале жизни лишить себя такого испытания.

...Когда недавно я побывал на Куйбышевской ГЭС, то не только свой барак, но и поселок не сразу нашел. Автобус исправно привез меня в Шлюзовой, но это был не тот Шлюзовой. Разумеется, я и ждал, что пяти-девятиэтажные дома за эти годы должны быть построены. Но стояли они не там. Место было не то. Мрачноватый человек спросил меня, в каком году я здесь был.

— В пятьдесят третьем,— ответил я.

— А! — сказал он и объяснил, куда надо ехать.

Потом я бродил по грунту, на котором когда-то стояли наши бараки. Не оправдалась все-таки поговорка, бывшая у нас тогда в ходу: «Нет ничего долговечнее временных построек». Сохранился только один барак — я жил в нем некоторое время. Но узнавание было как на сеансе старой кинохроники. Достоверность — это ведь не только то, с чем соглашаешься: «Да, так и было на самом деле». Достоверность еще и удивляет: «Неужели так было на самом деле?» По-моему, когда смотришь довоенную или военную кинохронику, больше удивляешься, чем соглашаешься. Так и я ходил по территории старого Шлюзового и думал вот о чем. Мы, конечно, ехали строить ГЭС. Но на самом деле мы строили свою жизнь по законам той установки, которая была нами принята.

Естественно, на КамАЗе я захотел посмотреть на тех, кто приезжает на стройку, побывать, так сказать, «на входе».

«Вход» обычно запоминается очень ярко, и первые впечатления не сразу вытесняются последующими. В пятьдесят третьем из Куйбышева на Куйбышевскую ГЭС мы с приятелем ехали в переполненном автобусе. День был жаркий, автобус на рыночной площади брали с бою, все были потные и взъерошенные, и пока автобус шел по городу, трясся на старом асфальте, тормозил на перекрестках, неизвестно было, как все это вынести. И мы и шофер вздохнули полегче, когда машина вышла за город. Мы сразу колесами почувствовали новый асфальт, а наш автобус, как самолет, набравший высоту, стал наполняться воздухом. Ближе к дороге подходили сосны, и хвоя окрашивала и, казалось, охлаждала воздух. Потом кто-то крикнул:

— Лось!

И все шарахнулись к окнам, чтобы посмотреть на сопатого и рогатого быка.

У нас была записка к прорабу, живущему в поселке. Но в Шлюзовой добрались уже в темноте, ходили в бараках из комнаты в комнату, пока нам не сказали резонно, что ночью мы все равно никого не найдем. Отвели нас к коменданту. Он открыл пустую комнату, в которой стояли две несобранные койки. Мы собрали одну и ночь провели, постелив пиджаки на железную сетку. На следующий день мы поехали в Управленческий городок (теперь бывший Управленческий поглощен городом Тольятти), решив по названию городка, что именно там принимают на работу. Однако если там и принимали, то не ниже чем на должности главных инженеров. В тот же день мы побывали во многих местах, и все казалось нам захватывающим: и спуск к старому Ставрополю — разбитый автомашинами дерн на песке (за сколько веков все это намыла Волга!), и вид на волжскую пойму с обрыва под Комсомольском—дождь где-то в десяти километрах, старицы, Волга у подножия Жигулей и воздух, который отсюда ощущаешь так, как его, должно быть, ощущают летчики — средой, в которой можно плавать и летать. В общем, все нам на стройке понравилось, только человека, который захотел бы

заняться нами, приехавшими добровольно, желающими работать, но не имеющими технической специальности, мы в тот день так и не нашли. Вечером мы вернулись в Шлюзовой. В столовой, присматриваясь к лицам, я, не знаю уж почему, выбрал одно и спросил:

— Вы Михайлов? У нас к вам записка.

Это был прораб, которого мы искали. И он, видевший нас в первый раз, взял коротенькую записку и сказал товарищу:

— Во сегодня вечер будет! Ребята из Ростова. Во ребята! Жизнь, что ты!

Это «жизнь, что ты!» я потом часто слышал от него.

...В Набережные Челны прилетают самолетами, летом плывут на пароходе. Я — прилетел. К городу машина по очищенному от снега шоссе подходила вечером. Ширина шоссе, его накатанность, количество встречных машин, а главное, электрическое зарево, отраженное облаками,— все показывало, что мы подъезжаем к огромному промышленному центру. Над Куйбышевской ГЭС тоже всегда стояло электрическое зарево. На планерках нам говорили, какое огромное количество электрической энергии забирает стройка только для того, чтобы ярко осветить ночной смене рабочие площадки. Однако на Куйбышевской ГЭС огни шли цепочкой, пунктиром, а тут было нечто другое. Тут была некая масса электрического света. Такую энергию старые города накапливают годами, она набирается постепенно и не поражает, ее ждешь. У этой энергии, у электрического зарева, которое видишь, подъезжая к Набережным Челнам, нет такой истории. Это мощное электрическое излучение поражает молодостью. Мне казалось даже, что я различаю в нем какой-то специфический молодой оттенок: свет не был окрашен многочисленными абажурами — люди въехали в новые дома и не обжили их еще. На «входе» в Набережные Челны я увидел многоэтажные башни домов, промелькнули витрины магазинов, люди на автобусных остановках. Машина остановилась в центре современного города. Здесь управление кадров КамГЭСэнергостроя. В том же здании — комитет комсомола стройки и общежитие «первой ночи», где дадут койку, если вы приедете поздно. Одного из инспекторов отдела приема и размещения рабочих по комсомольским путевкам зовут Светлана Петровна Герасимова. У каждого учреждения, по-моему, есть свое лицо. У милиции, например, военкомата, отдела кадров. Светлану Петровну все зовут Света. У нее милое лицо, очень бледная губная помада, быстрая реакция, подвижность, которая проявляется хотя бы в том, как она щелкает рычажком возвращающей пружинки на шариковой ручке. До стройки она была освобожденным секретарем школьной комсомольской организации. И тут у нее комсомольская работа. Самая малая текучесть на стройке — среди тех, кто приехал в Набережные Челны по комсомольским путевкам. В прошлом году восемь тысяч приняты, уволились — семьсот.

В комнате, где принимают рабочих, мало говорят. Предъявляют и проверяют документы, обходятся почти без слов. В отделе «по комсомольским путевкам» говорят охотно. Входят две девушки из Бугульмы. Светланина ручка перестает щелкать.

— Выписка, увольнение,— довольно говорит она,— вот молодцы. Все на месте. Специальность какая?

— Счетные работники.

— Девочки, кассиры нужны. Кассирами пойдете?

— Нам сказали, вам нужны бухгалтера.

Светлана кладет документы на стол.

— Бухгалтеры, девочки, нам нужны с очень большим стажем.

— Тогда мы еще подумаем,— говорят девушки.

Светлана смотрит вслед.

— Все хотят на улучшение. На ухудшение никто не идет.— И она смеется как человек, точно знающий, что никто на ухудшение не идет. А разве может она, работник отдела кадров, каждому предложить «улучшение»? — вот она и смеется. Она бы и сама не отказалась бы...

Муж приходит с молодой женой. Чувствуется, что они еще переживают радостное удивление друг другом. Муж давно работает на стройке. Она только

приехала из Казани. Он разговаривает со Светланой, а она смотрит то на Свету, то на него.

— Паспорт? — спрашивает Светлана.

— В Казани она выписалась,— объясняет он,— паспорт завтра будет.

— Откуда вы знаете? — говорит Светлана.— Судя по тому, как к нам приходит почта, он не придет и через две недели. Специальность?

— Техник по обработке металлов,— отвечает она.

— Резанием? Сами понимаете, по вашей специальности мы вам сейчас работы не можем предоставить. Становитесь на учет в дирекцию КамАЗа. А пока мы вас пошлем работать на Бетонный завод. Диспетчером или лаборантом.

Они переглядываются. Он говорит:

— Можно. Бетонный завод близко.

Но Светлана объясняет, что это новый Бетонный, на площадке автозавода.

— Ну, все равно,— говорит он с некоторой заминкой.— Туда автобус ходит. «Вахта».

Глаза у нее меркнут. Но когда она взглядывает на него, они опять зажигаются.

— А жилье? — спрашивает она.

— Раз мы вас берем, мы обеспечиваем жильем,— говорит Светлана.

— Жилье я беру на себя,— говорит муж.— Мне начальник участка обещал.

Светлане интересно разговаривать с людьми. И людям интересно разговаривать с ней.

Присматриваться к челнинцам я начал еще в Москве. В московской толпе приезжий человек, конечно, не очень-то заметен. А вот на аэровокзале у регистрационной стойки, настраиваясь лететь к себе в Тбилиси, Саратов или Ростов, он уже вполне тбилисец, саратовец или ростовчанин. Камазовцы, челнинцы, рассуждал я, собравшись вместе, еще в Москве дадут возможность понаблюдать за собой. Напрасно, однако, изощрял я наблюдательность. Если что-то и было, то это что-то можно было выразить только самыми общими словами. А я искал слова предметные. Может быть, даже не слова — какой-то акцент, ну, то самое нечто, за которым я летел в Набережные Челны. Напрасно я, конечно, искал какие-то особые, челнинские приметы у тех, кто со мной летел в самолете. И на Куйбышевской ГЭС мы были почти все приезжие. Сибиряки, ленинградцы, москвичи, саратовцы, горьковчане. Этим мы были друг другу особенно интересны. И еще. Оттого, что почти все были приезжие, каждый как будто бы получал дополнительный шанс. Что это за шанс, я не знаю — просто ощущается так. Ощущение это подстегивающее, сообщающее дополнительную энергию.

В отделе кадров Светлана принялась за двух девушек из Кургана — Галю и Ирину. Галя покрупнее и постарше.

— На железную дорогу пойдешь?

— Нет, я на стройку пойду.

— На стройку мы тебя не сможем взять,— сказала Светлана. — Пока холодно, мы на стройку девчонок не берем. Иди на дорогу пока. Будешь весовщицей. Вагоны принимать. Работа теплая.

— Да что я, не знаю!

Света позвонила в отдел кадров железной дороги, но оказалось, что и там девушки не нужны.

— Образование у тебя какое?

— Среднее медицинское.

— Что ж ты молчишь! Пойди в поликлинику, спроси! У нас большая поликлиника строится.

— Нет.

— В детский садик.

— Не хочу.

— Смотри ты, с медицинским образованием!

— Зачем я ехала сюда? Я вначале на стройке поработаю. А потом воспитательницей в детский садик.

— Ну хорошо,— говорит Светлана,— устраиваю тебя в Жилстрой. Предупреждаю, туда трудно устроиться. Нет мест в общежитии. Если ничего не получится, приходи ко мне.— И она оборачивается ко второй: — Ирина, а у тебя что за плечами? Ты печатаешь? Немножко? На электрической не печатаешь?

Ирина хорошенькая, спортивная.

— Да не знаю. Я тоже хотела бы...

— Ну, чего?

— Я хотела бы на курсы шоферов.

— Ой! — говорит Светлана.— Тебя не возьмут. У нас «КРАЗы», «БЕЛАЗы», ты руль не повернешь!

— Ну, есть же маленькие. «Газики».

— Они все заняты.

— Пока я буду учиться, что-нибудь освободится!

— Вспомнила! — сказала Света.— Просили направлять девушек на курсы водителей грузовых мотороллеров. Будешь продукты возить в магазины.

Светлана звонит, а женщина, которая пришла звать Светлану на обеденный перерыв, отговаривает Ирину поступать на шоферские курсы:

— Ой, все женское потеряешь, в масле, в бетоне, щеки грязные. Ни один парень путевый не взглянет.

Однако с курсами мотороллерщиц все равно ничего не получается. Светлана говорит:

— Направляю вас на автозавод. Поедете в самый ад нашей стройки. Там у нас и ад и рай.

— Ну и хорошо,— говорит Галина.

— Езжайте, девчонки, езжайте!

Один за другим входят два парня. Первого Светлана знает, спрашивает:

— Что там у тебя? Машины нет?

— Нет.

— Провинился?

— Да нет, ничего. Боятся они сажать на «КРАЗ».

— Вот видишь,— смеется Светлана,— а тут девчонка рвалась: дай ей баранку, прямо съела бы ее! Ну что ж, будем устраивать тебя в другое АТХ. Попытка, брат, не пытка.

— Света,— спрашивает женщина, которая пришла звать на обеденный перерыв,— где ты будешь обедать?

— Где я буду обедать? Где? Здесь я буду обедать. Документы и путевку,— говорит она второму парню.— Черемшан? Черемшан. Только из Черемшана едут по стандартным путевкам. Шофер? Работал?

— В армии ездил.

— На дизелях?

— Нет, на дизелях не работал. На «уралах».

— Поедешь в пятое АТХ, там «уралы». Сейчас не езжай. Пообедай, а к часу поедешь.

Рычажок на ручке пощелкивает. Все-таки сейчас, зимой, в отделе кадров много свободного времени. Летом 200—300 человек в день надо принять, а сейчас 30—40 приезжают. Затишье. Светлана читает какую-то бумагу и сообщает:

— Ткачихи из Иванова едут. Парней девушкам нужно, парней. Замуж у нас свободно можно выйти. Девушек принимаем двадцать процентов от общего числа рабочих.

Я спросил у Светланы, многие ли уезжают со стройки. Она сказала:

— Один к четырем.— Засмеялась.— Ну, может, один к трем. Вы лучше пойдите к начальнику отдела кадров, спросите у него, он вам скажет.

Я пошел к начальнику, и он сказал, что во всех подразделениях, помимо обычных отделов кадров, есть еще общественные. Они беседуют с каждым, кто хочет уйти. Главной причиной многие называют трудности с жильем. У остальных были какие-то другие претензии к стройке. На какие-то другие их вопросы, или,

вернее, запросы, стройка не дала ответа. Несомненно, однако, что молодые, которых ведет и удерживает интерес, в основном остаются.

Что касается запросов, они действительно весьма различны. Человек ищет себе дом — и человек на время уезжает из своего дома для того, чтобы добиться каких-то своих целей на стройке (например, купить автомобиль «Жигули», на КамАЗе своя, короткая очередь). Причиной может быть даже такой не поддающийся, в общем, строгому учету мотив, как «охота к перемене мест». Мы с приятелем ездили на строительство Куйбышевской ГЭС, чтобы выяснить, в чем смысл жизни. В какой-то графе и этот запрос следовало бы учесть. Силу притяжения великой стройки я испытал на себе. Великая — ведь не просто огромная. Даже не в первую очередь огромная, а изменяющая жизнь. И конечно, есть великое множество людей, которые хотели бы в чем-то изменить свою жизнь.

Виктора Петровича Филимонова я разыскивал несколько дней. Бригада его вела монтаж школы МЮ. Однако когда я спрашивал, где бригадир, мне говорили:

— Уехал на ЗЯБ.

— А был?

— Наведывался.

ЗЯБ — завод ячеистых бетонов, а таинственное МЮ — просто строительный индекс. Бригада Филимонова работала на двух объектах. Наконец я догадался:

— Попросите, чтобы он в воскресенье утром не уходил из дому.

— А вы из какой газеты?

— Почему вы думаете, что из газеты?

— Ну,— засмеялся монтажник,— если просят не уходить из дому, то это только из газеты или из милиции.

В воскресенье дверь мне открыл сын Филимонова:

— Папа, к тебе!

Человека, которого невозможно застать, я себе не так представлял. В мягких туфлях он и двигался мягко. Младшего сынишку, расшалившегося при госте, сдерживал негромко. Чувствовалось, что ему вообще привычно говорить негромко. И когда он заговорил, я сразу понял, почему ему не нужно повышать голоса. В парткоме и в комитете комсомола КамГЭСэнергостроя я просил назвать человека, который не только хорошо работает, но и думает интересно о своей работе. Филимонова называли в числе первых. Приехал он сюда из Темир-Тау, строил казахстанскую Магнитку. Вообще-то он из Куйбышевской области. В армию ушел из села, в Казахстане служил, там и остался работать. Бригадиром монтажников работает с шестьдесят второго года. Что делал в Темир-Тау? Строил дома, детские сады, торговый центр. Была ли квартира? Была. Трехкомнатная.

— А сюда снялись с детьми и переехали?

— Зачем же? — сказал он негромко, чтобы не обидеть меня объяснением таких простых вещей.— Взял отпуск, приехал, осмотрелся, вернулся, жене рассказал. Ну вот...

Приехал он один, без семьи, на пустое место. 10 февраля семидесятого года вышел на работу, а в новую квартиру вселился на Новый год в семьдесят первом.

— Как получил квартиру? — Филимонов усмехнулся.— Тянули билеты из шапки.

— И сейчас так делают?

— Нет, жребий чаще ошибается, чем люди. Тогда это можно было — все примерно были равны, а теперь есть старожилы, новички. Их нельзя жребием равнять.

Чувствуется, эти мои вопросы Филимонов не считает главными. Ждет, что я еще спрошу.

— Кто уходит? — переспросил он все так же негромко, но я сразу почувствовал, что он стал внимательнее.— По моему казахстанскому и челнинскому опыту, за год приблизительно бригада полностью обновляется. Причины? — И он сразу формулирует: — Человек идет за своей специальностью. Вот, например.

Летом люди шли сюда потоком, их ставили не туда, куда они хотели. У нас работали четыре новосибирца. Прибористы, грамотные, толковые, трудолюбивые. Ехали на строительство автозавода, а их поставили в нашу бригаду. Трое ушли.

Филимонов высок, худощав и, по всему видно, физически крепок. Вначале лицо его показалось простоватым. Теперь оно таким не кажется.

— Не удержатся у нас и те, кто раньше получал более высокую зарплату. Семейным нужны деньги. Хвали его, но денег мало — он уйдет. Летуны, конечно, не держатся.— Впервые в голосе Филимонова прозвучало не то чтобы осуждение — пренебрежение.— Приходят к нам за квартирами — считается, что в Жилстрое легче получить. Скажем, шоферы, скреперисты. Работают хорошо, но мы точно знаем, что уйдут. Придерживаем им квартиры— бригада заинтересована в постоянном составе. Монтажники, работающие лет по восемнадцать,— вот что надо...

— А возможности для роста у вас на протяжении этих восемнадцати лет есть? — спросил я.

Филимонов взглянул на меня.

— Человек приходит — мы даем ему разряд. Поработает, курсы пройдет, экзамены сдаст. Придет в бригаду — мы дадим ему контрольное задание. Выполнит — мы ему разряд повысим.

И опять я подумал, как непросто, должно быть, сдавать экзамены этому негромко говорящему человеку.

— Бывает,— сказал Филимонов,— человек за два-три месяца поднатаскивается, торопиться начинает: «Повышайте разряд. Я монтажник». Одному такому я сказал: «Вот тебе бочонок. Застропи и подай на четвертый этаж... Все? Вопросов больше нет? Тогда иди работай». Уходят, конечно,— сказал Филимонов.— Костяк остается. У нас в бригаде костяк — человек пятнадцать. Назвать фамилии? Ну, вот Рауф Загретдинов. Он местный, семейный, у него пятый разряд. Как сказать — стремится работать или просто у него получается. Фаиль Мухаметдинов работал раньше на заводе калибровщиком. Проходил у нас зону акклиматизации... Что такое зона акклиматизации? У нас специальности: монтажники, сварщики, плотники, бетонщики. Отдел кадров присылает человека, а мы считаем, что его раньше надо пропустить через бригаду. Есть у нас работа грязная, горячая, за которую никто с особой охотой не берется. Битум в ведерке надо потаскать — есть, в общем, такая работа. Квалификации она не требует, а трудолюбие выявляет. Хочет человек у нас работать — зону акклиматизации он пройдет. А вообще, конечно, бригада больше всего может пострадать при нечеткой организации работ. Вот, скажем, комплексная бригада — это хорошо или плохо? В принципе хорошо. Каждый заменяет каждого. Но это может обернуться и против нас. Соседняя передовая бригада — каменщики. Они не делают разную работу. Им подавай одно и то же. А нас ставят на кладку и говорят: «Вы комсомольско-молодежная бригада коммунистического труда, ребята грамотные, квалифицированные, справитесь!» А настоящих каменщиков-то у нас всего два... Мы сейчас берем социалистические обязательства неконкретные, а должны бы назвать конкретные. К такому-то числу бригада сдаст дом, к такому-то другой. В Темир-Тау мы знали дом, на который переходим. А здесь говорят: «Сдайте объект полностью, потом поговорим о другом». А что это значит? Приходят субподрядчики: сантехники, электрики, газовики. Всем нужны отверстия в стенах — это наша работа. Но всей бригадой тут делать нечего. У нас должен быть поток. Бригада переходит на новый объект, а в старом оставляет хозвзвод — так мы его называем. Хозвзвод занимается доделками, а новый дом растет, растут объемы, идет план... Нет работы — мы вынуждены отдавать людей из бригады. Как себя чувствует человек? Он же думает, что вот этого я не отослал, а его отдал. Из-за этого текучесть. Люди не пешки. Ну, а план между тем выполняем...

— А переходят ли из бригады в бригаду? — спросил я.

— Нет,— ответил Филимонов. И объяснил: — В Темир-Тау мы все были старые бригадиры. Из моей к нему захочет перейти, он не возьмет. От него ко мне — я не возьму.

И еще я задал совсем «корреспондентский» вопрос: кто едет на стройку, романтики или не романтики?

Но Филимонов ответил серьезно:

— Ну, как сказать... Я говорил, сколько мы получаем. По нашей работе мало. Сами видите, условия суровые. Мороз. До работы добираться далеко. Обратно тоже далеко ехать. Конечно, романтики.

— Ну, а вы сами все-таки почему переехали из Темир-Тау?

Филимонов подумал и без восклицательной интонации, которой требует это слово, произнес:

— Простор.

— А в Казахстане нет простора?

— Да-а, правильно, и там простор...

Светлана Герасимова правильно сказала: каждый ищет улучшения, на ухудшение никто не идет. Однако «улучшение», которого ищет человек, не всегда поддается материальному выражению. Как перевести на язык материальных ценностей мотивы, которые заставили Виктора Петровича Филимонова приехать сюда?

Строитель Вилюйской ГЭС, Герой Социалистического Труда Наволоцкий приехал на КамАЗ с явным материальным ухудшением. Прекрасную квартиру променял на посредственную, устроенный быт — на неустроенный и т. д.

— Кто сюда едет? Неудачники!

Водителю автобуса Виктору лет тридцать. Приятное лицо. Крепкий, рослый, сидит на шоферском месте, повернувшись к нам всем корпусом. Ни одной вопросительной интонации, убежден в каждом своем слове. В общем, выглядит так, что слову «неудачник» лучше держаться от него подальше. Он москвич, и это сразу вызывает любопытство. Люди стремятся в Москву. Из Москвы уезжают редко. В Москве он был занят на двух работах сразу: день ездил на такси, день на «скорой помощи».

— Воскресенье у меня было одно в две недели,— говорит он.— На «скорой помощи» выпадало.

— Не уставал?

— Нет! В Москве не надо крутить кривой стартер, как здесь. Ты приди утром к нам в АТХ. Ничего не видно — все в пару. Шоферы горячей водой моторы разогревают. А кто из шланга пар дает. Я восемь ведер каждый день сквозь мотор проливаю. А потом кривой стартер в руки — и проворачивай. В автобусе,— он показал на поток,— пару полно, все окна замерзают. А если паром мотор прогревать — тем более.

— А в Москве?

— В Москве машины в помещении. А если на улице, так есть электронагреватель. И на запуск специальное приспособление. Здесь, правда, «КРАЗы» и «БЕЛАЗы» всю ночь долбят. Дежурный ходит. Выключился мотор — он включит. Или воду выльет.

На двух работах он получал 500—600. «Как минимум»,— говорит он. Совершенно новый для меня тип работяги. Дело даже не в 600 рублях. Дело в том, что́ он сам для себя берет за исходную точку. Неутомимость его, конечно, вызывает уважение. У людей в две недели четыре выходных, а у него только один. Но уважение это невольное — «я бы так не смог». Или, может, даже — «мне это не нужно».

Все мы в автобусе замялись и примолкли. И только женщина — ассистент режиссера сказала:

— На «скорой помощи», наверно, страшно работать. Надо что-то уметь, чтобы врачу или санитарам помочь.

С Виктором мы уже ездили по стройке в его жестком автобусе, смонтированном на раме грузовика «ГАЗ». Виктор возил фотокорреспондента центральной газеты. С фотокорреспондентом ездил местный фотограф и местные кинохроникеры, летописцы стройки, муж и жена. Считалось, что каждый из нас преследует

свою цель: увидеть стройку, поговорить с людьми, сфотографировать. Но скоро получилось так, что все мы как бы сопровождали фотокорреспондента. Молодой, энергичный, симпатичный, он носился в расстегнутой дубленке — застегнуть мешала камера, которую он согревал на груди.

— Ты не мерзнешь? — спросил Виктор.

Тот изумился:

— Когда я работаю, никогда не мерзну.

Виктору он очень нравился.

— Деловой! Умеет людей организовывать. Люди вокруг него так и крутятся.

Себя Виктор тоже включил в число людей, которые крутятся вокруг фотокорреспондента. Охотно ехал туда, куда требовал Анатолий, и вообще сразу признал его главным в автобусе. Он просил:

— Сфотографируй меня рядом с моим автобусом — сыну карточку послать.

— Хорошо, хорошо,— соглашался Анатолий, но почему-то все откладывал.— Потом, не сейчас.

И вдруг срывался, бежал догонять женщину с детской коляской, которая на фоне новых двенадцатиэтажных домов переходила улицу. У него находились зрители, которые сразу схватывали замысел — видели такие снимки в газете,— сочувственно следили за ним: человек работает.

В котловане шофер грузовика и экскаваторщик тотчас вступали с ним в контакт — подчинялись движению его руки: голоса в моторном грохоте все равно было бы не слышно. В котловане ветер перекрыт, а кажется, что тепло идет от незамерзшей земли. Экскаватор стоит ниже мерзлого слоя, ковш мягко берет землю. Земля на срезе тотчас схватывается изморозью...

На автосборочный он приехал за главным снимком. Несколько дней назад, а именно 29 января 1972 года, здесь состоялся митинг. Собралось множество автомашин — автобусов и легковых. Момент был торжественный, что и говорить! Автосборочный накрывали крышей. То есть ставили на колонны первый из 1300 блоков металлоконструкций, совмещенных с кровлей. Блок весит 32 тонны, монтируют его на земле, а затем могучий кран «СКР-1500» поднимает его в воздух и ставит так, чтобы совместились монтажные узлы на колоннах и блоке. Метод прогрессивный, кран уникальный (мне объяснили, но и так видно), стропы натянуты, но блок еще на монтажной площадке. В общем, такой — предстартовый момент. И монтажная площадка — стартовая площадка. В третий, десятый, даже во второй раз все будет будничным, а сейчас действительно в первый раз. На трибуне были люди, которых на стройке узнают и в лицо и по привычной одежде: исполняющий обязанности начальника стройки огромный (другого слова не подберешь), с седеющей львиной головой Е. Н. Батенчук, начальник Автозаводстроя плотный В. А. Фоменко. Были заместитель генерального директора КамАЗа В. В. Перцов, начальник главка министерства монтажных и специальных строительных работ М. С. Садардинов и другие, кого я в лицо не мог знать. С трибуны назывались астрономические цифры: 5 миллионов 120 тысяч кубометров земляных работ. Общее количество буронабивных свай, на которых будет стоять главный корпус,— 5065. Общая площадь кровли почти 449 тысяч квадратных метров, инженерных сетей — 420 километров. Но самое большое впечатление, конечно, произвел сам тридцатидвухтонный блок, поплывший к небу. Когда собирается так много людей, начинаешь опасаться за то, что гладко пройдут самые будничные операции. А тут такая махина! Невольно в голову лезут глупые мысли: так ли застропили, не пойдет ли с перекосом и, наконец, войдет ли в замок, совместятся ли монтажные узлы. На Куйбышевской ГЭС работал я техником-комплектовщиком. На моей площадке — она называлась плазы — было два портальных крана. Я привык к чмокающему, всасывающему звуку кранового реле, к ночным крановым прожекторам. И к тому, что самую высокую точку на нашей рабочей площадке отмечал флажок на крановой стреле. Я видел, как флажок постепенно истаивал под ветром — истончался, бледнел. Со временем я привык к тому, что крановщик внимательно сверху сле-

дит за направляющими движениями стропальщиков — не надо кричать, не надо размахивать руками, достаточно слегка покачать ладонью в рукавице. Сразу наверху возникает всасывающий, чмокающий звук и трос начинает разматываться или наматываться — в зависимости от команды. Крановщика за всю смену ни разу не увидишь, привыкаешь к слитности с машиной. Будто не поворачивая головы (ночью крановый прожектор ослепит), не оглядываясь на крановую кабину, покачал кистью и сам включил крановое реле без промежуточной помощи крановщика. В общем, самая будничная работа: ты пошел — и кран за тобой побежал. Не только носит, поднимает и опускает, но и «держит» тяжелый стержень, пока электросварщики варят... Однако мне приходилось видеть, как сгибалась в воздухе неправильно застропленная ферма, как наступал временный разлад между действиями стропальщиков и крановщика. А здесь ведь тридцатидвухтонная ферма. Ее надо не только поднять, но и точно подать, без малейшего перекоса. Перекос — это раскачка, качели, опасные на таком тесном монтажном участке вблизи монтажных колонн. Кран, конечно, уникальный, специальный, но в такой момент сама уникальность пугает — в первый же раз!

Рядом с моими плазами на Куйбышевской ГЭС было еще два или три козловых крана. Однако «СКР-1500» я мог бы сравнить только с кабель-краном — огромным двухбашенным сооружением, которое работало на монтаже шлюзов. Шлюзы на Куйбышевской ГЭС шли в две нитки, и кабель-кран через гигантский котлован, через два шлюза подавал фермы. Я ходил на него смотреть. Тогда говорили, что это крупнейшее в Европе сооружение. Мы строили крупнейшую в мире ГЭС и работали рядом с механизмами, к которым часто прибавлялись слова «крупнейшие», «величайшие». Как быстро, однако, эти определения передаются другим стройкам, другим механизмам! Сколько их уже было после Куйбышевской ГЭС! На моей памяти первой великой послевоенной стройкой была Цимлянская ГЭС. Сейчас об этом мало помнят, а тогда энтузиазм был — как при запуске первого спутника. В газетах печатались планы соединения Волги с Доном, назывались цифры, которые тогда считались фантастическими. Да и сам проект казался фантастическим. Еще Петр I думал о таком канале. Сейчас цифры объема работ на Цимле и на КамАЗе неудобно даже сравнивать. Слишком скромно в этом сопоставлении выглядит Цимлянская ГЭС. Цифры поблекли, а определение «великая стройка» — нисколько. Я видел Цимлянское море, работал на строительстве Куйбышевской ГЭС и совсем не был удивлен, когда прочитал сообщение о спутнике, запущенном в космос. Я был подготовлен к этому. А к какому сообщению готовит КамАЗ своих молодых строителей? Думаю, лет через десять гигантские ныне цифры объема работ на КамАЗе поблекнут, но определение «великая стройка» нисколько не утратит притягательного значения.

Соседу я сказал, что «СКР-1500» я мог бы сравнить только с кабель-краном.

— С каким кабель-краном? — удивился он.

Я объяснил.

— А-а! — пренебрежительно махнул он рукой.

Когда мы с приятелем приехали на Куйбышевскую ГЭС, нас поразил круглосуточный аэродромный гул стройки. В этом гуле на большом расстоянии слышались металлические удары вибраторов, вгонявших в землю шпунты, различались голоса других механизмов, но главным был рев автомобильных моторов. Куйбышевскую ГЭС мне тоже было с чем сравнить. Перед Куйбышевской я со студенческой группой побывал на Цимлянской ГЭС. Там тоже все было стронутое, сдвинутое, несущееся. Военная пыль за грузовиками. Но сами грузовики были не такие мощные, как на Куйбышевской ГЭС. На Цимлянской ГЭС «МАЗ» с зубром на радиаторе попадался не так часто. На Куйбышевской ГЭС то был основной грузовой автомобиль. Аэродромный гул стройки создавался ревом дизельных моторов. Шоферы «МАЗов» пользовались особым вниманием. В рабочих столовых на некоторых столиках стояли таблички «только для бетоновозов». Этот старый черный «МАЗ» с железным кузовом, с толстыми рубчатыми шинами можно было бы поставить на постамент, как ставят танки на местах боев. Однако на

КамАЗе «МАЗ», изменивший вид, получивший комфортабельную кабину, увеличивший мощность,— только третья или четвертая по рангу машина. Автомобильное «лицо» КамАЗа — огромные «КРАЗы» и «БЕЛАЗы». И вообще впечатление такое, что на КамАЗе пешком не ходят. К концу смены, например, котлован литейного напоминает автобусный парк, когда автобусы еще не вышли на линию. И на митинг все приехали, а не пришли. (Я говорю, конечно, о впечатлении. Транспортные проблемы на КамАЗе еще не все решены.)

Наконец В. А. Фоменко с трибуны подал команду, ее по цепочке передали на кран. Я почти не услышал знакомого всасывающего электрического звука. Могучий «СКР-1500» работал тише моих маломощных портальных кранов — так, какой-то электрический звоночек. И ферма зависла. Теперь махину, подвешенную в воздухе, можно было поворачивать рукой. Но главное — ни малейшего перекоса! И хотя стрела клюнула, пригнулась, ферма не качнулась. И крановщики (Б. И. Кузнецов и А. М. Кусов) повели ее медленно вверх. На четырех колоннах блок ждали бригадиры 23-го управления треста Спецстальконструкция (Р. Г. Ахметханов и С. П. Нефедов, монтажники И. В. Батов и П. В. Кирьянов). На них было сейчас сосредоточено все внимание. Махина нависла над колоннами, над головами монтажников и после нескольких маневров вошла в замок — все точно совместилось. Вот тут все вздохнули облегченно, крикнули «ура»—митинг удался...

Когда мы приехали сюда с Анатолием, временная трибуна еще стояла. Стоял и первый из 1300 блоков на первых четырех колоннах. Лозунг еще висел, но был загнут ветром так, что одно или два слова на нем не читались. Снег казался ржавым из-за того, что вокруг так много железа. На самом деле он был смешан с глинистым рыжим грунтом. На всем огромном морозном пространстве среди арматурного леса людей не было видно. Но Анатолий их быстро нашел. В брезентовых монтажных куртках, монтажных поясах, они с интересом шли к нему, охотно подчинялись тому, что он назвал «восстановлением факта», группировались так, как он хотел. Люди вообще охотно фотографировались — сознательно или бессознательно они хотели закрепить этот момент в своей жизни. А местный фотограф и кинохроникеры, муж и жена, сидели в автобусе. «СКР-1500», ставивший на колонны первый из 1300 блоков металлоконструкций, совмещенных с кровлей, они снимали на митинге. Снимали монтажников на колоннах, трибуну, людей, выступавших с нее. И уже сейчас было видно, как день ото дня возрастала ценность, возможно, не проявленных еще ими негативов. Милые и скромные люди Юрий Петрович Родичев и его жена переехали сюда из Тольятти и вообще как будто бы всю жизнь были связаны с великими стройками. В новом челнинском киноТеатре «Чулпан» я видел фильм, снятый ими на КамАЗе, и слышал реакцию зала. Это была радостная реакция узнавания. Но хотя фильм был «свежий», «по горячим следам», в реакции этой уже было и удивление. Не только «так и было на самом деле», но и «неужели это мы на самом деле?»! Сегодняшние заботы не оставляют места вчерашним. Казалось бы, к простейшей мысли, что реально не только настоящее и будущее, но и прошлое (наша реальность предопределена реальностью прошлого), человек приходит не сразу. В Ставрополе-Куйбышевском, прежнее место которого ныне затоплено Куйбышевским морем, я бывал много раз. Сам город помню не очень хорошо. Пристань, к которой подходили пароходы, Воложка, весной не уступавшая шириной Волге, пыльные улицы, деревянная церковь. Но очень хорошо помню молодое нетерпение — славно, что старые дома, провинциальные улицы уйдут под воду. И на Цимле и на Куйбышевской ГЭС было множество людей с интеллигентными лицами (коренные куйбышевцы, москвичи, харьковчане, ленинградцы, ростовчане и т. д.). Вы их встречаете на старых улицах старых поселков и городов, и как-то сама собой приходит мысль, что люди переросли дома, где они живут, что им нужны новые города, новые улицы, на которых эти люди будут естественнее, как теперь говорят, смотреться. Великие стройки — это место, где настоящее и будущее особенно стремительно надвигается на прошлое. Где само настоящее очень быстро переходит в прошлое.

От автосборочного мы поехали в поселок Энтузиастов. Ветер был боковой. Поземка ручьями протекала через дорогу. Встречные машины разбивали ручьи, но они тут же восстанавливались.

На поселковой площади Виктор поставил автобус рядом с «БЕЛАЗом». «БЕЛАЗ» «долбил», или, как еще тут говорят, «молотил». То есть стоял с включенным мотором. Шофера не было, должно быть, ушел обедать. Даже далекий от техники человек почувствовал бы красоту могучей машины. Автобус рядом с «БЕЛАЗом» казался маленьким, примитивным, непородистым.

Анатолий вышел размяться, и Виктор крикнул из кабины:

— Ну, ты ж обещал! Сфотографируй меня вот так.

Анатолий посмотрел нехотя, но вдруг скомандовал:

— Выходи!

А когда Виктор вышел, показал ему на «БЕЛАЗ»:

— Становись рядом.

Но Виктор запротестовал:

— Сфотографируй меня с моей машиной. Мне надо сыну показать: «Вот машина, на которой я работаю».

Анатолий щелкнул несколько раз...

Не был Виктор неудачником. Просто у него были семейные неприятности...

По старым Набережным Челнам я бродил с таким чувством, с каким побродил бы по старому Ставрополю-Куйбышевскому, если сейчас могла бы предоставиться такая возможность. Старые Челны не уйдут под воду будущего Камского моря, но, очень может быть, новый город скоро их поглотит. Старые Набережные Челны уже взяты в полукаре двух новых главных улиц, двух новых огромных жилищных массивов... Бродил, предоставляя возможность осесть первым впечатлениям.

Рядом со строящимися пяти-девятиэтажными зданиями старые деревянные челнинские дома незаметны. Взгляд идет над ними. Они кажутся деревянными конторками, временными прорабками, которые есть на любой строительной площадке. Здесь и снег строительный. Передавленный гусеницами, шинами, пересыпанный грунтом.

Идешь мимо бетонных плит, уложенных штабелями, мимо обросших цементом железных чанов, мимо башенных кранов, видишь тропинки между штабелями плит на снегу. Ты еще ходишь дорогой — местные протоптали тропинки.

Впечатления накапливаются. Первые впечатления оседают — на поверхность поднимаются те, которые только намечались вчера. Первые впечатления — это, конечно, множество больших домов, обилие электричества, моторный грохот.

А войдешь в улицы старого города — и почувствуешь районную дачную тишину. Идешь и чувствуешь, как что-то выжимает слезу из глаза, прихватывает ноздрю. Солнце справа, от него идет не тепло, но свет, а левая щека в тени...

Издалека вид старых деревянных Челнов не очень-то приятен. Грязные краски на снегу. Но вблизи видишь резное крашеное дерево наличников, темное коричневое дерево бревенчатых стен, серое сарайное дерево заборов.

Высокие дровяные кладки возле домов покрыты плотными снежными шапками. Много снега на карнизах домов. Мороз, ветра нет. А снег на карнизы занес сильный ветер. И снег застыл так, что и сейчас ветер виден, видны его завихрения, застывшие волны.

Дома стоят на улице фасадом и глухой стеной. Есть дома побольше и поменьше. В иных бревна на срезах закрашены белой краской, чтобы не заводилась гниль. В других — на потемневших от времени торцах отчетливо видна паутина трещин и годовых колец. Но все дома сделаны по одному и тому же плану. Так что в конце концов отчетливо видишь этот старый челнинский дом с незаструганными следами топора на бревнах, с высокой крышей, с декоративным козырьком

и орнаментом на оконных наличниках. С прокладкой из высушенного лесного мха или пакли между бревнами. Дом, в котором отразилась структура иного времени.

Оглушенный масштабами огромного строительства, глаз не сразу настраивается на все эти подробности. Но когда наконец оказываешься способным их увидеть, чувствуешь, как эти подробности радуют глаз, возбуждают его, как сильный свет.

В один из таких домов я пришел, чтобы узнать, почему город называется так странно — Набережные Челны. К Василию Федоровичу Лапочкину меня направили из местной газеты «Знамя коммунизма», куда я зашел с той же целью.

— Лапочкин,— сказали мне,— наш знаменитый краевед. Он все здесь знает.

На мой стук вышел старик лет семидесяти и подтвердил, что он Лапочкин.

Я почему-то решил, что он сельский учитель-пенсионер, но он сказал, что по профессии счетный работник.

— А краеведение?

— Это я из любопытства. Я любопытный человек.

Я спросил, почему город называется Набережные Челны.

— Вот тут у меня написано,— сказал Василий Федорович и вынес из соседней комнатушки пачку отпечатанных на машинке листков.

В рукописи его о Набережных Челнах сказано:

«Челны» — от старого тюркского слова «чаллы», крепость, огороженное место. На территории Татарии находится 19 населенных пунктов с названием Челны. Большинство из них расположено на ключах и мелких реках, плавать по которым даже в маленьких челнах невозможно. Тибердено Челны, Кизяково Челны, Уреево Челны... В 1650 году построен укрепленный городок при впадении речки Челнинки в Каму... Он был окружен террасным валом, и рвом, и надолбами. Имел по периметру шесть башен: четыре глухих, а две с проезжими воротами — Спасскими и Архангельскими — по иконам, прибитым над воротами. Место бывшего Челнинского городка заметно и в настоящее время, сохранились остатки рва...

В том же 1650 году поручено было в новом Челнинском городке устроить сто белопахотных казаков, которым велено дать жалование денег на дворовые постройки по 8 рублей на человека да хлеба на семена: по три четверти ржи и по пять четвертей овса. Землю им отдали крестьянскую, крестьян перевели в ближайшие деревни, отвели им другие земли, «где пригоже в хороших местах, чтобы утеснения не было»... В городке находилось пять запальных пищалей, дубовый с выходом погреб под порох, амбар, в котором хранилось стрелковое знамя из шелковой ткани: «дороги зеленые, а на нем вышит крест дороги алые»,— изба тюремная, изба караульная. Всем казакам было дано 100 ручных пищалей. По государеву указу со всех казаков были взяты поручные записи о правильной жизни и службе, круговою порукой они были обязаны соблюдать правила, для них установленные. В 1651 году казаки обстроились дворами, начали пахать и сеять хлеб».

Я спросил у Василия Федоровича, что значит «погреб с выходом» и как надо понимать «дороги зеленые, а на нем вышит крест дороги алые». Он заволновался, будто боялся, что не сможет объяснить мне то, что ему самому так понятно: «Погреб с выходом» — это просто погреб с надземным сооружением: стенами, крышей, дверью. Что касается «дорог зеленых» и «дорог алых», то тут он ничего точно сказать не мог, и я потом у Даля прочел: «Дороги, дорожки, полосы, полоски в ткани, в узоре... Дороги и дороги стар. шелковая б. ч. полосатая ткань...»

Я стал листать рукопись и вот еще что в ней прочел:

«О первых русских переселенцах сказано в книге Перетяковича «Поволжье в XVII веке»:

«В дворцовом селе Елабуге, на реке Каме, в 1626 году состоялась община из крестьян елабужан, во главе с крестьянином Федором Нефетьевым Поповым, которая решилась, перейдя реку Каму, поселиться на Уфимской стороне, на землях,

давно покинутых населением и лежащих впусте. Здесь они образовали починок на мыску при слиянии речек Челнинки и Мелекесски и стали жить в крестьянах на пашне, пользуясь установленной в то время льготой освобождения от оброка... Московский царь считал себя собственником дворцовых земель и отдавал их монастырям и русским переселенцам.

В 1637 году настоятель Елабужского монастыря старец Моисей просил царя Михаила Федоровича дворцовые земли и в 1638 году получил по царской грамоте на церковные строения, на воск, елей, церковное вино и монахам на пропитание землю за рекой Камой с осенними покосами, рыбными ловлями, тростинским истоком и озерами вместе с крестьянами».

— Починок? — переспросил Василий Федорович.— Начинают — починок. Потом — посад. А село — это когда церковь.

Даль не так определяет слово «посад», но это уже не имело значения. Мне жаль было расставаться с рукописью Василия Федоровича. Я попросил ее на день. Василий Федорович смутился. Я прекрасно понимал его смущение и почти не надеялся, что он даст человеку, совершенно ему не знакомому, столь дорогой ему, конечно, труд. Однако рукопись он мне дал.

Понятно, с каким интересом, сидя у себя в гостинице, я читал вот эти, например, строки:

«В 1651 году по поручению царского правительства в Закамской стороне делались изыскания служилыми людьми, которым было поручено составить план укреплений Закамской черты для защиты русских поселенцев. По Закамской черте должны были быть построены города, жилые и стоялые («стоялые», объяснил Лапочкин,— для временного постоя), остроги; всякие засечные, земляные и деревянные крепости от Волги до реки Ик. Изготовленные планы Казанским воеводой были отосланы в Москву в Казанский приказ. В 1652 году их прислали обратно воеводе Одоевскому с повелением, чтобы все устроили по росписи. В 1652 году начались работы по постройке Закамской черты.

Для работы по указу наряжались из Казанского уезда подымные люди (подымные люди — крестьяне, платящие подать с дыму. Даль), преимущественно чуваши, черемисы и вотяки (так называли раньше марийцев и удмуртов.— *В. С.*). На первый год из них брали на работу деловых людей по одному работнику с трех домов, а впоследствии одного работника с шести дворов.

Строительство велось с 1652 года и закончилось в ноябре 1657-го. За это время была построена сплошная укрепленная полоса от Симбирска до реки Ик. В лесах делались засеки шириной от 30 до 50 сажен, а на полях и полянах рылись рвы и насыпались насыпи и становились надолбы.

На территории совхоза «Татарстан» между поселками Елизаветино и Комсомолец сохранились ров и вал. Остатки этих укреплений по обмеру 1958 года (то есть ровно через 300 лет) имеют следующие размеры: ширина 7 м., глубина 2 м. Вал — ширина 7,5 м., высота 2 м.».

И все это тянулось на 300 километров.

К характеристике Челнов XIX и начала XX века у счетного работника Лапочкина под рукой множество цифр:

«В 1867 году отправлено из Челнов 5135 писем, в том числе 42 заграничных, и посылок на 12 798 руб.

В 1885 году закуплено около 2 миллионов пудов хлеба. Хлеб водным путем отправлен в Рыбинск, Н. Новгород, Астрахань и другие города».

Показывая значение Челнинской пристани, Лапочкин находит интересный термин. Он говорит, что к этой пристани т я г о т е л о, по его подсчетам, до 300 тысяч человек.

В районе Челнов самая большая смертность в уезде. По метрическим книгам церковных приходов за 1915 и 1916 годы, средняя продолжительность жизни в Челнах составляла 21,4 года.

Торговое село Челны привлекало много пришлого населения, которое в несколько раз превышало число крестьян. Съезжались торговцы, спекулянты, нищие. Около 60 процентов крестьян Мензелинского уезда везли сюда грузы. По-

этому каждый дом в Челнах имел постоялый двор, каждая семья — квартирантов...

Для сельских школ в 1867 году был предложен список книг:

Краткий курс священной истории	— 15 экз.
Арифметика первого отделения	— 10 »
Сборник арифметических задач	— 1 »
Часослов	— 10 »
Букварей типографии Галунова	— 20 »

В начале XX века земство начало открывать бесплатные библиотеки-читальни. Мензелинская уездная библиотека имела в книжном фонде свыше 10 тысяч экземпляров. В Нижних Челнах библиотеку имени Пушкина открыли в декабре 1904 года, на содержание ее отпускалось 300 рублей в год.

Читателей в 1910 году было 475 человек, в том числе 270 детей.

Нет, не на пустое место мы пришли — вот какая мысль руководила Василием Федоровичем, любопытным человеком. Ему уже за семьдесят, и прошлое для него не менее реально, чем настоящее или будущее. Да и то сказать, и раньше в сутках было двадцать четыре часа, и часы эти были наполнены жизнью и борьбой (Василий Федорович — командир Красной Армии, орденоносец).

С благодарностью к Василию Федоровичу закрыл я рукопись. Судя по состоянию бумаги, она была закончена давно. Задолго до того, как строительство камского гиганта вызвало естественный интерес к мало кому известным Набережным Челнам.

Камский мороз имеет плотность, массу и огромную протяженность во времени и пространстве. Должно быть, от этой протяженности идет еще одно ясно ощутимое качество камского мороза — стабильность. Эту стабильность ощущаешь в первую очередь. Прежде чем успеваешь спросить, сколько градусов на дворе. Мороз текуч. Он скапливается в каждой низинке, загустевает снежным туманом, частицы которого имеют сероватый механический цвет и пронзительный механический привкус. Привкус ощущается верхушками легких. Они сжимаются, чтобы не захватить слишком много морозного воздуха.

В челнинском морозном воздухе постоянно держатся производственные запахи. Все время работают моторы идущих или стоящих на месте машин. Обращаешь внимание на то, как непрерывно сотрясаются от работы моторов автомашины на стоянках у подъездов строительных управлений, на автобусных остановках. Этот звук непрерывно, на одной ноте работающих моторов вместе с запахом бензина тоже составной частью включается в камский мороз. Еще камский мороз пахнет дымом горящей солярки, костров из строительного мусора, у огня которого греются или что-то разогревают, оттаивают.

Мороз меняет цвет и вид в зависимости от времени суток. Вечером, когда открываются двери «Чулпана», видно, с какой силой он хлещет на свет и тепло.

Люди выходят ему навстречу, как будто борются со встречным течением. Наклоняют головы, убыстряют шаги, бегут к автобусам, которые дымят выхлопными трубами, сотрясаются от работы моторов. Здесь нужно много автобусов потому, что вечером хочется скорее преодолеть мороз, переплыть через него.

Ясно ощущаемая стабильность мороза вызывает удивительную реакцию — реакцию радости. Ее знают те, кто бегал на лыжах или на коньках. Ее ощущаешь раньше, чем осознаешь. Мороз постоянен, и поэтому не ждешь, когда он ослабнет, сдаст, а готовишься жить в нем долго и тогда вдруг понимаешь, что мороз прекрасен, ярок и действует на организм, на глаза как яркий свет. Как при ярком свете, на морозе становятся видны сотни подробностей. Впрочем, днем мороз прочно связан с ярким солнечным светом. Днем солнце отражается в гигантском снежном степном рефлекторе, и сам морозный воздух становится идеальным проводником солнечных лучей.

Мороз утомляет. Какая значительная часть сил затрачивается на его преодоление, понимаешь, когда попадаешь в тепло. Чем бы ты ни был занят, на морозе ты делаешь как бы два дела сразу: работаешь и преодолеваешь холод.

Постепенно замечаешь, как из привычного ряда равных по значению слов здесь выделялись «тепло» и «холод».

На всю длину строящегося дома у каждого парадного стоят черные закопченные железные печи, в которых с ревом сгорает солярка. Печи делаются здесь же, на стройке, называют их «огнеметы», а ревут они так, как конверторы в литейном цеху, когда идет дутье. Воздух, нагретый в печах, по трубе гонится в лестничную клетку. Открываешь дверь и входишь, наклоняясь под трубой. Все идут, и ты входишь тоже в гудящий изнутри дом. Не только горячий воздух, но весь рев печи гонят в лестничную клетку. И сразу чувствуешь, как резонансом связан весь воздух в доме. На лестнице строительный мусор, стены черны от свежей штукатурки, пол в комнатах залит битумом, и кажется, что это от копоти, которую вместе с горячим воздухом должны гнать «огнеметы».

Ночью в темноте ревет и мечется пламя. Ни в доме, ни около — никого. Старожилы на «огнеметы» не обращают внимания. На новичка они производят впечатление. Это, пожалуй, самый наглядный и самый грубый вид «тепла».

Говорят просто:

— Надо подать тепло.

А речь идет о нагретом до 190 градусов паре, горячей воде или воздухе, который гонят специальные вентиляторы.

«Тепло» — понятие промышленное, противостоящее постоянному холоду, который неизбежно приходится учитывать при всех производственных расчетах. Стена в строящемся доме должна быть разогрета не меньше чем до пяти градусов. Иначе на нее не ляжет штукатурка. И вообще, в холодном доме, на холодных стенах никакие строительные работы не пойдут. Поэтому «огнеметы» работают круглые сутки. Удивительно, как под этим ревущим пламенем не плавится само железо печей. Но с камским морозом «огнеметы» не могут полностью справиться. Дом может быть вытяжным: где-то выбита форточка, открыто окно, не заделано отверстие в крыше...

В прорабке монтажников треста Уралэлектромонтаж лампа «дневной свет». На полу электрообогревательный прибор с красным глазком-сигналом — «включено». Прорабка — утепленный металлический домик, снятый с кузова грузовика. В прорабке тепло, но заклепки на стенах светят белой изморозью. На скамейках четверо рабочих и прораб. Говорят о том, что кабель, который надо укладывать в траншею, греется целый день, а до сих пор снег на нем не растаял. Двое монтажников остаются на ночь следить за кабелем. Один парень — живописный, мужественный, в лыжной шапочке, с длинными волосами. Начальник участка Юрий Петрович Афанасиади, который пришел в прорабку с планерки, перебил ребятам какой-то разговор. Он спрашивает:

— Ну, как вы тут ночь просидите?

Парень в лыжной шапочке отмахивается:

— Надо!

Планерка на Большом бетонном пусковая, и Виктор Ильич Гонцов, ведущий ее, уже несколько дней начинает словами:

— Юрий Петрович, сегодня все смотрят на вас.

С этой планерки Афанасиади и пришел в прорабку.

Кабель греют, подключив к электросварочному аппарату.

— Если не разогреется,— говорит Афанасиади монтажникам,— врубайте второй трансформатор.

Мы выходим наружу и направляемся к «газику»-вездеходу. В кузове уже сидели несколько человек.

«Газик» бежал по ночной дороге мимо огромной металлической трубы, которая протянулась вдоль шоссе. «Газик» свободно мог бы проехать внутри трубы — таких она была размеров. По трубе от ТЭЦ шло тепло к Новому городу, к Бетон-

ному и к другим строительным объектам. И среди гигантских сооружений КамАЗа трубопровод поражает циклопичностью. Днем металлический кожух блестит под снегом и солнцем, искры электросварки почти не видны. И люди на трубе кажутся маленькими и медлительными.

У поворота на Новый город Афанасиади предложил сделать небольшой крюк. Он хотел посмотреть на свою будущую квартиру в одном из домов Нового города.

Несмотря на поздний час, в доме кто-то работал. Двери в лифтовые колодцы на первом этаже были открыты, видно было переплетение проводов. Пахло краской, эфиром, незаселенностью. Мы поднялись на седьмой этаж. Однако дверь в будущую квартиру Афанасиади была закрыта. Подергали дверь и стали спускаться.

— Стоило ехать,— сказал кто-то.

Перед отъездом я пошел попрощаться к коллегам-журналистам. В трехкомнатной квартире у них была и приемная, и редакция, и общежитие для сотрудников. Говорили, конечно, о КамАЗе. Один из них заявил с полным правом старожила:

— Бетонный завод — это не КамАЗ. Бетон можно возить в самолетах, доставлять в пакетах из Казани, везти консервированным и открытым. Поэтому я сказал: Дворец культуры — это хорошо. Жилье — хорошо. Но это не КамАЗ, а я приехал строить КамАЗ. Мое дело — автомобили. И к тем, кто сюда приезжает, я бы подходил таким же образом.

Его точка зрения мне показалась несколько односторонней.

— По-моему, это все-таки не так,— сказал я.— Что такое завод, даже такой большой, как КамАЗ? Человек приезжает строить свою жизнь.

— В таком случае до свиданья,— сказал он так, будто это мне говорил «до свиданья».— Стройте свою жизнь в другом месте. А здесь строят автомобильный завод. Ты приехал на ровное место, ставь палатку или вагончик — и строй автомобильный завод. Я сам хоть сейчас готов перебраться в вагончик. Холодная вода там, по крайней мере, всегда есть. Ставь снег на плитку и топи. Вот мы зачем здесь живем? В деньгах мы потеряли, в рангах не приобрели. У него жена в Казани. У меня — в Москве. Видимся с ними раз в год. В Москве у меня трехкомнатная квартира. Так почему мы здесь? Никто не мог нас заставить сюда приехать. Но я сказал себе: в жизни хоть одна великая стройка должна быть. После КамАЗа я никуда больше не поеду. Но вот если сейчас отсюда уехать — жаль! Вы понимаете — жаль.

— Следовательно, все-таки вы приехали строить свою жизнь?

— Правильно. Но ее невозможно построить, не построив автомобильного завода.

Я сказал, что его точка зрения все-таки крайняя. Принять ее может только строительная гвардия. Распространить ее на всех невозможно. Но он был готов к этому возражению.

— А вы думаете, гвардия себя не оправдает? — сказал он.— Оправдает!

Заканчивая свой очерк, я привел этот разговор потому, что существует и такая точка зрения. Но дело ведь не в том, что гвардия себя оправдает,— дело в самом подходе к этой проблеме. А на КамАЗе строится, по-моему, не только автомобильный завод. Строится жизнь.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

А. И. МИКОЯН

*

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

В прошлом году вышла в свет первая книга воспоминаний одного из видных деятелей Коммунистической партии и Советского государства А. И. Микояна[1].

«Более полувека я был свидетелем и участником многих событий нашей жизни,— пишет А. И. Микоян в предисловии к этой книге, справедливо названной им «Дорогой борьбы».— Мне довелось повидать немало интереснейших людей. Побывал во многих странах мира, встречался с руководителями правительств этих стран, с их общественно-политическими, культурными и другими деятелями. Долгие годы я работал с выдающимися деятелями нашей партии и государства. И конечно, величайшим счастьем своей жизни я считаю личные встречи с Лениным, то время, когда мне довелось работать под его руководством...»

Богато иллюстрированная документальными фотографиями разных лет, первая книга воспоминаний охватывает период до 1920 года.

Далекая национальная окраина царской России. Первые воспоминания нелегкого детства. Родители и семья. Школа. Увлечение литературой. Друзья юности. Первые подпольные революционные кружки. Империалистическая война и поездка на фронт. Вступление в партию большевиков и работа в подполье. Отъезд в Баку...

На фоне больших общественно-политических событий, происходивших на Кавказе в предреволюционные годы и в период борьбы за победу Советской власти, автор рассказывает о целой плеяде выдающихся революционеров, вместе с которыми он тогда жил и боролся под знаменем Коммунистической партии. Миха Цхакая и Серго Орджоникидзе, С. М. Киров и М. В. Фрунзе, В. В. Куйбышев, Е. Д. Стасова и другие...

Нельзя без волнения читать страницы воспоминаний, посвященные героической истории и трагической гибели Бакинской коммуны 1918 года, участником которой был А. И. Микоян вместе со своими друзьями—бакинскими комиссарами Степаном Шаумяном, Мешади Азизбековым, Алешей (Прокофием) Джапаридзе, Иваном Фиолетовым и другими выдающимися большевиками Кавказа...

В воспоминаниях рассказано о скитаниях А. И. Микояна и его боевых друзей по тюрьмам Закаспия, широко освещена деятельность закавказских партийных организаций и их подпольная работа в условиях английской оккупации — те самые «университеты», которые прошел юный Микоян вместе с другими большевиками Закавказья в бурные революционные годы...

«Мои воспоминания — не история»,— неоднократно подчеркивает А. И. Микоян. Это лишь правдивый рассказ «...о лично пережитом, увиденном и услышанном». События, говорит автор, «...описываются здесь такими, какими я их запомнил, как я воспринимал их тогда, в те давние годы. Попутно я высказываю и свое сегодняшнее отношение к некоторым из них...».

Яркие страницы воспоминаний посвящены первой встрече автора с В. И. Лениным.

...Летом 1920 года ЦК партии принял решение о переводе А. И. Микояна на работу в Нижегородский губком партии. Сам он хотел тогда ехать на фронт.

В связи с этим А. И. Микоян обратился в ЦК с просьбой изменить решение и отправить его на врангелевский фронт.

Однако Центральный Комитет оставил свое решение в силе.

Первая книга воспоминаний А. И. Микояна заканчивается бакинским периодом его жизни (1917—1920).

Публикацией главы «В Нижнем Новгороде» мы начинаем его вторую книгу воспоминаний.

---

[1] А. И. Микоян. Дорогой борьбы. Кн. I. М. Политиздат. 1971.

Решение ЦК о переводе в Нижний Новгород прозвучало для меня как гром среди ясного неба...

Надо было ехать в новый, незнакомый край, о котором я имел тогда — к стыду своему — лишь самое общее представление, не выходящее за пределы школьного учебника по географии.

Конечно, я знал, что Нижний Новгород стоит на Волге, что он знаменит ярмарками. но, признаться, весьма смутно представлял, что это крупный рабочий центр с развитой промышленностью и славными революционными традициями...

Приехавший в ту пору в Баку на съезд народов Востока с делегацией Коминтерна (Бела Кун, Джон Рид, Карл Радек и другие) Зиновьев, касаясь моего перевода, всячески «подбадривал» меня, говоря, что так будет лучше для партии и для меня. Он сказал, между прочим, что Ленин поручил ему ввиду плохого железнодорожного сообщения между Москвой и Баку захватить меня на обратном пути в Москву в поезде делегатов Коминтерна, который шел по особому расписанию.

...Мне было двадцать четыре года, когда пришлось расставаться с Баку. Уезжал с большим сожалением — приходилось прощаться со многими бакинскими друзьями, вместе с которыми пережито много трудных испытаний, сроднивших нас как братьев по общей борьбе...

На пути к Москве нашему поезду давали действительно «зеленую улицу». И тем не менее двигались мы очень медленно, и дело тут заключалось не только в малых тогдашних скоростях на железных дорогах или еще там в каких технических причинах...

Дорога была опасной. В ряде районов, через которые приходилось проезжать, еще действовали остатки контрреволюционных белогвардейских банд, обстреливавших проходящие поезда и надолго прерывавших их продвижение вперед.

Помню, такой случай произошел с нами недалеко от станции Наурской, Терской казачьей области, где поезд сделал вынужденную остановку более чем на шесть часов, поскольку стало известно, что невдалеке орудовала одна из таких банд. Паровоз, отправленный в разведку, был обстрелян бандитами.

...Узнав о наших путевых трудностях, Серго Орджоникидзе, находившийся тогда временно на Кубани, выслал для сопровождения специальный бронепоезд.

...В Ростове сделали остановку на полдня.

Члены делегации предложили мне проехать вместе с ними по городу на машине... Осмотрели улицы, скверы, побывали и на окраинах города...

...До столицы мы добирались около недели.

Приехав в Москву, я посчитал неуместным просить приема у Ленина и поэтому с выпиской из решения Оргбюро ЦК направился в Секретариат ЦК к Крестинскому, надеясь получить у него необходимую информацию и указания.

Однако ничего конкретного о положении дел в Нижнем Новгороде Крестинский сказать не смог. Он предложил мне остаться в Москве, чтобы присутствовать на IX Всероссийской партийной конференции, которая должна была открыться на следующий день. «Перед отъездом в Нижний это, пожалуй, будет для вас очень полезно», — сказал он.

Надеясь, что секретарь ЦК партии проведет со мной обстоятельную беседу, даст нужные советы и указания. необходимые мне для работы, я был сильно разочарован таким приемом у Крестинского. Выходило, что я зря просидел в его приемной. Помню, что ушел от него с тягостным чувством неудовлетворенности. К тому же, как потом выяснилось, Крестинский даже и не знал о состоявшемся решении Нижегородского губкома о преобразовании президиума губкома

в бюро. А это меняло многое: ведь ЦК направлял меня в президиум губкома, а его уже фактически не было...

Зато предложение принять участие в работе Всероссийской партийной конференции очень меня обрадовало. Хотелось вновь увидеть и услышать Ленина. Уж он-то, конечно, будет говорить о том, что является сейчас самым главным...

НА IX ВСЕРОССИЙСКОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

IX Всероссийская партийная конференция состоялась 22—25 сентября 1920 года. Проходила она в Свердловском зале Кремлевского дворца.

Открыл конференцию Ленин. Он выступил и с политическим отчетом Центрального Комитета партии, в котором много внимания уделил главным международным событиям, и в первую очередь нападению белополяков на Советскую Россию. Указав, что еще в начале года Советское правительство обратилось к Польше с предложением заключить мирный договор на выгодных для поляков условиях (в смысле территориальных уступок), Ленин заявил, что, видимо, империалисты и польские националисты во главе с Пилсудским неправильно поняли готовность Советского Союза к таким уступкам и, расценив их как проявление нашей слабости, решили начать военные действия, чтобы вырвать у нас территорию побольше, нежели мы хотели им предложить. Они захватили Киев и ряд других городов Украины. «Лишний раз подтвердилась истина,— говорил Ленин,— что буржуазная дипломатия не способна понять приемов нашей новой дипломатии открытых прямых заявлений» [2].

Красная Армия, собрав силы, разгромила белополяков на Украине, в Белоруссии и добралась уже до подступов к Варшаве. Но из-за растянутости коммуникаций, переутомления войск, плохого снабжения фронта и ряда других причин наша армия потерпела поражение в боях под Варшавой и отступила более чем на сотню верст назад. Однако она удержалась далеко впереди тех позиций, которые занимала до польского нападения.

Ленин заявил, что, несмотря на наше поражение под Варшавой, удар по польской армии — серьезное потрясение для всей Польши. В польском рабочем классе уже началось брожение. Польская армия по своему составу теперь уже не та, что была до понесенных ею поражений, так как значительно «разбавилась» за счет пополнений из рабочих и крестьян более старших возрастов, участвовавших в предыдущей войне.

Антанта продолжает подталкивать Польшу к войне против нас. Однако теперь даже мелкобуржуазные польские партии понимают, что война принесет их стране лишь дальнейшее разорение, и поэтому предпочитают мир. Этот шанс, говорил Ленин, мы и хотим сейчас использовать и снова предлагаем Польше выгодный для нее и невыгодный для нас мир, лишь бы избежать тяжелой для нас зимней кампании. «Если нам суждена зимняя кампания, мы победим, в этом нет сомнения, несмотря на истощение и усталость» [3].

Ленин рассказал и о другом последствии контрудара, нанесенного по Польше,— воздействии на революционное движение Европы, особенно Англии. Говоря о печальной памяти «ультиматуме Керзона», он сказал: «Когда английское правительство предъявило нам ультиматум, то оказалось, что надо сперва спросить об этом английских рабочих» [4]. А английские рабочие выступили под лозунгом «Руки прочь от России!» и стали организовывать «комитеты действий», хотя их организации и возглавлялись, как сказал Ленин, «злостными меньшевиками».

Ильич коснулся также и задачи ликвидации Врангеля. Красная Армия подтягивала для этого свои силы к югу. За несколько дней до начала конференции командующим Южным фронтом был назначен Фрунзе, уже прославившийся до этого на разгроме Колчака, казачьих уральских банд Дутова и ликвидации белогвардейщины в Средней Азии.

---

[2] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 281.
[3] Там же, стр. 285.
[4] Там же, стр. 283.

Мне помнится, что в самый разгар белопольского наступления известный генерал Брусилов и несколько видных генералов старой армии выступили с призывом к бывшим царским офицерам — где бы они ни находились, поддержать Красную Армию в борьбе с белополяками: это было выражением несомненного перелома умонастроений среди наиболее честных кругов старого русского офицерства и интеллигенции.

В области внутренней политики главным вопросом на конференции были задачи партийного строительства. С докладом по этому вопросу выступил Зиновьев.

На конференцию прибыли делегаты из многих районов страны, с разным опытом и настроениями: с востока Сибири, с Северного Кавказа, юга России, из частей Действующей армии. Были и такие, которые только что вышли из подполья.

Выступления отдельных делегатов и их зачастую демагогические вопросы произвели на многих из нас, участников конференции, неприятное впечатление. Помню, например, как А. М. Коллонтай, в ту пору оппозиционно настроенная, задала ехидный вопрос: «Будет ли соответствовать свобода критики свободе кушать персики?» — недвусмысленно намекая на то, что ЦК послал кого-то «за критику» работать из центра на юг...

В других выступлениях, например представителей рабочих центров России, вынесших на своих плечах основные тяготы войны и разрухи, голода и нищеты, нашли отражение настроения, связанные с недовольством жизнью в стране.

Многие делегаты резко критиковали руководство ЦК за то, что оно слабо боролось с бюрократизмом в советском и хозяйственном аппарате, с недостатками в работе партийных организаций. В связи с этим возник довольно острый разговор о «верхах» и «низах», об отсутствии демократии...

Были и откровенно оппозиционные выступления. Наиболее разнузданно выступил представитель группы так называемого «демократического централизма» Сапронов. На деле эта группа пеклась (и притом весьма односторонне) лишь о демократии «без конца и края» — включая фактически всякий централизм. Соответствующий отпор она получила еще на IX съезде партии, но до сих пор не унималась...

Выступали и другие представители оппозиции, в частности руководящие профсоюзные работники Лутовинов и Кутузов, впоследствии вошедшие в «рабочую оппозицию».

Зиновьев, излагая линию ЦК и аргументируя необходимость изменения существующих методов партийной работы и развития внутрипартийной демократии, как мне показалось, слишком перехлестывал и в своих развязных нападках на «комиссаров, которые разъезжают в отдельных вагонах», и в обещаниях обеспечить «самую развернутую» демократию. Видимо, он хотел «обезоружить» оппозицию, но делал это с явным перебором, что производило неприятное впечатление. Все мы знали, что Зиновьев не только сам ездил постоянно в отдельном вагоне (в чем, кстати, мы не видели ничего особенного), но и держал себя всегда крайне обособленно, как-то по-барски, почти не общаясь со своими зачастую весьма уважаемыми спутниками. Теперь же вдруг с трибуны конференции стал выступать с нападками на комиссаров, которые, видите ли, «ездят в своих вагонах»!

Ленин внимательно слушал всех ораторов. Характер, тон и подчас плохо скрываемый подтекст многих выступлений, видимо, сильно его тревожили. Он счел необходимым вновь взять слово. Речи некоторых ораторов, сказал он, выражают, видимо, сильное переутомление этих товарищей, переходящее порой в истеричность. «Я бы не сказал, что тут демагогия,— заявил он.— Переутомление физическое дошло до истеричности» [5].

Как и всегда, в выступлениях Ленина и на этой конференции проявилось глубокое понимание им того, что происходит в стране, понимание причин, вызывав-

[5] Там же, стр. 286.

ших недовольство, а также исключительное знание тех реальных возможностей, которыми располагала наша партия в сложившихся условиях.

Владимир Ильич сумел и тут — из выступлений на конференции — отобрать все здоровое и полезное. Мы все, например, очень искренне возмущались демагогическими речами представителей оппозиции. Однако он, критикуя эти выступления, вместе с тем не раз подчеркнул, что нельзя все сказанное оппозиционерами считать демагогией. Ленин, который в острых ситуациях партийной борьбы умел проявить твердость и даже резкость по отношению к упорствующим в своих ошибках оппозиционерам, стремился как бы облегчить положение оппозиционно настроенных делегатов — помочь им найти пути к сближению и сплочению вокруг ЦК, вокруг тех предложений, которые принимали большинство делегатов конференции, хотя он хорошо понимал, как это непросто — в условиях крайнего переутомления, физического истощения и недовольств выступать с призывом к новому напряжению сил, к отсрочке решения многих назревших, жизненно острых и важных вопросов... А это и было лейтмотивом ленинских выступлений на конференции: «...если мы сплотим силы и напряжем их, победа будет за нами» [6]. Пока идет война — «величайшее напряжение и никаких разговоров...» [7].

Касаясь внутрипартийного положения, Ленин говорил о трудностях, которые партия тогда переживала в связи с недавно закончившейся гражданской войной. Военная обстановка, говорил Ленин, не позволяла коммунистам так часто, как бы всем нам хотелось, собираться и нормально, демократично обсуждать вопросы текущей жизни. Только мирные условия позволят нам, заявил он, наиболее полно развернуть демократию и осуществить то, что мы намечаем в этой области. Но это, предупреждал Ленин, будет зависеть от того, например, будем ли мы продолжать воевать с Польшей, вести зимнюю военную кампанию, или будем жить в мире.

О какой «самой развернутой» демократии может идти речь в момент, когда страна находится в смертельной опасности, когда Колчак добрался до Волги, а Деникин до Орла?

Однако Ленин при этом указывал, что уже на этой конференции нам надо определить необходимые пути развития внутрипартийной демократии. Он приветствовал предложения Московской партийной конференции на этот счет и даже внес несколько дополнений. Ленин активно поддержал идею создания Контрольной комиссии, которая могла бы заняться разбором не только поступающих жалоб на ведомства и центральные органы, но и «персональных дел» отдельных «свихнувшихся» коммунистов. Выборы такой Контрольной комиссии должны были произойти, конечно, на предстоящем X съезде партии. Однако по предложению Ленина было решено, не дожидаясь съезда, выбрать временную Контрольную комиссию немедленно, на этой же конференции.

Мы должны, говорил Ленин, ставить вопросы, связанные с развитием демократии, и сегодня, в момент военной опасности, но мы их будем ставить иначе и несравненно шире, когда войны не будет. Тем самым Ленин, как бы поправляя Зиновьева, убедительно доказал, что отсутствие в то время широкой демократии и соответствующие методы работы продиктованы исключительно военной обстановкой и что нельзя одни и те же методы применять во время войны и в мирных условиях.

Не буду подробно пересказывать, что говорил тогда Ленин, остановлюсь только на одном, как мне кажется, характерном эпизоде, показывающем, сколь все же неустойчивым было в те дни наше положение.

«Общее положение республики...— говорил на конференции Ленин,— улучшилось настолько, что сейчас мы имеем возможность обсуждать с большим хладнокровием: мы не ставим теперь вопроса о преждевременном прекращении конференции, как ставили несколько раз в эпоху наступления Колчака и Деникина.

[6] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 285.
[7] Там же, стр. 289.

Бывали партийные съезды, с которых, не дождавшись их окончания, уезжал целый ряд ответственных работников прямо на фронт» [8].

И что же! Едва закончилось это ленинское выступление, как ему передали телеграмму с Западного фронта о новом наступлении белополяков: предлагалось или ускорить работу конференции, или обеспечить отъезд военных делегатов этого фронта. Ленин тут же написал на этой телеграмме: «*И то и то* принять *тотчас*» [9]. (К этому можно добавить, что в дни состоявшегося через полгода X съезда партии, проходившего во время кронштадтского мятежа, положение для многих делегатов оказалось еще сложнее.)

Прения, развернувшиеся на IX конференции, показали значительный разнобой во взглядах многих делегатов. Однако Ленин своими выступлениями старался всех сплотить, обеспечив тем единство партии.

...С тех пор прошло более пятидесяти лет, но я хорошо помню, что именно благодаря выступлениям Ленина и великому его умению создавать вокруг себя атмосферу доверия, взаимного уважения, сплочения и единства делегаты конференции разъезжались тогда по домам с каким-то приподнятым, я бы сказал, рабочим настроением...

Конечно, причины, вызывавшие идейные разногласия, нельзя было устранить так быстро, и вскоре партии пришлось вновь столкнуться с оппозицией, навязывавшей ей в конце года новую, еще более острую общепартийную дискуссию...

Но заботливое и бережное отношение Ленина к партийным кадрам, в том числе заблуждавшимся, ошибавшимся, которое так отчетливо проявилось на той конференции, раскрыло для многих из нас еще одну замечательную грань облика Ленина как вождя партии.

Стремясь обеспечить чистоту и единство в партии, а также незыблемость ее принципов, Ленин был, как известно, непримирим, а порой даже и резок. Но при этом он, как это видели мы и на примере закончившейся конференции и многих других последующих событий, споря и борясь с оппозиционерами, использовал все возможные средства и меры товарищеского воздействия, чтобы переубедить и сохранить их для партии.

Конференция закончилась полной победой линии ЦК. Но Ленин на этом не успокоился. Он не мог забыть, что довольно значительная группа коммунистов, прошедших горнило революции и гражданской войны (а многие из них и дореволюционной подпольной борьбы), расходится с линией партии.

Это его беспокоило, сильно тревожило. Вот почему уже после окончания партконференции он много думает в связи с этим о задачах Контрольной комиссии, созданной по решению IX партийной конференции.

Примерно через месяц после окончания конференции он вновь возвращается к этому вопросу и 26 октября 1920 года пишет проект постановления Политбюро ЦК партии, в котором считает необходимым «...как особое задание Контрольной комиссии рекомендовать внимательно-индивидуализирующее отношение, часто даже прямое своего рода лечение по отношению к представителям так называемой оппозиции, потерпевшим психологический кризис в связи с неудачами в их советской или партийной карьере. Надо постараться успокоить их, объяснить им дело товарищески, подыскать им (без способа приказывания) подходящую к их психологическим особенностям работу, дать в этом пункте советы и указания Оргбюро Цека и т. п.» [10].

Эти строки нельзя читать без волнения... В них — Ленин со свойственным ему умением сочетать партийную принципиальность с бережным и внимательным отношением к тем коммунистам, которые в тот или другой период революции ошибались и, заблуждаясь, расходились с партией, становясь к ней в оппозицию.

---

[8] Там же, стр. 286—287.
[9] Там же, стр. 669.
[10] Там же, стр. 394.

Вместо механического отсечения от партии таких людей Ленин считал необходимым не администрировать, а внимательно подходить к каждому из них, применять по отношению к ним «своего рода лечение», стараться «успокоить их, объяснить им дело товарищески», подыскать для них такую работу, которая соответствовала бы их «психологическим особенностям»...

В этом и заключалась суть ленинского отношения к партийным кадрам.

Такой ленинский подход сказался на практике работы Центральной Контрольной комиссии на протяжении почти всего времени ее существования (до 1934 года).

Сколько усилий и подлинной партийной души вложили в это Куйбышев, Орджоникидзе, Рудзутак, Ярославский, Сольц...

Скольких коммунистов — из рабочих и старых революционеров — удалось им оторвать тогда от оппозиции и вернуть в лоно партии!..

ЛЕНИН СЛУШАЕТ ЛУНАЧАРСКОГО. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С ГОРЬКИМ

После окончания IX партийной конференции Ленин участвовал на трех заседаниях очередной сессии ВЦИК. Я был на этой сессии и помню, что Ленин хотя сам и не выступал с речами, но внимательно слушал все выступления и делал для себя записи.

Особенно внимательно он прослушал доклад наркома просвещения Луначарского и содоклад Невского (от комиссии ВЦИК).

...Широко известно, каким выдающимся оратором был Луначарский, умевший почти всегда захватить любую аудиторию. Так было и на этой сессии.

Его выступление меня заинтересовало не только потому, что, как и всегда, оно было блестящим по форме и глубоким по содержанию. Мне хотелось услышать от нашего первого наркома по просвещению — что же принципиально новое вносит социализм в дело народного образования?

Помню, с каким воодушевлением Луначарский говорил о том, как, несмотря на общую нищету и разруху, при огромной нехватке учителей, учебников, школьных помещений (многие из которых были еще заняты под лазареты или военные казармы, а те, что сохранились, не отапливались и не ремонтировались), несмотря на то, что на десять учеников приходился один карандаш и одна тетрадь (на весь год!),— несмотря на все это, в школы стало приходить детей во много раз больше, чем при царизме. «Царские школы,— говорил Луначарский,— могли охватить три с половиной миллиона, а в наших школах мы имеем уже пять с половиной миллионов школьников!»

Народное просвещение развивается такими невиданными темпами главным образом потому, заявил Луначарский, что опирается на самую широкую поддержку трудящихся масс, на большую помощь со стороны лучшей части старого учительства, безоговорочно перешедшего на сторону Советской власти и с великим энтузиазмом помогающего ей строить новую, советскую школу...

Луначарский рассказал членам ВЦИК, какие принципиальные изменения уже внесены и будут вноситься дальше в постановку образования, какие ненужные, «мертвые» дисциплины исключены из школьных программ, какие включатся вновь. Указывал, что начинается постепенный переход к подлинно трудовой, политехнической школе.

Перечисляя все то, что Советская власть уже сделала и собирается сделать для улучшения школы и положения школьников, а заодно отвечая тем, кто спрашивал, почему все это до сих пор еще не сделано, Луначарский заявил: «Мы это сделали бы, если бы нас не душили...» Скоро гражданская война, поглощающая все наши материальные средства, закончится, говорил он, и мы сможем значительно укрепить дело народного просвещения, полностью ликвидировать в стране неграмотность и более эффективно двинуть вперед нашу начальную, среднюю и высшую школу.

В качестве одной из ближайших задач школьного строительства нарком поставил скорейшее освобождение школьных помещений, занятых под лазареты, казармы и военные учреждения. «Как только мы будем иметь достаточное количество школ, чтобы пустить их в ход,— заявил он,— мы тотчас же сделаем посещение этих школ обязательным».

К своему стыду, продолжал Луначарский, мы не в силах сейчас быстро расширить охват детей средним образованием и поэтому «вынуждены устраивать двухлетние школы для подростков, чтобы чему-нибудь их научить».

Говоря о дошкольном образовании, он сообщил участникам сессии, что если в 1919 году мы имели в стране 3623 детских сада, то теперь ежегодно открываем до тысячи новых детских садов.

С большим сожалением говорил Луначарский о продолжающемся саботаже со стороны многих профессоров высшей школы и реакционно настроенного студенчества. Но и в области высшей школы тогда наметились определенные положительные сдвиги. Только что в Петрограде закончилась первая студенческая конференция, на которой, по словам наркома, «была принята резко определенная красная резолюция».

В стране начинала широко развиваться сеть рабфаков, охвативших тысячи молодых рабочих и крестьян, которые должны были вскоре перейти в университетские аудитории, положив начало созданию собственной, трудовой интеллигенции пролетарского государства...

Говоря о внешкольном образовании, обучении грамоте детей и взрослых, о развитии сети библиотек и народных театров, Луначарский привел удивившие нас тогда цифры: «...Во Франции имеется 113 крестьянских театров, а у нас в одной Костромской губернии 400...»

Заканчивая доклад, Луначарский заявил: «Я надеюсь, что настоящий мой доклад будет иметь характер поворотного пункта». И действительно, сессия ВЦИК приняла по докладу Луначарского постановление, в котором были четко определены задачи и меры помощи народному образованию в духе его доклада.

Помню, как внимательно слушал Ленин Луначарского и всех выступавших депутатов. Он не прерывал докладчика и ораторов, не подавал никаких реплик. Он только слушал и все время что-то записывал...

Впоследствии ленинские записи, сделанные на этой сессии, были опубликованы. Из них видно, с каким пониманием и знанием дела подходил Ленин к новым проблемам и нуждам народного просвещения в первой стране социализма.

После прекращения прений с мест раздались голоса — дать слово Ильичу. Однако Ленин скромно заявил, что брать слово не хочет, потому что пришел сюда лишь для того, чтобы подробнее узнать о деятельности Наркомпроса...

...Хочу сказать об отношении Ленина к Луначарскому — как я почувствовал это на сессии. Внимательно следя и за оратором и в особенности за Лениным, я понял, что Ильич не только с большим и напряженным вниманием отнесся к содержанию доклада Луначарского. На его лице можно было увидеть какое-то особое внутреннее удовлетворение от того и ч т о говорил Луначарский и к а к он говорил.

В своих воспоминаниях Н. К. Крупская писала: «...к Луначарскому Ильич всегда относился с большим пристрастием — больно его уже подкупала талантливость Анатолия Васильевича» [11]. Ленин высоко ценил Луначарского и как непревзойденного оратора-трибуна, как выдающегося стилиста и большого мастера ярко и выразительно «оформлять» свои выступления, даже когда ему приходилось развивать мысли, уже кем-то до него высказанные. «...Вот выскажет кто-нибудь какую-нибудь верную и интересную мысль,— вспоминала Н. К. Крупская,— подхватит ее Анатолий Васильевич и так красиво, талантливо сумеет ее оформить, одеть в такую блестящую форму, что сам автор мысли даже диву дается, неужели это его мысль, такая простая и часто неуклюжая, вылилась в такую не-

[11] «Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине». В 5 томах. Т. I. М. 1968, стр. 360.

ожиданную изящную, увлекательную форму. Мне,— говорила Н. К. Крупская,— приходилось несколько раз присутствовать при разговорах Владимира Ильича с Анатолием Васильевичем и наблюдать, как они «заряжали» друг друга» [12].

Вот и в тот раз, наблюдая, как Ленин реагировал на выступление наркома, можно было убедиться в его теплом, дружеском отношении к оратору. Надо сказать, что как во всем, так и в отношении к людям Ленин прежде всего исходил из интересов революции. Он ценил людей с точки зрения именно этих интересов. В этом проявлялась особая, свойственная Ленину черта — человека и революционера.

Он был очень требователен, справедлив и всегда поддерживал товарищей по работе. Но когда они начинали колебаться, делать ошибки, срываться с правильных идейных позиций, Ленин не жалел самых резких слов, критикуя, обвиняя и разоблачая их. Если запутавшийся признавал и исправлял свою ошибку, вновь становясь на идейно правильный путь, Ленин никогда не мстил за ошибку. Он поддерживал такого человека и без особой нужды не напоминал о его прошлом грехопадении...

Так сложились его отношения и с Луначарским.

Из воспоминаний Крупской известно, что, находясь в эмиграции, Ленин всячески поддерживал Луначарского как одаренного большевистского литератора, сыгравшего тогда в швейцарской эмиграции видную роль в борьбе с меньшевиками.

Однако после поражения революции 1905 года, когда наступил период реакции, Луначарский вкупе с Богдановым и некоторыми другими видными тогда деятелями большевистской партии отошел от ленинских позиций. Они образовали даже особую левацкую оппозиционную группу, ставшую на ложные, идеалистические философские позиции, на путь «богоискательства». Они запутались не только в философских вопросах, но и в политике.

Выступая против участия большевиков в Государственной думе, они требовали отзыва избранных туда депутатов-большевиков, поэтому и были названы «отзовистами». Политическая их линия и практическая деятельность стали несовместимыми с пребыванием в большевистской партии, и они оказались за ее пределами.

В истории так бывало не раз. На крутых поворотах «спотыкались» не только некоторые рядовые партийцы, но и отдельные руководящие деятели партии. Одни из них ломали хребет, не могли стать на ноги и оказывались навсегда потерянными для партии. Так случилось, например, с Богдановым. (Богданов так и остался беспартийным. После победы Октябрьской революции он стал научным работником в области медицины. В 1928 году произвел на самом себе научный эксперимент, опасный для жизни, и погиб.)

Луначарский нашел в себе силы и мужество осознать допущенную им политическую ошибку и еще до Октября, в 1917 году, вернулся в ряды большевистской партии.

Совсем недавно вышел очередной том «Литературного наследства», составленный из не публиковавшихся ранее материалов о совместной деятельности Ленина и Луначарского в дооктябрьское и послеоктябрьское время. Собранные в этой книге чрезвычайно интересные документы убедительно подтверждают, как высоко Ленин ценил Луначарского, несмотря на отдельные его ошибки и срывы. Широко известно, что Луначарский активно боролся за победу Октябрьской революции, стал первым народным комиссаром просвещения Советской России. На этом посту развернулся его талант выдающегося организатора, пропагандиста, публициста, писателя. Под руководством Коммунистической партии и лично Ленина он возглавил культурную революцию в нашей стране, и доля его участия в ней поистине необозрима.

Луначарский, как известно, не только завоевал широкую популярность среди интеллигенции, но и сумел сплотить ее вокруг идей партии, вокруг Советской

[12] Н. К. Крупская. О Ленине. Сб. статей и выступлений. Изд. 3-е. М. Политиздат. 1971, стр. 164.

власти. Он стал признанным любимцем широких народных масс. История социалистической культуры никогда не забудет эту яркую фигуру пламенного трибуна, большевика...

...Как-то, месяца через два после выступления Луначарского на сессии ВЦИК, в декабре 1920 года, я встретился с ним и впервые с Максимом Горьким в интимной, домашней обстановке. Было это в Москве, на квартире вдовы Степана Шаумяна — Екатерины Сергеевны. В ту пору она жила со своими детьми в Третьем доме Советов в бывшем Божедомском переулке, ныне Делегатской улице.

Инициатором встречи был легендарный Камо. Незадолго до этого он познакомился с Алексеем Максимовичем и сразу воспылал к нему нежными чувствами. Горький ответил Камо взаимностью: не случайно один из самых лучших очерков, в котором талантливо воссоздан обаятельный образ Камо, написан именно Алексеем Максимовичем. С Луначарским Камо связывала старая дружба.

В те трудные, холодные и голодные дни Камо решил порадовать друзей и, по кавказскому обычаю, повкуснее угостить их. С давних пор он знал, какие вкусные армянские блюда умела готовить Екатерина Сергеевна. Как-то он пришел к ней и сказал: «Если я достану все что нужно, вы приготовите нам хороший плов и свои, тающие во рту слоеные пирожки?» Екатерина Сергеевна, конечно, согласилась, но с недоумением спросила: «Камо, а где же ты достанешь продукты?»

Не знаю где и как, но Камо раздобыл рис, мясо, масло, муку. У друзей, только что приехавших из-за границы, он достал даже две бутылки отличного французского коньяка.

И вот в назначенный день, взяв машину у Авеля Енукидзе, Камо стал свозить гостей к Екатерине Сергеевне. Сначала он привез Алексея Максимовича и Луначарского, потом Миху Цхакая, Филиппа Махарадзе и Сергея Яковлевича Аллилуева. Немного позже приехал и Енукидзе.

Пока Камо собирал гостей, Алексей Максимович и Анатолий Васильевич сидели в комнате и оживленно беседовали. Тут же были Лев Шаумян и я. Горький неторопливо и, как всегда, обстоятельно говорил о молодых писателях и внимательно прислушивался к рассказам Луначарского о литературных делах. Надо сказать, что к Анатолию Васильевичу Горький относился с большой теплотой и уважением: он высоко ценил его талант и обширные знания во всех областях культуры.

В их разговоре я не участвовал, пока ко мне не обратился с вопросом Горький:

— Вы, кажется, недавно с Кавказа? Что там происходит в литературной жизни?

Откровенно говоря, я смутился, так как ничего не мог ему ответить: мне тогда не приходилось близко сталкиваться с литераторами. Выручил Лева Шаумян, рассказав о Василии Каменском, Сергее Городецком, Рюрике Ивневе, с которыми он недавно встречался в Тифлисе, где тогда еще хозяйничали меньшевики. Шаумян говорил, что эти поэты часто выступают с лекциями, читают свои стихи — в общем, ведут себя очень достойно и, судя по всему, настроены вполне просоветски.

Тут Екатерина Сергеевна пригласила всех к столу, на котором очень аккуратно была расставлена самая разномастная посуда: тарелки, кружки, чашки, стаканы разных цветов и размеров — словом, все, что только удалось ей собрать. Сели мы за стол молча. Бурное оживление наступило, когда подали плов, действительно мастерски приготовленный Екатериной Сергеевной. За столом появились и обещанные слоеные пирожки. «Виночерпий» Енукидзе разливал коньяк, что называется, с толком: кому немножко — на донышке, кому побольше, а Алексею Максимовичу, помню, налил полный стакан. Завязалась оживленная беседа.

Алексей Максимович медленно, по-европейски, маленькими глотками попивал коньяк. Он задумался, как бы что-то вспоминая, а потом рассказал историю, которая произошла с ним много лет назад в одиночной камере Метехского замка. Он не назвал года и месяца, но случилось это, как потом удалось уточнить, в 1898 году. Много лет спустя вместе с теперь уже покойным Л. Шаумяном мы постарались восстановить в памяти этот рассказ Алексея Максимовича.

...Был какой-то праздник. Возможно, троицын день. Всем арестованным принесли с воли передачи — вкусную еду и даже вино. Из камер доносились громкие голоса пирующих. Пели песни. Алексей Максимович ходил по своей одиночке из угла в угол. Не было у него близких, никто ничего ему не принес. Тюремный надзиратель — кавказец, в общем-то, добродушный человек — шагал по коридору, время от времени заглядывал в волчок камеры Алексея Максимовича, всякий раз сокрушенно и сочувственно покачивая головой. Потом на некоторое время надзиратель исчез. Оказывается, он бегал домой — жил он во дворе тюрьмы. Зазвенели ключи, заскрипели дверные засовы, и на пороге камеры Алексея Максимовича появился надзиратель. В одной руке у него был глиняный горшок с горячей долмой [13], в другой — большая кружка с красным вином. Как бы стесняясь и не глядя Горькому в глаза, он поставил на стол свои приношения и, буркнув: «На, погуляй и ты!» — быстро вышел.

Алексей Максимович сказал, что он часто вспоминает этот случай и не может не вспомнить его и сейчас, за таким вкусным пловом Екатерины Сергеевны...

Помнится, вечер прошел очень оживленно и интересно. Много и увлекательно рассказывал Луначарский. Миха Цхакая вспомнил о каком-то забавном случае, связанном с одним из его путешествий. По обыкновению, весело шутил Камо, оживляя общий разговор воспоминаниями о бесконечных своих «историях»...

Горький в отличие от Луначарского хорошо знал удивительную жизнь Камо и уже давно слышал о многих его немыслимых по смелости приключениях за годы революционной борьбы. Известно, что именно Горькому принадлежат строки: «Если написать о Камо все, что я слышал, никто не поверит в реальное существование такого человека, и читатель примет образ Камо за выдумку беллетриста... Но, как нередко случается, оказалось, что действительность превышает «выдумку» своей сложностью и яркостью...»

Вот и в тот раз, желая, видимо, поближе познакомить Луначарского с Камо, Горький настоял, чтобы Камо рассказал историю о том, как, находясь в Тифлисе, Камо в 1907 году экспроприировал большую сумму царских денег и доставил их за границу в распоряжение Ленина для нужд партийной работы. Об этой истории, как тогда выяснилось, Луначарский ничего не знал, хотя в свое время о ней писали во многих газетах мира.

Это была действительно неслыханная по дерзости операция, совершенная Камо.

...В точно назначенный день и час на многолюдной Ереванской площади в Тифлисе Камо со своими боевыми друзьями напал средь бела дня на сильно охраняемый экипаж, перевозивший с почты в банк большую сумму денег, и забрал эти деньги (как потом выяснилось, их было 250 тысяч рублей!).

Когда спустя некоторое время фаэтон, увозивший похищенные деньги, повстречался с полицейскими, скачущими к месту происшествия, Камо, восседая на этом фаэтоне в отличной офицерской форме, в белой черкеске и папахе, крикнул полицейским: «Деньги спасены, спешите на площадь!» Там еще раздавались выстрелы...

Полицейские, не разобрав толком что к чему, поверили «блестящему офицеру» и поскакали дальше, на площадь...

А Камо тем временем благополучно доставил деньги на конспиративную квартиру, а потом переправил их в Финляндию и сдал большевистскому боевому центру.

Камо, смеясь, рассказывал, как он вез эти деньги через границу в самой

[13] Кавказское блюдо, напоминающее голубцы.

обыкновенной круглой картонной коробке из-под шляпы, нарочно поставив ее на самом виду в вагоне, чтобы не вызвать подозрений.

Как ни пыталась одураченная полиция поймать Камо, так ничего в тот раз и не добилась...

Камо очень красочно, что называется, «со смаком» все это рассказывал, а мы все хохотали, хотя в отличие от Луначарского кое-кто из нас и знал про эту проделку нашего друга. Луначарский же буквально задыхался от смеха...

...Так состоялась моя личная встреча с Луначарским и первое знакомство с Горьким — писателем, который уже давно был дорог мне по своим замечательным книгам, находившим всегда особый отзвук в сердцах революционеров. Помню, как, впервые читая «Мать» — еще на ученической скамье,— я становился как бы соучастником борьбы рабочих... А «Песню о Буревестнике» мы знали наизусть и постоянно декламировали ее в своих школьных кружках. На всю жизнь она стала для нас Песней Революции...

В течение нескольких часов того вечера я внимательно слушал и присматривался к Горькому и Луначарскому, впервые встретившись с ними в такой непринужденной обстановке. Оба они произвели на меня огромное впечатление, правда каждый по-своему. Поразили они меня прежде всего и своей эрудицией, и каким-то особым человеческим обаянием. Таких людей нельзя было не полюбить. И надо сказать, что доброе чувство к ним обоим сохранилось у меня до сих пор.

Вспоминается один огорчивший меня эпизод, происшедший с Луначарским в 1929 году. Вместе с супругой (Н. А. Розенель-Луначарской) он был по служебным делам в Ленинграде. Встречали его там так хорошо, что ему еле-еле удалось вырваться из приятного окружения ленинградских друзей. В результате он опоздал на московский поезд, отправление которого до его прихода задержали. Об этом стало известно в ЦК. Сталин предложил объявить Луначарскому партийный выговор с опубликованием в печати. Соглашаясь с тем, что факт задержки поезда наркомом — дело недопустимое, я возражал Сталину, говоря, что для такого коммуниста, как Луначарский, достаточно вызова в ЦК и строгого указания на допущенную ошибку. Сталин упорствовал, мотивируя свое предложение тем, что «строгое наказание важно не только для Луначарского, но послужит хорошим уроком для всех других наркомов. На примере Луначарского,— говорил Сталин,— надо проучить всех бюрократов!».

После обсуждения этого вопроса в ЦК было условлено, что такое решение примет ЦКК, что и было сделано. 22 июня 1929 года «Правда» опубликовала постановление президиума ЦКК: «Народному комиссару просвещения т. Луначарскому А. В. за нарушение трудовой дисциплины, выразившееся в предложении начальнику станции в Ленинграде задержать курьерский поезд на 15 минут без государственной надобности, объявить выговор».

Вскоре после этого Луначарского по личной просьбе освободили от поста наркома просвещения и назначили председателем Ученого комитета при ЦИК СССР.

...Много и плодотворно поработал Анатолий Васильевич на международном дипломатическом поприще.

Еще будучи наркомом просвещения, он по поручению Советского правительства выступал в Лиге Наций и на Женевской конференции по разоружению, талантливо пропагандируя нашу внешнюю политику мира и блистательно защищая советские предложения о разоружении.

«Война для нас помеха. Нам она не нужна,— говорил Луначарский, разъясняя смысл советской мирной внешней политики.— Нам нужно спокойствие, нам нужно сосредоточить силы на главном деле. Осуществляя его, мы будем завоевывать десятки и сотни трудящихся, которые, убедившись в правильности нашего пути, водворят на всей земле тот порядок, который мы считаем разумным!..»

Последние годы Анатолий Васильевич часто и тяжело болел: у него обнаружилось серьезное заболевание сердца и глаз.

В августе 1933 года, когда ему стало лучше, Советское правительство назначило Луначарского первым полномочным представителем СССР в Испанию. Но по дороге в Мадрид болезнь неожиданно обострилась, и тяжело больной Луначарский был вынужден задержаться во Франции. А в декабре 1933 года с юга Франции, из города Ментоны, к нам пришла печальная весть, что Анатолий Васильевич Луначарский скончался.

2 января 1934 года урну с прахом Луначарского торжественно замуровали в Кремлевской стене на Красной площади.

...Вспоминая Луначарского как выдающегося деятеля нашей партии и Советского государства, мне хочется сказать несколько слов о нем как о замечательном гражданине, воспитавшем в своей собственной семье достойного сына — коммуниста, патриота Советской родины.

Нельзя без волнения читать переписку Анатолия Васильевича со своим единственным сыном (тоже, кстати, Анатолием), опубликованную в «Комсомольской правде». Это на редкость задушевные письма самого близкого друга, любящего и нежного отца, умного и проникновенного воспитателя, педагога...

Надо сказать, что сын с честью пронес по жизни эстафету, принятую из рук своего замечательного отца. Получив в семье отличное воспитание и будучи человеком широко образованным, совсем еще молодой, он успел проявить себя талантливым литератором.

Когда только началась Отечественная война, молодой писатель-комсомолец Анатолий Луначарский добровольцем ушел на фронт, а вскоре, проявив высокое солдатское мужество и отвагу в борьбе с фашистами, был принят по боевой характеристике в ряды Коммунистической партии.

Непосредственный участник обороны Севастополя, он потом неоднократно участвовал в опаснейших военных операциях под Новороссийском. За боевые заслуги военное командование наградило Анатолия Луначарского медалью «За оборону Севастополя» и орденом Отечественной войны II степени.

Однако своевременно получить эти награды Анатолий Луначарский не смог: долгое время он считался пропавшим без вести, и только спустя некоторое время удалось установить, что он погиб смертью храбрых в сентябре 1943 года при высадке десанта морской пехоты в районе Новороссийска.

«Вся его боевая жизнь,— сказано в донесении Политуправления Черноморского флота,— прекрасный образец честного и беззаветного служения Родине» [14].

Обо всем этом я узнал в 1965 году, когда в дни всенародного празднования двадцатилетия Дня Победы над фашизмом мне пришлось как Председателю Президиума Верховного Совета СССР в торжественной обстановке вручать правительственные награды А. А. Луначарского его семье — вдове Елене Ефимовне и дочери Анне Анатольевне Луначарским.

Передавая им эти награды, я говорил, что мне особенно приятно это делать, поскольку я хорошо знал А. В. Луначарского, который, будь он жив, мог бы по праву гордиться своим сыном. Оба они — и отец и сын — самоотверженно отдали свои жизни за наш народ, за дело социализма...

ЧТО ПРОИСХОДИЛО ТОГДА В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

На IX Всероссийской партийной конференции я впервые встретился с Молотовым. Незадолго до этого его отозвали из Нижнего Новгорода, где он был председателем губисполкома, и перевели в Донбасс; там его избрали секретарем губкома.

Мы познакомились. Я сказал, что направлен в Нижегородский губком, и попросил рассказать об обстановке в Нижнем.

— Там крупная партийная организация,— сказал Молотов,— в основном состоящая из рабочих. Почти все члены губкома — дореволюционные комму-

[14] «Литературное наследство», т. 78. «Советские писатели на фронтах Великой Отечественной войны», кн. 2. М. «Наука». 1966, стр. 656.

нисты, тоже из рабочих. Но обстановка там сложная, резко проявляются местнические настроения: работников из других губерний принимать не желают. Среди партийцев немало случаев морального разложения, злоупотребления спиртными напитками (не надо забывать, что тогда в стране были полностью запрещены производство и продажа алкогольных напитков). Некоторые из членов партии, поселившись в квартирах, отнятых у буржуазии, поженились на дочерях купцов. Борьба с остатками буржуазии почти не ведется...

Чувствовалось, что всем происходящим в Нижнем Новгороде Молотов очень обеспокоен. В заключение он сказал, что работать, в Нижнем мне будет очень трудно...

То, что рассказал Молотов, показалось мне тогда чем-то противоестественным. В моем сознании как-то не укладывалось, чтобы в организации, состоящей из рабочих, среди коммунистов могла сложиться такая обстановка. Но, конечно, возражать Молотову не стал, так как не имел никаких оснований ему не верить, и решил сам во всем разобраться на месте.

Позднее, уже находясь в Нижнем, я убедился, что при участии опытных партийных работников — председателя президиума губкома Кузнецова и председателя губисполкома Молотова — нижегородские большевики сделали многое для преодоления хозяйственной разрухи, добились неплохой организации трудовой и гужевой повинности, обеспечили заготовку топлива, удачно поднимали людей на субботники и воскресники, провели ряд хороших дел по оказанию помощи семьям красноармейцев.

Нижегородцы рассказывали, что Молотов всегда активно выступал против пьянства, но не всегда вел себя достаточно тактично и восстановил против себя много людей. Познакомившись позднее с протоколами заседаний губкома в бытность там Молотова, я убедился, что он действительно не сработался с местными партийными кадрами. Создалась нездоровая обстановка. Сложились ненормальные взаимоотношения между губисполкомом и губкомом, точнее между Молотовым и Кузнецовым, который, к слову сказать, пользовался в Нижнем большим уважением. Возникли две группы руководящих губернских работников, между которыми шла ожесточенная борьба.

Судя по всему, Молотов, борясь с местничеством, настойчиво и активно проводил линию ЦК, но у него, видимо, не хватало необходимого такта и выдержки, а главное, он был слабо связан с рабочими районами (его поддерживал главным образом Городской район). Порой он резко и не всегда доказательно нападал на некоторых членов губкома и даже оскорблял их на заседаниях губкома. Это, конечно, не способствовало улучшению его отношений с местными кадрами, и в результате он натолкнулся на стену непонимания и даже открытого сопротивления. Сторонники Кузнецова среди руководства губкома и губисполкома были крепко спаянной группой, которая держала Молотова почти в состоянии изоляции.

Когда он пытался с присущей ему резкостью критиковать сторонников Кузнецова, то встречал упорное сопротивление. Так, например, доклад Молотова в июне 1920 года на пленуме губкома о работе губисполкома был отвергнут, а его оценка взаимоотношений губкома с губисполкомом признана неправильной. Президиуму губисполкома поручили представить новый доклад, который выражал бы не субъективное, а коллективное мнение всего состава президиума.

Во всем этом чувствовалась групповая борьба, существовавшая в партийной организации, и стремление большинства губкома избавиться от «неспокойного» пришельца.

Через месяц после этого пленума состоялась X губернская партконференция (15—19 июля 1920 года), где борьба групп приняла еще более острую форму. Возникла необходимость проведения специального закрытого заседания, на котором Молотов выступил с докладом, содержавшим обвинения Кузнецова в насаждении и поощрении местнических тенденций. Завязалась настоящая перепалка, пошли в ход крайне резкие высказывания. Сторонники Кузнецова потребовали прекратить доклад Молотова, и по предложению его заместителя по губисполкому

Ханова была принята резолюция, выражающая порицание Молотову и Таганову (старому партийному работнику-нижегородцу) за то, что они «вопреки всяким традициям нашей партии развели агитацию перед выборами в губком, бросали и по адресу ответственных губернских и уездных работников губкома ряд туманных обвинений общего характера, давая десятку уездных работников и работников губкома оскорбительные клички и пытаясь опорочить всех работников, составляющих большинство прежнего губкома, дабы расчистить дорогу в губкоме новой группировке».

Возмущенный этим решением, Молотов заявил о снятии своей кандидатуры из членов губкома, хотя перед этим его вместе с другими избрали на конференции в члены губкома.

Положение создалось явно ненормальное: председатель губисполкома вышел из состава губкома!

В результате Молотов вынужден был уехать из Нижнего. ЦК отозвал и Кузнецова, направив его в Николаев, где его избрали председателем губисполкома.

После ознакомления со всеми этими документами я понял, что работать здесь будет трудно: предупреждение, сделанное по этому поводу Молотовым, видимо, имело под собой реальную основу.

Уже приехав в Нижний, мне стало известно, что, направляя меня в президиум Нижегородского губкома вместо отозванного Кузнецова, ЦК партии одновременно решил вместо Молотова послать в президиум губисполкома Залуцкого, одного из передовых петроградских рабочих-коммунистов, культурного, политически активного, опытного работника. Но он не захотел ехать в Нижний и добился отмены решения ЦК о его направлении туда. Думаю, что сделал он это после беседы с Молотовым о положении дел в Нижнем: как я узнал позже, они тогда дружили.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НИЖНЕМ

Сразу же после Всероссийской партийной конференции, в начале октября 1920 года, я отправился в Нижний Новгород, решив никакой телеграммы о своем приезде не давать.

Поезд пришел в Нижний днем. Стояла поздняя осень, было уже довольно прохладно. Подхватив чемодан, в котором лежало все мое немудреное хозяйство, сунув под мышку подушку, завернутую в байковое одеяло, я вышел на привокзальную площадь. Вокруг озабоченные, куда-то спешащие люди. Транспорта никакого не видно. Спрашиваю: «Где находится губком?» Говорят — в кремле. Указали дорогу, и я направился по мощенной булыжником улице к берегу Оки — навстречу своей новой жизни.

Шел мимо неприглядных, приземистых, теснившихся друг к другу домов. На их фоне ярким пятном выделялось бывшее здание ярмарки на берегу Оки. На другой стороне реки сверкали купола церквей. У причалов стояли пароходы, баржи. Через Оку наведен разводной понтонный мост. Я шел по его разбитому деревянному настилу, опасаясь, как бы не провалиться в воду.

Несколько раз переспрашивал дорогу: путь не близкий, а транспорта так я и не встретил.

Кремль казался неприступным, как будто только что выдержал осаду. Мимо прошел отряд красноармейцев. Вид у них изможденный, какой-то весьма потрепанный: кто в сапогах, кто в лаптях, а некоторые только в обмотках.

Губком помещался на первом этаже большого белого здания, которое громко называлось Дворцом Свободы (бывший дом нижегородского губернатора). Наверху размещался губисполком. «Вот здесь предстоит мне работать, обрести новых товарищей и друзей»,— думал я, направляясь к высоченным («губернаторским») дверям.

Пришел к секретарю губкома Кремницкому. Сложил в уголок пожитки. Представился. Подал выписку из решения ЦК партии. Пояснил, что ЦК направил меня для работы в президиуме Нижегородского губкома.

Кремницкий поздоровался и спокойно сообщил, что пленум губкома (после отзыва Кузнецова) ликвидировал пост председателя губкома и вместо президиума организовал бюро губкома, секретарем которого остался он — Кремницкий, что все посты в бюро губкома заняты и мне придется поэтому возвращаться в Москву.

Стало ясно, что, не желая иметь во главе губкома нового для них работника из центра и в то же время не рискуя пойти на прямое нарушение решения ЦК партии, местные руководители прибегли к хитрости, избрав путь «организационной перестройки».

Они воспользовались возможностью такой перестройки в связи с тем, что в те времена не существовало еще единой организационной структуры местных руководящих партийных органов: в ряде губерний — президиум и председатель губкома, в других — бюро губкома и секретарь губкома (в настоящее время — первый секретарь обкома). Причем изменение структуры входило в компетенцию самих губернских партийных организаций, а на принятую в Нижнем структуру постепенно переходили в то время многие другие партийные организации страны.

Используя удачно сложившуюся ситуацию, местные руководители скоропалительно ликвидировали президиум губкома и сформировали бюро губкома, рассчитывая, видимо, на то, что, оказавшись перед таким фактом, я не соглашусь на работу меньшего масштаба и уеду обратно в распоряжение ЦК, а руководство партийной организацией останется по-прежнему в руках сложившейся местной группировки.

Я заявил Кремницкому, что вопрос о моей работе должен решаться бюро и пленумом губкома, исходя из постановления ЦК, и какое бы решение принято ни было, уезжать из Нижнего не собираюсь.

По-видимому, сказал я, при направлении меня в Нижний товарищи из ЦК не знали о происшедшей здесь организационной перестройке. Но я направлен сюда для руководящей работы и, как коммунист, согласен работать на любой другой партийной работе в городе или уезде, которую губком сочтет необходимым мне предоставить. В частности, меня можно использовать, например, на пропагандистской работе, поскольку чувствую себя подготовленным для этого...

Говоря все это, мысленно я расценивал складывающуюся обстановку примерно следующим образом: если соглашусь с Кремницким, значит, окажусь действительно бюрократом, каким он, очевидно, и рассчитывал меня увидеть; он решит, что я гоняюсь за высокими постами, а коль скоро меня не изберут в бюро губкома, то я не останусь здесь и уеду. При таком положении я оказался бы действительно в роли зазнавшегося бюрократа, каким никогда не был и каких органически не терплю. Поэтому я и решил настаивать, чтобы мне дали любую партийную работу, и ни при каких условиях не уезжать из Нижнего, так как такой отъезд представлялся мне просто позорным.

Кремницкий, видимо, никак не ожидал такой позиции, растерялся и смог только сказать, что бюро губкома состоится 5 октября...

На первых порах поместили меня в общежитии. Отнес я туда свои пожитки. И задумался. Предстояли пять дней без дела — первый случай в моей жизни.

Но я был молод, полон сил и этакого юношеского задора... А кроме того, все случившееся считал делом весьма принципиальным.

Поэтому, поразмыслив, решил не терять свободного времени и начать на первых порах самостоятельно знакомиться с городом.

Направился в кремль. Деревья сбросили почти весь свой летний наряд, и я шагал по осенним листьям как по яркому восточному ковру...

Вид с Откоса поразил своей неожиданной красотой, необъятными голубыми далями, синеющей внизу Волгой, гордыми башнями кремля. Нижний начинал мне нравиться...

Удивительное это место — нижегородский Откос! Какие дали, просторы открываются с него! Нет, наверное, человека, который, побывав здесь, остался равнодушен к поразительному зрелищу солнечного заката, открывающемуся отсюда...

Особенно сильное впечатление произвел на меня вид с Откоза на весенний разлив Волги, который я наблюдал здесь несколько позднее...

Как-то ночью я проснулся словно от грохота орудий. Стреляли где-то совсем близко — внизу, около Волги. Стрельба беспорядочная, но упорная. «Что случилось? Неужели гарнизон?..» — мелькнула тревожная мысль.

Быстро оделся и побежал к Откосу. Было еще очень рано, но кое-где уже стояли люди и смотрели куда-то вниз. На залпы они реагировали очень странно: они... улыбались.

Я подошел к ним и вдруг замер, пораженный неожиданно открывшимся мне удивительным зрелищем...

По всей ширине Волги с треском ломался лед. Казалось, будто огромное море, покрытое льдинами, плещется тут внизу, под самыми стенами нижегородского кремля... Острозубые льдины налезали друг на друга и со страшной силой крушили кромку льда. Грохот стоял невероятный...

Теплый ветер доносил сюда, наверх, волнующий запах свежей воды. И вдруг мне тоже стало почему-то очень весело...

Во многих краях довелось мне побывать за свою жизнь, но Откос в Нижнем, особенно при весеннем разливе, я бережно храню в своей памяти...

А чем же живут люди этого города?

Пошел в Городской райком, познакомился. Встретили меня там хорошо.

— Нет ли,— спрашиваю,— каких поручений? Не нужен ли где оратор на политические темы?

Райкомовцы обрадовались, сказали, что дело, конечно, найдется. Ораторов не хватает. Узнав, что я только что с IX Всероссийской партконференции, все заинтересовались, что там происходило. И сразу предложили — сегодня же выступить на совещании руководителей женотделов партийных комитетов.

После этого ходил я и в Береговой район. Смотрел на пароходы у пристаней. Грузчики носили с барж мешки, ящики, катили бочки. Доносился запах рыбы и соли. Как-то зашел на Миллиошку и ужаснулся, как тяжело и скученно живут здесь люди.

Побывал и в Канавине и в Сормове. Заглянул и в редакцию «Нижегородской коммуны». Много выступал на партийных и рабочих собраниях, рассказывал о IX партконференции. Хотя у меня был довольно сильный кавказский акцент, но слушали внимательно.

Так, еще до обсуждения и решения вопроса в губкоме я включился в практическую работу, встречался с коммунистами и беспартийными рабочими города, с их активом.

Наступило наконец и 5 октября.

Как только началось заседание бюро, стало ясно, что члены бюро подробно информированы Кремницким о нашем разговоре, о моей позиции и вопрос этот ими обсужден и предрешен. Поэтому разговор о моем отъезде из Нижнего даже не возникал.

Рассказав о себе, я сообщил, что прибыл сюда по решению ЦК, откомандировавшему меня в президиум губкома, и теперь жду решения губкома о конкретной работе.

Выступили несколько членов бюро, повторивших все, что я уже знал из разговора с Кремницким,— о перестройке, ликвидации президиума и т. п.

На это я ответил, что крайне удивлен всем происшедшим: перед поездкой в Нижний я был у секретаря ЦК партии Крестинского, который подтвердил, что ЦК направляет меня для работы в президиуме губкома. А выходит, что для меня работы в бюро губкома нет и тем самым решение ЦК партии фактически как бы «отменяется».

Один из членов бюро, кажется Челышев, сказал, что все свои протоколы они аккуратно посылали в ЦК и поэтому считают, что ЦК оповещен об изменениях в структуре их губкома.

Одним словом, обстановка складывалась таким образом, что для меня в бюро губкома соответствующей работы не было.

Все это меня возмутило, но я сдержался и спокойно сказал, что, не включая меня в работу бюро губкома, они фактически отменяют решение ЦК. Поэтому необходимо, чтобы губком сообщил о создавшемся положении в ЦК партии, решение которого о назначении в Нижний я, таким образом, не могу выполнить — не по своей вине. «Сам этого делать я не буду», — решительно заявил я членам бюро и действительно ничего тогда не написал в ЦК.

Такая позиция, видимо, смутила губкомовских руководителей, и они решили вынести вопрос о пополнении состава губкома на окончательное решение своего пленума, приняв при этом такое постановление: «За выбытием тт. Кузнецова, Хахарева и Романова предложить губкому ввести тт. Фадеева, Батырева и Микояна, последнего согласно предложению ЦК». Такая оговорка свидетельствовала о желании местных руководителей снять с себя всякую ответственность за мою кандидатуру, переложив ее целиком на ЦК партии.

Когда через три дня на пленуме губкома стал обсуждаться вопрос «о пополнении бюро губкома», то ясно выявилась позиция местных товарищей, стремившихся во что бы то ни стало сохранить за собой все посты в руководстве губкома.

В поддержку моей кандидатуры выступил очень уважаемый в Нижнем старый член партии Таганов.

Как сейчас вижу его рослую фигуру, густую бороду, умные, выразительные глаза, слышу его басистый голос. Он говорил, как будто чеканил каждое слово. Таганов предложил ввести меня в бюро губкома. При этом он заявил, что поскольку решением ЦК я командирован в президиум губкома, а вместо президиума у них создано бюро — совершенно естественно, чтобы меня избрали членом бюро, как к этому обязывает решение ЦК партии. В том же духе выступил и молодой секретарь Городского райкома, член губкома Иконников.

Возражений против моей кандидатуры ни у кого, естественно, не было. Однако большинство членов пленума заняли такую позицию, что если расширять бюро губкома, то нужно прежде всего ввести в него руководителя губпрофсовета, поскольку об этом тоже имеется указание ЦК партии.

В ходе обсуждения вопроса четыре члена бюро губкома (Челышев, Ханов, Храмов и М. Воробьев) высказались против моего избрания в бюро губкома, ссылаясь на то, что мне будет дана «другая работа». Эти выступления оказались решающими. При голосовании из десяти членов пленума губкома только двое поддержали мою кандидатуру.

Правда, на этом же заседании меня кооптировали в состав членов губкома и рекомендовали в состав президиума губисполкома. Таганов и Иконников внесли даже предложение о моем назначении председателем губисполкома, поскольку эта должность была тогда свободна. Однако и на этот пост местные руководители имели свою кандидатуру — Ханова, который, будучи заместителем у Молотова, интриговал против него. При голосовании этого вопроса я опять получил два голоса, а Ханова выдвинули на пост председателя губисполкома.

Помню, как поразило меня, приехавшего тогда с Кавказа, отсутствие у нижегородских руководителей чувства элементарного гостеприимства. Желая, видимо, вынудить меня уехать из Нижнего, мне не предоставили тогда ни квартиры, ни даже комнаты в гостинице, ссылаясь на ее переполнение. Меня явно хотели выжить...

Какое-то время я, как уже говорил, ночевал в общежитии для приезжих, где получил койку в общей комнате. Уже потом как члену президиума губисполкома мне выделили рабочую комнату в здании губисполкома, куда я и перебрался из общежития. Здесь работал и тут же ночевал, используя стол вместо кровати. Только через месяц мне наконец-то предоставили хорошую комнату в доме бывшего нижегородского губернатора, где уже в одном коридоре, с общей кухней и ванной жили пять других работников губкома и губисполкома (Таганов, Карклин, Залкинд, Троицкий и Столбов).

ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА ГУБИСПОЛКОМА

Мое настроение в первые недели жизни в Нижнем нетрудно представить, ознакомившись хотя бы с отрывком из письма, посланного мною 14 октября 1920 года в Москву вдове Степана Шаумяна Екатерине Сергеевне [15].

«Как и следовало ожидать,— сообщал я в этом письме,— здешние «верхи» сразу же заняли ко мне скрыто-враждебную позицию как к «назначенному генералу», который хочет ими «верховодить».

И, в общем, создалась очень неприятная и глупая обстановка... В первые дни мне никакой работы не давали, и после десятидневных размышлений они решили, пользуясь решениями последней Всероссийской конференции о назначенстве, вопреки решению ЦК втиснуть мне такое место, где бы я не мог влиять и руководить партийной работой.

Они назначили меня в президиум губисполкома. И если целых десять дней у меня не было почти никакой работы, то за последние два-три дня дел появилось много: мне дали самые важные и трудные отделы губисполкома — губсовнархоз, губфинансовый, продовольственный и земельный отделы и всякие гублескомы, женкомы, губтопы и пр.

Работаю, посмотрим, что из этого выйдет».

Помню, что на меня возложили также руководство губернской газетой, поручили проведение кампании «помощь фронту», а в начале ноября назначили заведующим агитпропотделом губкома, возложив на меня также руководство Союзом молодежи и национальным отделом.

Ни от каких обязанностей, которые мне предлагали, я не отказывался, только удивлялся, что за человек Ханов! Все экономические отрасли работы исполкома он взвалил на мои плечи. Работой ЧК и губвоенкома руководило непосредственно бюро губкома. Отдел образования возглавлял член губкома Таганов — сам учитель, хорошо знающий свое дело. Самому же Ханову практических дел, по существу, не оставалось.

Я предполагал тогда, что он перегружает меня — или для того, чтобы иметь козла отпущения на случай обнаружения возможных недостатков в работе, или по своей лености (о чем ходили слухи), а возможно, что и по двум этим причинам, вместе взятым. Вероятно, так и было на самом деле...

Как бы то ни было, но я, что называется, с головой окунулся во всю эту груду порученных дел.

Каждая встреча и беседа с работниками учреждений и отделов исполкома, обсуждение с ними и решение многочисленных, каждодневно возникающих больших и малых практических дел — все это очень скоро по-настоящему захватило меня.

Правда, со многими из этих дел я столкнулся тогда впервые. Не чувствуя себя достаточно подготовленным, чтобы решать их самостоятельно, а тем более с ходу, я — в особенности первое время — старался больше прислушиваться к тому, что предлагали непосредственные практические работники...

Работал с возрастающим увлечением, чувствуя, как духовно обогащает меня эта кипучая многосторонняя деятельность. И хотя проработал я в губисполкоме сравнительно недолго, но должен сказать, что приобрел там довольно большой практический опыт хозяйственного руководства, который во многом пригодился мне в дальнейшей партийной и государственной работе.

Приближалась третья годовщина Октябрьской революции.

Положение в Нижнем было трудное. Уставшие рабочие, уже не первый год изнуренные постоянным недоеданием, продолжали самоотверженно отдавать свои силы делу защиты молодой республики. С продовольствием было очень трудно.

[15] Мне приятно отметить, что письмо это несколько десятков лет бережно сохранялось Екатериной Сергеевной и вернулось ко мне из семьи Шаумянов в 1971 году. В день моего семидесятипятилетия сын Шаумяна — Сергей — подарил мне это письмо, доставив тем большую радость.

В Баку, например, я не видел такой нехватки продуктов питания. И все же, повторяю, основной костяк канавинских, сормовских и других рабочих губернии твердо стоял за Советы — за свою власть. Они работали в заводских цехах сколько требовали обстоятельства — и по полторы и по две смены подряд.

Зачастую они выходили еще и на воскресники. В ту пору можно было увидеть такие объявления в газете: «Назначается воскресник по распилке дров для детских домов. Всем ячейкам РКП Городского района в полном составе прибыть в воскресенье к 9 часам утра в помещение Горрайкома, где будут даны пилы, топоры и назначения на работу».

И рабочие, возглавляемые коммунистами, шли на эти воскресники. Такой героический бесплатный труд, труд во имя идей социализма, еще более сплачивал рабочих.

Было в те дни и голодно и холодно. Не хватало сил. А затянут какую-нибудь революционную песню или там шутник какой развеселит людей — вроде и сил прибывает, будто теплей становится...

Навсегда запомнил я эту бодрость духа, стойкость и революционную сознательность нижегородских рабочих.

ТРЕВОЖНАЯ ОСЕНЬ 1920 ГОДА

Напряженное положение создалось в ту осень в нижегородском военном гарнизоне. Свыше 50 тысяч красноармейцев находились в казармах Нижнего Новгорода. Это были войска Запасной армии республики и Приволжского военного округа (командование округа находилось в Казани). Среди них почти 17 тысяч — бывшие дезертиры, вновь возвращенные в армию.

Плохо было со снабжением гарнизона: в первую очередь продовольствие шло в Действующую армию. В казармах — невероятная теснота, скученность, не хватало матрацев, постоянные перебои с кипятком, освещением. Не хватало теплой одежды и особенно обуви. Даже лаптей не хватало. Все это вызывало среди красноармейцев сильное недовольство. К тому же в гарнизоне не наладили необходимой политико-разъяснительной и воспитательной работы; этим широко пользовались эсеры и меньшевики, развернувшие на почве переживаемых трудностей враждебную Советской власти агитацию.

Все это требовало от командного и политического состава гарнизона особого подхода к красноармейской массе, постоянного учета меняющейся обстановки и настроений. А командование во главе с начальником гарнизона губвоенкомом Ительсоном, не считаясь ни с чем, внедряло солдатскую муштру, систематически проводило длительные и утомительные учения на холоде, не сообразуясь с физическими возможностями бойцов и не понимая необходимости хотя бы временного сокращения длительных учений на холоде для тех, кто плохо одет и обут.

Положение становилось все более напряженным. Через несколько дней после моего приезда в Нижний, в начале октября 1920 года на бюро губкома был поставлен вопрос «О настроениях в гарнизоне».

Выступивший на заседании бюро начальник особого отдела губчека Бурцев обрисовал неприглядную картину жизни бойцов Запасной армии, привел данные о деятельности контрреволюционных элементов среди красноармейцев, о случаях отказа двух батальонов 27-го полка от занятий.

Чтобы усилить политическое влияние в Запасной армии, губком решил использовать самые разнообразные формы агитации. В постановлении бюро записали: «Предложить губвоенкомату считаться с настроениями красноармейцев, вызванными продолжительностью войны и предстоящей зимней кампанией, для чего усилить политическую работу в гарнизоне — если понадобится, то даже в ущерб другим занятиям, используя в самых широких размерах всех работников губернии».

Вспоминается, что именно в те дни начался выпуск для красноармейцев «Живой газеты». В ней участвовали многие работники губкома и губисполкома, журналисты из «Нижегородской коммуны», артисты городского театра.

В «Живой газете» — много устных «страниц». В газете «Нижегородская коммуна» от 21 октября 1920 года перечисляется, из каких выступлений состоял, например, первый номер «Живой газеты»: «От редакции» — товарищ Гусман; «Мир, Польша, Врангель» — товарищ Храмов; «Помощь фронту» — товарищ Савельева; «Ликвидация безграмотности» — товарищ Лурье; «На фронте международной революции» (с картой) — товарищ Микоян; «За рубежом» — товарищ Шнипров; «По России и в Нижнем Новгороде» — товарищ Соколов...»

Дальше шли разделы: «Красная Армия», «Рабочая жизнь», «Профессиональная жизнь», маленький фельетон, стихи, юмористические сценки и, наконец, «Почтовый ящик» (отвечал на вопросы председатель губисполкома). Выступали мы в зале театра культполитпросвета губвоенкомата (здание это, говорят, и сейчас сохранилось в Грузинском переулке).

Между тем в казармах положение не улучшалось. Условия жизни красноармейцев оставались тяжелыми. На митингах в гарнизоне звучали все более тревожные речи. В казармах появились рукописные прокламации против «большевистских» Советов. Ошибка Горрайкома и губкома состояла в том, что они не понимали всей глубины недовольства красноармейской массы, успокоились на правильно принятом решении, но не проверяли его выполнения, положившись во всем на губвоенкомат. А военное командование, не понимая обстановки, не сделало должных выводов, и потому положение в гарнизоне не улучшалось.

Командование по-прежнему проводило форсированную подготовку пополнений для армии, действуя приказами и дисциплинарными взысканиями, не понимая, что в трудное время революционное слово зачастую воздействует на людей лучше, чем приказ и взыскание, не понимая, что сложившиеся трудные условия требовали от них особого подхода к людям, и прежде всего усиления среди них политической работы.

В этих сложных условиях Городской райком партии по своей инициативе решил провести районную беспартийную конференцию. По существу, она оказалась конференцией красноармейцев, потому что в этом районе было очень мало рабочих и служащих, а красноармейцев — десятки тысяч. В море их представителей делегаты рабочих и служащих буквально потонули!

Плохо зная подлинные настроения красноармейской массы, Горрайком был убежден, что при открытии конференции будут приняты все его предложения и о составе президиума и о повестке дня и что вообще конференция пройдет под его руководством. Исходя из такого ложного (как потом выяснилось) представления, товарищи из райкома не подготовились по-настоящему к этой конференции, не изучили состав ее делегатов, не разобрались предварительно, какие вопросы волнуют красноармейскую массу, какие вопросы и предложения выдвинут делегаты, не продумали, как обеспечить нужное влияние партии на участников конференции и оздоровить, поднять настроение у красноармейцев. Короче говоря, конференцию подготовили плохо, наспех.

Всем этим немедленно воспользовались эсеры и меньшевики и прочие враждебные контрреволюционные силы. Используя существующее недовольство среди красноармейцев, они выдвигали в частях и проводили делегатами на предстоящую конференцию людей наиболее недовольных и своих.

Конференция открылась 31 октября в здании городского театра (ныне это Театр драмы имени Горького). В то время я работал членом президиума губисполкома, в состав бюро губкома не входил и, вообще говоря, мог бы и не присутствовать на этой конференции. Однако я интересовался тогда всем, что происходило в городе и губернии, и поэтому решил пойти и на эту конференцию, чтобы получить хотя бы общее впечатление о настроениях красноармейской массы.

Уже при заполнении зала делегатами можно было наблюдать, как с угрюмой сосредоточенностью посланцы красноармейских частей занимали ложи, амфитеатр, балкон, размещаясь какими-то кучками, под чьим-то невидимым дирижерством.

Открывая конференцию, секретарь Горрайкома Николай Иванович Иконни-

ков никак не предполагал, что произойдет дальше. Он предложил избрать в президиум трех товарищей из Горрайкома и четверых из делегатов конференции.

Зал зловеще зашумел (раздались провокационные выкрики: «Большевиков в президиум не надо!») и отклонил предложение Иконникова. Кто-то огласил список президиума только из числа делегатов конференции, в котором не было ни одного большевика. В результате в президиум избрали только беспартийных, но среди них, как потом выяснилось, оказались и меньшевики.

Однако этот президиум не сумел помешать тому, чтобы с докладом о текущем моменте и помощи фронту выступил стойкий большевик Василий Иванович Шмелев.

Оказалось, что не подготовленными к конференции оказались не только наши партийные организации, но эсеры и меньшевики. Они не знали, какую поддержку могут здесь получить, и шли ощупью. Не нашлось у них и своего докладчика, который мог бы в нужном им плане выступить перед красноармейцами.

Шмелев — умный оратор. К тому же его нижегородский говор придавал своеобразную простоту речи и способствовал ее доходчивости.

Только закончил свое выступление Шмелев, как вслед за ним на сцену стали один за другим подниматься заранее подготовленные меньшевиками и эсерами делегаты от частей. Они выходили в потрепанных шинелях, в лаптях, а кто и просто в обмотках...

Речи их резали слух. О чем только тогда не говорилось!

...Советское правительство забыло об обещании иметь армию только добровольческую и, набрав армию принудительно, держит ее насилием...

...Армия, скованная дисциплиной, будет всегда озлоблена...

...Тыл уже не может помочь фронту. Он окончательно разрушен. Не видно и целей войны...

...Голая, голодная и большая армия не может вести борьбу во что бы то ни стало. Толковать о дальнейшей борьбе не приходится...

...Все советские учреждения переполнены буржуазией...

Председатель конференции Козлов изложил, например, такую «программу»:

— Насадить социализм оружием невозможно, ибо насилие порождает насилие... Свобода есть только у меньшинства... Необходимо объединение всех социалистических партий, что скорее выведет нас из тупика и приведет к социализму...

Другие ораторы призывали к немедленному окончанию войны.

И в то же время все они приводили поистине вопиющие факты из жизни своего гарнизона.

Они говорили, что красноармейцы не получают установленных норм продовольствия, обуви и одежды. Многие казармы не отапливаются, в окнах нет стекол. Спят красноармейцы зачастую на голых нарах, без тюфяков. Приводились факты, когда в той или иной казарме, переполненной выше всяких норм, бездействует водопровод и санитарные условия нетерпимы. Тысячи бойцов не имеют возможности вымыться в бане. Начались болезни. Госпитали переполнены.

В речах ораторов краски, конечно, сгущались. Но в основе своей то, о чем они говорили, соответствовало действительности. Казармы Нижнего Новгорода могли вместить не более восьми тысяч человек и, разумеется, оказались крайне переполненными. Верно, что не хватало материальных средств. И все же, при всей нашей бедности, можно было и окна остеклить, и дрова найти, и наладить водопровод, будь командование гарнизона более заботливым и небюрократическим.

Но лучшие командиры и политработники уехали на фронт. В числе низшего командного состава гарнизона — много прежних царских унтеров, которые насаждали солдатскую муштру, грубо обращались с красноармейцами. Надо ли говорить, что всем этим широко пользовались эсеры и меньшевики, всяческими путями разжигая недовольство, призывая красноармейцев к разоружению и демобилизации. Казармы гудели как растревоженный улей...

Все это стало ясно из речей рядовых красноармейцев, выступавших на конференции.

Обстановка в зале накалялась. С мест то и дело раздавались злобные выкрики. В тот день выступили 17 человек, из них 14 отказывались воевать.

Шмелев в заключительном слове очень сдержанно, но вместе с тем по-большевистски непримиримо дал отпор демобилизационным настроениям и призывам. Потом Иконников предложил перенести заседание конференции на один из ближайших дней, потому что в театре должен начаться спектакль, сбор с которого шел в пользу фронта.

Раздался свист, топот ног... Из амфитеатра кричали, чтоб немедленно голосовалась резолюция по докладу.

Приняли постановление — сперва голосовать резолюцию по докладу Шмелева, а уже потом решить вопрос о продолжении конференции.

Первой на голосование шла резолюция, предложенная нашим Горрайкомом. После выступления трех ораторов в поддержку этой резолюции и трех — против (установили такой порядок) резолюцию отвергли. Она получила только 18 голосов за, 12 человек воздержались от голосования, а в зале находилось около тысячи делегатов. Это было для нас большим ударом.

После этого президиум поставил на голосование вторую резолюцию следующего содержания: «Заслушав доклад о текущем моменте, районная беспартийная конференция постановляет: принимая во внимание положение страны, требовать прекращения войны и роспуска армии, а борьбу с врагами вести словами, а не оружием». Выслушав только одного оратора за резолюцию и одного против, конференция приняла эту резолюцию. Против голосовали те же 18 человек, но воздержались уже 33 человека.

Остальные две резолюции, поступившие с мест, даже не обсуждались. Заседание закрылось поздно ночью и возобновилось через два дня.

Итак, конференция высказалась за прекращение войны и роспуск армии.

Мы, небольшая группа большевиков, сидели в зале все вместе и впервые так близко — лицом к лицу — столкнулись с ситуацией, когда коммунисты потеряли политическое влияние на представителей гарнизона, а эсеры и меньшевики сумели повести конференцию за собой и добиться принятия резолюции, направленной фактически против нас и нашей линии.

Признаться, мы не предвидели такого исхода и не были подготовлены к тому, чтобы немедленно принять в такой неожиданно сложившейся обстановке какие-то конкретные решения. Естественно, что в поисках правильного выхода из создавшегося положения все мы нервничали и ломали себе голову: что же делать, как изменить наметившийся ход событий?..

Во время перерыва, когда мы обсуждали все эти вопросы, председатель губисполкома Ханов, не отличавшийся особой политической дальнозоркостью, внес предложение дать команду чекистам оцепить зал, провести проверку делегатов, арестовать смутьянов, а самую конференцию считать распущенной. И я, и Иконников, и другие товарищи категорически отвергли такое авантюристическое предложение, которое могло только еще более осложнить и накалить обстановку.

Тут же, расходясь после первого дня работы конференции, мы решили рано утром созвать экстренное совместное заседание бюро губкома и президиума губисполкома для принятия неотложных решений. Все испытывали чувство величайшей ответственности за судьбу Советской власти в городе.

...Вспоминается, как в те горячие дни непрерывно шли заседания бюро губкома или пленума губкома, президиума губисполкома или их совместные заседания, собрания партийного актива и т. п.

На другой день рано утром состоялось экстренное заседание бюро губкома совместно с президиумом губисполкома.

Губернский военный комиссар Ительсон и начальник политотдела Цуккерман пытались всячески снять с себя ответственность за создавшуюся обстановку в гарнизоне. Но вина их была совершенно очевидна: после обсуждения в губкоме вопроса «О настроениях в гарнизоне» они ничего не сделали, чтобы исправить

свои старые ошибки. Нездоровые настроения среди красноармейцев гарнизона усилились, и об этом наглядно свидетельствовали неожиданные результаты прошедшей конференции.

Объективные трудности не могли оправдать преступного невнимания командования гарнизона к элементарным нуждам красноармейцев. Руководители гарнизона явно игнорировали контакты с губкомом и губисполкомом, переоценили свои возможности и способности и не использовали той помощи, которую им в свое время предложили.

Требовалось принимать срочные меры. Предстояло оздоровить обстановку и в казармах и на конференции, которая через два дня возобновляла свою работу.

Решили немедленно обратиться к рабочим города, чтобы, опираясь на их помощь, оказать воздействие на красноармейскую массу гарнизона. Как и всегда, такое обращение встретило самый дружный отклик и поддержку. На заводах подобрали коммунистов, наиболее подготовленных для массовой политической работы. Многих из них направили в казармы вместе с женами, чтобы помочь привести в порядок казарменные помещения, организовать уборку, стирку, застеклить окна, наладить питание, отопление.

Одновременно следовало отобрать хороших, знающих, вдумчивых пропагандистов, которые смогли бы доступно разъяснить красноармейцам нашу позицию, успокоить их и добиться необходимого перелома в их настроениях.

Нам повезло: в те дни в Нижний приехал по делам профсоюза водников председатель ЦК этого союза, член ВЦИК Ищенко, отличный оратор, всегда с большим успехом выступавший на массовых рабочих собраниях и митингах; с ним мы и договорились о выступлении на конференции.

Условились, чтобы он, внимательно всех выслушав, заверил делегатов конференции, что, ознакомившись с положением в местном гарнизоне, он доложит обо всем ВЦИК, который, несомненно, примет нужные меры для улучшения бытовых условий и устранения недостатков в руководстве гарнизона. Мы исходили при этом из того, что сам по себе факт выступления на конференции не местного руководителя, а работника из Москвы, к тому же члена верховного органа Советской власти, может оказать определенное положительное воздействие на делегатов конференции.

Одновременно губисполкому предложили срочно изыскать возможности для улучшения снабжения гарнизона.

Вот что вспоминает о тех днях ветеран нашей партии, бывший балтийский моряк, а позднее видный нижегородский партийный работник Николай Макарович Бусарев:

«Было решено выделить группу коммунистов и комсомольцев и послать их под видом солдат в Тобольские казармы, в которых находилось тогда около 40 тысяч человек.

Казармы тревожно гудели, масса была озлоблена на военных руководителей... Докладчиков из города не пускали и слушать не хотели. Темные элементы, меньшевики и эсеры эту благоприятную обстановку использовали для распространения всех нелепых слухов.

Нам было поручено влиться в эту солдатскую массу, там жить, вести разъяснительную работу. Пришлось свою матросскую форму снять и с трудом подобрать сомнительной прочности и качества армейскую шинель и что-то вроде потрепанных и разных размеров сапог...

Мы при отсутствии дисциплины свободно влились в эту солдатскую массу, ходили — куда хотели, спали — где попало, но свое дело делали: случайно заводили разговоры, в осторожных выражениях не соглашались с мнением тех, кто резко выступал.

Одним словом, нам нужно было работать, как говорится, кропотливо, но в одном направлении.

Принятые губкомом меры способствовали тому, что масса поняла, в чем дело, стала успокаиваться, тем более что масса-то не была антисоветски настроена.

Вскоре в казармы начали приезжать рабочие из Сормова и Канавина прямо с работы, в рабочей одежде. Их солдаты слушали, а это уже хорошо. Постепенно все стало утихать, в нашей работе необходимость отпала, пришлось снова надеть свою матросскую форму и вернуться в Грузинский переулок — в Высшую политшколу, курсантом которой я в то время был».

В те дни проходила «Неделя помощи фронту» — и ежедневно в рабочих клубах и в цехах заводов выступали на митингах члены губкома и губисполкома и другие партийные активисты.

Мне, например, было поручено выступать в сормовском рабочем клубе. Помню, что рабочие-коммунисты горячо откликнулись на призыв пойти в казармы вместе с женами, привести там все в надлежащий порядок: мыть, чистить, ремонтировать водопровод и т. д., а главное, конечно, вести разъяснительную работу среди красноармейцев.

Такие наглядные действенные меры способствовали перелому во взглядах красноармейцев на отношение к ним Советской власти, большевиков. Многих из них удалось нам в ту пору вырвать из-под влияния эсеров и меньшевиков...

Как потом стало известно, сразу же после принятия конференцией резолюции об отказе воевать и роспуске армии Иконников, работавший ранее в ВЧК, послал с комсомольцем Андреем Шохиным тревожное письмо в Москву Дзержинскому. Феликс Эдмундович немедленно сообщил о событиях в Нижнем Ленину, а потом позвонил в Нижегородский губком и спросил, не потребуется ли подкрепление и не прислать ли нам бронепоезд.

Обсудив это предложение, мы решили от него отказаться, понимая, что в создавшихся условиях прибытие к нам бронепоезда могло только подлить масла в огонь, еще больше обострить обстановку и дать возможность эсерам и меньшевикам использовать это в их агитации среди недовольной части красноармейцев за более активные действия против Советской власти.

— Хотя нам и трудно, но ничего, обойдемся своими силами! — заверили мы Дзержинского...

3 ноября зал театра вновь заполнили делегаты гарнизона. Но среди них появились уже и новые делегаты от тех частей, которые не присылали своих представителей на первое заседание, и посланцы заводов, работавшие в казармах.

Как и в первый день конференции, выступали представители от воинских частей, рассказывая о грубом обращении командиров, о муштре... И опять чувствовалось, что кто-то пытается все же направлять эти речи в старое русло: как и на первом заседании, в некоторых выступлениях продолжали звучать требования разоружения и роспуска Красной Армии, вхождения социалистов в правительство, о «свободе» печати и т. п.

«Нижегородская коммуна» в те дни в передовой статье «Лакеи буржуазии работают» очень верно писала: «...Речи о «свободе» печати, о едином «социалистическом» фронте, о вхождении в правительство представителей «социалистических» групп — может быть, кто-нибудь скажет, что это красноармейские речи? Даже абсолютно безграмотный политически человек узнает длинные уши меньшевистско-эсеровского осла».

Однако общая обстановка на конференции была уже не так накалена, как в первый день. Порадовало несколько хороших, деловых выступлений, в которых прозвучали конкретные предложения, как улучшить быт и условия жизни красноармейцев. Среди выступавших — и рабочие, которые поделились своими впечатлениями о посещении казарм и о принятых мерах по улучшению быта красноармейцев.

В настроениях большинства делегатов конференции уже наметился определенный перелом. Мы решили дать возможность высказаться всем, кто хотел выступить: это, несомненно, внесло определенное успокоение.

Заседание продолжалось несколько часов.

Когда все окончательно выговорились, выступил Ищенко. Он передал конференции приветствие от Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, а потом рассказал о политическом и военном положении республики.

В заключение он заявил: «Дорогие товарищи! Обещаю вам передать все высказанное делегатами конференции ВЦИК, который в срочном порядке предпримет меры по уничтожению вопиющих безобразий и наказанию их виновников. Заверяю конференцию, что нужды Красной Армии и всего трудящегося люда близки Советской власти и ее высшим органам — ВЦИК и Совнаркому».

Переждав раздавшиеся дружные аплодисменты, он предложил делегатам принять новую резолюцию взамен той, что рекомендовала «борьбу с врагами вести словами, а не оружием».

После речи Ищенко наметившийся ранее перелом в настроениях делегатов конференции еще усилился: выступившие после него ораторы подвергли критике принятую ранее резолюцию и поддержали предложение Ищенко о принятии новой резолюции. Мы не скрывали радости и аплодировали каждому такому оратору. А из лож, где засели антикоммунистически настроенные вожаки, раздавались враждебные возгласы, свист.

Когда приступили к голосованию новой резолюции, откуда-то из зала в президиум поступила записка без подписи, с поправками явно эсеровского направления.

Красноармейцы зашумели: «Кто предлагает? Пусть выйдет на сцену!»

И тогда около стола президиума появился человек, один вид которого решил исход «поединка». Перед голодными, оборванными людьми стоял некий субъект в шляпе и галошах. Ему не дали сказать ни слова, раздались свист и крики: «Долой! Снимай шляпу! Скидавай галоши!»

Значительным большинством голосов отвергли поправку этого субъекта и приняли предложенную резолюцию (к сожалению, она не сохранилась).

Конференция закончилась поздно вечером пением «Интернационала». Главари провалившихся смутьянов демонстративно сидели при исполнении гимна в шапках, шумели и свистели.

...Сегодня мы победили, но нельзя было успокаиваться: предстояло сделать еще очень многое, чтобы по-настоящему нормализовать положение в гарнизоне.

Верным отрядом Советской власти проявили себя в этих условиях Нижегородские пехотные курсы командного состава РККА, созданные по указанию В. И. Ленина. В эти тревожные дни и ночи курсанты вместе с чекистами охраняли нижегородский кремль. Выполняя указание губкома, они помогали очищать город от активных контрреволюционных элементов, несли круглосуточное патрулирование по улицам.

Накануне праздника трехлетия Октябрьской революции губком направил меня к курсантам с докладом о положении в губернии и гарнизоне.

Меня искренне порадовало, что будущие командиры Красной Армии правильно понимали обстановку в Нижнем. В конце нашего собрания они подготовили воззвание, с которым обратились ко всем войскам гарнизона:

«Мы, курсанты Нижегородских пехотных курсов командного состава, заявляем, что требование прекратить вооруженную борьбу с Врангелем является контрреволюционным. Это предательский удар в спину доблестным защитникам трудового народа, братьям-красноармейцам, льющим кровь на фронтах борьбы с извечными врагами.

Требуя от советских и партийных организаций самого внимательного отношения к нуждам красноармейцев, мы вместе с тем призываем всех честных солдат революции, красноармейцев, рабочих и крестьян не поддаваться внушениям тайных агентов буржуазии и теснее сомкнуть ряды для беспощадной борьбы с последним нашим врагом — черным бароном Врангелем».

Воззвание обсуждалось на митингах в частях гарнизона с участием курсантов, и это содействовало налаживанию дисциплины в войсках.

Через несколько месяцев курсанты снова на деле доказали свою преданность интересам революции: 4-я рота Нижегородских курсов, вызванная в Петроград, успешно участвовала в подавлении контрреволюционного мятежа в Кронштадте.

ПОКОНЧИТЬ С ОТОРВАННОСТЬЮ ГУБКОМА ОТ МАСС!

На следующий день после окончания красноармейской конференции состоялся пленум губкома партии, на котором с информацией о прошедшей конференции выступил Иконников.

Он заявил, что положение в гарнизоне за последний месяц приняло катастрофический характер. Во всех частях не хватает воды, освещения, топлива, продовольствия. Свирепствуют эпидемии. Командование гарнизона, не считаясь ни с чем, допускает грубейшие ошибки. На занятиях красноармейцам «...приказывают выходить босиком, за непослушание — 15 суток ареста, дисциплина палочная, 8 часов строевых занятий и после них политические занятия» [16].

Ошибку, выразившуюся в созыве конференции в таких условиях, Иконников объяснил тем, что он новый работник, а аппарат Горрайкома слабый.

Выступивший на пленуме секретарь губкома комсомола Шохин, обрисовав тяжелое материальное положение гарнизона, заявил, что «...красноармейцы — за Советскую власть, но не в силах выносить своего положения».

Попов объяснил создавшееся положение в гарнизоне, между прочим, тем, что «комсостав сильнее комиссаров, Горрайком слаб».

Критикуя плохое руководство и тяжелое положение дел в гарнизоне, я, как видно из сохранившихся протокольных записей, выступил на пленуме довольно резко, но, понятно, без всяких грубостей и личных оскорблений. Напомнил, что о сложившемся положении в гарнизоне и о возможном контрреволюционном выступлении своевременно предупреждал на заседании губкома начальник особого отдела ЧК Бурцев, но члены бюро губкома недооценили тогда всей серьезности создавшейся обстановки. Принятые решения оказались недостаточными, но и они не были выполнены командованием гарнизона, губком же успокоился на принятии решения и не проверял его исполнения.

Не оспаривая оценку тяжелого положения в гарнизоне, один только Ханов заявил, что «оно такое же, как и во всей республике».

Я выступил против такого заявления как неправильного по существу и замазывающего положение дел у нас на месте. Сказал, что у бюро губкома «отношение к делу халатное и равнодушное», а положение напряженное. В подтверждение этого привел факт, когда на «Сормовском заводе подпольно собиралось меньшевиками до 200 человек. Ниж.-Котельнические рабочие находятся под влиянием эсеров, которые на конференции обнаружили свою полную боевую готовность. Чека указывает на существование подпольных организаций в армии и уездах, все это доказывает, что наши партийные органы оторвались от трудовых масс...» [17].

Главная опасность в том, говорил я, что губком плохо работает. Тот факт, что такая беспартийная конференция созывается под носом у губкома без его ведома, говорит об ошибке не только Горрайкома, но и об отсутствии руководства со стороны губкома. Предлагал покончить с бюрократизмом в работе губкома, его оторванностью от масс, призывал товарищей оздоровить обстановку.

...Вспоминая сейчас все это, хочу сказать, что в тогдашнем губкоме были люди, в общем-то, неплохие, но очень уж неопытные. Они не побывали «в переделках», не прошли школы Октябрьских боев, не пережили особо острых конфликтов и в годы гражданской войны («бунт» на красноармейской конференции — для них первое крупное событие). Поэтому-то они так и растерялись, когда нужно было найти какой-то выход из создавшегося положения.

Но нельзя не признать, что, когда все мы оказались перед лицом реальной

---

[16] ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 12, д. 322, лл. 145—147.

[17] Там же.

опасности, товарищи из губкома проявили необходимую сплоченность и чувство подлинно большевистского локтя.

У большинства из них, казалось, не осталось и следа групповщины. Тут же на пленуме они, например, по своей инициативе предложили «ввиду сложившегося положения» включить Иконникова и меня в состав бюро губкома. Это предложение приняли.

Пленум губкома утвердил предложенную мною резолюцию об общем положении в губернии и гарнизоне, в которой отмечался определенный рост контрреволюционных влияний среди красноармейцев, когда они, «...недовольные и озлобленные своим невыносимо тяжелым положением, очутились под организованным влиянием эсеров и меньшевиков. Нижегородский губернский комитет РКП находит положение опасным и неотложной задачей партийных и советских организаций считает немедленную ликвидацию поднимающей голову контрреволюции...».

В этой резолюции предусматривались меры борьбы с бюрократизмом, формализмом и оторванностью советских и партийных органов от масс, предлагалось особое внимание обратить на улучшение материального положения трудящихся, особенно красноармейцев.

Бюро губкома поручалось «...дать соответствующую директиву и информацию организациям по губернии; поставить в известность ЦК о создавшемся политическом положении губернии; все внимание и все усилия исполкома и других советских организаций немедленно направить на улучшение санитарного и материального положения гарнизона; путем переброски лучших полит- и агитработников усилить политическую работу в гарнизоне за счет уменьшения строевых занятий, улучшения режима в гарнизоне и обуздания зарвавшегося командного состава».

В конце заседания пленум принял даже решение о немедленном сокращении «строевых занятий на два часа, которые переводятся на политическую работу», предложив губвоенкому довести об этом до сведения всех красноармейцев и комсостава гарнизона.

По моему предложению приняли также решение «отстранить военкома, сместить начальника политотдела, сменить часть комсостава, изъять ненадежный, вредный элемент из гарнизона».

Такое решение по тем временам, конечно, необычное и, можно сказать, чрезвычайное. Сместить военкома мог только командующий войсками Запасной армии Гольдберг, но он в тот момент находился в Казани, а сложившаяся у нас обстановка диктовала необходимость принятия срочных мер.

Поэтому президиум губисполкома пошел на этот незаконный с формальной стороны шаг. Новым военным комиссаром назначили Барского, а начальником политотдела — Иконникова.

Смещение губвоенкома по решению нашего губисполкома вызвало резкий протест Гольдберга. Он запретил военкому Ительсону сдавать дела, и тот отказался нам подчиниться.

Тогда я предложил временно арестовать губвоенкома и начальника политотдела, что ЧК и сделала. Принимая такое крайнее решение, мы, конечно, хорошо понимали, что рискуем попасть под трибунал. Но товарищи поддержали меня, решив, что лучше попасть под трибунал, чем бездействовать в такой опасной обстановке...

ЛЕНИН С ПОНИМАНИЕМ ОТНЕССЯ К НАШИМ РЕШЕНИЯМ

Узнав о наших «незаконных» действиях, Гольдберг немедленно обратился с жалобой на нас в Реввоенсовет, ЦК и СТО.

В связи с этим через день в Нижний прибыла из Москвы Чрезвычайная междуведомственная комиссия, которую возглавлял член Реввоенсовета республи-

ки Данишевский [18]. В состав комиссии входили Катанян [19] (от ЦК партии), Резовусский и Плятт (от ВЧК), а также Пузицкий (от Ревтрибунала республики) — люди, облеченные большими полномочиями. Приехал из Казани и Гольдберг.

Выступая на совместном заседании бюро губкома и президиума губисполкома, представитель особого отдела ВЧК Плятт одобрил наши меры: «Товарищ Дзержинский дал мне поручение по возможности сгладить создавшееся положение. Здесь, в Нижнем, велась работа правыми эсерами. Отстранение губвоенкома произвело в частях хорошее впечатление. Мера эта великолепна и на события подействовала благоприятно. Эсеры работают здесь достаточно хорошо и действуют по закордонной инструкции».

Через два дня состоялось совместное заседание губкома, губисполкома и Междуведомственной чрезвычайной комиссии, созванное по поручению ЦК. На этом заседании Данишевский заявил, что комиссия должна выяснить положение в воинских частях, характер работы военных органов, обстоятельства, принудившие нас к принятию исключительных мер, и получить объяснения по поводу этих мер, наметить, как урегулировать в дальнейшем создавшееся положение, и другое.

Что касается бывшего губвоенкома Ительсона, то комиссия, разобравшись и рассмотрев весь имевшийся у нас материал о нем, убедилась, что он «...подлежит отстранению от должности, но арестовывать его не следовало. Надо его освободить и передать в распоряжение командарма». В связи с этим я пояснил, что «...мы не предполагали арестовывать Ительсона и сделали это только потому, что он отказался от сдачи дел, что действовало дезорганизующе».

Далее Данишевский сказал, что по всем поставленным им вопросам присутствующие на совещании обязаны дать детальные ответы, которые послужат основанием для решения вопроса, «правильны или неправильны постановления губкома и губисполкома».

Данишевский поделился с нами своими предварительными впечатлениями от посещения казарм: «В казармах нет стекол, нет освещения, на нарах нет тюфяков. Помещение не отапливается. Суп — почти одна вода, картошка кладется туда в неочищенном виде. Очевидно, здесь имеют место хищения». Еще более ярко говорил обо всем этом Катанян: «Мне приходилось видеть каторжные тюрьмы, ночлежные дома, но таких условий, какие здесь в казармах, никогда не видел».

Чрезвычайная комиссия изучала обстановку в Нижнем несколько дней, ежедневно встречаясь с партийным и советским активом, и отбыла в Москву.

Не скрою, переживали мы все это время довольно тяжело. И успокоились только после того, как узнали, что в результате комиссия не только не предала нас суду, но и оправдала все наши действия. А вскоре мы узнали, что и Владимир Ильич с пониманием отнесся ко всем нашим вынужденным действиям: этому все мы искренне обрадовались.

Через несколько дней губком снова вернулся к рассмотрению вопроса о гарнизоне. Заслушали доклады Барского и Иконникова, которые отметили общее улучшение положения в гарнизоне. Лишь в отдельных воинских частях, особенно

---

[18] На Лондонском съезде Карл Данишевский был избран в члены ЦК партии. В первые месяцы мировой войны 1914 года за агитацию против войны был арестован и сослан в Сибирь. Бежал за месяц до Февральской революции. Во время гражданской войны был членом РВС и комиссаром Восточного фронта. В Советской Латвии был заместителем Председателя Совнаркома. В последующем — председатель Внешторгбанка, затем председатель правления общества Экспортлес. На этой должности я его встретил и ближе с ним познакомился уже будучи наркомом внешней торговли. Он неоднократно избирался в состав ВЦИК и ЦИК СССР.

[19] Катанян Рубен Павлович (1881—1966), вступив в партию в 1903 году, развернул активную революционную работу, за что неоднократно попадал в тюрьмы и ссылки. В 1919 году работал начальником Политотдела Главного политического управления Красной Армии, а в 1920—1921 годах — заведующим отделом агитации и пропаганды ЦК РКП(б). Затем — на дипломатической работе в Берлине. Несколько лет был на руководящей работе в Прокуратуре СССР, занимался научно-публицистической деятельностью.

в 60-м полку и 4-м инженерном батальоне, обстановка продолжала еще оставаться напряженной.

На этом же заседании губкома Кремницкий сообщил, что ввиду отзыва из Нижнего Храмова и его, Кремницкого, а также в связи с тем, что член бюро Челышев как член Контрольной комиссии должен работать в Москве, надо избрать новый, постоянный состав бюро губкома.

Он назвал кандидатуры Ханова, Козина, Микояна, Попова и Жеханова. Первых трех избрали единогласно, Попов — при двух, а Жеханов — при пяти воздержавшихся. К моему огорчению, выдвинутую мной кандидатуру Иконникова отклонили восемью голосами против двух: и на этот раз сработала, видимо, старая групповщина. Секретарем губкома избрали Попова. Лично мне казалось тогда, что из всех местных он наиболее развит в политическом отношении: вел он себя активно и пользовался определенным авторитетом среди населения. Впоследствии, правда, пришлось в нем разочароваться, но это произошло уже много позже...

...Вскоре вернувшийся из Москвы Ищенко рассказал на бюро губкома о результатах своей поездки в Москву.

«Я доложил Совету Обороны о создавшихся настроениях в Нижнем. Ленин отнесся к этому вопросу серьезно. Отношение Троцкого — не сочувственное. Сделал я доклад и секретарю ЦК Крестинскому. Все это оказало влияние на выезд в Нижний комиссии Данишевского. Все было уже предрешено, поскольку Ленин не возражал против действий местных органов. В настоящее время,— заявил Ищенко,— дело, по-видимому, закончено».

Да, дело было закончено еще и потому, что и Гольдберг, увидев все на месте собственными глазами, неожиданно для нас тут же предал суду трибунала почти все прежнее руководство гарнизона. Через полтора месяца выездная сессия Реввоентрибунала республики приговорила их к различным срокам заключения.

Жизнь гарнизона постепенно налаживалась. Мы мобилизовали из партийной организации группу молодых коммунистов, включили их в политический аппарат гарнизона, и они относительно скоро наладили работу в частях. Значительно усилил свое влияние среди красноармейцев и новый политотдел. Одновременно были приняты меры для оказания хозяйственной помощи гарнизону. В результате всех этих мер назревшая опасная ситуация была ликвидирована.

Уже много позже узнали мы о любопытном факте.

Оказывается, за несколько дней до тревожных событий в нашем гарнизоне некоторые белогвардейские газеты, выходившие за рубежом, уже сообщали о военном мятеже в Нижнем Новгороде и о создании там эсеровского правительства.

Видимо, очень уж этого им хотелось! Но, как бывало уже не раз, они проявили чрезмерную поспешность и попали впросак.

По существу, события, происходившие в Нижнем осенью 1920 года, отражали контрреволюционные «кронштадтские» настроения, уже тогда назревавшие в ряде районов и через четыре-пять месяцев вылившиеся в известный кронштадтский мятеж, который начался под лозунгом «Советы без большевиков!».

Нарастание таких настроений своевременно не учли партийные организации ни в Нижнем Новгороде, ни в Кронштадте. Но в Нижнем они начались не с организованного мятежа, а с выражения резкого недовольства, с которым нам удалось справиться, не допустив дальнейшего неблагоприятного развития событий. В Кронштадте же эти настроения, вовремя недооцененные местной партийной организацией, вылились в открытый контрреволюционный мятеж, который пришлось ликвидировать силой оружия. Но именно там, в Кронштадте, меньшевики и эсеры окончательно разоблачили себя как пособников белогвардейщины и иностранного империализма.

Оглядываясь сегодня на события осени 1920 года, я с благодарностью вспоминаю рабочих-большевиков и молодежь Сормова и Канавина: именно их стойкостью и революционной сознательностью был погашен назревавший в Нижнем

контрреволюционный мятеж. Ни на одном заводе не нашли тогда поддержки призывы меньшевиствующих агитаторов о «Советах без большевиков». Нижегородские рабочие твердо стояли за свою родную Советскую власть...

ДИСКУССИЯ О ПРОФСОЮЗАХ

Широко известно, что перед X Всероссийским съездом РКП Троцкий, упорно рвавшийся к власти, навязал нашей партии дискуссию о профсоюзах. Выступая на фракции коммунистов V Всероссийской конференции профсоюзов (ноябрь 1920 года), он бросил там фразу о необходимости «перетряхнуть профсоюзы», потребовал их «огосударствления», милитаризации, ссылаясь на опыт руководства находившегося под его влиянием (он был в ту пору и наркомом путей сообщения) профсоюза транспортных рабочих и его ЦК (Цектран).

Как стало выясняться в процессе обостренной внутрипартийной борьбы, политический смысл выступления троцкистов состоял в том, чтобы, воспользовавшись трудностями, переживаемыми тогда нашей страной, вызвать в партии кризис и добиться, чтобы партия выбрала его, Троцкого, линию, отвергнув тем самым ленинскую линию развития.

Начатая Троцким борьба оживила оппортунистов всех мастей, и вскоре ленинской линии в профсоюзном движении было противопоставлено уже несколько политических платформ: Троцкого и Бухарина (сперва раздельно, а потом и вместе), «рабочей оппозиции», группы «демократического централизма» и некоторых других.

В своей книге «Мысли и воспоминания о Ленине» я довольно подробно рассказал об этом тяжелом и поучительном периоде в истории борьбы нашей партии с троцкистами — за ленинскую политику, за ленинский курс нашего развития.

Борьба охватила тогда всю нашу партию. Дискуссия проходила повсеместно. Наиболее остро — в Москве, на Урале, у нас, в Нижнем...

В январе 1921 года Ленин выступил в «Правде» со статьей «Кризис партии», характеризуя положение в партии как очень тяжелое, крайне напряженное. «Надо иметь мужество смотреть прямо в лицо горькой истине,— писал Ленин.— Партия больна. Партию треплет лихорадка...»

Уже в конце ноября и в декабре 1920 года троцкисты и представители «рабочей оппозиции» начинают продвигать свои идеи среди нижегородских коммунистов.

27 ноября на общем собрании коммунистов Городского района обсуждался вопрос «Профсоюзы и их задачи». С довольно путаным докладом, отражавшим, по существу, анархо-синдикалистские идеи «рабочей оппозиции», выступил Ищенко, о котором очень метко сказал тогда в прениях Шмонин: «Речь Ищенко есть отчасти доводы меньшевика и отчасти анархо-синдикалиста» [21]. Другой оратор (Жуховицкий) всячески ратовал за военный метод и контроль, против чего категорически возражали в своих выступлениях и я и Хонин, доказывая, что «...метод военный не годится для промышленности» [22].

В декабре у нас произошла серьезная схватка с троцкистами на партийном собрании Берегового района, а в той же Городской организации предпринял идейную вылазку представитель «рабочей оппозиции» член бюро губкома Козин, который, выступая после моего доклада, настаивал на том, чтобы все руководящие посты в органах управления промышленностью и транспортом заняли представители профсоюзов и чтобы профсоюзы давали директивы, а совнархозы их выполняли... Но коммунисты не пошли за Козиным: они поддержали основные положения доклада о том, что управлять производством должны органы Советской

[20] А. И. Микоян. Мысли и воспоминания о Ленине. М. Политиздат. 1970, стр. 101—129.
[21] ПАГО, ф. 32, оп. 1, д. 139, л. 29.
[22] Там же.

власти при самом ближайшем участии профсоюзов, причем и те и другие — под руководством РКП.

Особенно активизировалась «рабочая оппозиция» в Сормове. Среди тех, кто подписал их платформу, был и директор Сормовского завода Чернов[23], которого поддерживали секретарь партийной организации Егоров, председатель завкома Серов и другие члены райкома.

В середине января я выступал перед сормовскими коммунистами с докладом о VIII Всероссийском съезде Советов. Рассказал, как съезд обсуждал задачи восстановления народного хозяйства страны, перехода к мирному строительству, о плане электрификации России. Большое внимание уделил дискуссии о профсоюзах на собрании коммунистической фракции VIII съезда; особенно подробно передал выступление Ленина и его позицию в этом вопросе.

Меня удивило, что выступившие в прениях председатель завкома профсоюза Серов и другие ораторы излагали главным образом взгляды «рабочей оппозиции» на роль профсоюзов, принижающие значение Советов и роль партии.

В резолюции, принятой на собрании единогласно (при трех воздержавшихся), говорилось: «Заслушав доклад о работе VIII Всероссийского съезда Советов, общее собрание Сормовского района РКП постановляет: всеми силами стараться проводить в жизнь все его постановления». Однако следующая фраза хотя и отражала характер некоторых выступлений, тем не менее явилась неприятной неожиданностью: «...В отношении же группировок линию поведения «рабочей оппозиции» считаем правильной и впредь будем поддерживать ее» [24].

Конечно, я понимал, что эта фраза появилась в резолюции главным образом в результате недостаточно критического отношения сормовичей к внешне привлекательным, а по сути глубоко демагогическим выступлениям местных оппозиционеров. Было ясно и то, что шляпниковцы, используя свои давние личные связи со многими сормовичами, неплохо обработали здесь еще до собрания в нужном для себя направлении довольно значительную группу коммунистов Сормова.

Надо сказать, что в то время дискуссия находилась в самой начальной стадии. Наши ведущие партийные активисты, агитаторы и пропагандисты, недостаточно еще глубоко ознакомленные в деталях с сущностью идейных разногласий партии с оппозицией, только начинали втягиваться в дискуссионную борьбу.

Помню, как сам я тяжело переживал тогда нашу неудачу на собрании в Сормове. Мне все казалось, что как докладчик я что-то недоучел и поэтому не сумел убедительно и до конца разоблачить на этом собрании всю фальшь и антиленинскую сущность «рабочей оппозиции»...

Как же изменить все эти нездоровые настроения среди сормовичей? Как вырвать их из-под влияния шляпниковцев?

Не могли же мы оставаться спокойными в то время, когда крупнейший рабочий центр города оказался фактически в руках «рабочей оппозиции»!..

Надо было немедленно приниматься за подготовку нового дискуссионного собрания в Сормове. Кому же поручить подготовку такого собрания? — вот вопрос, над которым все долго ломали головы, пока не сошлись на кандидатуре Иконникова [25].

---

[23] Чернов — из русских интеллигентов, эмигрировал из России при царе и вернулся обратно после Февральской революции из Латинской Америки. Производил впечатление человека политически подготовленного, образованного. Выступал толково, аргументированно, хотя подчас и демагогично.

Администратором и хозяйственником он был, несомненно, способным и, по моим наблюдениям, неплохо справлялся с обязанностями директора такого крупного завода, как Сормовский.

Анархо-синдикалистские взгляды он привез в качестве «багажа» из Латинской Америки, где участвовал в рабочем движении.

Критикуя его принципиальную позицию, я, в частности, старался делать это так, чтобы не подорвать его авторитета как директора завода. Тем более не было у нас тогда никаких оснований и намерений добиваться его снятия с этого поста за допускаемые ошибки.

[24] ПАГО, ф. 34, оп. 1, д. 237, л. 51.

[25] В настоящее время Н. И. Иконников — персональный пенсионер, живет в Москве.

В ту пору Иконников был секретарем Городского райкома, держался правильной партийной линии, в его районе дело обстояло благополучно. До революции Иконников вел партийную работу в Сормове и имел там широкие связи с рабочими. Поэтому мы сговорились, чтобы он на несколько дней перебрался в Сормово и, не обращая на себя внимания оппозиционно настроенного руководства, побывал на квартирах знакомых ему старых большевиков-рабочих, разъяснил им положение в партии и подлинный смысл дискуссии. Он должен сказать им прямо, что Троцкий противопоставляет себя Ленину. Хотя троцкистов в Сормове нет, но здесь заправляют шляпниковцы, а это одного поля ягоды. Если победит платформа Троцкого или Шляпникова и потерпит поражение ленинская платформа, то будет нанесен непоправимый удар руководству партии и Ленин окажется в немыслимо трудных условиях работы. Вот какой вопрос решается в этой лишь по видимости «профсоюзной» дискуссии. Каждый рабочий-большевик должен побеседовать в этом духе с близкими товарищами по партии, чтобы они на дискуссионном собрании района голосовали за Ленина и его платформу, против Шляпникова и его анархо-синдикалистской платформы.

Как информировал вскоре Иконников, его беседы с рабочими давали весьма благоприятные результаты.

Собрания в ячейках Нижнего Новгорода проходили почти ежедневно. Сторонники Шляпникова вели яростную травлю и борьбу против тех, кто активно защищал платформу Ленина. В частности, мишенью для нападок выбрали, кроме нас с Иконниковым, одного из старейших в организации членов партии, участника революционного движения в годы подполья, неоднократно избиравшегося в губком, а также и делегатом на партийные съезды,— Андрея Ивановича Таганова, о котором я уже писал, вспоминая первые дни в Нижнем. Тогда Таганов занимал пост руководителя губернского отдела народного образования, с работой хорошо справлялся, но руководство губкома — по соображениям исключительно групповым — решило его с этого поста снять. Усиленные нападки на него начались в разгар дискуссии о профсоюзах, когда он настойчиво защищал ленинскую линию и стал в этой острой схватке оппозиционерам и групповщикам, как говорится, поперек горла.

В середине января на собрании в Городском районе «всплыл» вопрос о Таганове. Коммунистов, прежде всего из ячейки губнаробраза, волновало, почему губком принял решение отозвать Таганова с его поста. Присутствовавшие на собрании члены губкома Козин, Савельева и Воробьев отстаивали решение губкома. Иконников же (тоже член губкома) заявил, что вопрос о Таганове — это общий вопрос о той нездоровой системе подбора кадров, которая существовала в губернии.

Поскольку в губкоме я выступал против снятия Таганова, то и здесь, на собрании, в ходе дискуссии перед губернской конференцией счел вправе сказать, что «...Таганова «терпели» три года, а вот перед губконференцией не могут больше терпеть... Даже его доклада не могли выслушать, так срочно нужно было его сменить. Самое скверное заключается вот в чем. Те самые товарищи, которые на фракции съезда Советов играли роль «рабочей оппозиции», на собраниях разливаются в сочувствии к «рабочей демократии», а на практике проводят противоположную политику. Например, Ханов и Козин — там они «рабочая оппозиция», а в этом вопросе где их демократия? Этого терпеть больше нельзя, все имеет границы! Необходимо изменение всей системы, которую проводит господствующая в губкоме группа» [26].

Большинством голосов (при 12 против и 8 воздержавшихся) коммунисты Городского района приняли резолюцию, в которой было сказано: «1) считать, что губком и губисполком при отзыве Таганова руководствовались соображениями групповых интересов в связи с предстоящей губпартконференцией; 2) что, только окончательно ликвидируя личные группировки, можно найти верный путь к оздо-

[26] ПАГО, ф. 1, оп. 1, д. 1194.

ровлению партии; 3) общее собрание полагает, что XI губпартконференция положит конец личным группировкам и 4) общее собрание настаивает на пересмотре вопроса об отзыве Таганова» [27].

Коммунисты Городского района горой встали на защиту старого большевика, активного пропагандиста ленинской платформы и добились полного успеха. (Забегая вперед скажу, что вскоре Таганова избрали делегатом на губернскую партийную конференцию, а затем и делегатом на X съезд РКП.)

Через несколько дней я выступал на пленуме Сергачского уездного комитета с докладом о работе фракции VIII Всероссийского съезда Советов, о речи Ленина по вопросам дискуссии. Участники пленума целиком поддержали ленинскую платформу.

В конце января состоялся расширенный пленум губкома с участием секретарей райкомов и укомов, на котором заслушали и обсуждали доклад «О текущем моменте и задачах X съезда партии».

Подробно рассказав о повестке дня предстоящего съезда партии, особое внимание я уделил в этом докладе дискуссии о профсоюзах, выразив надежду, что, поддержав на X съезде ленинскую «платформу десяти», партия выйдет из кризиса крепкой и единой.

Этот доклад должен был ориентировать в сложившейся обстановке секретарей районных и уездных комитетов. Выступавший на пленуме Сенцов так и отметил: «Доклад Микояна я считаю попыткой дать канву пленуму, предстоящим уездным конференциям и губернской конференции для обсуждения вопросов, стоящих на повестке дня...» [28].

Резолюции по докладу никакой не принималось. Характерно, что при его обсуждении ни один представитель троцкистов или «рабочей оппозиции» открыто не выступил, хотя по некоторым речам трудно было определить, какой позиции придерживается оратор...

Председатель губисполкома Ханов, например, в весьма витиеватой форме заявил о своем критическом отношении к тезисам Троцкого по вопросу о демократии, а также к тезисам Бубнова и других. Но он совершенно не коснулся «рабочей оппозиции» (то есть своих друзей по губкому) и ни слова не сказал о своем отношении к ленинской «платформе десяти».

Председатель совнархоза Воробьев, один из активных участников местнической группировки, коммунист весьма грамотный, умудрился даже в своем довольно растянувшемся выступлении не коснуться вообще ни одной из платформ, очень туманно рассуждая о том, что на Западе «идет не революционный путь, а эволюционный. У нас же чувствуется известная революционность, когда в России нужна эволюционность в подходе к вопросу хозяйственного строительства... По отношению к союзам также необходимо применить эволюционность» [29].

Иконников со всей страстью обрушился на ту часть платформы «рабочей оппозиции», в которой давались широковещательные обещания всяких непосильных в то время для страны «благ» — бесплатных обедов, квартир, обуви, одежды и т. п... «Мало об этом сказать в тезисах и приобрести сочувствие в массах,— говорил он,— надо с д е л а т ь. А пока мы не выйдем из продовольственного кризиса, эти слова останутся пустым звоном, и нечего указывать это в тезисах о профсоюзах. Это игра на простой демагогии. Ленин говорит, что в таких вопросах не нужно верить на слово. Кто верит на слово, тот безнадежный идиот. Кто подписывал эти тезисы? — Шляпников, подписал и Челышев, Ханов и Козин присоединяются к ним здесь» [30].

Когда через несколько дней на специальном заседании губкома обсуждался вопрос о «выявлении точки зрения членов губкома по вопросу о роли профсоюзов», Ханов и Воробьев вдруг неожиданно заявили, что они присоединяются к сторонникам «платформы десяти»!

---

[27] Т а м ж е.
[28] Т а м ж е.
[29] Т а м ж е.
[30] Т а м ж е, д. 1197.

На расширенном пленуме губкома обсуждался также отчет губернского комитета. При обсуждении этого отчета руководство губкома, особенно его ответственный секретарь Попов, было подвергнуто беспощадной критике в выступлениях работников районных и уездных организаций.

Думаю, что яркой характеристикой Попова как коммуниста служит его собственное выступление на том же заседании губкома, где выявлялась позиция каждого члена губкома в дискуссии. Вот что он тогда сказал: «Я определенной точки зрения не выявил ввиду недостатка свободного времени, которое мог бы посвятить ознакомлению с выдвигаемыми платформами, но поскольку близко мог ознакомиться с таковыми, то более всего симпатизирую «рабочей оппозиции», хотя не говорю, что на таковой останавливаюсь окончательно, и возможно, что после подробного ознакомления придется изменить, остановиться на другой какой-либо платформе» [31].

В этих словах — он весь со всей его идеологической путаницей и неустойчивостью, с его симпатиями к «рабочей оппозиции». И такой человек волею случая оказался на посту ответственного секретаря губкома!

Очень бурно проходило обсуждение отчета губкома на пленуме. Почти все выступавшие говорили о вреде личных группировок в руководстве губкома. «Отдельные члены губкома,— возмущался представитель Городского района Гинзбарг,— больше думают о власти, чем о работе...» [32]. Его поддержал приехавший из дальнего уезда Головин, заявивший, что «...миллионное население уездов оставлено без руководства, в верхах только интриги...» [33]. Об этом же говорили работники Выксунского, Борского, Княгининского и других райкомов и укомов партии, то есть представители организаций, поддерживавших платформу Ленина и недовольных деятельностью в губкоме сторонников «рабочей оппозиции».

Какую же резолюцию примет пленум? Сенцов предложил — резкую, вскрывающую существо взаимоотношений в губкоме. Представитель «рабочей оппозиции» из Сормова Егоров зачитал текст резолюции, в которой сглаживались все острые углы.

С чем выйдет губком на конференцию? 15 голосов подано за резолюцию Сенцова, 8 — против, четверо воздержались.

Резолюция отмечала, что губернский комитет РКП не являлся руководящим партийным органом; местные партийные организации оказались предоставленными самим себе; личные группировки в губкоме деморализующе влияли на всю организацию. Единственной мерой оздоровления нижегородской организации, говорилось в резолюции, являются выборы нового состава губкома на предстоящей партийной конференции [34].

Уже после принятия резолюции поднялся председатель совнархоза Михаил Воробьев. «Что касается группировки,— сказал он,— то часть товарищей, как Иконников и Микоян, выступают как определенная группа и часто мелочами затягивают работу, сводят ее к мелочам, и губком был не прав, не желая задавить эту мешающую работать группу...» [35].

На это я возразил: «Мы действительно вели себя как группа, но на принципиальной почве, борясь с тем, что принципиальное расхождение отодвинуто в сторону и верхи объединены личными интересами. На заседаниях молча принимались из личных соображений предложения тех или иных членов губкома. Я против личных группировок» [36].

Закончился пленум губкома. Но предстояли еще решающие собрания в уездах и районах, где должны голосоваться платформы и выбираться делегаты на губернскую конференцию. Именно туда — после пленума — перенеслась фракционная борьба.

---

[31] ПАГО, ф. 31, оп. 1, д. 1197, л. 16.
[32] «Известия Нижегородского губкома РКП(б)», 1921, № 1, стр. 30.
[33] Там же, стр. 31.
[34] См. там же, стр. 33.
[35] Там же, стр. 34.
[36] Там же, стр. 35.

Бороться за ленинскую платформу приходилось на собраниях и в ячейках, в цехах, в беседах с рабочими.

Еще в конце января на общем собрании коммунистов Берегового района секретарь райкома Яркин агитировал за позицию Троцкого; от «рабочей оппозиции» выступал Максимов. Зал гудел, бурно реагируя на каждое выступление. При голосовании за ленинскую платформу подано 57 голосов, за «рабочую оппозицию» — 56, а троцкистов поддержали лишь 19 человек [37].

Не очень утешительные результаты, но все-таки победа!

Через несколько дней коммунисты Борского района признали правильными тезисы «платформы десяти». Радостная весть пришла из промышленного центра Выксы: секретарь райкома Карклин сообщал, что большинство коммунистов поддержали ленинскую платформу.

В феврале на заседании губкома при обсуждении вопроса о тяжелом положении, создавшемся в нижегородской организации, выступил председатель губисполкома Ханов и, обвиняя Оргбюро ЦК в «неправильном отношении» к Нижегородскому губкому, предложил обратиться в Политбюро ЦК с просьбой разобраться в создавшихся «ненормальных» взаимоотношениях между губкомом и Оргбюро, отдельные члены которого, по его словам, повинны в происходящей «склоке» в губкоме, а учитывая предстоящую губпартконференцию — просить ЦК прислать в Нижний члена ЦК для руководства проведением этой конференции. К выступлению Ханова присоединился Жеханов, заявив, что Оргбюро ЦК неправильно и непродуманно вырывает у нас ценных работников, посылая их в разные города, а к нам направляет других.

В ходе обсуждения этого вопроса высказали предложение послать в Москву Ханова и меня — представителей двух «крайних течений» в губкоме — для информации ЦК о создавшемся положении.

Я возразил против такой поездки, предложив ограничиться обычной посылкой в ЦК протоколов наших заседаний для ознакомления с нашими разногласиями, но при этом заявил, что готов поехать вместе с Хановым в Москву с конкретным предложением — просить ЦК прислать к нам работников на посты председателя губисполкома и ответственного секретаря губкома, если, конечно, губком с этим согласен.

Большинство членов губкома с этим предложением не согласились, и вопрос о поездке отпал. К тому же через несколько дней должна была открыться наша очередная губернская партийная конференция, которая сама могла разобраться и решить все назревшие вопросы.

Думаю, что особое «возбуждение» Ханова и некоторых других членов губкома было вызвано тогда главным образом тем обстоятельством, что в начале февраля к нам с командировкой ЦК прибыл Тер (Тер-Егизарян) — для работы в президиуме губисполкома. Его приезд оказался для всех полной неожиданностью. Никто из губкома такого работника в ЦК не запрашивал. Сам я услышал эту фамилию впервые и, естественно, заинтересовался, что это за человек.

Мы познакомились. Тер рассказал, что был до этого председателем Орловского губисполкома, откуда ЦК недавно отозвал его и направил к нам в Нижний. В аппарате ЦК ему сказали, что после отзыва из Нижнего Молотова на пост председателя Нижегородского губисполкома был намечен Залуцкий. Но поскольку тот категорически отказался от этого предложения, вопрос о Залуцком отпал. Тогда Теру и предложили в ЦК занять этот пост, поскольку Ханов, по мнению Оргбюро ЦК, не справляется с руководством в Нижегородском губисполкоме.

...Как-то я пригласил Тера к себе домой. До этого он говорил, что хочет о чем-то посоветоваться, что привез с собой какую-то политическую литературу, которую ему дали в Секретариате ЦК, чтобы доставить ее в Нижний. Заинтересовавшись, я попросил его захватить с собой эту литературу, чтобы познакомиться с ней.

[37] ПАГО, ф. 31, оп. 1, д. 171, л. 10.

Он пришел и принес обещанные материалы. Вижу — сплошь троцкистская литература: речи Троцкого, Бухарина и других оппозиционеров.

Я возмутился:

— Зачем вы привезли с собой все это добро? Чтобы распространять здесь, в нашей организации? Вы что — троцкист?..

Тер — человек спокойный и уравновешенный. Выслушав меня, он сказал:

— Послушайте, Микоян, никакой я не троцкист!

— Как же,— перебил я его,— не троцкист?! А зачем же вы привезли эту троцкистскую литературу?.. Вы за кого выступаете в дискуссии?..

— Эти книги,— ответил Тер,— мне дали в аппарате ЦК по распоряжению секретаря ЦК Крестинского, который мне их рекомендовал во время беседы. Поэтому я их и привез. А распространять их я не собирался... Ведь иначе зачем же мне нужно было вам об этом сообщать? Я и сам хотел вам показать, что я получил в ЦК... Что же касается дискуссии, то выступал я в ней всего один раз, и, как ни странно, за Троцкого...

Такое заявление меня окончательно взорвало. Помню, я наговорил Теру массу резкостей. Но он все это спокойно выслушал, а потом сказал:

— Я вас понимаю. Но выслушайте меня, не возмущайтесь. Потому что, повторяю, я не троцкист!.. Дело было так,— начал свой рассказ Тер.— Как вы знаете, я был председателем Орловского губисполкома. Секретарем губкома партии в Орле работает Ломинадзе. Мы с ним в хороших, доверительных отношениях. Как-то он говорит мне: «Знаешь, Тер! Что-то мне не нравится — уж больно спокойно живем мы здесь, в Орле! Во всех губерниях идут жаркие дискуссии, оживленные партийные споры... Выступают — кто за «платформу десяти», кто за Троцкого, кто за «рабочую оппозицию», кто за Сапронова... А у нас в Орле — неизвестно кто за кого... Нет у нас никаких споров, никаких дискуссий... И получается — вокруг все кипит, партийная жизнь бьет ключом, а у нас — мертвечина... Давай,— предложил мне Ломинадзе,— организуем диспут. Я выступлю за ленинскую позицию, а ты за Троцкого. Посмотрим, что получится! Во всяком случае, будет хоть какое-то оживление, да и польза для воспитания коммунистов». Мне все это показалось очень заманчивым, я и согласился выступить,— продолжал Тер.— Ломинадзе говорил хорошо, убедительно. Подавляющее большинство высказалось за ленинскую позицию, за Троцкого — ничтожное меньшинство. Что же касается лично меня, то я — убежденный сторонник ленинской платформы и в нашей «дискуссии» с Ломинадзе только объективно изложил троцкистскую платформу...

Вся эта история с «диспутом» Тера и Ломинадзе выглядела как-то очень странно, по-детски наивно, и, честно говоря, вначале я не поверил Теру.

Но он так долго и усердно убеждал меня, что в конце концов я поверил в искренность его слов. Да и Ломинадзе, которого я потом встретил на X партийном съезде, подтвердил, что все у них так и было. Помню, мы оба от души посмеялись над этой забавной историей с их «диспутом»...

Что же касается троцкистской литературы, которую привез с собой Тер, то дело выглядело, очевидно, следующим образом: тогдашний секретарь ЦК партии Крестинский, сам примыкавший к троцкистам, узнав, видимо, из орловских протоколов, что Тер «выступал» в Орле за платформу Троцкого, без должной проверки этого факта по существу, направил Тера в Нижний, рассчитывая усилить у нас группу троцкистов, но... просчитался.

Тер проявил себя политически преданным, опытным и весьма трудолюбивым руководящим работником: после VIII губернского съезда Советов его избрали председателем нашего губисполкома.

В середине февраля проходило общее собрание Канавинской партийной организации. Мы знали, что железнодорожники этого района находились под сильным влиянием «рабочей оппозиции» и были фракционно сплочены. Поэтому туда направились несколько членов губкома — сторонники «платформы десяти». Достаточно сказать, что, кроме меня, на этом собрании отстаивали точку зрения

Ленина член бюро Жеханов, а также Таганов, Тер и Машковцев. Интересным было выступление рабочего Захарова, который защищал «платформу десяти», указывая при этом, что еще недавно он поддерживал «рабочую оппозицию», но потом, «...хорошенько разобравшись во всех этих группировках, перешел на сторону группы Ленина...» [38].

«Рабочая оппозиция» тоже двинула в Канавино мощные силы. Доклад от них делал приехавший из Сормова опытный демагог Чернов, а выступали губернские работники Столбов, Григорьев, Максимов и член бюро губкома Козин (выходец из канавинской организации, пользующийся среди местных рабочих большим влиянием). Правда, в силу своей недостаточной подготовленности Козин пытался объединить обе платформы, предлагал «принять теоретические основания в тезисах «десяти» и практические указания в группе «рабочей оппозиции» за основу» [39].

Началось голосование. 81 голос — за «рабочую оппозицию», 27 человек поддержали «платформу десяти» и два голоса получили троцкисты [40].

Это было нашим поражением. В чем же дело? А в том, что связи с партийными массами в Канавине у нас оказались слабые, а подготовительную работу в ячейках мы провести не успели. Что же касается шляпниковцев, в частности Челышева и Козина, то они в канавинской организации имели давние связи и пользовались в этом районе влиянием. Главную роль в ходе общего собрания сыграла многочисленная и спаянная организация железнодорожного участка, стоявшая на платформе «рабочей оппозиции». Не случайно, что даже после X съезда партии (вплоть до XI съезда) железнодорожники упорно поддерживали группу Шляпникова.

Через несколько дней проходило общее собрание в Сормове. Нам необходима была во что бы то ни стало победа ленинской линии в этом рабочем районе, чтобы уверенно чувствовать себя на губернской конференции.

На собрании в Сормове сторонники Шляпникова не сомневались в своей победе и вели себя весьма самоуверенно. Мы были полны надежд и сомнений, хотя очень волновались, но не подавали виду... Пожалуй, больше всех нас волновался тогда Иконников. Ведь он наш главный организатор подготовки дискуссии в Сормове. Уже несколько дней он не вылезал отсюда: ходил по квартирам старых коммунистов, беседовал с ними, разъяснял, убеждал... И на самом собрании он сидел в самой гуще сормовских рабочих-коммунистов...

После докладов от «рабочей оппозиции» и от троцкистов, выступая докладчиком от сторонников «платформы десяти», я старался говорить попроще и подоходчивей, сознательно обостряя суть разногласий. Для большей убедительности опирался на примеры из местной жизни Сормова, ставя задачей разбить критику партии оппортунистами и разоблачить их лживые демагогические обещания быстро и резко улучшить жизнь рабочих, если победит их платформа.

Припоминаются два момента, которые произвели определенное впечатление на рабочих и встретили одобрение большинства присутствовавших. Я говорил примерно так.

Сторонники платформы Шляпникова хотят здесь доказать, будто тяжелые условия, в которых работает и живет рабочий класс, есть результат неправильной линии и плохого руководства со стороны партии и Ленина. Но кому из вас не ясно, что корни наших трудностей надо искать в последствиях длившихся семь лет разорительных империалистической и гражданской войн и в вызванной ими хозяйственной разрухе? Под руководством Ленина война закончилась сокрушительной для врагов победой Советской власти. Разбиты и изгнаны из пределов России могущественные империалистические интервенты, которые были куда сильнее нас. Разбита вдребезги внутренняя контрреволюция помещиков и капиталистов.

[38] ПАГО, ф. 35, оп. 1, д. 215, л. 5.
[39] Там же.
[40] Там же.

Какое же может быть сомнение в том, что в условиях завоеванного мира мы под испытанным уже ленинским руководством с таким же успехом преодолеем переживаемые трудности и построим социализм?

Напрасно оппортунисты по всей стране из кожи лезут вон, пытаясь убедить, будто выход из создавшихся трудностей возможен лишь при победе платформ Троцкого или Шляпникова и смене руководства партией и страной. Сормовские рабочие не поддадутся этому обману и станут стеной за Ленина, за его политическую платформу. Это встретило бурное одобрение.

И другое. Говоря о демагогических обещаниях, записанных в платформе «рабочей оппозиции», я зачитал пункт, в котором оппозиционеры утверждали, что они, как только победят. «проведут трамвай к рабочим поселкам». Позвольте, говорил я, спросить сторонников этой платформы, Челышева — самого влиятельного члена губкома партии, подпись которого в платформе красуется вслед за подписью Шляпникова, и Чернова — директора сормовского промышленного гиганта, чья подпись также украшает эту платформу: кто же мешал вам до сих пор, стоя у власти в губернии и на заводе, провести трамвай из города до Сормова? Ведь это было в пределах ваших прав и обязанностей! Может быть, Ленин вам помешал? Тогда докажите это здесь на фактах и документах! Доказать этого вы не можете, ибо Ленин не меньше. а больше вашего заботится о нуждах народа. В ужасную войну, в условиях разрухи, голода и холода где нам было найти средства и хотя бы рельсы для трамвая, когда металла не хватало даже для производства винтовок? Теперь, когда мы вступаем в полосу мирного развития, партия приступает к разработке мер по восстановлению хозяйства и новому строительству. Тогда станет возможным провести и трамвай и сделать многое другое для поднятия благополучия трудящихся. Это мы сделаем успешно под руководством Ленина, за которым без колебаний пойдут большевики сормовской организации, проголосовав единодушно за «платформу десяти».

Это также встретило шумное одобрение собрания. Оппозиционные лидеры были в растерянности.

После нескольких выступлений рабочих было принято предложение о прекращении прений. Платформа «рабочей оппозиции», которая голосовалась первой, получила около четверти голосов. «Платформа десяти» — примерно три четверти. Другие платформы здесь не нашли поддержки.

Председательствующий предложил избрать делегатов на губернскую конференцию пропорционально количеству голосов, полученных каждой платформой (как это делалось и на других партийных собраниях). Вдруг из задних рядов поднимается внушительная фигура рабочего, который говорит твердо и четко: «Мы большинством приняли платформу Ленина. На губернскую конференцию от Сормова надо выбирать только тех, кто поддерживает волю большинства. Нам негоже, чтобы на конференции одни сормовичи высказывались за платформу Ленина, а другие — за платформу Шляпникова».

Голосованием это предложение приняли. Избрали делегатами только сторонников «платформы десяти». Получилось так, что ни один из членов Сормовского райкома делегатом избран не оказался, и это ошарашило и без того растерявшихся лидеров оппозиции.

Через год после того, как описание этого собрания я опубликовал в книге «Мысли и воспоминания о Ленине», товарищи из Горького прислали мне вырезку из газеты «Нижегородская коммуна» от 18 февраля 1921 года. В ней освещено то же самое бурное собрание в Сормове. Думаю, что эта заметка может представить интерес как документ того времени, и потому привожу ее здесь.

«16 февраля,— сообщает газета,— состоялось общее собрание Сормовского района, посвященное обсуждению вопроса о роли профсоюзов в производстве и выборам на XI губконференцию РКП.

Собрание было исключительно многолюдное. Присутствовали многие товарищи из города.

С докладом выступал от так называемой «рабочей оппозиции» Чернов как

докладчик и два содокладчика: Овсянников, защищавший платформу Троцкого и Бухарина, и Микоян, развивавший точку зрения Ленина («десяти»).

По докладам развернулись горячие прения, в которых принимали участие до 10 товарищей. После страстных дебатов подавляющее большинство собрания высказалось за платформу Ленина. «Рабочая оппозиция» собрала немногим больше двадцати голосов. Тезисы Троцкого не встретили поддержки.

Под влиянием этого решения прошли и выборы на губконференцию. Правда, от имени президиума местного райкома предлагалось голосовать кандидатов на конференцию независимо от платформы по вопросу о роли профсоюзов, но громадное большинство собравшихся отвергло это «дипломатическое» предложение. Подавляющим большинством прошел список делегатов, стоящих на платформе Ленина.

...Собрание закончилось около четырех часов ночи дружным пением «Интернационала»...»

Нельзя забыть, как радовались такой мощной поддержке ленинской линии!..

...Когда вспоминаешь работу в Нижнем, на память прежде всего приходит Сормово и его замечательные рабочие люди...

На Сормовском заводе и вообще в этом районе я бывал довольно часто: приходил на партийные и рабочие собрания, выступал с докладами.

Помню, весной 1921 года мы решили даже провести специальное заседание губкома вместе с сормовской партийной организацией, чтобы отчитаться о работе губкома, а заодно и проверить, так сказать, «мобилизационную готовность» сормовских коммунистов. И результаты нас порадовали: подавляющее большинство коммунистов собрались менее чем за час, а по тем временам для многих больших организаций это могло быть даже своеобразным рекордом.

Через несколько дней пришлось опять выступать в Сормове на беспартийной конференции в связи с перевыборами Советов, а вскоре принять участие в заседании Сормовского райкома. А сколько было сделано здесь докладов, проведено бесед в цехах с рабочими!..

Я был тогда прикреплен от губкома к Сормовскому заводу и поэтому, естественно, интересовался не только сугубо партийными, но и производственными делами заводского коллектива. Помню, с какой большой ответственностью создавали сормовичи самые первые советские танки. Это было личное задание Ленина: он внимательно следил за выпуском этих боевых машин. Всего сормовичи построили тогда, кажется, около 15 танков и первый из них назвали «Борец за свободу товарищ Ленин».

Желая порадовать Ильича, рабочие изготовили и послали ему в подарок макет первого такого советского танка. Но, как стало нам потом известно, Ленин отнесся к этому подарку неодобрительно, сказав, что не следовало бы тратить время и силы рабочих на игрушки...

Как сейчас вижу лица многих сормовских рабочих... Среди них было тогда немало людей пожилых, прошедших революцию 1905 года. Основной костяк сормовичей составляли стойкие в своих убеждениях, прямые и принципиальные рабочие. Слова их были весомы. К выводам своим они подходили обычно не спеша, взвешивая обстоятельно все за и против.

Это были люди твердые и надежные... Не случайно Максим Горький избрал прототипом своего любимого героя Павла Власова именно передового сормовского рабочего Петра Заломова — «старшего брата» рабочих-сормовичей того времени, о котором здесь идет речь.

(Продолжение следует)

В. ЕМЕЛЬЯНОВ,

Герой Социалистического Труда,
член-корреспондент Академии наук СССР

★

ПУТЬ В СТУДЕНЧЕСТВО*

Автор этих воспоминаний знаком читателю «Нового мира» по первой его публикации в журнале — «О времени, о товарищах, о себе» в №№ 1 и 2 за 1967 год.

Напечатанные в тот год главы возвращали читателя в трудное, сложное время первых пятилеток, первых успехов молодых Советских республик во всех сферах жизни — экономической, культурной, дипломатической...

Выпускник Горной академии, за плечами которого голод, нужда, фронты гражданской войны, командируется правительством за границу на заводы Италии, Германии учиться, учиться, учиться...

Сейчас, когда страна приближается к великой годовщине — пятидесятилетию образования Союза Советских Социалистических Республик,— правдивый документальный рассказ одного из активных участников социалистического строительства представляет особый интерес. Шаг за шагом восстанавливает В. Емельянов немыслимо трудный героический путь, проделанный партией, народом за минувшие полвека, равные по свершениям векам.

Публикуемый ныне отрывок посвящен одной теме — рождению советского студенчества, советских вузов. Здесь и знакомые по первым публикациям друзья В. Емельянова — И. Тевосян, А. Фадеев, А. Завенягин, и новые люди, с которыми столкнули автора студенческие годы.

Итак, рассказ о времени, о товарищах, о себе.

ДАЖЕ НЕ ВЕРИТСЯ

Сегодня днем выезжаем в Москву. Нас восемь человек: Тевосян, Апряткин, Семен Розиноер, Оля Шатуновская, я, Гулам и еще двое, которых я раньше не знал. Один из них азербайджанец, а второй русский. Решили ехать на пароходе морем до Астрахани, а затем по Волге до Нижнего Новгорода.

Неужели все-таки едем? В июле, когда я был у Тевосяна, он сказал мне:

— Торопиться нечего — вот, читай.— И протянул полученные им московские газеты.

На второй странице «Известий» за 9 июня был опубликован приказ Народного комиссариата просвещения по высшим учебным заведениям Москвы, который начинался так: «Ввиду тяжелого продовольственного положения столицы и невозможности гарантировать на летние месяцы учащимся необходимого для нормальных занятий минимума питания, Народный комиссариат просвещения, вслед за отпуском в провинцию большинства слушателей рабочих факультетов, постановляет: распустить с 8 июня на летние каникулы студентов всех высших учебных заведений г. Москвы за исключением... тех из ускоренников, выпуск которых может произойти не позже 1 июля с. г. О точном сроке возобновления занятий будет объявлено особо, причем открытие учебных заведений должно произойти ни в каком случае не позже 15 сентября...»

---

* Из книги «Студенты 20-х годов».

Дальше шли указания, когда студенты отдельных курсов должны выехать из Москвы. Под приказом подписи: нарком просвещения А. Луначарский, заведующий Главпрофобром Е. Преображенский.

У меня упало сердце, когда я кончил читать, а Тевосян протянул мне следующий номер «Известий» с небольшим извещением: «К сведению студентов высших учебных заведений г. Москвы.

Ввиду того, что приказ Н. К. П. о прекращении летнего семестра из продовольственных затруднений вызвал в среде студенчества опасения за судьбу летних занятий и зачетов, настоящим доводится до их сведения, что Главпрофобром будут приняты меры к тому, чтобы перед осенним семестром в течение 2-3-х недель студенты могли закончить прерванные занятия, сдать зачеты и перейти на следующий курс.

Заведующий Главпрофобром Преображенский».

— Как видишь, не все еще потеряно. Но отъезд придется немного отложить. Ты подожди меня, почитай пока.— И он протянул мне всю пачку газет.— Я пройду к Розиноеру, мне надо с ним еще поговорить.

Тевосян вышел, а я стал просматривать газеты. Во многих номерах первые страницы начинались словами: «Берегите газеты: их у нас мало!» — а на второй: «Прочитав, передай газету другому».

Не хватает бумаги. «Известия» выходят всего на двух страницах. Полстраницы каждого номера занято сообщениями о борьбе с голодом. «Помощь голодающим губерниям». «Боритесь с голодом делом». «Голод в Поволжье». «Европа и русский голод». «Там, где умирают с голоду». «Спасайте детей!»

Перед глазами встал брат Костя. Спасти мы его не могли, а ведь в Чувашии и в Поволжье значительно тяжелее — вымирают целые деревни.

Вошел Тевосян, я передал ему газеты.

— Я хотел выехать немного раньше, но теперь вижу, что торопиться нечего. Давай поддерживать контакт,— прощаясь со мной, предложил он.

Уходил я от Тевосяна с тяжелым чувством: неужели сорвется возможность учиться? Так все хорошо складывалось, и вдруг...

И вот я снова у Тевосяна. Он только что сдал дела новому секретарю райкома и радостно сообщил:

— Ну вот и едем. А ты все сомневался! До Нижнего будем добираться пароходами, а там на поезд. Заодно и страну посмотрим.— И тут же, как-то посерьезнев, добавил: — С нами отправляют одного товарища из Турции, он член ЦК турецкой компартии, едет в Москву в Коминтерн. Так что нас не восемь, а девять человек. Встретимся на пристани ровно в два часа.

...Впервые я еду с комфортом — у нас каюты. В каюте нас четверо — Тевосян, я, Розиноер и Гулам. Разложив свои мешки и чемоданы, вышли на палубу. Тепло, море спокойное. Сели на свернутые на носу толстые пеньковые канаты. Берег удаляется. Прошли остров Нарген. Гулам возбужден — он моложе нас всех и до сего времени из Азербайджана никуда не выезжал.

— Белий акаций гвозди душисты,— вдруг затянул он, приглашая нас подхватить песню.

— Да не гвозди, а грозди. Сколько я тебя учить буду,— со смехом говорит Семен.— Гвозди — это то, что в доски вбивают, а грозди — цветы.

— Не серчай, Семен,— как ты сказал, так буду петь,— покорно соглашается Гулам.— Грузди душистые...

Все дружно смеются.

— Надо турецкого товарища позвать. В каюте душно. Позови его,— просит Гулама Тевосян.

— Как позову, я турецкого языка не знаю, а по-азербайджански он не говорит.

— Ты хоть имя-то его узнал? — спрашиваем мы.

Тевосян засмеялся.

— Мне сказали, что его можно просто звать Мустафой.

Гулам вскоре вернулся вместе с нашим подопечным — высоким худым парнем. На небритом лице его обильно выступали веснушки. Одет он был в светло-коричневый клетчатый костюм, из-под кепки торчали светло-рыжие волосы.

— Стильный товарищ,— улыбнулся Семен.

— А ты знаешь, кто он? — сердито сказал Тевосян.

Я заметил, что на безымянном пальце левой руки турка недоставало двух фаланг. Тевосян мельком сказал мне тогда в райкоме, что он из тюрьмы.

Турок пожал всем нам руки и, приставив большой палец левой руки к груди, произнес:

— Мустафа.

Один из наших азербайджанцев попытался что-то сказать ему по-азербайджански, но Мустафа беспомощно обвел всех нас глазами и пожал плечами.

— Что же теперь делать будем? Ведь до Москвы не менее десяти дней проедем. Неужели он так и будет все время молчать? — забеспокоился Тевосян.

На вопрос Оли, заданный по-французски, Мустафа только смущенно улыбнулся.

— Может быть, он глухой? — забеспокоился Гулам.

— Хотелось бы знать, как ты реагировал бы, если, как он, попал бы в чужую страну и совершенно не знал языка.

Берег исчез, только на самом горизонте виднелась темная ломаная линия. Таким спокойным я никогда Каспийского моря не видел. Мы пели одну песню за другой. Турок сидел и молчал. Но когда наконец песни замолкли, Мустафа вдруг затянул какую-то заунывную мелодию.

— Да ведь он по-арабски поет! — крикнул кто-то.

В азербайджанских школах арабский язык преподавали, и оба наших азербайджанца его немного знали.

— Вот олухи царя небесного, ну почему мы его по-арабски ничего не спросили?

— Парле ву франсе? — передразнил Олю Гулам.— А надо было сказать: хедретэк тэ кэллим араби [1].

Турок перестал петь и радостно отозвался.

— Говорит, говорит!

— Ну, кажется, разобрались. Теперь дело пойдет.

Турок, обретя язык, стал поспешно рассказывать, как он попал в Баку:

— Выехал на рыбацкой фелюге из Трапезунда и добрался до Батуми. Два слова по-русски знал: Ленин, Москва. Эти слова открывали передо мной все двери. Люди кормили меня, посадили в вагон, доехал до Баку.

Короткий незамысловатый рассказ Мустафы всех нас взбудоражил.

Как же все в мире изменилось. Мир стал другим. Ведь мы, по существу, не знаем этого турка. Он говорит на незнакомом для нас языке, но он близок нам, мы заботимся о нем. Его сажали в тюрьму за то же самое, за что сидели наши коммунисты: Анашкин, Апряткин, Дадаш и многие другие. Он свой — он коммунист.

Под Дербентом — там всегда мертвая зыбь — нас немного покачало. Половина из нашей компании слегла.

Пароходы останавливались в море перед Астраханью на двенадцатифутовом рейде, так называлось это место стоянки судов. Отсюда пассажиров доставляли к пристаням на баркасах.

На зеркальной поверхности моря хорошо виден водораздел: зеленовато-голубые воды Каспия и желтоватая, мутная волжская вода.

Ждем баркаса.

Отчетливо различимая водная линия настраивает Семена на философский лад. Он вспоминает статьи Д. Боголепова в февральском номере «Правды» о «водоразделе» между спецами старой школы и красными спецами. Семен вырезал статью и любит подкреплять ею свои доводы. Вот и сейчас свои философские раздумья он заключает длинной цитатой.

Хочется воспроизвести некоторые места из статьи Боголепова — уж очень выразительны в ней приметы времени:

«Коммунистическая политика в области высшей школы является чрезвычайно трудным и вместе с тем чрезвычайно важным делом.

Пролетариат, веками отстраняемый от науки, жадно стремится овладеть ею...

---

[1] Говорите вы по-арабски?

Только коммунистические «спецы» могут поставить на прочные рельсы хозяйство страны и перестроить всю жизнь по-новому...

...важно заняться производством красных спецов немедленно...

Однако здесь перед нами стоят громадные трудности, которые нужно ясно видеть. Профессура, представляющая собой наиболее реакционную, наиболее политически затхлую и вместе с тем наиболее сознательную часть буржуазии, превосходно понимая важность для пролетариата овладения высшей школой, прилагает все усилия, чтобы не допустить до этого. Нужно сознаться, к нашему стыду, что она это делает далеко не без успеха. За три с лишним года существования Советской власти высшая школа жила своей обособленной жизнью, не пуская в свою среду коммунистов и, вообще, «чужих» людей, и сознательно саботировала все законы и постановления Советской власти. Единственным крупным завоеванием пролетариата были рабочие факультеты, имеющие целью подготовку пролетариата к высшей школе, но и они далеко не везде стоят на должной высоте, встречая при этом самое упорное противодействие со стороны старой профессуры.

...Для того чтобы обновить программу и дух высшей школы, нужно прежде всего обновить состав студенчества и профессуры...»

Позже мы практически столкнулись и со старой профессурой и со старым студенчеством. Тогда мы и не предполагали, что борьба, которую мы вели на фронтах, продолжится здесь и нам, помимо изучения высшей математики, сопротивления материалов и других предметов, придется вести большую политическую работу не только среди студентов, но также среди профессоров и преподавателей.

В Астрахани пересмотрели свой маршрут следования. Решили слезть с парохода не в Нижнем, как предполагали, а в Саратове.

— Нечего прохлаждаться, и так зря три дня потеряли,— решительно заявил Апряткин, убеждая нас ехать от Саратова в Москву поездом.

— Приедем мы на Павелецкий вокзал, от него и до общежития добираться легче. Ведь от Зацепы до Старомонетного рукой подать.

...Зацепа, Старомонетный — он произносил эти слова с небрежностью коренного москвича, вызывая у меня невольное чувство зависти.

Поезд подошел к перрону, Розиноер попросил забрать его вещи в общежитие, а сам отправился с Мустафой в Коминтерн.

Моросит мелкий дождь. Холодно. Мустафа вышел на платформу, поднял воротничок своего пальто, ходит, потирает руки. Остановился и, откинув полу пальто, достал из заднего кармана брюк небольшую плоскую флягу, сделал несколько глотков и протянул флягу стоящему рядом Апряткину.

— Что это? — спросил я Апряткина.

— Коньяк,— сказал он.— Ну как можно такую крепость без закуски пить. Какие-то сумасшедшие эти иностранцы. Все не по-людски делают. Везет такую ценность, молчит всю дорогу и предлагает тогда, когда и выпить-то не с руки.

Розиноер нашел извозчика, помог Мустафе погрузить вещи и уехал с ним в Коминтерн.

Тевосян с Гуламом вернулись с ручной тележкой на двух колесах. На второго извозчика у нас денег не было. Погрузили свои узлы, мешки и ящики на тележку и под дождем пошли до Старомонетного переулка. Большая Полянка в то время была тихой и пустынной улицей — лишь изредка по ней проезжал извозчик.

Вот и Старомонетный переулок. Большой хороший пятиэтажный каменный дом № 33. Напротив церковь.

Мы поднялись на пятый этаж, открыли тяжелую дубовую дверь и вошли в довольно большую комнату с широким венецианским окном. В комнате — четыре кровати, два стола, четыре табуретки. На одной кровати кто-то спал, свернувшись калачиком. Когда мы с шумом стали разгружать вещи, спящий проснулся, поднял голову и, увидев Тевосяна и Апряткина, протянул:

— А-а, приехали! А я думал, вы совсем решили остаться в Баку.

Это был Зильбер.

— Ну вот, наконец-то все собрались. Сколько же времени сейчас?

Ответить на этот вопрос никто не смог: часы были большой редкостью. У студентов того времени, во всяком случае, я их не видел.

— Ну, поздно ли, рано ли, а вставать надо.

И Зильбер стал одеваться, рассказывая новости московской жизни. Он отрывисто рапортовал:

— С питанием плохо, значительно хуже, чем в Баку. Паек студенты хотя и получают, но иногда выдачу задерживают. В Москве не хватает продуктов.

Тевосян показал мне на кровать у двери:

— Занимай эту, она свободна. С комендантом я уже договорился прошлый раз.

Комендантом был в то время студент-геолог Борис Некрасов, с ним я познакомился и подружился уже позже.

Когда мы выехали из Баку, нам на дорогу выдали немного продуктов, упакованных в фанерный ящик. Апряткин, как наиболее хозяйственный из нас, задвинул этот ящик в угол между стеной и своей кроватью. Откуда-то принес молоток и несколько гвоздей, вбил их в стенку над ящиком и строго сказал:

— Всю верхнюю одежду вешать здесь, а не бросать где попало.

Я сунул свой мешок с пожитками под кровать, повесил солдатскую телогрейку и шапку-ушанку на один из вбитых Апряткиным гвоздей и уселся на серое одеяло. Мне все здесь нравилось: и комната, и кровать, и небольшой стол, вдвинутый между кроватью Тевосяна и моей.

Впервые я стану спать на кровати. До этого дня кровать связана была у меня с пребыванием в больнице.

— Ты что как Христос сидишь,— услышал я голос Апряткина,— давай ящик распаковывать, посмотрим, что там. Я предлагаю все продукты держать в этом ящике. Так что, если у кого что в мешках есть, выкладывайте сюда. Мы это все учтем и установим рацион. Студенческий паек не очень-то велик, без добавки ноги тащить не будешь.

— Твои рассуждения противоречат тому, что утверждает Главпрофобр.— И Зильбер процитировал: — Студенческий паек «ноль целых шесть десятых фунта хлеба, ноль целых две десятых фунта мяса или рыбы ежедневно — едва ли в средневековых монастырях кормили постнее».

— Что это ты читаешь? — спросил Тевосян.

— Семен снабдил. «Высшая школа и студенчество», статья Покровского.— Зильбер положил измятую газету на стол.

Я взял и прочитал.

«Правда». Вторник, 1 марта 1921 г. «Но как настроено вчерашнее «белогвардейское» студенчество? В технической высшей школе говорят так же, как и раньше... Но в университете аудитории профессоров-коммунистов... переполнены. Конечно, задаются «коварные» вопросы (но где их теперь не задается?).

...наибольший процент коммунистов на младших курсах. Наиболее прочные белогвардейские настроения — на старших. Но деловое, рабочее настроение и там, и тут. Не выйдет из них коммунистов, выйдут хорошие спецы: и за то спасибо.

Бывают, конечно, попытки устраивать меньшевистские и эсеровские митинги или меньшевистско-эсеровские скандалы на беспартийных митингах (один из таких скандалов был описан на страницах московских газет)... белогвардейские настроения не так прочны, чтобы их представители рискнули пойти напролом; но нашим собственным ротозейством они пользуются...»

—Что ты там вычитал? — услышал я голос Тевосяна.

Я пересказал прочитанное.

— Ну, а какие настроения в академии? — спросил я.

— Поживем — увидим,— сказал Апряткин.— Академия все-таки новое учебное заведение. Здесь нет традиций и нет еще связанного друг с другом коллектива — ни профессорского, ни студенческого. Студенты направлялись сюда так же, как и мы, по командировкам. Думаю, что этих белогвардейских настроений здесь нет, а впрочем, кто знает, поживем — увидим,— повторил он.

МОСКОВСКАЯ ГОРНАЯ АКАДЕМИЯ

Вопрос об организации в Москве высшего учебного заведения по горному делу возникал еще до Октябрьской революции. Одно время обсуждался, например, вопрос о создании горного факультета при Высшем техническом училище.

Но только 4 сентября 1918 года был подписан декрет «Об учреждении Московской Горной Академии». Вначале академия была задумана как учебно-научное учреждение, состоящее из трех секций — просветительной, учебной и научной. Просветительная секция должна была заниматься организацией различных курсов для обучения рабочих и техников — курсов горных десятников, штейгеров, литейщиков и т. п. В задачу учебной секции входила подготовка кадров горных инженеров, а научной — разработка вопросов по отраслям знаний, имеющих отношение к горному делу.

Народный комиссариат по просвещению учредил Организационную комиссию по созданию Горной академии. В нее вошли будущие профессора академии: Д. Н. Артемьев, Г. В. Ключанский, Н. М. Федоровский, М. К. Циглер и Я. Я. Энслен.

Все они в последующем играли существенную роль в жизни академии, и мне пришлось позже с некоторыми из них не только часто встречаться, но работать, и не только в стенах академии,— особенно с Н. М. Федоровским.

Комиссии предстояло в первую очередь подыскать помещение для академии, подготовить его для занятий и подобрать преподавательский персонал.

Все время до начала 1919 года и заняла организационная работа. Разместилась академия в помещении бывшего Мещанского училища на Большой Калужской улице, № 14.

Приглашенные профессора и преподаватели занялись составлением временных учебных планов. В основу их лег следующий принцип: в Горную академию должны приниматься лица не моложе шестнадцати лет. Для успешного прохождения курса поступающим надлежало обладать знаниями в объеме школы второй ступени, знать также некоторые предметы, которые обычно преподаются только в высшей школе, предметы, не имеющие прямого отношения к горному делу, такие, как высшая математика, физика, химия, механика, сопротивление материалов и т. п.

В отличие от большинства русских технических учебных заведений здесь был введен принцип специализации. Учебная секция распределила специальные предметы по трем отделениям — геологоразведочному, горнорудничному и металлургическому. Студентам предстояло пройти их в течение трех лет. Вменялось в обязанность основательно теоретически и практически изучать предметы, непосредственно необходимые для будущей практической деятельности. При этом студенты освобождались от необходимости сдавать зачеты по тем отраслям знаний, которые, как правило, вскоре после окончания учебного заведения забываются. Горные инженеры, желающие углубить свои знания, могли после окончания учебной секции заниматься в научной. После окончания каждого года обучения ввели летнюю практику на рудниках, шахтах и заводах.

В сложных и трудных условиях рождалась академия. Не хватало преподавателей, не было учебных пособий. Во всей академии насчитывалось всего фактически занимающихся 256 студентов.

Планомерные занятия по разработанным учебным планам начались с осени 1919 года.

С первых же дней выяснилось, что большинство слушателей академии обладают подготовкой не выше объема школы второй ступени и вовсе не обладают знаниями по высшей математике, физике, механике и другим предметам, необходимым для слушания и усвоения дисциплин по горным специальностям. Усваивать эти знания за стенами академии, в других учебных заведениях, при плохих условиях передвижения оказалось практически трудновыполнимым, хотя на это временно и пришлось пойти. Часть лекций студенты слушали в Плехановском институте, а некоторые в Московском университете, например лекции по биологии. Возникла необходимость организовать преподавание этих предметов в самой академии.

В 1919/20 учебном году ход занятий нарушался постоянным призывом студентов на военную службу — в стране шла гражданская война. Вскоре после открытия академии число студентов снизилось до 200, а к началу 1920 года их стало еще меньше. Многие не выдерживали тяжких условий и отсеивались.

С весны 1920 года ввели стипендии, студенты стали освобождаться от военной службы. Это незамедлительно дало результаты: к концу 1921 года в академии насчитывалось уже 718 студентов. Практически первым более или менее нормальным годом занятий следует считать 1921 год.

Огромные трудности испытывала не только Горная академия, но и старые, давно сложившиеся учебные заведения.

Вот что писал народный комиссар здравоохранения Н. А. Семашко в статье «Наука и рабочие», опубликованной в мае 1921 года в «Известиях»: «Нам бесконечно трудно поставить нашу науку на должную высоту: мы бедны, разорены, у нас нет необходимых сооружений и приспособлений». Он писал о том, что ученые «из-за голода и холода» вынуждены бросать работу. Все это мы ощущали и видели сами.

До сих пор стоит передо мной фигура профессора по математике М. К. Гребенча в изношенном, измятом пальто, напоминающем какой-то странный мешок, который он подпоясывал сплетенной из мочалы веревкой. Потирая озябшие руки, он брал мел и говорил нам об основах дифференциального исчисления, силясь написать мелом уравнения: мел крошился, царапал доску и не писал.

Ныне просто диву даешься, как в те трудные годы можно было организовать новое учебное заведение, вдохнуть в него жизнь, издавать научные труды и выпустить сборник «Вестник Московской горной академии».

Передо мной первый выпуск этого сборника. На первом листе посвящение:

«Самая юная горная школа России посвящает первый выпуск своего журнала старейшему русскому горному инженеру, президенту Российской Академии наук, глубокоуважаемому Александру Петровичу Карпинскому».

В сборнике опубликованы работы не только профессоров академии, но и студентов, например В. В. Селиховкина — «Вольфрамовые руды в Западной Сибири».

Селиховкина я знал — мы жили на одном этаже в общежитии. Как-то зайдя в комнату, я увидел его за необычным занятием: он шил себе из овчины шапку.

— Холод собачий, чуть было уши вчера не отморозил. Работали на железнодорожной станции, мороз, ветер, а у меня, кроме старой кепки, ничего нет. Один из железнодорожников дал кусок овчины: ты, говорит, парень, шапку себе сооруди, а то и до работ допускать не будем — совсем окоченеешь. Вот и сооружаю.— И он, надев еще не законченную шапку, похожую по форме на башлык, спросил: — Ну как, сойдет?

Так вот этот самый студент Селиховкин умудрялся посещать лекции, сдавать зачеты, разгружать вагоны, чтобы хоть немного заработать на пропитание, да еще овладевать мастерством скорняка, и находил время писать научные статьи.

Хотя Московская горная академия и была задумана как высшее учебное заведение особого типа, она превратилась в обычное высшее учебное заведение, сохранив, однако, свою «необычность». Об этом рассказал на торжественном заседании «в честь четырехлетия основания Московской горной академии и годовщины рабочего факультета имени тов. Артема» 12 февраля 1923 года ректор академии Иван Михайлович Губкин.

В переполненной аудитории, сильно окая, он говорил о том, что «Московская горная академия — детище Революции — создана Советской властью четыре года тому назад, в буре и огне революционной борьбы — она есть живое свидетельство проявления творческой мощи и способностей пролетариата. Отблески этой революционной бури горят на ней и отразились в самом характере нашей высшей школы. Она сверху донизу пронизана революционным духом, составляющим живую душу всего студенчества, которое по своему классовому составу принадлежит рабочим и крестьянам. Эти две категории студентов составляют 73 процента, тогда как на все прочие: трудовой интеллигенции, служащих и проч.— приходится 27 процентов.

За нашей академией упрочивается наименование Красной академии. Это высокое название, подчеркивающее ее преданность делу рабочего класса — делу Революции, заслужено ею. Академия во все ответственные, исторические моменты Революции всегда была с пролетариатом и в борьбе, и в труде, и во дни пролетарских торжественных выступлений. Нога в ногу, плечо в плечо студенты академии шли с пролетариатом и в первомайских торжествах, сливая свою радость, свой восторг с радостью и

восторгом пролетариата, и во время эсеровского процесса высказали гневное возмущение предателям рабочего класса... Этот революционный дух академии и преданность студенчества и рабфаковцев делу рабочего класса оценены наиболее родным и близким академии горняцким пролетариатом России. Третий Всероссийский съезд горнорабочих поднес академии и Артемовскому рабфаку Красное знамя. В академической жизни истекшего года это был самый торжественный, незабываемый момент, когда каждое сердце билось со всей горняцкой массой и мы почувствовали, какого мощного союзника мы имеем в горняцких массах. Тогда мы поклялись идти под красным знаменем до полной победы пролетариата в борьбе с капиталом... Напоминаю об этой клятве и отмечаю, что мы ее помним...»

Я хорошо помню это заседание. Зал большой аудитории геологического факультета переполнен. Мест не хватает. Многие стоят. Речь Губкина часто прерывается аплодисментами.

В то время существовала автономия высшей школы и ректор избирался. Как раз незадолго до этого собрания состоялись выборы ректора. Мы выдвинули Губкина и боролись за его кандидатуру.

Сейчас его выступление окончательно убедило в правильности нашего выбора. Тевосян, Апряткин, Фадеев, я горячо обсуждали выступление Ивана Михайловича на торжественном заседании. Вспоминали, какой упорной была борьба. Нашлись опытные демагоги, которые настраивали студенчество против Губкина. Мы, во всяком случае, сильно опасались за результаты выборов. Поэтому решили на подмогу пригласить на собрание учащихся школы штейгеров (на правах рабочего факультета ее создали при Горной академии).

Ректора в то время избирали по сохранившейся от старых времен куриальной системе. Все избиратели делились на две курии — профессорско-преподавательскую и студенческую. Вот от студенческой-то курии мы и выдвинули Ивана Михайловича Губкина. Ряд студентов, в том числе бывший меньшевик Зильберблат, во что бы то ни стало хотел провалить Губкина. На собрание во вторую аудиторию он пришел с группой единомышленников и подговаривал выступать против Губкина.

Используя в своей агитации появившуюся в те дни в печати статью ректора Московского университета Д. М. Боголепова, призывавшего к ликвидации автономии высшей школы, Зильберблат призывал возбужденную толпу своих сторонников голосовать против ректора-коммуниста.

Один из студентов вскочил на подоконник и начал выкрикивать отдельные фразы из статьи Боголепова, призывавшего положить конец всякого рода университетской автономии и «свободе» преподавания.

— Вы только подумайте, что затеяли большевики! — комментировал оратор статью Боголепова.

...Все управление должно быть сосредоточено в руках небольших коллегий, преимущественно из коммунистов... Только при таком способе управления возможно обновление состава студенчества, главным образом при помощи рабочих факультетов, дающих чисто рабочий состав, и обновление профессуры при помощи предоставления права подбора новых профессоров и преподавателей исключительно руководящим коммунистическим коллегиям.

...нам нужна решительная, последовательная, неуклонно проводимая политика пролетаризирования высшей школы...

Еще до выборов статья Боголепова широко обсуждалась среди студенчества. Те, кто был связан в прошлом с эсерами, меньшевиками и анархистами, роптали, отстаивая «автономию» высшей школы и делая все,чтобы на пост ректора не допустить коммуниста.

Накал ко дню выборов достиг высшей степени. Этому способствовали в некоторой степени и бестактные выступления кое-кого из студентов-коммунистов. Запомнилась речь студента Языкова на одном из больших собраний, посвященных какому-то юбилею. Остановившись на выступлении профессора Аршинова, Языков иронически заметил, что если уж Аршинов выступает в поддержку Советской власти, то дела наших противников совсем-де плохи. Издевка вызвала ропот среди профессоров и преподавателей, присутствовавших на собрании.

Тевосян — он был в то время секретарем партийной организации — после собрания резко осудил выступление Языкова:

— Ну зачем же так оскорблять людей? Нам с ними работать. Радоваться надо, а не злорадствовать.

Но таким же образом, как и Языков, вел себя среди беспартийной студенческой массы кое-кто из членов нашей ячейки.

— Работать надо, разъяснять, а не ругаться, как базарные торговки,— убеждал одного из таких «ругателей» Тевосян.

По его предложению одному из таких «трибунов» решением партийной организации запретили выступать на беспартийных студенческих собраниях, чтобы «не раздражать студентов».

В этой борьбе против всяческих левацких заскоков нам сильно помогло выступление В. И. Ленина на XI съезде партии в марте 1922 года, как раз перед выборами ректора. Решения съезда мы изучали по стенографическим отчетам, которые в то время рассылались по всем партийным организациям.

Ленин, разоблачая антипартийную линию по отношению к специалистам, проводившуюся Преображенским, бывшим в то время заведующим Главным управлением профессионального образования Наркомпроса — Главпрофобром,— говорил:

«Что комячейки есть прекрасные комячейки и рабфаки есть прекрасные рабфаки,— это так, но они не застрахованы от ошибок, они не святые.

Да, комячейки есть представители нашей партии, и рабфаки есть представители нашего класса, но что они делают ошибки и мы должны их исправлять, это — азбучная истина. Как тут поправлять, я не знаю, потому что лично в собраниях ЦК, где обсуждался этот вопрос, не участвовал. Но я знаю, что пересол у нас имеется в смысле линии рабфаков и комячеек против профессоров. Но когда ЦК, рассмотрев дело со всех сторон, увидел, что тут был пересол и что по отношению к этим профессорам, чужим, представителям не нашего класса, нужно взять линию поосторожней, тогда является Преображенский, вынимает программу и говорит: никаких политических уступок этому слою, иначе это — нарушение программы.

Если так начать управлять партией, то это приведет нас, наверное, к гибели».

Тевосян много делал для того, чтобы наладить деловое сотрудничество с профессорами и преподавателями академии. Он терпеливо выслушивал все их предложения и жалобы, разъясняя основные задачи, которые ставились партией перед высшей школой. Все это сослужило большую службу — ему стали платить доверием, к нему стали обращаться за советами, и, несмотря на огромные трудности, переживаемые страной, в Горной академии не происходило никаких неприятных экстраординарных эксцессов, в то время как в ряде других высших учебных заведений, в том числе и в Московском университете, часть профессоров в январе и феврале 1922 года отказалась вести занятия. Центральный Комитет партии потребовал от Наркомпроса удовлетворения ряда законных требований профессуры. Преображенского отстранили от руководства Главпрофобром, и были разработаны основные положения о высшей школе. Единственный наиболее «крупный» инцидент разгорелся в академии во время выборов ректора.

Накануне Тевосян собрал актив коммунистов. Всем предложили поговорить с возможно большим количеством знакомых беспартийных студентов и заручиться их согласием поддержать кандидатуру Губкина. Кто-то предложил пригласить на выборы учащихся школы штейгеров.

Один из присутствовавших робко заметил:

— А можно ли, ведь они не студенты?

— Школа-то при Московской горной академии. Разве для них безразлично, кто будет ректором? — возразили ему.

Тевосян поддержал предложение, но «сомневающийся» вновь задал вопрос:

— А не кассируют наши выборы?

— А вот мы сейчас законника спросим,— сказал Тевосян.

Среди студентов Горной академии находился Зайцев. До революции он учился на юридическом факультете, но не окончил его и, когда организовали Горную академию, поступил на геологический факультет. Будучи студентом академии, Зайцев одновременно был и судьей Замоскворецкого райсуда.

Зайцев долго втолковывал нам, что в советском законодательстве нет никаких указаний о куриальной системе выборов, что ведет она начало с эпохи феодализма и изжила себя, а поэтому-де вряд ли можно найти какие-то основания для кассирования выборов.

Штейгеров решили пригласить.

Увидев штейгеров, группа студентов подняла шум:

— Удалить со студенческого собрания всех посторонних!

— Кто это посторонние? — спросил, поднимаясь с места, шахтер с курсов — детина огромного роста с кулачищами как кувалды.— Это вы здесь посторонние. А мы — хозяева.

Шум и перебранка долго не позволяли приступить к голосованию.

ПРОФЕССОРА И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Профессорско-преподавательский состав академии являлся настоящим созвездием.

Деканом металлургического факультета вначале был Н. С. Верещагин, крупнейший специалист нашей страны по прокатному делу. Позже деканом стал Н. П. Чижевский. Чижевский приехал в академию из Томска, где он пробыл более двенадцати лет. Он окончил Петербургский университет, и первые его работы относятся к органической химии. Затем он уехал в Германию и учился в политехническом институте в Аахене на одном курсе с Геренсом. Геренс впоследствии вырос в одного из крупнейших ученых в области металлургии железа, и его имя хорошо известно среди металлургов. Чижевский дружил с Геренсом. И уже значительно позже, в начале 30-х годов, когда я находился на заводе Круппа в Эссене, мне довелось с Геренсом встречаться, и он мне рассказывал о студенческих годах, проведенных в Аахене, и неизменно вспоминал Чижевского, высоко ценя его аналитический ум. Из Аахена Чижевский переехал в Австрию, в город Леобен, и поступил в Леобенскую горную академию, которую и окончил. Но на этом он не завершил свое образование и, возвратившись из Австрии в Россию, поступил в Киевский политехнический институт. Уже позже я узнал, что, будучи студентом Петербургского университета, он поступил и в Академию художеств. Чижевский неплохо рисовал, и, во всяком случае, пространственные изображения разрезов некоторых тройных сплавов, выполненные им, великолепны.

Среди профессоров академии были и молодые, получившие это звание уже в стенах Горной академии. Они пришли с заводов и имели значительный заводской опыт работы. Среди этой группы выделялись К. П. Григорович, Н. А. Минкевич, Б. В. Старк. Всех троих связывало то, что они вместе учились в Петербургском политехническом институте и знали друг друга со студенческих лет, а Григорович и Старк до перехода в академию вместе работали на заводе «Электросталь».

Минкевич после окончания Петербургского политехнического института шесть лет проработал на Обуховском заводе в Петербурге, а затем еще несколько лет на уральских металлургических заводах. Он хорошо знал производство и вместе с тем являлся крупным исследователем в области термической и термохимической обработки стали.

К. П. Григорович в студенческие годы принимал участие в студенческих демонстрациях, за что его выслали на несколько лет в Олонецкую губернию. Закончив политехнический институт, Григорович поступил на Путиловский завод, а затем на «Электросталь» под Москвой.

Кое-кто из профессоров вел занятия в академии по совместительству, будучи в штате других высших учебных заведений. Профессор М. А. Павлов, крупнейший в то время специалист по доменному производству, приезжал к нам из Петрограда читать курс производства чугуна. Высшее образование М. А. Павлов получил в Петербургском горном институте, по окончании которого работал на металлургических заводах Вятского горного округа, а затем на Сулинском заводе близ Ростова.

Педагогической деятельностью Павлов начал заниматься еще в 1900 году в Екатеринославском высшем горном училище, а затем перешел в Петербургский политехнический институт. У Павлова счастливо сочетались разносторонний производственный опыт с глубоким знанием теории процессов. Он хорошо был информирован о состоянии работ в области доменного производства не только у нас в стране, но знал и то, что делалось

за границей. Человек потрясающей работоспособности, он буквально страдал, если у него оказывалось немного свободного времени и он не мог достать нужный ему журнал или книгу, чтобы воспользоваться этим временем и прочитать интересующую его статью или главу из книги. Мне кажется, не было ни одной неизвестной Павлову печатной работы по доменному делу. Он обладал феноменальной памятью. В 1933 году, прибыв в командировку в Германию и появившись в Эссене, он пожелал осмотреть доменные печи на новом заводе Круппа в Борбеке. В это время я был представителем Наркомтяжпрома на заводе Круппа и ведал практикой наших молодых инженеров. Павлова я знал — он руководил доменной частью моего дипломного проекта. Для осмотра завода дирекция выделила молодого, довольно нахального человека. Когда мы приехали на завод, этот молодой человек на вопросы Павлова о параметрах доменной печи начал пороть несусветную чепуху. Павлов перебил его и по памяти начал называть действительные цифры.

— Или вы совсем не знаете дела, молодой человек, или сознательно все путаете. Кстати, все эти сведения три года назад были опубликованы в немецком журнале «Шталь унд Айнен». — И Павлов назвал номер журнала.— Так что вы лучше молчите и не мешайте мне осматривать печи, раз уж допустили к ним.

Позже дирекция завода извинялась передо мной за поведение своего ретивого экскурсовода.

— Мы не знали, что это Павлов,— оправдывались они.

Позже, уже в 1924 году, в стенах академии появился В. Е. Грум-Гржимайло, один из создателей основ металлургической науки в нашей стране. Еще в 1885 году, окончив Петербургский горный институт, он уехал на Урал и проработал много лет на металлургических заводах Урала, затем вернулся в Петербург и в качестве профессора около семи лет читал курс по металлургии стали в Петербургском политехническом институте, а затем снова уехал на Урал, где читал лекции в Уральском горном институте.

Последние годы жизни Грум-Гржимайло работал по проектированию металлургических и других заводских печей, создав в 1924 году в Москве Бюро металлургических и теплотехнических конструкций. Вот тогда-то его и пригласили в качестве профессора в академию.

Широко образованный человек, знающий одинаково хорошо все основные проблемы металлургического производства, он знал и все тонкости производства стали, и прокатное дело, и производство огнеупорных материалов, и во все он вносил свой вклад ученого — досконально изучая характер явлений и улучшая процессы и конструкции оборудования.

Грум-Гржимайло — тип ученого, не боящегося запачкать руки или набить на них мозоли. Его встречали на самых опасных, трудных и грязных участках заводских сооружений. Он не терпел белоручек.

Мне рассказывали, как во время пребывания на Урале к нему, управителю одного из заводов, на тройке лошадей подъехали со станции двое студентов. Грум-Гржимайло это видел и распорядился направить обоих чистить поставленные на ремонт заводские котлы. Один из студентов отказался, заявив, что он не для этого сюда приехал. Второй безропотно принялся за работу. В обеденный перерыв Грум-Гржимайло обоих студентов пригласил пообедать и за обедом — хлебосольный хозяин — шутил и расспрашивал о жизни института.

После обеда он позвал одного из слуг и сказал:

— Подайте господину (назвав по имени студента, отказавшегося чистить котел) лошадей до станции.

А когда тот стал говорить, что приехал на практику и хочет побывать на заводе, Грум-Гржимайло сказал:

— На заводе надо не пребывать, а работать и не гнушаться никакой работой, а вам, молодой человек, я советую сменить специальность — инженера из вас не выйдет.

Это был человек прямой, не боящийся сказать правду в глаза. Вспомнил я о Грум-Гржимайло и другую историю.

На московском отделении Металлургического общества он делал доклад о гидравлической теории расчета плавильных печей. Применив законы гидравлики к движению печных газов и использовав идею М. В. Ломоносова, изложенную ученым в исследовании

«О вольном движении воздуха, в рудниках примеченном», Грум-Гржимайло уподобил движение пламени в воздухе движению легкой жидкости в тяжелой. Гидравлический метод расчета плавильных печей являлся первой попыткой создать общую научную методику расчета печей.

Вот об этой теории и делал Грум-Гржимайло доклад, иллюстрируя ее применимость примером построенных им печей для производства анилиновых красок.

Он остановился на развешанных на стене чертежах одной из печей, детально разобрав все ее особенности, перешел к чертежам второй печи, при этом он отметил в свете своей теории все недостатки первой печи, показав все несуразности ее, причем не жалел эпитетов в адрес того, кто проектировал эту печь.

Из зала раздался голос:

— А кто же автор этой конструкции?

Видимо, задавший вопрос знал, что автором обеих конструкций был Грум-Гржимайло.

Владимир Ефимович повернул голову в сторону задававшего вопрос и громко произнес:

— Вам же хорошо известно, что обе конструкции предложены мной. Вы что, меня этим унизить хотите? Не выйдет. У меня достаточно мужества открыто говорить о своих ошибках, и поэтому мне их легко исправлять. А вы прячете их, поэтому вам никогда от них и не избавиться.

Грум-Гржимайло, крупный человек с длинной седой бородой, спокойно обвел взглядом притихший зал. В этот момент он еще больше вырос в наших глазах, а осмелившийся тявкнуть на него казался маленькой шавкой.

Хорошо сохранился в памяти профессор Иван Иванович Бобарыков. Он читал курс «Сопротивление материалов». Читал так, что студенты слушали его затаив дыхание. Бобарыков приехал в Москву из Томского технологического института. В Томске он организовал одну и самых крупных в нашей стране лабораторий по испытанию материалов. До сего времени помню, как он рассказывал нам об усилиях, возникающих в домкрате при подъеме груза. Когда мы вошли в аудиторию, Бобарыков стоял у доски и заканчивал рисовать силуэт Эйфелевой башни. А когда аудитория заполнилась студентами, он начал свою лекцию так:

— К открытию Всемирной выставки в Париже в 1889 году французский инженер Александр Эйфель построил высочайшее в мире сооружение — металлическую башню высотою в триста метров, вес которой составлял девять тысяч тонн. Когда сооружение башни было почти закончено, Эйфель обнаружил ошибку — он принял очень высокую удельную нагрузку на грунт и башня стала садиться. Это грозило катастрофой, и необходимо было ее поднять и под опоры подвести широкие стальные плиты, с тем чтобы распределить нагрузку на бóльшую площадь. Для этих целей были построены мощные домкраты, на которых он поднял башню, а под опоры подвел стальные плиты. Вот теперь посмотрим, как же распределялась нагрузка на домкраты и какие усилия необходимо было преодолеть каждым домкратом при подъеме башни.

Мы слушали, не сводя с лектора глаз.

Для каждого расчета Бобарыков выискивал какой-то свой запоминающийся пример, и это создавало огромный интерес к его лекциям и они навсегда откладывались в памяти. Он знал, кажется, все уникальные инженерные сооружения мира и их примерами иллюстрировал свои лекции.

На лекциях Бобарыкова мы всегда получали какие-то совершенно новые сведения. При этом он находил интересную форму их изложения.

Когда он нам рассказывал о том, как следует рассчитывать стальные тросы, то сослался на мост, перекинутый через морской пролив Золотые Ворота у Сан-Франциско. Этот мост висит на стальных канатах. Вся сложность расчета и самой конструкции заключалась в том, говорил Бобарыков, чтобы создать такой канат, который смог бы выдержать свой собственный вес. Усилия от перемещаемого по мосту груза составляли небольшую величину по сравнению с весом самого каната. И Бобарыков нарисовал на доске эскиз моста через Золотые Ворота, эпюру сил, а мы — само внимание.

В 1932 году, когда я впервые попал в Париж и осматривал Эйфелеву башню, я прежде всего прошел к ее опорам, чтобы посмотреть плиты, о которых нам рассказы-

вал И. И. Бобарыков, а в 1959 году, через тридцать восемь лет, приехав в Сан-Франциско, остановился у моста через морской пролив и прежде всего стал рассматривать поперечный разрез каната, установленный на стенде у въезда на мост. Перед моими глазами снова возник образ Ивана Ивановича Бобарыкова, когда он в холодной второй аудитории озябшими руками чертил мелом на доске этот разрез и объяснял нам принципы расчета стальных канатов и тросов. Читал он великолепно, и после его лекций каждый хотел работать в той же области, что и Бобарыков. Иван Иванович умел привить студентам интерес к своей специальности.

Не менее яркие люди науки собрались и на других факультетах академии. Достаточно упомянуть только фамилии профессоров: В. А. Обручев, А. П. Павлов, И. М. Губкин, Б. И. Бокий, П. П. Лазарев, Н. М. Федоровский.

Часть из них уже в то время были действительными членами Академии наук, другие избраны позже. Собранные со всех концов страны, эти люди составляли славу и гордость академии при всем убожестве ее оборудования, неприспособленности помещений, огромных, неимоверных трудностях работы высшего учебного заведения в стране, тяжко раненной разрухой.

СТУДЕНЧЕСТВО

Состав студентов Горной академии был чрезвычайно пестрый. Несмотря на то, что попасть в нее «чужим» было нелегко, так как громадное большинство поступало по командировкам партийных, советских, профессиональных или военных организаций, все-таки среди студентов встречались (правда, не так уж часто) и люди, не заслуживающие политического доверия. Некоторые из них пытались вести антисоветскую агитацию. Но сильный состав студентов-коммунистов, стоящих во главе всех организаций академии, определял политическую линию и обеспечивал необходимые условия для развития дел нового учебного заведения.

При поступлении в академию студенты заполняли анкеты из тридцати трех вопросов. Среди них такой: отношение к Советской власти?

На этот вопрос студенты отвечали по-разному. В анкете А. П. Завенягина стояло: «Готов лечь костьми». Другие — осторожнее: «Определенно сочувственное».

А. П. Завенягин вступил в партию в ноябре 1917 года, когда ему было шестнадцать лет. Прибыл он в академию из Донбасса, где был членом Донецкого губкома. Завенягин дважды зачислялся студентом академии. В декабре 1921 года на имя ректора академии И. М. Губкина пришло письмо из Центрального комитета Всероссийского союза горнорабочих следующего содержания:

«Культотдел ЦК В. С. горнорабочих командирует ответственных партийных работников Коржикова и Завенягина и просит зачислить в число студентов основного курса Московской горной академии».

На этом письме Губкин наложил резолюцию: зачислить на первый курс металлургического факультета с условием сдачи в конце весеннего семестра установленных обязательных минимумов нагрузки первого курса.

Но Завенягин не смог учиться. Его не освободили от работы в Донбассе. Через год ректору академии поступило новое письмо: «Донецкий губком просит предоставить командируемому для учебы в Горную академию члену губкома тов. Завенягину возможность льготного поступления без лишних формальностей и предварительных испытаний.

Губком сообщает, что тов. Завенягин, будучи зачислен в МГА в 1921—1922 гг., не мог быть отпущен по обстоятельствам работы. Согласно решению губкома.

Секретарь губкома КПУ — А Криницкий».

На письме Губкин написал:

«В приемную комиссию МГА. Прошу зачислить тов. Завенягина без испытаний».

До поступления в Горную академию Завенягин окончил реальное училище. В 1919 году его избрали в члены Рязанского губисполкома, с 1920 по 1923 год он занимал важные партийные посты — секретаря окружных и уездных комитетов в Скопине, Юзовке и Старобельске.

Ко времени поступления в Горную академию за плечами у двадцатилетнего Завенягина накопился солидный стаж ответственной партийной и советской работы. Анкета,

характерная не только для него. Тевосян был на год моложе Завенягина. Направление в академию он получил от ЦК РКП(б):

«Центральный Комитет РКП командирует тов. Тевосяна Ваню в распоряжение Горной академии.

Секретарь ЦК — Ярославский.

Зав. учетно-распределительным отделом — Лисицын».

До поступления в академию Тевосян занимал пост секретаря Городского районного комитета Азербайджанской коммунистической партии в Баку.

В партию он вступил в 1918 году, во время ожесточенной борьбы с меньшевиками, эсерами, дашнаками и мусаватистами, когда на Баку вела наступление турецкая армия Нури-паши. После падения Советской власти и занятия города турецкой армией бакинская партийная организация ушла в подполье, и на плечи семнадцатилетнего юноши легла сложная и тяжелая обязанность руководства подпольной работой в одном из самых ответственных районов — Городском, где Тевосян в течение всего периода подполья нес обязанности секретаря подпольного райкома партии.

Апряткин был немного старше них — в 1921 году ему шел двадцать четвертый год. Командировал его Центральный комитет Всероссийского союза горнорабочих (ВСГ). В партию он вступил в апреле 1918 года, занимал тоже ряд ответственных постов — члена Бакинского Совета, члена президиума Азербайджанского отдела Всероссийского союза горнорабочих (нефтепромышленных рабочих) и в то же время члена президиума Бакинского Совета профсоюзов и члена коллегии азербайджанского Наркомтруда.

Среди студентов встречались и люди «в возрасте», как, например, Д. И. Руднев. В 1921 году ему перевалило за тридцать, и он имел уже специальность техника-механика. Командировал его в академию штаб XI армии из Астрахани.

Примечательной личностью был Г. П. Штыкгольд, также из разряда «стариков» — двадцатисемилетний студент. До поступления в академию Штыкгольд был попеременно секретарем заместителя председателя Реввоенсовета Республики, заместителем начальника политотдела Запасной армии Западного фронта, комиссаром штаба II Конной армии, старшим секретарем наркоминдела (Чичерина), начальником тыла Южной группы под Кронштадтом, председателем русско-украинской делегации по проведению границ с Польшей. Прибыл он в академию по командировке Московского комитета РКП(б). Окончил гимназию в Варшаве и, кроме того, обучался в Париже.

Разумеется, столь образованный студент — окончивших среднюю школу при Советской власти среди студентов академии насчитывалось не много — являл собой исключение.

Большинство студентов побывали в Красной Армии, участвовали в боях, вели работу в советских и партийных организациях, то есть имели уже жизненный опыт. Меньшинство — вышускники школ второй ступени. Один из них, в частности, А. С. Займовский. Поступил он в академию после окончания Московской трудовой школы второй ступени по командировке культотдела ВЦСПС. Займовский уже в студенческие годы проявлял большие способности и обращал на себя внимание и профессоров и студентов. К нему часто обращались за помощью, когда требовалось разобраться в особо сложных разделах читаемых курсов по металловедению и термической обработке.

Он рано включился в научно-исследовательскую деятельность, а одна из опубликованных им работ обратила на себя внимание выдающегося японского металловеда из университета в Токио, который прислал Займовскому письмо и большое количество литературы.

Это еще больше подняло авторитет Займовского, но не вскружило ему голову. Он превратился в крупного советского специалиста и ныне является членом-корреспондентом Академии наук СССР.

Если вообще студенты академии отличались стойким оптимизмом, то В. А. Уколов даже среди них выделялся наибольшим оптимизмом. Я никогда не видел его унывающим, хотя всю жизнь он боролся с самыми разнообразными затруднениями и несчастьями. Еще в ученические годы он потерял отца и на его плечи свалилась тяжкая ответственность за большую семью. В студенческом деле Уколова сохранился документ-удостоверение, в котором сказано, что на иждивении В. А. Уколова в городе Каменске

Шахтинского округа находятся: мать — вдова Евдокия Яковлевна, пятидесяти одного года, три сестры и два брата, причем самой старшей сестре всего шестнадцать лет.

Володю Уколова зачислили в Горную академию в ноябре 1921 года по командировке ЦК РКП(б). До революции ему удалось поступить в гимназию, которую он и окончил уже в 1917 году.

В 1919 году он вступил в РКП(б). По существу, со школьной скамьи он принимал активное участие в организации первых органов Советской власти в Тамбовской губернии. В 1920 году его зачисляют в Красную Армию, и в академию он попал с поста военного комиссара Особой кавалерийской дивизии по ликвидации банд Антонова. В стенах академии Уколов появился в длинной кавалерийской шинели, со шлемом на голове — в буденовке, как в те времена называли этот головной убор.

Живой, энергичный, он принимал активное участие во всех массовых студенческих организациях. В 1922 году я помню его на посту председателя исполбюро профсекции. Уколову на протяжении всего времени обучения в Горной академии пришлось работать, чтобы помогать семье.

С именем Уколова связаны все демонстрации, которые происходили в те годы. С красной повязкой организатора на рукаве он неизменно сновал среди студентов. Одним из первых запевал задорные песни, его голос звучал на митингах протеста против ультимативной ноты лорда Керзона, сильный баритон Уколова раздавался на студенческих вечеринках, его часто видели за роялем, окруженным веселой стаей озорных частушечников.

Володя не был силен в политграмоте — все время отнимала у него организационная работа, живое общение с людьми. Будучи пропагандистом, он излагал то, что ловил на лету, нередко ошибался, и его наказывали за ошибки. Однажды же он пострадал очень сильно.

В 1925 году во время партийной чистки вузовских ячеек проверялась также и политическая грамотность членов партии. Председатель комиссии по проверке задал Уколову вопрос:

— Когда коммунисты разошлись с Плехановым и в чем?

Володя бойко ответил:

— Раньше сильно расходились, а в последнее время совсем близко сошлись, мы его даже хоронили.

Председатель комиссии, оправившись от столбняка, в который поверг его Володин ответ, предложил направить его на завод — повариться годик в заводском коллективе.

— Там вас научат политграмоте,— посулил он опешившему Уколову.

Володя подал заявление в бюро ячейки Московской горной академии об откомандировании его на год на производство. Бюро постановило: «Ходатайствовать перед правлением академии о предоставлении тов. Уколову годичного отпуска с сохранением звания студента академии (на предмет выполнения постановления ЦКК). Выдать ему соответствующее удостоверение от парторганизации и академии. Согласиться с его отъездом на Урал (Надеждинский комбинат)».

— На Плеханове погорел,— сказал он мне, выходя с заседания бюро.— Ну кто бы мог подумать, что с Плехановым у меня выйдет такой камуфлет. Каутский — еще куда ни шло, тот, известно, ренегат, а Плеханов!.. Авантюр сантюр, постараюсь заслужить доверие и вернуться. Без меня не скучайте.

И Володя уехал.

На заводе он быстро вошел в жизнь коллектива, активно участвовал и в его производственной и в общественной жизни и через полгода приехал в Москву, заручившись хорошими отзывами, чтобы просить Центральную контрольную комиссию разрешить ему вернуться в академию и продолжать занятия.

Из Центральной контрольной комиссии в ячейку РКП(б) Горной академии пришло письмо:

«Учитывая отзывы о работе тов. Уколова В. А. в Надеждинском заводе, считаю возможным до окончания срока просить ячейку Горной академии дать возможность тов. Уколову продолжать образование в Горной академии.

Секретарь ЦКК — Е. Ярославский».

В то время я входил в бюро ячейки. Уколова в академии любили, считали в «доску своим». Ну что же делать — попутал, а многие ли могли в то время похвастаться глубокими политическими знаниями?

Письмо Е. Ярославского встретили с большим удовлетворением. Кто-то смеясь предложил резолюцию: «Просьбу Емельяна Ярославского удовлетворить». Уколова восстановили в правах студента. Но ему с места в карьер предстояло устраиваться на работу, и его направили в лабораторию Николая Прокофьевича Чижевского.

Уколов, памятуя то, что ему говорили ранее о необходимости проведения политической работы среди профессоров и преподавателей, решил вначале осмотреться. А осматриваясь, обнаружил на стене одной из комнат фотографию седого старика в мундире, с погонами адмирала на плечах.

— Зачем же это вы адмирала-то здесь выставили? Советское учреждение — и на стене портрет царского адмирала в мундире и с погонами. Нехорошо как-то получается.

— Да ведь это великий русский ученый-металлург Дмитрий Константинович Чернов, отец металлографии,— сказал Чижевский.

— Ну и что же, что отец. От настоящих отцов ныне дети отрекаются, если они политически с ними расходятся. Хотите его портрет держать — держите, но зачем же именно этот, в адмиральском мундире с погонами? Вот других-то советских деятелей я у вас что-то не вижу,— заметил совсем растерявшемуся Чижевскому Уколов.

— Но ведь другого-то портрета у нас нет, и я никогда не видел других, все такие, с погонами.

Володя не знал как быть и, выходя из комнаты, сказал.

— Хорошо, мы что-нибудь придумаем, чтобы устранить это затруднение. Неужели нельзя этой задачи разрешить? Не такие сложные вопросы решали.

И Володя нашел решение. Он вынул из рамочки портрет Д. К. Чернова, отнес в фотографию, попросил переснять, а погоны заретушировать и повесил этот портрет. На следующий день эту историю знали уже многие студенты и смеясь рассказывали, как Уколов снял погоны с Чернова. Кончилось это для Уколова опять нехорошо — его вызвал Завенягин и долго отчитывал.

— Если уж ты в таких делах не можешь сам разобраться, так хоть приди посоветуйся. Я не знаю, как теперь в глаза Чижевскому смотреть — за тебя стыдно.

— Так что же, извиниться мне, что ли, надо? — спросил Уколов.— Если надо — извинюсь, только на пользу было бы.

На Уколова нельзя было сердиться, он весь отдавался делу и забывал при этом все.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ СДАНЫ. НАЧАЛИСЬ ЗАНЯТИЯ

В Горную академию меня зачислили при условии, что я к ноябрю сдам экзамены. Предстояло сдать четыре предмета: два по математике, физику и русский язык. Весь октябрь я готовился. Математика мне давалась легко, я ее любил и не опасался за результаты. А экзамены по математике считались основными, как мне говорили. Вот тогда я и познакомился с профессором Гребенчей. На экзамен пришли всего несколько человек, и у Гребенчи оказалось достаточно времени. Он стал давать мне одну задачу за другой. Мне пришлось решить одиннадцать задач, и когда я со всеми справился, Гребенча с удовлетворением сказал:

— Ну что же, желаю, чтобы вы и тем материалом, что я вам буду излагать на лекциях, так же хорошо овладели.

Преподаватель по физике — Потапенко — меня прежде всего спросил, сдал ли я математику, и когда я сказал, что сдал оба экзамена, он больше для проформы задал какой-то вопрос, и этим дело ограничилось. Я получил зачетную книжку, как настоящий студент. Книжки представляли собой небольшие тетрадочки с напечатанным на машинке на узких полосках бумаги перечнем тех предметов, зачеты по которым необходимо сдавать.

Тогда посещение лекций было необязательным, а для перехода на следующий курс требовалось сдать обязательный минимум зачетов. Каждый из предметов оценивался определенным количеством очков, в зависимости от важности и сложности его.

Для перехода с курса на курс требовалось иметь определенное количество очков. И перед концом семестра у студентов только и разговора о том, сколько они «набрали очков».

Как правило, лекции посещались плохо: многие студенты работали, да к тому же считалось, что на лекции нечего тратить время — лучше сидеть и готовиться к сдаче зачета. Каждый хотел возможно быстрее закончить курс. Кроме того, некоторые профессора хотя и хорошо знали свой предмет, но читали быстро и попытки записывать лекции ни к чему не приводили, а готовиться по плохо составленным запискам не хотелось.

Подавляющее число студентов оканчивали высшие учебные заведения не посещая лекций. В особенности низкая посещаемость была на первых курсах. Объяснялось это главным образом тем, что самостоятельная работа студентов оказывалась более продуктивной. Готовить одновременно несколько предметов невозможно, а посещение восьми—десяти лекций, читаемых параллельно в течение семестра, занимало много времени, отвлекая студентов от подготовки к зачетам.

Поэтому ряд аудиторий пустовал — на некоторые лекции ходило по пять-шесть человек. Иногда студенты договаривались и устанавливали очередность посещения лекций. На нашем курсе несколько студентов посещали аккуратно почти все лекции и записывали их — по их запискам готовились к сдаче зачетов остальные. Конечно, лекции ряда профессоров посещали почти все. Полные аудитории собирали Грум-Гржимайло, Бобарыков, Обручев, Павлов, Губкин. На старших курсах на лекции по специальности, как правило, приходили все студенты.

Первый семестр прошел быстро. У нас завязались знакомства. Образовались группы тесно связанных друг с другом людей. Мы вместе ходили на лекции, вместе готовили зачеты, ходили на собрания и участвовали в многочисленных в те годы демонстрациях. Мое знакомство с Фадеевым и братьями Блохиными превратилось в крепкую дружбу, и мы ее поддерживали и после окончания Горной академии.

— Вас четверо да нас трое,— шутя подвел итог Фадеев в первый день нашего знакомства,— это сила.

Мы образовали студенческую коммуну, и все у нас стало общим, а самое ценное по тому времени — скудные продукты питания — мы и держали в одном месте. За питание группы отвечал дежурный, а так как нас было семеро, то мы и распределили между собой дни недели. Днем моего дежурства стал четверг, и я знал, что в четверг я должен кормить всю группу. Это накладывало обязанности и вместе с тем теснее всех нас объединяло. Мы всегда следили за тем, чтобы все члены группы вовремя сдавали зачеты, сдавали их хорошо, и оказывали друг другу помощь в подготовке к экзаменам. Зильбер превосходно знал математику и потратил немало времени на то, чтобы помочь и другим членам группы овладеть наиболее сложными разделами ее. Вся семерка училась очень хорошо, без хвостов. Правда, к некоторым из читаемых курсов у большинства из нас было пренебрежительное отношение, Апряткин, например, считал, что инженер должен знать только то, что прямо относится к его специальности.

В Горной академии не хватало ни аудиторий, ни лабораторий, и некоторые предметы мы слушали в других учебных заведениях. Занятия по качественному и количественному анализу проводили первое время в лабораториях Плехановского института, лекции по электрохимии и химической термодинамике слушали там же. Небольшой курс по биологии нам читал преподаватель университета, и сдавать зачет по этому курсу студенты ездили на Моховую улицу — в университет.

Когда этот курс ввели, Апряткин стал ворчать:

— Ну на кой черт металлургу биология! Все равно я ее как следует знать не буду — только время зря растрачиваем.

Алексей Блохин убеждал его:

—Ну как не можешь понять, Иван, что ты же получаешь высшее образование. Тебе надо быть не просто мастером,умеющим варить сталь, знать досконально свою специальность, но быть культурным человеком, знать общие законы биологии, знать литературу, историю и понимать музыку.

— Ну, знаешь, ты еще потребуешь от меня, чтобы я команду у мартеновской печи подавал нараспев под аккомпанемент флейты.

— А ты что же, хочешь команду подавать под аккомпанемент нецензурщины?

— Мне надо быстрее закончить курс и на завод ехать — нас там ждут. Если я не буду знать, чем отличается музыка Баха от музыки Бетховена, мне простят, а вот если я не сумею хорошую сталь сварить — меня просто с завода выгонят. А то и другое знать нельзя.

Но биологию пришлось все же сдавать. Первым из нашей группы получил зачет по биологии брат Алексея Блохина — Николай.

— Когда ты успел подготовиться? — спросил его Алексей, который ко всем зачетам готовился очень добросовестно, а биологию, помимо всего, и любил. Кроме того, он считал, что геолог должен знать биологию.

Николай же в отношении биологии придерживался такого же мнения, что и Апряткин. Но раз курс введен — надо сдавать, тут уж ничего не поделаешь.

— Сдать — и немедленно забыть,— добавлял он, поддерживая Апряткина.

— Не знаю, как ты сдашь зачет по биологии,— ведь ты совершенно ничего не знаешь.

Николай твердил, что он знает. И вот — первое испытание.

Мы с нетерпением ждали, чем же закончится экспедиция Николая.

Николай наконец вернулся. По его настроению видно, что зачет он сдал, но каким образом? Ведь не готовился.

— О чем тебя спрашивали? — задал вопрос Алексей.

— Про кита.

— Что же тебя про кита спрашивали? — допытывался Алексей.

— А меня спросили: назовите кишечнополостное. Ну, я сказал — кит.

— Конечно, тебя погнали,— с возмущением произнес Алексей.

— Почему погнали — зачет поставили, а не погнали.

— Ничего не понимаю. Да расскажи все по порядку, как дело было.

— А очень просто. Когда я пришел сдавать зачет, там было много студентов из университета. Они тоже пришли на экзамен. Преподаватель сказал: «Я сначала приму зачет у этого горняка, у них курс небольшой, а потом займусь с вами». И тут-то он спросил меня про кишечнополостное. А я в жизни не только не знал, что это такое, но даже и слова такого не слыхал. В это время студенты стали подсказывать, но я плохо слышал, что они говорили, то ли кит, то ли гид.

— «Гидра» они тебе кричали,— с раздражением произнес Алексей.

— Там не покричишь. Если бы кричали, я бы разобрал, а то шипели. Когда я ответил, раздался страшный хохот. Экзаменатор тоже рассмеялся и сказал: «Давайте скорее вашу зачетную книжку, а то вы тут такое наговорите» — и поставил зачет.

— Покажи,— сказал Алексей.

Николай развернул страничку своей зачетки, и мы увидели слово «зачет» и подпись.

— Ничего не понимаю,— сказал Алексей, возвращая Николаю книжку.

— А я не только понимаю, но и уважаю этого преподавателя — он знает, что биология металлургу не нужна, и не хочет чинить формального препятствия в получении именно металлургического образования.

— Ну нет, я с этим не согласен,— горячился Алексей,— и обязательно поставлю этот вопрос на предметной комиссии. Подумать только! Этот нахал спутал кита с амебой и получил зачет.

— А чего, собственно, ты на него взъелся? — напал на Алексея Апряткин.— Ну когда ему в жизни придется иметь дело с этой самой гидрой или амебой? Зачем нам ввели этот предмет?

— Как зачем? Допустим, на каком-то собрании металлургического завода кто-то из ораторов сказал — «гидра контрреволюции», а кто-нибудь из рабочих — сталеваров или прокатчиков спросит Николая: товарищ инженер, скажите, пожалуйста, а что такое гидра? Что он на это ответит? Я, мол, изучал в высшей школе только то, как сталь следует варить, а насчет гидры мы не проходили. Так, что ли? — иронизировал Зильбер.

— Браво, Феликс! — громко выкрикнул Фадеев, вошедший в комнату, когда шла эта полемика. Фадеев был большим другом Апряткина, но по этим вопросам все время спорил с ним.— Я понимаю тебя, Иван,— сказал он, обращаясь уже к Апряткину,—

ты хочешь возможно быстрее уехать на завод, но надо вначале получить полное образование, а не ограничиваться только изучением специальных предметов по узкой, избранной специальности.

— Как хотите, а я все-таки поставлю вопрос на предметной комиссии о преподавателе по биологии. Такое отношение преподавателя к читаемому им предмету недопустимо! — продолжал возмущаться Алексей.

Такие дискуссии не были редкостью среди студентов.

Много споров вызывали в то время вопросы ведения занятий и управления высшей школой. Еще летом 1921 года до начала занятий созвали Всероссийскую конференцию высших учебных заведений, на которой обсуждался проект «Положения о высших учебных заведениях». Согласно этому проекту, основной ячейкой в учебно-научной области являлась так называемая предметная комиссия, объединяющая всех научных работников данной дисциплины. В ее состав входили лица, непосредственно принимающие участие в научно-учебной деятельности данной категории наук — профессора, преподаватели, студенты.

Студенты принимали непосредственное и активное участие во всех звеньях руководства деятельностью высших учебных заведений — в составлении учебных планов и программ, установлении порядка ведения всех занятий, в обсуждении всех административных и хозяйственных вопросов — и оказывали существенную помощь ректору и его заместителям в поисках реальных путей решения чрезвычайно сложных вопросов, постоянно возникавших в эти трудные годы становления Советского государства. Декрет об учреждении Московской горной академии определил, что она существует и функционирует на основании специального положения. Такое положение, подписанное А. В. Луначарским, разработал Народный комиссариат просвещения. Оно предусматривало широкое участие студентов во всей деятельности академии. Общее управление осуществлял объединенный совет секций, в состав которого входили советы отдельных секций академии, отделений, факультетов и других ее учреждений, а также хозяйственный комитет и совет старост (совет старост занимался студенческими делами и осуществлял представительство студенчества почти во всех органах управления).

Советы учебной секции, ее факультетов и других учреждений формировались из представителей в равном количестве от профессоров, преподавателей, лиц, допущенных к преподаванию, и студентов. Уже значительно позже, 2 сентября 1921 года, положение о высшей школе было выработано Совнаркомом и утверждено В. И. Лениным. Это положение также обеспечивало широкое представительство студенчества.

Вскоре после начала учебного года меня выбрали в предметную комиссию по химии. Председатель ее — профессор В. А. Наумов. На предметной комиссии мы рассматривали педагогическую работу каждого преподавателя, разбирали затруднения, возникавшие в процессе ведения занятий, а также успеваемость студентов. В случае неудовольствия студентов читаемым курсом представитель студентов мог ставить этот вопрос на рассмотрение предметной комиссии и добиваться замены преподавателя.

Позже меня избрали в совет факультета. Это налагало большую ответственность уже за деятельность всего факультета, и к учебной нагрузке добавилась еще работа на факультете. Вместе с тем это помогало приобретать опыт в деле управления и приучало разбираться в сложных вопросах, часто возникавших на факультете.

АКАДЕМИЮ ЗАКРЫВАЮТ

Весь 1921 год мы мерзли в общежитии, мерзли на улице в солдатских телогрейках и довольно поношенной обуви и не могли согреться в плохо натопленных аудиториях. Сидеть на лекциях было неудобно, тем более писать, так как мы обычно не снимали верхней одежды. Профессора и преподаватели читали лекции и вели занятия также не снимая пальто — все это производило унылое впечатление какого-то митинга, на который собрались случайно проходившие по улице люди. Сидели в солдатских шинелях и телогрейках, в черных кожаных куртках, часть в пальто, в перекрашенном и перелицованном военном обмундировании. Хорошо одетых — единицы.

В университете, в особенности на старших курсах, где было еще много старых студентов, все выглядело иначе. Кроме того, в университет старались попасть дети хорошо обеспеченных родителей — инженеров, профессоров и преподавателей и людей, занимавших крупные посты.

Московская горная академия как новое учебное заведение не очень-то привлекала к себе. Даже кое-кто из студентов академии вздыхал о том, что ее никто не знает и диплом об окончании не будет иметь такого же значения, какое имеют дипломы Петроградского горного или Политехнического институтов. Двое студентов даже перевелись из Горной академии в Политехнический институт. Но огромное большинство студентов стали большими патриотами своего вуза и, несмотря на серьезные трудности того времени, стойко переносили все невзгоды.

В 1921 году в связи с продовольственными трудностями, а также отсутствием топлива встал вопрос о сокращении количества высших учебных заведений, с тем чтобы все ресурсы сосредоточить в нескольких. Еще до нашего приезда в Москву в июне 1921 года проходила Всероссийская конференция высших учебных заведений, на которой выступал с докладом о положении высшей школы А. Луначарский. Он констатировал, что состояние высшей школы в настоящее время тяжкое, и предостерегал от чрезмерного расширения сети вузов, которое происходило с первых же дней революции.

Вместе с тем на этой конференции Луначарский еще раз подчеркнул то, как «важно связать высшую школу с пролетариатом, чтобы из недр его и из беднейшего крестьянства черпать новые слои для высшей школы».

В это время и встал вопрос о закрытии Горной академии. В Главпрофобре представителям академии сказали: нет ни денег на содержание, ни топлива, ни продовольствия. И. М. Губкин собрал небольшой студенческий актив и рассказал о положении.

— Надо принимать меры — спасать академию,— закончил Губкин свое грустное сообщение.

Тевосян, вернувшись с этого совещания, рассказал о положении нам.

— Надо ехать на места — в Донбасс, в Баку, Грозный — и просить о помощи. Если мы помощи не получим, академию безусловно закроют.

Потом совещание собрал Завенягин. Все пришли к выводу, что единственное спасение — обращение за помощью в те организации, которые направляли нас на учебу. Выделили нескольких человек для посылки на места. Сели сочинять письма. Одно из таких писем я нашел в личном деле студента Уколова, которого решили направить в Донбасс, где он когда-то работал и его там знали. Письмо адресовали председателю Донецкого губисполкома товарищу Рухимовичу. «Московская горная академия,— говорилось в нем,— основана Советской властью в 1918—1919 годах, имеет в своем составе 1166 студентов, которые по своему социальному положению разделяются на следующие категории:

Детей рабочих	— 313	человек
Крестьян	— 442	»
Служащих	— 327	»
Прочих	— 84	»

Из данного количества студентов госстипендии получают 235 человек и около 185 человек — частных стипендиатов (получающих стипендии от командировавших в высшую школу организаций). Причем госстипендии по своему размеру являются совершенно ничтожными и не удовлетворяют студенческих нужд. Остальная же масса студентов лишена какой-либо поддержки, необходимой для правильного хода учебных занятий.

Исходя из изложенного, мы просим Вашего содействия в оказании возможной помощи студентам Горной академии. На этот предмет нами уполномочен тов. Уколов В. А., каковому и просим оказать содействие в препровождении полученного в адрес академии.

Заведующий отделом обслуживания учащихся при МГА.
Председатель исполбюро профсекции.
Ответственный секретарь ячейки РКП(б)».

Аналогичные письма направили в другие места страны — в Баку, Грозный, на Урал. Командируемым на места дали еще устное указание:

— Просите то, что они производят,— им легче будет отпустить изготовляемое имп. Гоните из Донбасса уголь, а из Баку и Грозного нефть. Потом все это добро можно продать и приобрести то, без чего академия не сможет существовать.

Наши «полномочные представители» стали направлять в академию все, что удавалось на местах получить. Из Донбасса пришло несколько вагонов угля. Из Баку цистерна с керосином, а когда наш студент, прибывший в Грозный, обратился с просьбой о помощи и попросил направить в адрес академии керосин, мазут или нефть, ему с горечью сказали:

— Сами уже давно нефти не видим — промысла разорены и после гражданской войны еще не восстановлены.

Во время обсуждения вопроса о помощи кто-то из местных работников сказал: «Нельзя же людей с пустыми руками отпускать» — и предложил выделить кое-что из захваченных у деникинской армии трофеев.

— У нас есть еще целый неразгруженный вагон разного добра — вот пусть они его и забирают.

Вагон пришел в Москву. Когда его стали разгружать, то в нем оказалось несколько ящиков с плитками шоколада в яркой красочной упаковке, какой мы никогда не видели. Студенческая комиссия, бравшая на учет все поступавшие продукты, решила, что весь шоколад надо передать в детские учреждения. Несколько ящиков были заполнены бутылками с какими-то напитками. Прочитав надписи, установили: в одном из ящиков французский ликер бенедиктин, а во втором французское шампанское.

— Что же делать с этим добром? — спросил один из членов комиссии.

— Как что? Продать нэпманам — они с руками оторвут. Не самим же пить.

Володя Уколов вздохнул:

— Неужели так и не узнаем, что пьет мировая буржуазия? Такой случай подвернулся — и вдруг отдать все, даже не попробовав. Хотя бы несколько бутылок оставить — для пробы.

Даже наиболее принципиальные заколебались. Несколько бутылок ликера и шампанского отложили в сторону. Вечером небольшая группа собралась на квартире у заместителя Завенягина Чередниченко. Он жил во дворе академии в небольшом домике рядом с церковью. В комнате Чередниченко стояла небольшая железная печка. Такие печки в то время назывались буржуйками — они отапливались щепой и чурками. Когда мы вошли, железные листы печки раскалились докрасна. Все разделись.

— Ты поставь-ка бутылки поближе к буржуйке. Пусть погреются,— командовал Уколов.

Откуда-то появилась селедка и краюха черного хлеба. Селедку и хлеб разрезали и разложили на старой газете. Все разместились у стола.

— Ну, давай раскручивай,— снова скомандовал Володя.

Пробка с шумом вылетела, и струя жидкости ударила в лицо открывавшего бутылку, залила стол и пол комнаты.

Растерявшийся студент одной рукой протирал глаза, а второй продолжал держать бутылку, из которой текло вспененное вино.

— Да подставьте какую-нибудь посудину — ведь все вытечет и для пробы ничего не останется! — вопил Уколов.

— Передайте мне бутылку,— сказал Чередниченко,— надо осторожнее открывать — это вам не самогон.

Но и у него часть вина выплеснулась на пол. Жена Чередниченко ворчала:

— Вы что, пол у меня пришли вином мыть?

На третьей бутылке наконец овладели техникой открывания бутылок с шампанским. Но оно никому не понравилось.

— Вроде лимонада, только язык немного щиплет,— сказал Володя.— Давайте вот это попробуем.— И он, открыв бенедиктин, стал сливать в стаканы тягучую зеленоватую жидкость.

Ликер также не понравился.

...Полученная с мест поддержка сняла на некоторое время вопрос о закрытии академии. Но все же он поднимался Главпрофобром еще несколько раз. Мы это объясняли не только трудностями содержать большое количество учебных заведений, но также «кознями» реакционных профессоров, имевших влияние в аппарате Главпрофобра, которым мозолило глаза новое советское учебное заведение — красная академия. Но нам удавалось отбивать все атаки, нам оказывали значительную поддержку Замоскворецкий райком партии и профсоюз горнорабочих. С обеими организациями у нас установились крепкие связи.

В ОБЩЕЖИТИИ НА СТАРОМОНЕТНОМ

В доме, переданном под общежитие студентов Горной академии, когда-то было подворье Марфо-Мариинского женского монастыря. Добротно выстроенный пятиэтажный кирпичный дом с широкими коридорами, по обеим сторонам которых располагались комнаты с большими окнами и тяжелыми дубовыми дверями. На каждом этаже в конце коридора — санузел с общим умывальником и несколькими кранами, которые вечно подтекали. В подвальном этаже — котел центрального отопления. Слева у входа в небольшой каморке жила сторожиха тетя Маша, пожилая, строгая женщина, единственный представитель «штатного персонала». Тетя Маша ровно в двенадцать часов ночи запирала входную дверь, и попасть в помещение позже этого часа редко кому удавалось. Тетя Маша относилась почему-то благосклонно только к Зильберу. Когда мы немного осмотрелись, обжились и привыкли к своей комнате, Зильбер сшил из листов линованной бумаги, выдранной им из какой-то старой приходно-расходной книги, толстую тетрадь и предложил вести дневник жильцов комнаты, занося в него все наиболее примечательные события.

Я помню первые страницы этого дневника. Апряткин написал: «Зовут меня Иван. Я живу в углу, где ящик стоит» — и на этом остановился. Пришлось заполнять дневник самому Зильберу, причем делал он это, пародируя разные стихи. Вот одна из таких записей: «Мое благородное лицо выдает мое благородное происхождение. По утверждению моего знаменитого дяди — Игоря Северянина, я родился в тропической Мексике...»

Очень жалею, что этот дневник исчез. Зильбер заносил в него много разных историй, как действительно имевших место, так и придуманных им. Он вообще был большим мастером не только сочинять самые невероятные истории, но и ставить театрализованные постановки, к участию в которых он привлекал многих людей, часто даже не подозревавших, что они участники своеобразных спектаклей.

На первом этаже находилась кухня, где стояли кипятильник-титан и громоздкая, отапливаемая дровами плита. Из-за места на плите всегда возникали ссоры. В особенности попадало нам, владевшим низенькой эмалированной кастрюлей необычно большого диаметра. Она занимала на плите очень много места, и студенты, не имевшие возможности поставить на плиту свои кастрюли, всегда почему-то устраивали скандал Зильберу.

— Ты бы еще сюда лохань из Сандуновских бань принес да поставил! — услышал я как-то истошный крик у плиты.

Зильбер никогда не выходил из себя и давал спокойные объяснения, почему он вынужден пользоваться этой кастрюлей. Его объяснения, нарочито дикие, нелепые, произнесенные спокойно, менторски, еще сильнее взвинчивали спорящих с ним.

Позже плиты построили в коридоре каждого этажа, а кое-кто из студентов приобрел примусы и керосинки, что значительно разрядило положение с местами на плите, хотя не так-то просто удавалось раздобыть керосин.

Студенческая стипендия состояла из денежной и продовольственной частей. На деньги, получаемые раз в месяц, можно было у частных торговок купить стакан семечек. Продовольственный паек состоял из муки и селедки.

В это время в Москве открылись небольшие частные пекарни, где муку можно было обменять на хлеб. Сложился обменный эквивалент — за фунт муки пекари давали фунт хлеба. Когда мы приносили муку, то пекарь обычно ставил кулек с мукой на од-

ну чашу весов, а на вторую вместо гирь клал темный сырой хлеб, похожий на спрессованный, но не обожженный кирпич.

На стенах нашей комнаты можно было видеть прямоугольники и квадраты с фамилиями на них: Руднев, Рысев и т. д. Это проекции кусков хлеба, которые мы давали взаймы другим студентам. Такую систему учета ввел Зильбер. Когда к нам приходили за хлебом и мы могли дать, Зильбер прикладывал его к стенке и очерчивал карандашом, снимая три проекции, и на одной из них писал фамилию того, кому он давал хлеб. Когда нам хлеб приносили, Зильбер приставлял кусок к проекциям и нарочито начинал спор:

— Возвращаете не то, что взяли, на целых пять миллиметров не сходится.

Делал он это из чистого озорства.

Первые два месяца после приезда из Баку мы еще кое-как перебивались. К получаемому пайку — селедке и муке — добавляли кое-что из того, что привезли с собой, а привезли немного рису, несколько больших копченых рыбин — кутумов — и десятка два банок со шпротами.

Но вот продукты подошли к концу, а выдачу пайка задержали. Мы сумели раздобыть всего несколько килограммов мелкой мороженой картошки. Хлеба — ни кусочка. Картошка — наполовину черная, со сладковатым привкусом. Соли нет.

Уколов, занимавшийся в студкоме вопросами студенческого питания, сказал:

— Как-нибудь два дня провертитесь, что же теперь делать-то.

Постоянная жизнерадостность изменила и Зильберу. Никогда я не видел его в таком удрученном состоянии.

— Хотел было у Рысева занять, но у него тоже ничего нет. Я уже всех опросил — ни у кого крошки хлеба нет. Так что придется пока на картошке посидеть. Хотя и ее немного остается.

— Ну, а там,— кивнул Апряткин на фанерный ящик,— ничего больше нет. Последний кутум остался. Берегу. Рука не поднимается его брать. А вдруг еще хуже будет.

— Куда уж тут хуже,— мрачно изрек кто-то.

Апряткин только что вышел из больницы после операции аппендицита. На него страшно смотреть: на бледном, худом лице — глаза, в которых застыли боль и раздражение.

Зильбер решительно вынул из ящика большую копченую сухую рыбину. Апряткин разрезал ее на куски, залил кипятком. Картофель показался уже не таким паршивым. В это время в комнату вошел один из студентов.

— А вы шикарно живете! Это у вас что, уха? — спросил он, показывая на кастрюлю.

— Да,— ответил Зильбер.

— Дайте хоть попробовать. Кажется, я уже и вкус ее забыл. А раньше у нас на Волге такую уху варили — за уши не оттащишь!

И прежде чем кто-то вмешался, он взял ложку и стал с жадностью поглощать соленую воду, в которой отмокал кутум.

— Вот если бы хлеба еще.

«Чего же мы ноем,— подумал я,— другим, видимо, еще труднее».

Нашей группе было действительно легче — мы с начала 1922 года стали получать повышенную стипендию. Эту стипендию нам выплачивала Азнефть. Она составляла 50 рублей, в то время как обычная стипендия — 30.

Мы вчетвером — Тевосян, Апряткин, Зильбер и я — раз в месяц ходили за получением стипендии в здание Азнефти в Блюхеровском переулке. На пути к Азнефти пересекали Биржевую площадь, где всегда много народу. Здесь толкались разного рода спекулянты, и когда мы протискивались через толпу, то со всех сторон слышались предложения:

— Беру доллары, беру фунты.

И вдруг вопрос одного из спекулянтов к Зильберу:

— А что у вас?

Интеллигентная внешность Зильбера внушала доверие.

— Могу предложить три вагона пшеницы,— не моргнув глазом ответил он.

— Почем? — спросил покупатель.

— Ну, об этом надо поговорить, может быть, встретимся?

— Где?

— В ресторане «Не рыдай», второй столик налево от входа, ну, скажем, сегодня в пять часов, сейчас я очень тороплюсь,— предложил Зильбер.

Мы пошли дальше.

— Неужели он будет тебя ждать в этом ресторане? — спросил Апряткин.

— Будет, они люди обязательные.

— А ты не опасаешься, что тебя как-нибудь вздуют здесь?

— Нет, не боюсь. Вероятность новой встречи не особенно велика.

В Азнефти на этот раз нам, кроме денег, еще дали по нескольку метров хлопчатобумажной ткани, присланной из Баку. Ткань — бязь, которую ранее выпускала текстильная фабрика Тагиева,— была покрашена в черный цвет.

— Для нас она не годится, но можно будет на что-нибудь выменять,— заключил Зильбер.

— Никто не возьмет,— решительно сказал Апряткин.— Зачем они ее покрасили? Бязь-то хоть на простыни или наволочки можно использовать, а на что это приспособить — и не придумаешь.

— На креп для гробов. Я это вмиг могу с гробовщиками сторговать,— ответил Зильбер.

На следующий день мы решили «топнуть». После получения стипендии раз в месяц мы позволяли это себе. Пошли в ресторан «Азербайджан». Его ныне нет, он помещался в одном из домов на Никольской улице. Азербайджанские блюда — шашлык, кебаб, плов. В зале, увешанном коврами, играли на зурне. Тепло, народу немного. Мы переносились в Баку и на несколько часов забывали о холоде общежития, о постоянном голоде, о неприхотливой пище, которую сами готовили.

НА ВОРОБЬЕВЫХ ГОРАХ

Был теплый летний день. Мы только что сдали последние за этот год зачеты.

— Ну, гора с плеч,— сказал Николай, выходя из здания во двор академии.

...Зачеты сданы. Студенты готовятся к отъезду на летнюю практику. Наша группа также собирается ехать на юг, на Юзовский завод.

— Жаль, что ты с нами не едешь,— говорит Николай.— А то бы опять стали вместе жить, как в прошлом году в Сормове.

К нам подошел Саша Фадеев:

— Вы домой?

— Дома делать нечего, сегодня сдали последний зачет — организацию. Хотим немного пройтись.

— Пошли, и я с вами пойду. Махнем на Воробьевы горы,— предложил Саша.

Подошел Зильбер:

— Вы куда?

— На Воробьевы.

— Я с вами.

Проходя мимо Нескучного сада, Зильбер обратил внимание на то, что с двух столбов изгороди исчезли увенчивающие их каменные шары.

— Нет, все-таки не перевелись еще люди! — со вздохом произнес он.

— Ты это о чем? — спросил Саша.

— Вот смотри, свернули. Какую же нужно было приложить силу, чтобы свернуть их и сбросить. Почему они это сделали, что, им шары понадобились или им заплатили за это? Какими соображениями они руководствовались, выполняя эту операцию?

— Философ, ты бы лучше объяснил нам, чем ты руководствовался, когда увез с шахты рудничную лампу? Ведь только вмешательство Тевосяна спасло тебя от исключения из академии.

Феликс, будучи на летней практике, не вернул взятую там рудничную лампу. Из Никитовского рудоуправления пришло письмо о том, что студенты Горной академии

Ф. Зильбер и А. Кузьмин не вернули взятых во время практики ламп. Вопрос о лампах рассматривался нашим высшим органом — правлением Московской горной академии. Правление вынесло решение — обоих студентов исключить из академии. Ректор И. М. Губкин был очень строг, когда касалось чести академии и ее студентов. Получив письмо из Никитовского рудоуправления, Губкин произнес на заседании громовую речь и предложил обоих студентов исключить из академии, а стоимость ламп рудоуправлению компенсировать. Этот случай долго и горячо обсуждался как среди студентов, так и среди преподавателей. Мы, хорошо знавшие Зильбера, были буквально потрясены. Никто из нас и мысли не допускал, что он мог совершить какой-то нечестный поступок. И вместе с тем мы не могли найти разумного объяснения ему. Тевосян все же пошел к Губкину и сказал, что хорошо знает Зильбера и случай с лампами является каким-то недоразумением. А вечером он имел длительный разговор с Феликсом.

— Ну на кой черт вы лампы-то с Кузьминым увезли? Немедленно поезжайте обратно на рудник, верните лампы и извинитесь. Только если будет письмо с рудника о том, что здесь не было злого умысла, Губкин может смягчиться и оставить вас в академии.

Студенты уехали, как они там объяснили свой поступок, неизвестно, но через несколько дней из Никитовского рудоуправления пришла справка о том, что «с лампами произошло недоразумение». На этой справке Губкин написал резолюцию о восстановлении обоих студентов в правах. Но, несмотря на резолюцию ректора, вопрос о лампах вновь рассматривался на заседании правления академии, и в постановлении записали: «Студентов Зильбера и Кузьмина восстановить в правах с предупреждением, что в случае повторения подобных явлений они будут безоговорочно исключены из МГА без права поступления в другие вузы». В те годы строго соблюдали чистоту нравов и спуску никому не давали.

— Так зачем же ты все-таки лампу-то с рудника увез? — допытывался Фадеев.

Мы дошли до самой высокой точки — около церкви. Внизу Москва-река. Вечер чудесный, теплый. Влево у самого горизонта небо покрыто яркими полосами, они менялись в окраске и величине. Над золотистыми и ярко-красными вытянулась широкая темно-синяя лента. Зильбер молчал, смотрел на яркие краски вечернего неба и вместо ответа стал декламировать:

Синий свет, свет такой синий!
В эту синь даже умереть не жаль.
Ну так что ж, что кажусь я циником,
Прицепившим к заднице фонарь!

— Так он тебе, этот фонарь, понадобился для очередного водевиля? — не унимался Фадеев.

— Эх, Саша, ну кто же может объяснить порывы мятежной души,— со скорбной миной произнес Зильбер.— Давайте-ка лучше спустимся вниз и полежим на травке.

Спустились к реке, выбрали местечко у куста и легли. По полянке ходили три девочки восьми—десяти лет, собирали ромашки и пели. Саша оживился и стал вслушиваться.

— Никогда не слышал такой песни,— наконец произнес он и, позвав девочек, спросил: — Что это за песню вы поете? Как она называется, про кого?

— Про Аршака.

— Ну спойте с самого начала.

Девочки вначале отнекивались, но одна из них, видимо побойчее, срывающимся голосишком запела:

Аршак был парень бравый,
Диржал сибе фасон,
Хоть был он фулиганом,
Но дрался не ножом.

За первой начали подтягивать и остальные две. Песня оказалась очень длинной. Последние слова каждого куплета девочки повторяли дважды. Стало темнеть, девочки с охапками белых ромашек ушли.

Саша лежал на спине и смотрел в небо, зажав в зубах травинку. Николай и Феликс заснули и тихо похрапывали. Шум города сюда не достигал.

— Как странно все в жизни происходит,— произнес Саша, повернувшись ко мне.— Аршак только потому, что в драках не прибегает к ножу, становится героем. В том маленьком мирке, где он действует, не знают о настоящих героях. О настоящих героях им никто не рассказывает, и о них не имеют ни малейшего представления. А у них потребность говорить о героизме, воспевать геройство. Вот и появляется герой Аршак.— И Саша стал повторять слова прослушанной нами песни:

Схватил Аршак бутылку,
И стал он драться ей,
Но в грудь ему вонзилось
Тут несколько ножей.

Черт-те что! Нам надо писать о настоящих героях, рассказывать об их делах, чтобы люди все узнали о них, полюбили их и пели не об Аршаке, а о настоящих людях нашей страны. Сколько я видел их в Уссурийском крае и вот совсем недавно на льду у Кронштадта. Да и ты, вероятно, немало встречал настоящих героев. Пытаюсь писать, но не знаю, что у меня получится. Показать людей не манекенами, а живыми.— Саша повернулся на спину и стал жевать кончик травинки.— Хорошо бы костер развести. Очень люблю сидеть и лежать у костра. Сколько я разных историй наслушался у костров на Дальнем Востоке. Настоящий герой и не понимает, что он герой... Почему я избрал геологию? — продолжал Саша.— Видимо, Дальний Восток толкнул меня на это. Очень уж богатый край. Чего только там нет!.. Как все-таки все в жизни по-чудному происходит — тянет писать, а сам в геологи готовлюсь. А тебя что в металлургию потянуло? — повернулся он ко мне.— Ведь ты на металлургических заводах не был и в роду у тебя тоже металлургов нет. С чего это ты вдруг захотел металлургом стать?

— Я очень любил ботанику, собирал гербарий, а затем заинтересовался геологией и хотел было на геологический факультет поступать. На металлургию меня подбили Апряткин и Тевосян. Ну, а теперь увлекся. Интересно стало.

— Ну, хватит храпеть,— стал тормошить Сашa Зильбера,— пошли, уже утро.

Эту ночь на Воробьевых горах я запомнил на всю жизнь. Мне кажется, что именно тогда Фадеев решил непременно стать писателем.

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ НАСИЛИЕ?...

США

О. Демарис. «Америка насилия». Нью-Йорк. 1970.

O. Demaris. "America the Violent". N. Y. 1970.

*

Ружье, повешенное на стену в первом акте, как известно, в последнем должно выстрелить. Но, оказывается, вспомнить Чехова можно не только в связи с этим драматургическим законом «В Америке слишком много ружей, на слишком многих стенах,— пишет О. Демарис, автор недавно вышедшей в США книги «Америка насилия».— И слишком часто американцы снимают их, чтобы стрелять друг в друга».

Об остроте рассматриваемой О. Демарисом проблемы позволяет судить уже предисловие к книге. Оно посвящено событиям лишь одного из сентябрьских дней 1969 года — газеты рассказывали о том, кто, кого и как убивал накануне в Америке. «Мне показалось,— признается автор,— что заголовки написаны кровью». Остальные четыреста страниц книги О. Демариса служат доказательством того, что день, о котором идет речь в предисловии, был самым будничным в истории американского насилия.

Есть историки искусства, экономики, права. О. Демарис — историк насилия. Труд его, чуть ли не наполовину—для убористости—набранный нонпарелью, набит примерами насилия самого различного свойства: автор всюду, где свистит пуля, где захлестывается петля, он свидетель и уличной драки и расстрела забастовщиков. К американской истории он подходит как к бесконечной цепи актов насилия, первые звенья которой уходят еще во времена легендарного первооткрывателя Америки викинга Эрика Рыжего, огнем и мечом покорявшего туземцев, и отцов-пилигримов с «Мэйфлауэр», оказавшихся еще изобретательнее Эрика по части жестокого обращения с индейцами.

С тех пор как к американскому материку причалило первое судно с рабами из Африки, началась эпопея насилия над неграми «В сознании белого человека,— пишет О. Демарис,— негр всегда был животным без души, белый считает, что негр и мыслит иначе, чем белый, что сверхсексуальность черных опасна для каждой белой женщины». В прежние времена белый, убивавший негра-раба, нес такую же ответственность, как за убитую им чужую корову или лошадь. Как известно, ныне в США полицейские и национальные гвардейцы безнаказанно расстреливают демонстрации в гетто.

Одна из самых кровавых страниц в истории Америки — завоевание «дикого» Запада: шло истребление индейцев, фермеры убивали государственных чиновников, да и друг с другом выясняли отношения, стреляя с бедра. «Эта традиция насилия пришла к нам в XX век»,— пишет О. Демарис. Ее современные варианты — убийства президента Д. Кеннеди, сенатора Р. Кеннеди, Мартина Лютера Кинга.

«Америка насилия» рассказывает и о том времени, когда в США организовывались первые профсоюзы: «Во всем мире ни одна нация не имела более кровавой и более насильственной истории наемного труда, чем Соединенные Штаты». Рядовой эпизод той эпохи. Пенсильвания, 1897 год. На дороге между Хэзлетоном и Латимером расстреляна колонна безоружных забастовщиков. Руководил операцией местный шериф. Погибли 18 рабочих, ранены 40. Суд оправдал убийц...

Но все же с особой пристальностью автор рассматривает события, связанные со сферой уголовной,— от леди Таллус Мэг, которая в конце прошлого века в одном из нью-йоркских ресторанов бросалась на посетителей, норовя откусить ухо, до знаменитого Чарльза Уитмена, действовавшего уже в наши дни. Этот бывший морской

пехотинец, забравшись 1 августа 1968 года на крышу университета в Остине, застрелил 15 и ранил 31 человека. «Я фанатик оружия,— приводит О. Демарис слова отца Чарльза.— Я растил моих мальчиков так, чтобы они знали, как следует обращаться с оружием».

Впрочем, достаточно примеров из книги О. Демариса. Уже с первых ее страниц становится ясно, что автор добровольно избрал для себя роль дежурного по полицейскому участку всеамериканских масштабов — он регистрирует происшествие, отмечает факт «насилия».

Посмотрим, однако, к чему приведет, чем обернется такая метода...

Вот принцип, на котором строятся оценки О. Демариса: признание очевидности, а затем вывод, искажающий смысл этого признания. Так, рассказывая о расстрелах демонстраций, убийствах профсоюзных лидеров, автор считает необходимым заметить, что в разных ситуациях «хозяева и рабочие менялись местами в ролях вершителей насилия и его жертв». Революционное насилие трудящихся, отстаивавших права на профессиональные союзы и забастовки, таким образом, приравнено к насилию эксплуататоров. О. Демарис к тому же уверяет, что «новые законы и новое поколение лидеров рабочих и предпринимателей почти покончили с насилием в трудовых конфликтах. В последние годы требования забастовщиков обычно удовлетворяются коллективными соглашениями или обращениями к национальному управлению трудовых отношений».

Но, во-первых, времена «винтовок и динамита» не отошли в прошлое. В начале 1972 года выстрелами в упор, как сообщали телеграфные агентства, были убиты Джозеф Калеб и Луис Ласки. И Калеб и Ласки — прогрессивные профсоюзные лидеры, и убиты они были за то, что отстаивали интересы рабочих. А во-вторых, О. Демарис умалчивает о том, что рабочим только потому и удается побеждать, что их выступления стали как никогда массовыми и организованными. Что же касается «насилия в трудовых конфликтах», то оно осуществляется ныне в особенно тесном союзе монополий с государственными властями. Союзе, скрепленном серией законов и законопроектов, которые, по сути, квалифицируют стачку как государственное преступление.

Тот же подход демонстрирует автор и к негритянской проблеме. Систему угнетения, в которой Америка веками держала и продолжает держать своих черных граждан, он объясняет так: это «насилие, порожденное патологической ненавистью белого человека к черным». Об истоках этой социальной патологии, о том, кому выгодно ее культивировать, автор умалчивает. О. Демарис в разряд «насилия» зачисляет и... войну за освобождение негров. Принципиальной разницы между насилием рабства и борьбой против него автор не видит.

Книгу О. Демариса о насилии, как говорят в таких случаях, не стоило бы рассматривать, если бы она не была характерна для американской буржуазной публицистики и, что самое главное, не отражала бы официальную точку зрения на эту злободневную проблему. Насилие, насилие, насилие... Сейчас это одно из самых ходовых, даже расхожих понятий в американском политическом и бытовом лексиконе. (Заметим, что библиография к книге О. Демариса — это около сотни изданий, и почти все они выпущены только в 50—60-х годах.) Со страниц прессы изо дня в день раздаются сожаления о том, что «язва преступности поразила страну», что демонстранты не подчиняются полиции, и даже о том, что полиция проявляет к этим демонстрантам «неоправданную жестокость».

Пример комичного в своей откровенности смещения акцентов — репортаж, обошедший многие американские газеты и журналы. Пожилая леди — седые букли старомодной прически, в золотой оправе очки — наставила на читателя черный зрачок пистолета. Над снимком жирный заголовок: «Насилие». Но, оказывается, особа, цепко сжимающая вороненый «смит-вессон», собирается не нападать, а отражать нападение — она обучается на специальных «курсах самозащиты». В конце репортажа говорится: и бандиты творят насилие, и интеллигентная старушка готовится к тому же, хотя и поневоле. Не правда ли — подход к насилию в духе О Демариса...

Однако вся эта идеологическая «куча мала» — объединение понятием «насилие» самых разнородных явлений, нежелание искать подлинные источники насилия — не так уж бесформенна, как это может показаться на первый взгляд. Над ее созданием

трудятся опытнейшие политические архитекторы, и книга О. Демариса входит в нее одним из кирпичиков. Она продемонстрировала вполне определенную тенденцию, особенно ярко проявившуюся в годы правления нынешней, республиканской администрации,— тенденцию к размыванию социального смысла насилия.

Как реализуется эта тенденция?

Прежде всего посредством спекуляции на страхе американца перед захлестнувшей страну волной преступности. Оснований для этого страха, как известно, более чем достаточно: убийства в США происходят каждые 36 минут, число преступлений за последний год возросло на 12 процентов. «Тройные замки на дверях и пустующие улицы после наступления темноты — печальные символы современной Америки». Это слова бывшего президента Линдона Джонсона. «Преступность и насилие в стране за последние годы росли в десять раз быстрее, чем население»,— заявляет Ричард Никсон.

Подобные признания не редкость в США. При этом и пресса, и официальные лица, и обыватели — все, разумеется, против насилия. «Насилие порождает насилие и само питается насилием,— говорит известный публицист Уолтер Липпман.— В настоящее время в американской жизни нет ничего более зловещего, чем страх перед насилием, который поразил душу всего нашего народа». О том, что насилие «неотрывно вплетено в ткань жизни Америки XX столетия», не уставал повторять и директор ФБР Эдгар Гувер. «В общем и целом в нашем обществе заложено много семян насилия, часто лежащих глубоко»,— говорил он.

У. Липпман — заслуженный «либерал», и сентенции о страхе и насилии его амплуа. Но Гувер? Тот самый, для которого насилие было смыслом всей его деятельности: насилие над инакомыслящими, расправы с «красными», с рабочим движением!.. Уже одно то, что против «насилия» выступают деятели, подобные Гуверу, заставляет задаться вопросом: какие же практические выгоды извлекает правящий класс из подобных признаний?

Выгоды самые очевидные. Власти США могли бы с полным правом заявить: если бы преступности не было, ее следовало бы выдумать... Затушевывание социальной разнородности насилия означает, что под разряд уголовщины подводятся и критики политического курса. Этот маневр характерен и для методов обычного пропагандистского «промывания мозгов», и для самых основ политики официального Вашингтона. После того как накануне президентских выборов 1968 года была опубликована одна из главных внутриполитических программ республиканской партии,— «Кампания против преступности», газета «Интернейшнл геральд трибюн» писала, что «президент намерен смешать проблемы расовых волнений, преступлений на улицах и выступлений в университетах. Для него все это насилие. Президент вскоре подтвердил верность этого прогноза. После начала массовых выступлений молодежи против войны он заявил, что участники этих выступлений «и те, кто угоняет самолеты, не слишком отличаются друг от друга».

Президентская комиссия по расследованию причин и предотвращению насилия в своих докладах конкретизирует этот принцип. Она перечисляет: отмечено столько-то «насильственных актов по отношению к неграм и к участникам борьбы за гражданские права, предпринятых частными лицами». И здесь же: прошли «насильственные выступления в городах (речь идет о демонстрациях.— *Э. Ч.*), при подавлении которых были убитые и раненые». На одну доску здесь поставлен и террор расистов и социальный протест. При этом доклады ни словом не обмолвливаются о том, что абсолютное большинство погибших в столкновениях — а их сотни! — это борцы за гражданские права и демократию, а не полицейские и солдаты. Из официальных источников известно, что 90 процентов убитых во время «усмирений» — негры.

Другая президентская комиссия, та, что расследовала обстоятельства расстрела участвовавших в антивоенной демонстрации студентов Кентского университета, делает вывод: хотя полиция и национальные гвардейцы «переусердствовали», но, безусловно, виновны и студенты, которым следовало бы не протестовать, а «уткнуть нос в книжки во имя собственной пользы и пользы общества». «Никто не прав и никто не виноват — такова суть заключений комиссии»,— пишет журнал «Ньюсуик» [1]. Впрочем, последу-

[1] Newsweek, 12 oct. 1970.

ющие события показали, что виновными власти считают только демонстрантов,— к суду было привлечено 25 студентов Кентского университета, названных зачинщиками «беспорядков».

Заметьте, об усмирителях сказано: они «переусердствовали». И это не оговорка, о произволе и насилии полиции буржуазная печать говорит немало. Но как? Казалось бы, беспощадно: полиция «стала государством в государстве», некой «почти неуправляемой силой» и т. д. Специальная группа известной нам комиссии по изучению причин и предотвращению насилия заявляет, что США все больше становятся «обществом гарнизонных городов, что налицо признаки превращения полиции в «независимую политическую силу».

Несмотря на жесткость подобных признаний, и они предназначены для того, чтобы вводить общественность в заблуждение. Да, полицейский не задумается, стрелять ли ему в негра, если тот показался ему «подозрительным»; разгоняя демонстрацию, «блюстители порядка» хватают и ораторов и случайных прохожих, избивая одинаково прилежно и тех и других. Однако говорить о превращении полиции в «независимую политическую силу» значит снимать ответственность с властей. А ведь именно они и санкционируют и поощряют полицейский разбой.

И потому стоило усилиться в печати и конгрессе критическим голосам в адрес Э. Гувера, как его взяли под защиту и министр юстиции Дж. Митчелл и президент США. На пресс-конференции, где шла речь о расстрелах в Кенте и Джексоне, Митчелл уверял, что «недопустимы не только отставка главы ФБР, но и какое-либо порицание его». Президент же заметил: «Мы можем быть ему (Гуверу.— Э. Ч.) благодарны за то, что он создал организацию, которая, как это признается во всем мире, является лучшим в мире органом по осуществлению законности». О каком же произволе полиции может идти речь? Ясно, что она ревностно выполняет социальные заказы властей.

«Когда инакомыслие прибегает к насилию, оно заканчивается трагедией,— сказал Р. Никсон после разгрома демонстрации в Кенте, единственным «оружием» которой были антивоенные лозунги. Участников грандиозного моратория в мае 1971 года в Вашингтоне он называл «варварами и хулиганами», «нарушителями закона, к которым и надо относиться как к нарушителям закона». Чтобы установить в стране «закон и порядок», говорил президент США в своей речи в Фениксе во время предвыборной кампании в конгресс в 1970 году, надо положить конец «подрывной деятельности банды грязных оборванцев», к которой он отнес забастовщиков и либералов, негров и интеллигентов.

Итак, инакомыслие объявляется преступлением, политический протест — хулиганством. И все вместе — насилием. Слово найдено...

В конечном же итоге весь этот идеологический трюк с «насилием» придуман для оправдания репрессий. «Слишком многие политические деятели страны,— считает «Сатердей ревью»,— приветствуют путаницу между инакомыслием и преступлением: говоря о преступности, они организовали координированное и упорное наступление не против воров, убийц и насильников, а против меньшинств и политических критиков... Их мишенью является социальное и культурное инакомыслие, а не преступность» [2]. Именно под лозунгом борьбы с «насилием» в США расстреливались демонстрации, требовавшие социальных перемен и окончания войны во Вьетнаме, была потоплена в крови политическая забастовка узников тюрьмы в Аттике, убит «при попытке к бегству» борец за расовое равноправие Джордж Джексон. Ведь и Анджелу Дэвис судили как «соучастницу в убийстве», хотя ясно, что за этим стояло стремление расправиться за убеждения. Крупнейшие судебные фарсы последних лет над участниками антивоенных выступлений — «чикагской семеркой» и «сиэттлской восьмеркой» — также были проведены как суды над уголовными преступниками.

Процесс все убыстряющегося перерождения буржуазной «демократии» в США очевиден. В 1786 году в штате Массачусетс вспыхнуло восстание бедноты под руководством Даниэля Шейса. Томас Джефферсон, один из первых президентов США, писал: «Я считаю, что небольшой бунт время от времени — хорошее дело и так же

[2] Saturday Review, 21 nov. 1970.

необходим в политическом мире, как бури в мире физических явлений». Впрочем, этот бунт нужен, по Джефферсону, в конечном счете, в интересах укрепления буржуазии — он «предотвращает вырождение правительства».

Буржуазный демократ Т. Джефферсон высказывал подобные идеи в эпоху, когда, по словам В. И. Ленина, «перестройка общества происходила таким образом, чтобы все граждане стали как бы равными, чтобы отпало прежнее деление на рабовладельцев и рабов, чтобы все считались равными перед законом, независимо от того, кто каким капиталом владеет...» [3].

Но времена меняются, и ныне империалистическая буржуазия не помышляет о «лозунгах свободы», не намерена делить буржуазно-демократические свободы с трудящимися. И можно не сомневаться — человек, проповедующий, подобно Т. Джефферсону, пользу «бунта» и заявляющий о «вырождении» правительства, наверняка оказался бы в дни майского моратория 1971 года за решеткой...

В эпоху, когда трудящиеся борются за то, чтобы использовать «законность буржуазии против буржуазии», власти отвечают на эту борьбу попранием прежнего, возникшего на заре капиталистического общества законодательства, фабрикуют новые, открыто репрессивные законы «Эпоха использования созданной буржуазией законности,— пишет В. И. Ленин,— *сменяется* эпохой», когда буржуазия старается «избавиться от ею же созданной и для нее ставшей невыносимой законности», старается «рвать свою собственную законность» [4].

Вот как рвет эту «невыносимую» для нее законность американская буржуазия конца 60-х — начала 70-х годов. «Никому еще раньше,— пишет газета «Крисчен сайенс монитор», подводя итоги одной из недавних сессий конгресса США,— не приходилось быть свидетелем того, как молниеносно и фактически втайне от общественности протаскиваются через конгресс чрезвычайно важные и затрагивающие очень многие стороны жизни законопроекты по судебно-юридическим вопросам. Такое законодательство усиливает власть министра юстиции Оно в огромной степени расширяет сферу деятельности и полномочий ФБР». Как видим, приравнивание политического протеста к уголовщине, разглагольствования о «разлитом во всех сферах общества насилии» преследуют вполне практические цели.

И деятели ФБР, чья обязанность — борьба с преступностью, и Никсон, и его предшественник Джонсон, обещавшие с этой преступностью покончить, потому так много и так «откровенно» говорили и продолжают говорить о «насилии», что это дает им возможность укреплять полицейский аппарат, безнаказанно орудовать дубинкой закона. На самом же деле наступление ведется не против преступности, а — под прикрытием мнимой заботы об его «искоренении» — против инакомыслящих. Власти адресуются при этом к своей социальной опоре — американскому мещанину из числа так называемого «молчаливого большинства», в глазах которого и демонстранты и уголовники нарушают «закон и порядок», являются «возмутителями спокойствия».

Однако в конце концов обманутым оказывается и он, этот обыватель. Ведь известный лозунг «закон и порядок» — больше политическая приманка, чем программа борьбы с преступностью. Американец, к которому апеллируют политиканы, по-настоящему нужен им лишь в тот день — и здесь еще одна грань идеологического трюка,— когда он пойдет к избирательным урнам. Призывая к борьбе с «преступлениями на улицах», власти, говорится в одном из заявлений Компартии США, делают то же самое, что делает жулик, выкрикивая: «Держите вора!» «Они пытаются таким образом отвлечь внимание от подлинных преступлений, творимых Белым домом, конгрессом и Пентагоном, военно-промышленным комплексом, которому они служат».

По сути дела, «отвлекает внимание» общественности от подлинных причин и истоков насилия и О. Демарис. «Если и есть решение проблемы насилия в Америке,— пишет он,— то оно заключается в том, чтобы попытаться рассеять атмосферу ненависти, которая создает благоприятные условия для произрастания семян психопатии». Кто и как будет рассеивать эту атмосферу, О. Демарис по обыкновению умалчивает. Добросовестный счетовод насилия, он видит свою задачу в том, чтобы, напугав американ-

---

[3] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 39, стр. 78.

[4] Там же, т. 20, стр. 16, 17.

цев, затем убедить их: пора бы и поутихнуть. Заканчивая свою книгу предостережением о возможной «расовой войне», О. Демарис считает, что подобной крайности следует избежать.

Подобная позиция типична для многих американских «интеллектуалов», посвящающих «борьбе с насилием» тысячи страниц. Но характерно, что в момент обострения политической ситуации они начинают «деформулировать» свои нарочито туманные взгляды. Дж. Рестон, известный обозреватель и один из шефов «Нью-Йорк таймс», как и О. Демарис, «осуждает» насилие. Однако, читая его статьи, видишь: Рестон не может распроститься с воспоминаниями о «старых добрых временах», когда не было ни массовых антивоенных демонстраций, ни столь бурных, как ныне, выступлений в гетто.

Такие, как Рестон, не могут примириться с нынешним открытым противоборством уже не одиночек, а миллионов американцев с правительством, ведущим грязную войну, попирающим гражданские свободы. Считая себя проницательнее властей, они подсказывают: нецелесообразно доводить дело до социальных взрывов.. И тут же, еще продолжая повторять фразы о «пагубности насилия», Дж. Рестон извращает смысл антивоенных выступлений. «Весеннее безумие в Вашингтоне (речь идет о моратории в мае 1971 года.— Э. Ч.) доказывает, если оно вообще что-либо доказывает,— пишет он,— что народу надоело насилие, насилие войны и насилие демонстрантов — противников войны» [5]. С поразительной четкостью демонстрирует здесь Дж. Рестон известный нам метод извращения социального смысла насилия. Для него нет разницы между противниками войны, то есть ее нынешними и будущими жертвами, и самой войной — одним из главных орудий и источников империалистического насилия.

Американская война в Индокитае возвела насилие в ранг международной политики. Символом этого разбоя стало преступление в Сонгми, а палач Колли олицетворил собой социальный тип «цивилизованного варвара». Джунгли Индокитая превращены в полигон, где отрабатываются приемы империалистического насилия — от резни в никем пока не сосчитанных Сонгми до метеорологической войны и разрушений дамб, что грозит гибелью и природе и населению Вьетнама. Война стала школой — нет, академией — жестокости для тысяч солдат. Но и бумерангом, ударившим по самой Америке: вчерашний «джи-ай» сегодня убивает и грабит на американских улицах.

Организованное насилие меньшинства над большинством — вот подлинный источник и полицейского террора, и в конечном счете преступности в США. Идеологический трюк с «насилием» не может скрыть эту истину.

Э. ЧЕПОРОВ.

---

[5] New York Times, 5 may 1971.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Н. АНАСТАСЬЕВ, А. ЗВЕРЕВ

★

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ПЕРЕВОДНОЙ ПРОЗЫ

Спорят о переводах. Возникают и противоборствуют друг другу целые направления — буквалистов, сторонников импрессионистски-вольного переложения иностранного текста на родной язык, наконец реалистов (термин И. А. Кашкина), в творчестве которых утвердились принципы советской школы художественного перевода. Именно — художественного. Ведь с давних времен — времен Возрождения — перевод стал восприниматься как искусство, как творчество, как полноправный род литературной деятельности.

Как бы резко Пушкин (в статье «О Мильтоне и шатобриановом переводе «Потерянного рая») ни отзывался о работах французских переводчиков XVIII века, речь шла прежде всего об эстетических принципах: поэт восставал против канонов классицизма, отстаивая идею национального духа поэзии.

Сколь бы сердито ни бранил И. Кашкин выполненный Г. Шенгели перевод «Дон Жуана» (в статье «Традиция и эпигонство»), и тут разговор шел о методе художественного перевода: И. Кашкин спорил с теорией «функционального подобия», с установками Г. Шенгели «на максимальный процент переданных деталей, на мнимую полноту, на сохранение всего частного, что приводит к утере главного».

Примеры подобного рода можно множить и множить. Но к чему? Ведь эстетическая правомочность и престиж переводческого дела кажутся сейчас уже вполне очевидными. Вот и в соответствующей статье Краткой Литературной Энциклопедии сказано, что художественный перевод — это «вид литературного творчества».

Борьба за истинное художественное качество искусства ведется сейчас всерьез. Все отчетливее, а главное — реальнее критика осознает необходимость поставить надежный, долговременный заслон серости, ремесленничеству, просто халтуре наконец. Такая задача непосредственно вытекает из недавно принятого ЦК КПСС постановления «О литературно-художественной критике».

Пишут — и пишут немало — об опасности девальвации поэтического слова, пишут о «поточной» прозе. Дискутируют и о переводческих проблемах: случайность переводов, неоправданное своеволие переводчиков, копиистический буквализм — все эти реальные беды замечены и критиками и практиками переводческого дела. Только почему-то в подавляющем большинстве случаев речь идет о поэтическом переводе. И остается лишь гадать: то ли критики находят положение дел в переводной прозе благополучным, не внушающим сколько-нибудь серьезной тревоги; то ли слабости поэтического перевода просто легче обнаруживаются; то ли, наконец, дает о себе знать давнее, идущее еще со времен Жуковского отношение к прозаическому переводу как к делу второстепенному, помещающемуся на задворках большого искусства. Думаем, однако, что нынешним переводчикам ближе и приятнее слова И. Кашкина: «Перевод прозы — такое же творческое дело, как перевод стихов, и, как стихи, он может быть крылатым». Вопрос, следовательно, состоит в том, как соотносятся должное («крылатость» перевода) и сущее.

Переводят у нас много — больше, чем в любой другой стране; одна четвертая часть всей переводной зарубежной литературы в

мире выходит в СССР. Естественно, что этот гигантский поток переводной литературы по своему художественному уровню неоднороден. В работах таких переводчиков, как Р. Райт-Ковалева, Н. Волжина, Н. Ман, Е. Калашникова, С. Апт, Н. Любимов, В. Голышев, В. Хинкис, искусство перевода предстает в самом высоком своем качестве. Естественно и то, что количество переводов, выполненных на таком эстетическом уровне, уступает переводам хотя и вполне квалифицированным, но лишенным блеска, полета.

Но вот мириться с тем, что наряду с книгами, переводы которых сделаны профессионально, появляются работы серые, ремесленные, никак нельзя. Разумеется, на фоне последних блестящие образцы переводческого мастерства — ну, скажем, перевод тетралогии Томаса Манна, выполненный С. Аптом,— выделяются особенно резко, однако вряд ли это может служить утешением читающей публике.

Именно поэтому сегодняшнее состояние переводческого дела взывает, как нам кажется, прежде всего к трезвой оценке той продукции, которая, опираясь на проверенный веками авторитет «самого трудного из искусств» (Белинский), является на самом деле только его имитацией — более или менее умелой.

Причин тому немало. Известно, скажем, тяжелое положение области перевода с так называемых «дефицитных» языков — восточных или, например, венгерского. Необходимость знакомить читателя с литературами на этих языках растет, переводческих кадров пока мало, и человека, владеющего «дефицитным» языком, с распахнутыми объятиями встречают в издательствах и журналах. Опытный редактор сумеет придать тексту гладкость и видимость художественного повествования, пусть представленная переводчиком рукопись — это всего лишь среднего качества подстрочник, который, говоря словами Пушкина, «никогда не может быть верен».

Известно и другое — число людей, прекрасно изучивших наиболее распространенные в мире языки, за последние годы у нас стремительно выросло, а иллюзия, что хорошего знания языка вполне достаточно для того, чтобы переводить, не только не развеялась, но даже приняла массовый характер. Видимо, не свободны от нее и некоторые наши издатели и редакторы. Как иначе объяснить обилие безликих переводов, в которых индивидуальный облик автора нивелируется настолько, что уже не представляется возможным (если оставить в стороне сюжет, имена героев и т. д.) отличить Агату Кристи, скажем, от Фридриха Дюрренматта?

Разумеется, переводчик должен совершенно свободно ориентироваться в чужой языковой стихии. Только с каких пор этот первичный элемент переводческого искусства стал считаться и е д и н с т в е н н ы м? Ведь, помимо всего прочего, и самый язык переводчик должен знать по-особому, как филолог, отчетливо представляя себе стилистические закономерности, чувствуя те подчас очень прихотливые смысловые ассоциации, которые придает слову художественный контекст.

Советская школа художественного перевода накопила огромный опыт, ее методология пользуется признанием во всем мире, эффективность ее подтверждена рядом блестящих достижений. Но в последние годы мы стали свидетелями странного явления: целый ряд теоретически обоснованных и проверенных практикой принципов перевода, обязательных при работе над классикой, часто словно бы утрачивает свою обязательность, едва на рабочем столе переводчика оказывается книга современного автора.

В первую очередь это относится к важнейшему положению нашей теории перевода, сформулированному одним из ее создателей, М. Морозовым, четверть века назад в статье, посвященной маршаковским переводам сонетов Шекспира. С. Я. Маршак, по словам М. Морозова, доказал истинность «все более отчетливо намечающегося в советском художественном переводе пути соединения творческой свободы с точностью научного анализа». Компоненты этой формулы неразрывны. И все-таки обратим особое внимание на второй из них, ибо как раз точности анализа, его научности, литературоведческого подхода к тексту недостает некоторым переводам из современной литературы, а это, думается, и порождает их слабости.

Сошлемся еще раз на выдающиеся достижения нашей школы перевода, ну хотя бы на «Гаргантюа и Пантагрюэля» в переводе Н. Любимова. Можно без преувеличения утверждать, что к этой работе переводчик готовился всю жизнь. Здесь за каждой фразой чувствуется блестящее знание эпохи, такое понимание творческого своеобразия

автора, которое могло прийти лишь после тщательного анализа текста, подкрепленного изучением огромной научной литературы. И только эта кропотливая, отнявшая не один год работа позволила Н. Любимову так свободно чувствовать себя в мире Рабле, а тем самым найти органичные, точные русские соответствия его образам, языку, стилю, донести во всей целостности мироощущение великого француза.

Часто ли мы видим такие примеры в области перевода современной литературы? Увы, как правило, к современному автору отношение совсем не то, что к классику. Современник — он вроде бы равный, «научный анализ», к которому призывал М. Морозов, здесь как бы и ни к чему, были бы у переводчика известные навыки да языковое чутье — и книжка получится вполне сносной, гладкой, ее будут читать, может быть, даже писать о ней, не дав себе труда обратиться к оригиналу. Но беда в том, что, как ни в каком другом виде художественного творчества, брак умеет в переводе маскироваться под нормальную прозу, пусть не вызывающую особых восторгов, но на первый взгляд не опускающуюся ниже профессионального уровня. Между тем некоторые изданные у нас в последние годы переводы убеждают, что существует своего рода методика производства недоброкачественных, искажающих подлинник и тем самым обманывающих читателя книг.

Военное издательство Министерства обороны СССР опубликовало пятидесятитысячным тиражом перевод романа американского писателя Джозефа Хеллера «Уловка-22».

Работа эта стала объектом весьма резкой критики в статье М. Лорие (см. сборник «Мастерство перевода. 1970»). Весьма убедительно М. Лорие показала, что многие места книги переведены просто неверно, иные безосновательно опущены; что «одна из очень неприятных особенностей разбираемого перевода — стремление во что бы то ни стало «оживить» текст (и без того достаточно живой), так сказать, переплюнуть автора»; что, наконец, переводя каламбуры и остроты, щедро рассыпанные по тексту романа, переводчики М. Виленский и В. Титов зачастую доводят их до бессмыслицы, ибо суть шутки осталась ими просто непонятой. Критические соображения М. Лорие (сопровождаемые параллельными рядами текстов — английского и русского) звучат настолько весомо, что возвращаться к этому переводу вроде бы и нет смысла.

Но нас интересуют не просто профессиональные огрехи перевода «Уловки-22» (для удобства будем пользоваться этим названием, хотя, как показала М. Лорие, заглавие «Пункт 22» точнее передавало бы авторскую идею); важно взглянуть на работу переводчиков с филологической точки зрения, в плане — еще раз воспользуемся этой формулой — научного анализа оригинального текста. Насколько верно уловили М. Виленский и В. Титов самый дух романа, насколько точно донесли до русского читателя его идейно-художественный смысл — вот вопросы, на которые следует ответить, держа при этом в памяти то, что имеем мы дело с далеко не рядовым явлением послевоенной американской литературы.

В книге Д. Хеллера описаны события последних лет — даже месяцев — войны с фашизмом, и герои романа — офицеры американских военно-воздушных сил. Но менее всего «Уловка-22» принадлежит военной литературе. Это обнаженный срез с е г о д н я ш н е г о состояния американского общества, это необычайно резко и рельефно выполненная картина жизни американского обывателя, выбитого из привычной рутины бытия, из приятной покойности существования, бесконечно напуганного социальными катаклизмами современности.

Художественная структура «Уловки-22» держится на совмещениях несовместимого, на немыслимых, вызывающе отвлеченных от «нормального» человеческого бытия метафорах, на показе нереального как реального. Алогизм ситуаций, поступков, характеристик, произвольное сцепление эпизодов, никакой видимой связи между собой не имеющих,— здесь живая душа повествования.

В этой последовательно выдерживаемой бессмыслице, в этом нарочитом хаосе есть, однако же, своя, выражаясь языком шекспировских героев, система. Она ориентирована все в том же направлении — усилить впечатление отчаяния, страха, социальной «невесомости», характеризующих нынешнее состояние американского обывателя. Бессильный найти покойную гавань, мечется он в мире, лишившем его благополучия, в мире, выбившем у него из-под ног почву, в мире, понять который он не хочет и не умеет. У Хеллера все это выражено превосходно, с редкой последовательностью; гармония у него рождается из хаоса, идея

находит соответствующую ей форму, а это верный признак большого таланта.

Какова же задача переводчика, столкнувшегося с таким материалом? Она, видимо, прежде всего состоит в уяснении идейно-художественной структуры произведения, которое, в свою очередь, позволит средствами родного языка передать эту выверенную сумятицу повествования, донести до читателя очень своеобразную художественную логику романа. Однако даже первое сопоставление русского текста с оригиналом заставляет усомниться в том, что такая работа была проведена. М. Виленский и В. Титов явно выбрали более легкий путь — путь приглаживания книги, доведения ее до обычных «реалистических» норм. Сразу же заметим, что издательская оговорка «сокращенный перевод» делу не помогает,— сокращать тоже можно по-разному; те же сокращения, что произведены переводчиками с благословения издательства либо, наоборот, издательством при попустительстве переводчиков, также свидетельствуют о том, что роман ими остался во многом не понят.

Роман открывается неожиданной, интригующей читателя, сразу же настраивающей его на определенный лад восприятия фразой: «Это была любовь с первого взгляда. Впервые увидев капеллана, Йоссариан (командир авиационной эскадрильи.— *Н. А., А. З.*) сразу же безумно влюбился в него». Тут ритм повествования резко обрывается и обретает вполне эпический, «нормальный» романный тон: «Йоссариан лежал в госпитале с болями в печени. Подозрение падало на желтуху...»

Романист с первых строк повествования обнажает прием, откровенно определяет структуру книги, строящейся на композиции несоединимых вещей, на логических разрывах, на мгновенных сменах ритма. Переводчики же действуют с обезоруживающей простотой — снимают первые две фразы, придавая, таким образом, книге с самого начала определенную округлость, плавность. В дальнейшем этот принцип выдерживается строго и неуклонно. Причем тут тоже есть своя система, свои переводческие уловки и ходы.

Читая перевод «Уловки-22», всюду чувствуешь, что изломанная, ни в какие каноны не укладывающаяся мысль автора романа не может устроить переводчиков; то и дело им приходится брать на себя редакторские функции и сокращать роман целыми абзацами, а то и страницами, где «невнятность» авторской идеи выступает наиболее очевидно.

В иных случаях переводчики вроде следуют авторскому тексту; однако незначительные на первый взгляд изменения и тут помогают им внести порядок логики в хаос оригинала. «У Клевинджера (пилот эскадрильи Йоссариана. — *Н. А., А. З.*),— читаем в переводном тексте,— было много идей, которые он отстаивал с пеной у рта. Он сам был ненормальный». Логическая связь безупречна: пена у рта — верный признак сумасшествия. Однако в оригинале этот пассаж звучит несколько иначе: «У Клевинджера было много принципов, в которые он страстно верил. Он был ненормален». Нам понятен ход мысли переводчиков: справедливо решив, что вера в собственные принципы — это еще недостаточное основание для того, чтобы признать человека безумным, они постарались привести эту мысль в соответствие с «жизненной правдой». Это им удалось, и нет нужды, что правда этого романа (что свойственно сатире вообще) и основана-то как раз на резком отталкивании от жизнеподобия.

Таково одно из направлений работы переводчиков над текстом романа Д. Хеллера. Его можно было бы, пожалуй, назвать стратегическим; на помощь ему, как водится, призваны и тактические средства.

Одно из них — безжалостное вымарывание из текста романа многочисленных натуралистических сцен. Каковы бы ни были причины, толкнувшие авторов перевода на подобный путь, результаты их деятельности в этом направлении привели к искажению идейной сути произведения. Известный советский социолог, автор многочисленных исследований, посвященных современной общественной жизни США, И. Кон в статье «Секс, общество, культура» пишет об «эскалации эротизма» в современном буржуазном обществе и совершенно справедливо утверждает в этой связи: «Реалистическое искусство не могло, оставаясь в контакте с жизнью, не отразить изменившейся общественной роли и характера сексуальности. Дело не только в полемической заостренности некоторых произведений, а в духовном климате общества. Читателя, воспитанного на целомудрии классиков, шокирует «грубость» Хемингуэя или Фолкнера, а некоторые сцены романов Апдайка, Барстоу, Сэлинджера кажутся им прямо-таки порнографическими.

Между тем эти писатели воспроизводят социально з н а ч и м ы е... переживания своих героев (разрядка автора статьи. — *Н. А., А. З.*)».

Вот и Хеллер руководствовался вовсе не суетным желанием пощекотать публике нервы, бросить вызов благопристойности; извращенная сущность его героев, точнее сказать — антигероев, выявляет себя в сексуальной сфере особенно откровенно, потому даже самые рискованные эпизоды романа вовсе не отдают порнографией, а несут определенную идейно-эстетическую нагрузку. И авторы перевода явно превысили свои полномочия, столь безжалостно, без всякого учета художественной ценности произведения урезая оригинальный текст.

Так, в переводе была до неузнаваемости искажена превосходная сцена, где рассказано об Йоссариане и любовнице погибшего незадолго до этого юного лейтенанта Нейтли. Сильный комический эффект достигался тут очевидным, явно подчеркнутым несоответствием между бездуховной сущностью девицы и неожиданно трагическим пафосом слов ее и действий — кажется, перед нами не заурядная проститутка, а сама Юдифь, проникающая во вражеский стан. Но бесконечные сокращения не позволяют составить даже отдаленного представления обо всем эпизоде.

Как уже говорилось, «Уловка-22» — произведение особого литературного жанра, допускающего и гротескные преувеличения и искажения действительности; нередко тут возникают и издержки идейного характера, неизбежные, когда автор безраздельно отдается стихии всеобщего отрицания. Но «подправлять» автора, отсекать как чужеродные напластования иные двусмысленные (или кажущиеся таковыми) пассажи его книги, усердно округлять острые углы повествования — дело заведомо неблагодарное и пустое. К сожалению, переводчики и тут не устояли перед соблазном.

Вторая глава романа начинается следующим образом: «...В некотором смысле контрразведчику здорово повезло, потому что за стенами госпиталя все еще шла война. Люди сходили с ума и в награду получали медали. Парни всего мира, стоящие по разные стороны баррикад, отдавали свои жизни за то, что другие называли родиной, и всем, казалось, было на это наплевать,— а более всего тем самым парням, которые отдавали свои молодые жизни». В романе, вообще-то чуждом какого бы то ни было лирического чувства,— его интонацию определяет мощный сарказм,— возникает иногда такая вот тоскливая, протяжная нота. Она не случайно, не зря нарушает общую мелодию повествования: в ней — пусть смутно — заявляет о себе гуманистический идеал автора, признающего высшую ценность человеческой жизни в этом обезумевшем мире наживы и эгоистического страха. Что этот идеал ущербен, что в такой интерпретации в нем уравниваются (пользуясь терминологией военных времен) агрессор и жертва — бесспорно. И это уж дело критиков вскрыть противоречивость мировоззрения автора. Но дело переводчиков — точно донести эту противоречивость до читательского сознания, ибо она не инородна роману, напротив, неотделима от него. Но М. Виленский и В. Титов пошли другим путем: они просто опустили приведенный абзац, дабы читатель, не дай бог, не заподозрил автора в гнилом пацифизме, в непонимании истинной цели борьбы народов с фашизмом. Только ведь последовательно антифашистским произведением роман не становится и от подобного рода операций, дальняя цель переводчиков все равно осталась недостигнутой.

В переводе М. Виленского и В. Титова можно найти и места удачные, где авторская идея и интонация донесены до русского читателя в неприкосновенности. Можно, напротив, умножить и число примеров, показывающих, сколь далеко отстоит переводной текст от оригинала. Но не в арифметических подсчетах дело.

Перевод «Уловки-22» внешне вполне благополучен: заметных стилевых несуразиц здесь не найдешь, и читатель, не знакомый с оригиналом, пожалуй, прочтет роман даже и с интересом. Но только приличие романного облика — это еще не искусство. Явлением художественного творчества рассмотренная работа признана быть не может именно потому, что авторы ее не дали себе труда изучить идейно-эстетическую сущность переводимого произведения. Подобная, как бы сказать, литературоведческая беззаботность — один из больших пороков «массового» перевода. Один, но, как показывает практика, не единственный.

Тем же Военным издательством Министерства обороны СССР был издан тиражом 200 тысяч экземпляров перевод романа американского писателя Джеймса Джонса «Отсюда и в вечность» (переводчики — В. Кузнецов, А. Ветошкина, Г. Куликова и В. Со-

ловьев, редактор перевода и автор вступительной статьи — А. Шевченко). Выбор для перевода книги Джонса — одного из лучших американских романов о войне — совершенно закономерен: это произведение эпического размаха и большой реалистической силы. Книга Джонса несет правду об американской армии, уродующей души людей и убивающей их лучшие стремления. Глазами художника Джонс раньше других разглядел угрозу фашизации американской жизни, скрывающуюся в недрах зарождавшегося «военно-промышленного комплекса», и выступил со страстным обличением милитаристской машины США. За двадцать с лишним лет, прошедших с момента выхода книги, она не только не утратила своей актуальности, но, наоборот, зазвучала особенно злободневно — агрессия во Вьетнаме подтвердила обоснованность того приговора, который Джонс как художник вынес американской армии в своем романе.

И вот наконец появляется русский перевод книги. Событие, которое можно было бы горячо приветствовать. Можно было бы — если бы не поразительно низкий уровень перевода, если бы не бесконечная череда смысловых ошибок, стилистических несуразиц, переводческих курьезов и ляпсусов, если бы не последовательное стремление переводчиков и редактора перекроить книгу по собственным меркам.

Здесь уже не приходится ставить вопрос о том, насколько точно передан переводчиками идейно-художественный смысл произведения, насколько верно почувствован и донесен ими до русского читателя его дух. Претензии к М. Виленскому и В. Титову возникают прежде всего потому, что они не поняли художественной специфики романа Хеллера и перевели книгу в соответствии с расхожими приемами социально-бытового сатирического повествования. Что же касается переводчиков книги Джонса, то им грех сетовать на то, что автор пишет в слишком уж необычной манере. Джонс как раз почти не прибегает к гротеску и ведет рассказ «в формах самой жизни», неуклонно следуя поэтике реалистического социального романа. Никаких причудливых стилистических ходов, никаких замысловатых приемов повествования в его книге нет. Перед нами добротная традиционная проза, с которой мы хорошо знакомы по произведениям Драйзера, Колдуэлла, Синклера Льюиса и других мастеров американского реализма, многократно и успешно переводившихся на русский язык.

Это, разумеется, не означает, что переводчики Джонса не сталкиваются с рядом трудностей. И все же, обладая профессиональными навыками и добросовестно стремясь добиться наивозможно большего соответствия перевода оригиналу, даже не самый блестящий переводчик, вероятно, смог бы более или менее уверенно совладать и с присущей прозе Джонса ассоциативностью, и с его пластичной, отточенной фразой, справился бы и со сложными, разветвленными метафорами, и со скупым, но выразительным диалогом.

Однако для этого, повторяем, необходимо известное профессиональное умение и чувство ответственности за свою работу. К сожалению, авторы русского варианта романа Джонса руководствовались, видимо, иными «принципами» — полной свободы, даже произвола в обращении с оригиналом. Автор, очевидно, представляется переводчикам человеком, лишь подготовившим поле для их деятельности, и создатели русского издания с завидной смелостью поправляют писателя там, где он, по их мнению, заблуждается, меняют те его художественные решения, которые, на их взгляд, неубедительны, и выбрасывают из книги те страницы, которые, с их точки зрения, в романе излишни.

При этом они даже не сочли нужным указать на титульном листе, что русское издание представляет собой сокращенный перевод романа. Лишь тот читатель, который даст себе труд познакомиться с предисловием А. Шевченко, в самом его конце наткнется на мимоходом, в придаточном предложении, оброненное упоминание о том, что роман «в русском переводе печатается с некоторыми купюрами». Спасительное «некоторыми»! Ведь речь-то надо бы вести о том, что в русском переводе роман сокращен более чем на треть. Ведь под «некоторыми купюрами» следует разуметь, что в русском издании не только опущены целые главы (причем принципиально важные для понимания общего смысла произведения), но и — во многих случаях — следуют друг за другом без всяких отточий абзацы, разделенные в оригинале не двумя, не тремя и даже не одним десятком страниц. Ведь «некоторые купюры» осуществлены и путем механического пристегивания к началу одного предложения окончания другого, и путем све-

дения в одну — понятно, отсутствующую в оригинале — фразу смысла целого диалога, и путем последовательного вычеркивания из книги всех эпизодов, фраз, реплик, не соответствующих представлению переводчиков и издателей книги о том, каким на самом деле должен быть разоблачительный роман об американской армии.

Теоретическое обоснование подобным операциям над текстом дано в предисловии к книге. «Роман Джонса «Отсюда и в вечность»,— пишет А. Шевченко,— не везде равноценен. В ряде мест заметны следы спешки, неумение четко выделить и последовательно провести через весь роман главную, ведущую тему. Автор нередко увлекается отдельными незначительными подробностями, не имеющими прямого отношения к главной сюжетной линии романа».

Действительно, нельзя утверждать, что все 820 страниц английского текста романа равноценны в художественном отношении: какие-то сцены удались автору больше, какие-то меньше. Это вполне естественно; отнюдь не сопоставляя Джонса ни с Данте, ни с Гашеком, выскажем все-таки предположение, что едва ли так уж абсолютно равноценны все сто песен «Божественной комедии» или все до единого эпизоды эпоса о Швейке. Кому, однако, придет в голову на этом основании выбрасывать при переводе Данте лишь отдаленно связанные с «главной, ведущей темой» песни о Фоме Аквинском, а при переводе Гашека обойтись без «отдельных незначительных подробностей», которые автор так любит сообщать нам о своем главном герое.

Между тем в русском издании книги Джонса происходит нечто подобное. Переводчикам и редактору, очевидно, представляется ненужным отступлением от главной темы все, что связано в книге с жизнью ее героев вне стен казармы. По этой линии — а в романе она столь же важна, как и изображение будней армейской службы,— в русском издании сделаны сокращения просто опустошительные. Целиком выпущена глава, рассказывающая о первом свидании главного героя романа Прюитта (Прю) с проституткой Лорен, которой суждено сыграть столь важную роль в его жизни. Целиком опущен эпизод, в котором речь идет о зарождающейся любви другого центрального персонажа, Милта Уордена, к жене своего ротного командира Карен Холмс. До минимума сведены все сцены, происходящие в заведении мадам Кайпфер, где служит Лорен, а ведь этим сценам сам Джонс придает огромное значение в развитии ведущей идеи своей книги.

Здесь не место разбирать достоинства и недостатки написанного А. Шевченко предисловия к русскому изданию. Но даже если бы все высказанные им в адрес Джонса-художника упреки были справедливы — а они вряд ли справедливы,— разве отсюда следует, что переводчики и редактор вольны производить такого рода «устранение» художественных недостатков книги? И неужели А. Шевченко всерьез полагает, что задача переводчика заключается в том, чтобы исправлять «промахи незрелой мысли» автора? Не открывает ли подобная позиция полный простор для недопустимой в переводческом, как, впрочем, и в любом ином литературном деле вкусовщины, не означает ли она элементарного неуважения к переводимому автору?

Читатели книги Джонса — конечно, те, кто знает ее в оригинале,— вероятно, помнят сцену в доме девушки-японки Виолетты Огури из Гонолулу; в ней не только с реалистическим мастерством изображен быт нищих издольщиков-японцев, третируемых в американском обществе как «неполноценные» люди, но и пронзительно звучит мотив боли за человека, которого условия его существования заставляют влачить животную, первобытную жизнь. Написана эта сцена чрезвычайно лаконичными и точными мазками, и в переводе важно донести каждый штрих, чтобы сохранить запечатленный здесь образ мира, окружающего джонсовских героев.

Как же справляются с этой задачей переводчики? На удивление просто — выбрасывая все компоненты образного, художественного повествования и оставляя сухую информацию, необходимую для связности сюжета. «Сразу за домом был курятник, такой же ветхий, как сам дом, и по загону надменно расхаживали раздувшиеся от самомнения, вполне довольные своим существованием куры, зорко посматривая по сторонам бусинками глаз, негромко перекликаясь, точно вновь и вновь они затягивали свой чопорный псалом о Чаше Священной, и роняя на траву шарики помета с достоинством святых. Едкий запах от курятника, от обитавшего в нем клана раз-

носился по всему двору. И еще долго потом, когда до него долетал запах курятника, Прюитт вновь видел перед собой Виолетту и ее жизнь». Это оригинал. А вот и «перевод»: «За домом находился курятник, и от него шел едкий запах».

Пожалуй, краткость все-таки не во всех случаях сестра таланта!

Между тем именно подобную краткость, в сущности пересказ, убивающий живую душу художественной прозы, лишающий ее индивидуальности, насыщенности, окраски, оттенков, мы обнаруживаем буквально на каждой странице русского издания. От сложно переплетенной ткани романа остаются лишь разрозненные обрывки, только самые необходимые для того, чтобы сохранилась хотя бы иллюзия последовательности действия,— узлы.

Неуклонно следуя своему своеобразному методу, переводчики Джонса, естественно, идут не только на упрощение авторского замысла, но и вынуждены вносить многочисленные добавления от себя, призванные как-то компенсировать урон, понесенный романом от последовательного разрушения его идейных, смысловых и образных связей. Вот только один из множества примеров подобной обработки авторского текста.

В девятой главе романа рассказывается об очередной стычке сержанта Уордена с капитаном Холмсом, после которой у Уордена начинается приступ острой тоски, просыпается ощущение бессмысленности собственной жизни. «Ярость застилала ему глаза, и сквозь эту пелену он смутно видел совсем голую, промокшую от дождя землю, разбухшую грязную траву и одинокую фигуру Холмса, шагавшего по двору, закутавшись в плащ,— пишет Джонс,— и эта картина представилась ему сценой в призрачном городе, по улицам которого гуляет ветер и гонит вдоль канавы рваный лоскут бумаги... Наверх до него доносилась болтовня мывшихся перед ужином солдат; холод, врывавшийся в комнату через открытое окно, заставил его поежиться и набросить на себя полевую куртку, валявшуюся рядом на стуле. Он глядел в окно, и ярость его отступала, а вместо нее накатывала неизъяснимая тоска, причины которой он не мог найти».

Обратимся к переводу. «Сквозь открытое окно со двора донесся топот ног, шлепанье ботинок по лужам, звонкие голоса солдат роты, спешивших в столовую. Залетевший в окно прохладный ветерок заставил Уордена накинуть на плечи висевшую на спинке стула полевую накидку. Он выглянул в окно и сразу же почувствовал, что гнев и досада, вызванные размышлениями о Холмсе, почему-то растворились, сменившись чувством необъяснимой беспричинной меланхолии».

Оставим в стороне невесть откуда взявшиеся «звонкие голоса» и «шлепанье ботинок по лужам» — видимо, переводчиков не удовлетворяет нарисованная автором картина и они спешат добавить ей красок. «Накинуть накидку» — не предел стилистического совершенства, но и это не главное. Для понимания метода переводчиков важно отметить убранное ими начало абзаца, где идет речь о каком-то там призрачном городе и о ветре, гонящем по канаве лоскут бумаги, и сделанное ими от себя взамен всех этих ненужных фиоритур прямое пояснение: гнев и досада, «вызванные размышлениями о Холмсе».

Для чего оно переводчикам понадобилось? Для того, чтобы подготовить читателя к следующей сцене, где Уорден является вечером к Карен Холмс и становится ее любовником. В интерпретации переводчиков он делает это вовсе не потому, что Карен привлекает его как женщина, что он чувствует в ней близкую себе душу, хотя и знает наперед, что их роман будет мучительным для обоих. Это автор нагромоздил всякие уводящие от главного обстоятельства и подробности, а переводчики-то хорошо знают: главное для Уордена — отомстить Холмсу, переспав с его женой. И обрабатывают оригинал соответственно. Для начала выбрасывается около трех страниц текста — Джонс занят излишним, по мнению переводчиков, копанием в душе своего персонажа. Для связности сюжета оставлено упоминание о том, что капитан Холмс уезжает кутить в город на всю ночь. А потом следует пассаж, частично склеенный из обрывков фраз оригинала, частично сочиненный самими переводчиками: «Уорден понял, что это и есть тот самый случай, которого он так ждал. Дело состояло не просто в том, что ему нужна была женщина. Найти женщину не составляло труда — в городе их сколько хочешь. Ему нужна была Карен Холмс».

Схема готова: озлобленный солдат хочет из мести воспользоваться уступчивостью жены своего командира. Правда, не очень понятно, почему он в таком случае муча-

ется вопросом: «Господи, да где же кончается безумие и начинается разум?» — почему его не оставляет предчувствие личной катастрофы. Но недоумения возникнут лишь у читателя, знающего оригинал; в русском-то издании все это опущено; Уорден после отъезда Холмса, зайдя по пути в штаб, отправился прямо на квартиру недальновидного капитана, дверь ему открыла Карен, она была в купальнике, и — повествуют от себя переводчики — «от предвкушения удовольствия у него захватило дух». А далее следует выразительное многоточие.

Непосвященному читателю сообщим, что многоточие означает двенадцать страниц выброшенного текста, что в оригинале между Карен и Уорденом произошла очень сложная в психологическом плане сцена, что Уорден вел себя отнюдь не как агрессивный сладострастник и Карен вовсе не бросилась ему на шею с приветственным воплем. Разъяснять это приходится потому, что именно к такому предположению подводят читателя пользующиеся своим методом переводчики; да и в дальнейшем отношения Уордена и Карен описаны в русском издании только как вызов Холмсу, словно бы в романе Джонса не связана именно с этими персонажами гуманистическая тема, словно бы писатель и не показал, каким очищающим потрясением стал этот роман и для Уордена и для Карен. Конечно, все это ускользнет от читателя, если страницами вымарывать в переводе рассказы Карен о своем прошлом и сцены свиданий героев; если, как сделано в русском издании, совершенно устранить из действия десятилетнего сына Карен, неожиданно для читателя являющегося на сцену лишь в заключительном эпизоде романа, тогда как у Джонса он присутствует еще при первой встрече Карен и Уордена в казарме, и т. д.

Сокращения, произведенные в главах, которые посвящены роману Карен и Уордена, объясняются, вероятно, не столько даже заботами переводчиков о чеканной рельефности «главной, ведущей темы», сколько тем, что речь здесь идет о любви двух взрослых людей и поэтому многие сцены происходят в спальнях различных гостиниц и отелей. Подобно М. Виленскому и В. Титову, наши переводчики становятся девически застенчивы, едва Джонс касается тех отношений, которые, как известно, возникают подчас между мужчиной и женщиной. Спору нет, в таких сценах автор, случается, бывает чрезмерно натуралистичен, и от переводчиков требуется немалая деликатность, чтобы, не утрачивая ничего существенного, все-таки перевести эпизод в соответствии с соображениями такта и художественной меры. Как показывает практика, это вполне по силам настоящему мастеру; сумел же, скажем, В. Голышев с должным уважением и по отношению к автору и по отношению к нашим читателям передать достаточно откровенно написанные Уорреном страницы «Всей королевской рати». И это не единственный пример.

Столкнувшись с аналогичной трудностью, переводчики Джонса не замедлили прибегнуть к методу сокращений и вымарываний. Стыдливость их не знает границ; как уже говорилось, из романа решительно и бесповоротно изъяты все страницы, рассказывающие о службе Лорен у мадам Кайпфер и о самом заведении, все разговоры солдат на щекотливые темы, размышления Уордена о физической привлекательности Карен и т. д. Дело доходит до курьезов.

В четвертой главе романа описано, как Холмс принимает дела у Уордена, а тот про себя думает, что всякий офицер — сукин сын. И вдруг без всякого перехода следует: «Уорден почувствовал, с какой силой взыграло в нем мужское начало». Читатель волен строить какие угодно предположения насчет того, почему это самое начало ни с того ни с сего «взыграло» в Уордене,— русский текст не дает по этому поводу никаких объяснений. Но обратившись к оригиналу, мы быстро поймем в чем дело; стыдливость побудила переводчиков и здесь произвести «некоторые купюры» — в частности, снять абзац, где говорится, что Уорден в это время смотрел на окна Карен, и ему казалось: «Может быть, вот сейчас она лениво раздевается... и из вороха одежды выступает ее длинное, струящееся, как молоко, тело блондинки». Останься этот абзац в русском тексте, с «мужским началом» было бы более или менее ясно, хотя, конечно, и тогда на совести переводчиков была бы вопиющая стилистическая непригодность использованного ими оборота.

Действие романа развертывается на Гавайских островах, а его герои — американские солдаты. Но, читая перевод, можно подумать, что место действия — Среднерусская возвышенность, а действующие ли-

ца — псковские шоферы или валдайские рыбаки. «Я знаю, что ты молодец против овец, а против молодца сам овца»,— смеется Прюитт над поваром Уиллардом. «Меня на мякине не проведешь»,— уверяет Старк. «На воре шапка горит» — убежден итальянец Маггио. Прю не желает «заиметь кучу сопливых... детишек», и без того ему приходится порядочно «вкалывать». «Ну и житуха у нас, ребята!» — восхищается Слейд. Действительно, неплохая житуха: у Прю, например, в кармане найдется «тринадцать с полтиной». Когда ко всему этому добавляются такие колоритные речения, как, скажем, «старшой», «малый» или совсем уж диковинный на Гавайях «тамада», когда переводчики обогащают русский язык такими смелыми неологизмами, как, например, «лысый жирняга», читатель может по достоинству оценить богатство словаря и стилистическое совершенство перевода.

Однако речь, в конечном счете, идет не об отдельных неточностях и огрехах, хотя их количество в русском переводе романа Джонса все-таки слишком велико. Речь идет прежде всего о том, что русское издание содержит особую концепцию основных образов романа, чуждую авторской идее, упрощающую авторскую мысль и вульгаризирующую смысл книги. И именно это побуждает столь решительно осудить метод работы переводчиков.

Они точно бы забыли, что Джонс отнюдь не случайно предпослал роману эпиграф из Эмерсона: «...Если история целиком заключена в одном человеке, она должна быть целиком объяснена, исходя из его индивидуального опыта». Нечего и говорить, что в русском издании этот эпиграф отсутствует: ведь как раз все, что связано с «индивидуальным опытом» героев, подверглось в книге самому произвольному сокращению, и даже неискушенный читатель, сопоставив эпиграф, в котором заявлена художественная концепция Джонса, с русским текстом романа, увидел бы кричащее противоречие между авторским намерением и тем, как реализовали его переводчики.

Образ Прю, вся связанная с ним тема предстают перед читателем в ущербном виде. Ведь переводчики, ориентируясь на «главную, ведущую тему», сознательно пренебрегли важнейшими «слагаемыми» образа Прюитта, последовательно ужимали, приглушали, изымали вовсе те эпизоды, где герой бунтует против армии, и те, где он чувствует свою обреченность. Ибо переводчикам и редактору нужен не живой человеческий образ, а только жертва порочной системы, на которой основывается американская армия, только плакатное разоблачение ее растлевающего воздействия на души людей. Роман Джонса, оставляющий такое сильное впечатление в оригинале, на русском языке кажется сочинением порядочно банальным, неумело написанным и мало что прибавляющим к нашим представлениям об американской армии, о жизни в Америке и о людях этой страны. На книжные полки попала еще одна искалеченная переводом книга...

Разумеется, переводы «Уловки-22» или «Отсюда и в вечность» — случаи, в известном смысле особые. Но ведь, с другой стороны, в них в резкой конечной форме обозначилось определенное явление.

Художественно «средними» получаются и книги, переведенные старательно, добросовестно, с любовью к писателю, но без того умения сочетать творческую свободу и литературоведческую, научную точность, которое отличает каждое подлинно художественное явление в области перевода.

Просчеты переводчиков Хеллера и Джонса, при всей их крайности, все же характерны. Более того, они заставляют вновь вернуться к некоторым проблемам перевода, которые, если ориентироваться лишь на высокие образцы, можно бы счесть давно решенными. Например, к проблеме речевой характеристики персонажей.

В «Пригоршне праха», повести знаменитого английского сатирика Ивлина Во, выпущенной в прошлом году издательством «Молодая гвардия» в переводе Л. Беспаловой, действуют люди самых различных положений и сословий — аристократы с весьма внушительной родословной, затем люди так называемого полусвета, слуги старинного дворянского поместья, наконец. Но вот разговаривают они, однако, очень однообразно, так что всякие сословные различия стираются начисто. И ответственность за эту унификацию несет вовсе не автор, а переводчик.

Вполне естественно, что конюх Бен, обращаясь к маленькому сыну хозяев усадьбы (тот упал с лошади), выражается в таком примерно стиле: «Просто ты распустил ноги, ядри их в корень, и сел на жопу». Можно понять и юного выскочку

Бивера, когда он говорит о муже своей любовницы — «старикан надрался»: это в его характере, внешний лоск здесь только прикрывает меркантилизм и пустоту души, природную неинтеллигентность.

Но когда такого же рода обороты вкладываются в уста сэра Энтони Ласта, последнего в роду владельца древнего имения Хеттон, это уже вызывает сомнения. Конечно же, он никогда, даже проведя бурный вечер в клубном ресторане, не скажет: «Мы смешаем его репутацию с дерьмом», он скажет — мы смешаем ее «с грязью» (у Во так и написано). А леди Бренда Ласт мягко журит свою сестру за то, что та «шилась с Робином Бизли» (хотя у Во написано просто: «Я не приставала к тебе, когда у тебя была эта история с Робином Бизли»); о муже она отзывается следующим образом: «Тони работает феодала» (как попал на страницы английской сатирической повести середины 30-х годов современный русский театральный жаргон, бог весть; в оригинале значится: «Тони ужасно феодален»). И так далее.

Почему так получилось? Неужели автор перевода не чувствовал резкого несоответствия между характером и языком персонажей? Наверное, чувствовал. Более того, по всему видно, что сознательно стремился к такому несоответствию. Логика тут, вероятно, такая: «Пригоршня праха» — произведение сатирическое, автор его явно смеется, и зло смеется, над своими героями, над той же Брендой, безвозвратно утратившей благородство своих предков, приспособившейся к временам лицемерия и торгашества, духовно опустошенной, бессердечной женщиной. А раз так, то надо все средства употребить на то, чтобы подчеркнуть моральное падение Бренды, вырождение ее и того класса общества, который она представляет.

Откроем другую повесть — «Голоса травы» американца Трумэна Капоте в переводе С. Митиной («Художественная литература», 1971). Нужно сразу сказать: этот перевод удачно передает лиризм, грустную и всегда немного лиричную интонацию автора. Но вот дело доходит до диалога — а он у Капоте индивидуально окрашен, полон внутренней жизни, по каждой фразе можно почувствовать своеобразие человека, увидеть всю его биографию. Переводить такой диалог — дело, конечно, нелегкое, требующее длительного вчитывания в текст, анализа его не только с лингвистической, но и с литературоведческой стороны.

С. Митина же выбрала путь весьма спорный, полагая, что русское просторечие хотя бы в какой-то мере передает необычность языка простых, малообразованных американцев. И вот работница-негритянка Кэтрин начинает через каждые два слова повторять «лапушка», «ягодка», «милок», «чуток», а то и разражаться целыми залпами просторечной лексики: «Драть тебя, малый, некому!» — или: «Ты кто — моя лапушка Долли или святоша какая? Он нам друг, ему надо всю правду сказать — как эта самая и докторишка задумали наше лекарство стибрить...» Впрочем, и судья Кул, о котором мы узнали из повести, что это самый образованный житель города, что он окончил Гарвард и дважды был в Европе, поясняет Райли: «А мы тут наливкой балуемся помаленьку».

Примеры такого рода в переводческой практике последних лет не единичны, и нам представляется, что это отнюдь не способствует художественной убедительности переводов современной прозы

«Существует,— говорит Гёте,— два принципа перевода: один из них требует переселения иностранного автора к нам — так, чтобы мы могли видеть в нем соотечественника; другой, напротив, предъявляет к нам требование — самим отправиться к этому чужеземцу и примериться к его условиям жизни, складу его языка, его особенностям». Долгое время синтез этих двух тенденций казался нереальным, умение сохранять склад языка и особенности художественного мышления автора, заставив его в то же время зазвучать на чужом языке,— недостижимым.

Советская школа перевода сумела органически соединить два пути, которые Гёте казались непересекающимися. У С. Я. Маршака Бернс не стал двоюродным братом Кольцова, а остался Бернсом, и в то же время книга переводов из великого шотландца — явление большой русской поэзии XX века. Рабле, воссозданный Н. Любимовым,— это Рабле, а не Фрол Скобеев, а вместе с тем перевод может считаться образцом великолепной русской прозы. Примеры хрестоматийные, но как они актуальны! Ведь в обоих случаях — а сколько других можно было бы назвать! — решили дело не только талант переводчиков, их великая требовательность к себе. Решила дело и их верность принципу, на котором

основывается наша школа перевода: сочетание, органическое слияние творческой свободы с точностью научного анализа.

Не становимся ли мы свидетелями того, как принцип этот иногда забывается теми переводчиками, которые работают преимущественно над современной литературой?

Мы дорожим завоеванной кропотливым и многолетним трудом репутацией лучшей переводческой школы в мире, и мы должны решительно оградить эту репутацию, поставив надежный заслон ремесленности и серости в переводческом искусстве (памятуя, между прочим, и о том, что, как показывает практика, издать новый перевод уже переводившегося произведения современного автора, даже если это произведение фактически изуродовано,— дело почти неосуществимое).

Борьба за высокое качество всей нашей художественной продукции стала сейчас одной из важнейших и актуальнейших задач. Эта борьба должна — не в последнюю очередь — вестись и в области художественного перевода.

МАРИЭТТА ШАГИНЯН

★

«РАЗГОВОРЫ С ГЁТЕ» И. П. ЭККЕРМАНА

(К трем датам: 140, 180 и 125)

I

Своим особым жанром и глубоким значением — тематическим и профессиональным—две книги в мире заслужили особый почет и популярность у читающей публики и критиков. Эти две книги: знаменитая «Жизнь Самуэля Джонсона», описанная Джемсом Босвеллем, и «Разговоры с Гёте» Иоганна Петера Эккермана.

Несмотря на несколько десятков лет, разделяющих выход этих книг из печати, несмотря на принадлежность первой из них целиком восемнадцатому веку, а второй — ранней половине девятнадцатого, и несмотря, наконец, на ярко выраженный национальный стиль англо-шотландского характера книги Босвелля и типично немецкого у Эккермана, обе они заняли одинаковое место в литературе благодаря исключительной, можно сказать — благочестивой точности созданного ими литературного портрета. Во всей своей самобытной оригинальности возникает под пером Босвелля Самуэль Джонсон; во всей своей поучающей мудрости дышит со страниц Эккермана живой старый Гёте.

Чем же достигнута эта жизненность передачи, сделавшая обе книги классическими и придавшая им уникальный характер особого, созданного обоими авторами жанра? Прежде всего — одинаковыми литературными приемами. Как Босвелль, так и Эккерман из года в год, подчас даже изо дня в день, почти неотступно находились около избранных ими героев своих книг: Босвелль — около двадцати последних лет жизни Джонсона, Эккерман — около девяти последних лет жизни Гёте. Они совершали вместе с ними поездки и прогулки, беседовали в обществе и наедине, жадно ловили их устное слово и с точностью заносили его на бумагу. Принимая деловое участие в творческих и профессиональных делах своих избранников на положении своего рода «доверенных лиц», они смогли ввести в книги ряд драгоценных документов — планов, писем, кратких фактических справок, словом, все то, что накапливается в повседневной жизни и выбрасывается позднее в архивы или просто в корзину для мусора. Всеми этими приемами и был создан особый жанр, который хочется назвать «фиксацией личного общения»; но успехом своим, не стареющим больше столетия, он обязан, конечно, огромной двигательной силе этого «личного общения» — то есть преданной любви авторов к тем, о ком они оставили на века свои литературные памятники.

Я упоминаю здесь про книгу Босвелля, казалось бы не имеющую никакого отношения к моей теме, совсем не случайно. Дело в том, что, при всей одинаковости и жанра и судьбы двух книг, судьба самих авторов этих книг оказалась не только различной, но даже противоположной. В истории литературы Джемс Босвелль считается классиком; его книгу о Джонсоне читают и знают несравненно больше, чем самого Джонсона. Среди мемуаристов, особенно французских, нередко встретишь сейчас ссылку на него или просто восторженное упоминание о нем как о «лучшем в мире биографе, непревзойденном мастере биографического жанра». Последнее, вышедшее в Оксфорде, английское издание «Жизни Самуэля Джонсона» имеет на своей суперобложке два медальонных портрета бок о бок — Самуэля Джонсона и Джемса Бос-

велля [1]. Но у автора другой книги — «Разговоров с Гёте» — судьба, как я сказала выше, не только не подобна, но прямо противоположна босвеллевской.

Эккерман никогда не был «славен» среди критиков и читателей. В лучшем случае при чтении его книги о нем даже не вспоминали как об авторе «Разговоров»; но чаще он снисходительно обзывается «маленьким», чуть ли не «серым» человечком, скромным немцем мещанского склада, простым передатчиком своего важного материала, чем-то вроде нынешних магнитофонов. Не «автор», а только секретарь, иногда чуть ли не в положении довольно сомнительного «технического секретаря». На моей памяти нет ни одной попытки в литературе рассматривать «Разговоры» с точки зрения живого присутствия Эккермана, верней сказать: в одном плане самой к н и г и с ее а в т о р о м.

У нас в 1934 году вышли в русском переводе «Разговоры» с великолепным, обширным, философского типа предисловием такого большого мыслящего ученого, как В. Ф. Асмус [2]. Он построил свое предисловие на скрупулезном анализе того, каким выглядит Гёте по данным «Разговоров» Эккермана, давши как фон для своего анализа общее обстоятельное знание самого Гёте. Казалось бы, в этом анализе должна быть затронута и тема живого Эккермана как творца своей книги. Но и Асмус ограничился, к сожалению, беглым словом о незначительности автора «Разговоров», повторив традиционную характеристику Эккермана. Справедливо ли такое отношенье? Действительно ли автор «Разговоров с Гёте» заслуживает только того, чтоб от него отмахнуться и читать его книгу — отстранив от чтения его самого?

Мне кажется, это несправедливо. И не только несправедливо — это неверно. Много раз в жизни перечитывая «Разговоры» в их лейпцигском трехтомном издании Брокгауза от 1883 года [3], я испытывала чувство лежащей в основе их человеческой трагедии, именно трагедии в античном смысле, с возвышающим душу, а потому и положительным, оптимистичным концом. И миновать эту трагедию, вчитываясь в двойной человеческий документ, каким представляются мне «Разговоры», мне кажется невозможным, особенно для нашей критики, воспитанной в духе диалектического материализма.

II. ЭККЕРМАН

Пусть бросит читатель взгляд на карту Германии XVIII века и выделит небольшое пространство, сжатое гористыми штрихами,— примерно от Гёттингена, того самого студенческого городка, откуда прибыл в свое поместье кудрявый и восторженный Ленский, молодой собеседник Онегина, и до Веймара, лежащего как будто близко, но с окружным пешеходным путем к нему. Окружным, потому что надо было двигаться к Веймару долинами рек, удобными, ухоженными для пешехода; в частности, благоуханной долиною речки Верры, не очень известной из географии, но, сливаясь с другой рекой, Фульдой, образующей реку Везер, затверженную еще на школьной скамье. Я бродила этими речными долинами Германии в своей ранней молодости, помню всю притягательную силу такого бродяжничества на заре жизни. Дорога медленно уходит вдаль—и вместе с ее бесконечным протяженьем, напоенным ароматом зелени и земли, сама жизнь ваша кажется только будущим, не имеющим прошлого. Будущим, полным радостей, надежд, достижений. Шагая с котомкой за плечами и, наверное, вырезанной самодельной тростью в руке,— именно так должен был чувствовать дорогу перед собой и тридцатилетний Иоганн Петер Эккерман, шедший пешком из родной деревушки через Гёттинген в Веймар. Он, правда, уже не был юношей по возрасту. Но юным было его самосознанье. Двадцати пяти лет, пробившись из бедности, он сел впервые в жизни на гимназическую скамью рядом с десятилетними мальчишками; не смог и университета закончить, обремененный работой; привык умилительно думать о разных «великих мира сего», советниках и бургомистрах, пасторах и богачах родной деревни и окрестных городков, доброжелательно помогавших ему «пробиться», позволявших ему подучиваться рядом с их детьми, к которым ходили на дом учителя; подкидывавших ему добрые советы и местечко для заработка... Он был чувствителен и благодарен; он рисовал и мечтал быть художником; он писал стихи; он уже печатался... И был окрылен только что

---

[1] Boswell's Life of Johnson. London Oxford University Press. 1911.

[2] И. П. Эккерман. Разговоры с Гёте. М.—Л. «Academia». 1934.

[3] Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. Von Johann Peter Eckermann. Fünfte Auflage. 3 Theile. Leipzig. F. A. Brockhaus. 1883.

полученным сведением, что его стихи, которые он послал великому Гёте, были приняты им благосклонно. Написав большую статью о поэзии («Beiträge zur Poesie»), он и ее послал Гёте, которого знал почти наизусть — от стихов до «Вильгельма Мейстера». Гёте уже был для него отцом, учителем, научившим его своими книгами главной в жизни мудрости — гармонии индивидуума с самим собой. Шагая по неслыханной в то лето жаре, с капельками пота, стекавшими по его чуть горбатому носу, этот скромнейший немецкий юноша, начинавший свой жизненный путь в тридцать один год, шел сейчас на поклон к Гёте в город Веймар, думая о Гёте *для себя*, мечтая о встрече *с ним для продвижения собственной карьеры*, надеясь на помощь Гёте в его личной, Эккермановой, профессии поэта, помощь старшего младшему,— чтоб *стать*, стать писателем, поэтом ему самому, Эккерману... Таким было начало.

Теперь бросим взгляд в это июньское утро в город Веймар, в чинные приемные комнаты гения мировой литературы. Он был гением, зачинателем, творцом для читающего человечества, а для себя в эту минуту — обеспокоенным семидесятичетырехлетним мужчиной, еще чувствующим себя молодым, но уже с нависшим на плечах грузом всего им созданного. Год назад в Мариенбаде он познакомился с одним семейством. Так иногда выгодно было слыть старым, чтоб тебя называли «отцом», а ты мог бы получать поцелуи — и сам целовать в розовую щечку — очень юных девушек, называя их милыми дочками... Одна очень юная девушка в Мариенбаде... Еще никаких слухов в Веймаре как будто не было, но Гёте знал силу своей могучей индивидуальности, знал благодатную власть эроса для главного дела своей жизни — для неутомимого, неустанного, безостановочного творчества. Гёте был влюблен, верней сказать — опять влюблен. Без этой окрыляющей влюбленности, когда чувствуешь реальность чужого бытия как свое собственное, Гёте вообще не мог творить. Он влюблялся даже в вещи, захватывавшие творчески его мышление. Он был влюблен в барометр, занимаясь метеорологией; влюблен в гранит, увлекшись минералогией; страстно захвачен образом листа в занятиях ботаникой. Всегда и всюду, зажегшись от предпочтения одного чего-нибудь, одного кого-нибудь перед всем остальным,— чтоб через это одно остро и точно, глубоко и родственно ощутить Вселенную. Таким остался крепкий, юношески стройный («rüstiger», по многократному определению Эккермана) Гёте и в свои семьдесят четыре года. Но для семьи он был дедушкой. Внуки, Вальтер и Вольф, лезли ему на плечи. Хорошенькая жена сына, Оттилия, тащила у него для своей коллекции драгоценные автографы, «зажилила» письмо Байрона. Он прекрасно угощал за столом, мастерски резал дичь — прямо как анатом; уступал — уступал шумным просьбам внуков, шаловливой нежности Оттилии, делавшей его стариком. И стариком делала его военная простоватость сына Августа, любившего, как и покойная его мать, выпить лишнее. Одинок в семье, одинок в работе, подавлен массой необходимых действий — ответить, просмотреть, принять, отвергнуть, высказаться, повидать, выслушать, подготовить, закончить... «Человеческое, слишком человеческое», как сказал бы Ницше, душило его. И к горлу подходила накопленная им мудрость. Ее надо было высказать — и ее некому было высказать.

Его окружали, правда, прекрасные, образованные, понимавшие эту мудрость люди. Но — каждый из них жил и работал прежде всего для себя. Канцлер Мюллер — тот был все же невыносимо сух, чиновник. Умный и тонкий Сорэ (Soret) по горло занят и воспитанием принца и придворными обязанностями — женевец, приглашенный веймарским двором из Швейцарии, оставивший в Женеве родных; Цельтер — умница, музыковед и музыкант, но далекий берлинский собеседник, близкий только в переписке... Одиночество. И лихорадка влюбленности, торопящая его опять в Мариенбад.

Так обстояло дело с Гёте, когда во вторник 10 июня 1823 года Эккерман, просивший о приеме еще накануне и получивший приглашение к двенадцати часам следующего дня, пришел точно в назначенное время, и слуга о нем доложил.

К стихам, раньше посланным Гёте, Эккерман приложил и свою коротенькую биографию. Можно догадываться, как то и другое, благосклонно принятое Гёте, пришлось великому поэту по душе. Слабые, подражательные стихи, но — близкие по духовной интонации; консерватизм этой молодой жизни — особый, немецкий консерватизм, скромный и благодарный; военный фронт, воспитавший дисциплину; жажда учиться —

до конца жизни; достоинство, но без самомнения — и несомненное умение слушать... Гёте вышел к своему посетителю в голубом сюртуке и мягких ботинках. Мода на короткие, до колен, облегающие ногу штаны, длинные чулки, короткие кафтаны с кружевами вокруг шеи и у кисти рук, элегантные туфли с пряжкой — мужской наряд эпохи Вертера, выделявший грацию и стройность Гёте,— вышел уже из моды; пришедшие на смену длинные сюртуки, укорачивавшие ноги и уничтожавшие талию,—в каких изображают Гёте на портретах и статуэтках с середины двадцатых годов, кажутся нам сейчас безобразными. Но Эккерману и в этом облачении Гёте предстал как нечто величественное («eine erhabene Gestalt!»). Разговор начал хозяин. И сразу же о том, что больше всего интересовало его гостя: о судьбе присланной рукописи. Гёте уже озаботился о выходе ее в печать — он завтра же пошлет ее с верной оказией издателю. Он расспросил о планах и намерениях Эккермана: сделать путешествие по Рейну, где-нибудь остановиться, чтоб написать нечто новое,— но до тех пор несколько дней в Иене, дождаться ответа от издателя... И Гёте как будто все одобряет, со всем соглашается — через несколько дней он сам уезжает в Мариенбад, а до тех пор надо еще повидаться, еще поговорить.

И дни до отъезда насыщены чуть не ежедневными встречами, содержанье которых — незаметно для самого Эккермана, если судить по собственным его записям,— медленно поворачивается на целый геометрический угол. Уже отплывает куда-то в будущее поездка по Рейну, а Иена упрочивается, продлевается — до возвращенья Гёте из Богемии. Уже куда-то в минуты досуга затискивается желанье «писать свое, что-то новое», а в руках оказываются комплекты «Франкфуртских ученых Известий» полувековой давности, где печатались юношеские рецензии Гёте, иногда и без подписи, и целых одиннадцать тетрадей современного журнала «Искусство и старина». Дружески, в порядке одолженья Эккерману поручается работа: угадать и отобрать из «Франкфуртских Известий» рецензии Гёте, глазами молодости просмотреть их—нужны ли они новому времени, стоит ли их включать в собрание. И Эккерман с готовностью отбирает, штудирует, готовит вывод: в них продолжение «ученических годов» Гёте («akademische Jahre»)...

Я не могу пересказывать развитие событий по дням и датам — они лежат перед читателем в книге. Эккерман все еще чувствует себя обязанным за доброту и участие; самостоятельным, «обязательным» в в своих действиях. Он с наслаждением чем может услужает Гёте; в записях первого года эта самостоятельная услуга принимает даже некоторый «защитный» оттенок перед читателем: он не навязывается, он всякий раз приглашается, ему всякий раз вручается работа, необходимая для самого Гёте. И еще полный веры в свою самостоятельность, шлет Эккерман в Мариенбад почтительное письмо: он устроен, он хорошо принят у Кнебеля, получает гонорар за свою книгу, на целый год обеспечен житьем в Иене, но все это, разумеется, лишь временные условия для того, чтоб двинуться дальше, в задуманную им летнюю поездку, повидать большие города. Честно говоря, Иена скучна для длительного пребывания — ему нужны впечатленья большого города, превосходный театр, картины народной жизни, чтоб культурно развиться для задуманных работ. И посылая Гёте в Мариенбад подробное описанье содержания первых четырех номеров «Искусства и старины», порученное ему, чтоб «сделать на досуге», Эккерман трогательно сообщает ему о своих планах.

Гёте находит время для ответа. При всей своей личной занятости, далекой от всего мало-мальски делового, Гёте отвечает хоть и коротко, но с полной, далеко вперед видящей ясностью, с практицизмом и в то же время — с прорвавшейся откровенностью, совершенно непостижимой для такого их кратковременного знакомства. Благодаря за присланную «опись содержания» и надеясь получить в будущем такую же редакционную работу и по «Франкфуртским Известиям», он сообщает, что и здесь, в тишине, он заботится об устройстве Эккермана, не расстается в душе с его настроеньями, обстоятельствами, целями и планами, для того чтобы «при моем возвращении тем основательней переговорить о Вашем благополучии. Больше сегодня не скажу ничего. Расставанье с Мариенбадом заставляет многое продумать и сделать, в то время как слишком короткое пребыванье с превосходными людьми переживаешь чересчур болезненно» (14 августа 1823 года).

При возвращении... Даже остро переживая трагедию своей поздней влюбленности и кончая ее — совсем не из-за возраста, а

потому, что так надо было для творчества, так привычна для него была эта жертвенная Entsagung (непереводимое ни на какой другой язык, в точности немецкое понятие самоотречения, с а м о о т к а з),— Гёте в те же дни, быть может не вполне сознательно, подчинял себе другую человеческую жизнь, планировал в мыслях е е «самоотказ». И приехав в Веймар, первым же делом, только успев поздороваться, сразу же, отметая — как взрослые иногда отметают детский лепет — все планы, мечты и цели Эккермана, объявил ему (можно было бы сказать «с места в карьер», если б в отношении Гёте это не прозвучало чересчур фамильярно): «Я должен высказаться прямо. Я хочу, чтоб Вы эту зиму остались при мне в Веймаре» (запись от 15 сентября 1823 года).

Еще раз вспомним: все это происходило в минуты величайшего личного переживанья Гёте, на восьмом десятке его лет. Еще не охладела бумага под его пером, куда он в совсем молодом подъеме вдохновения занес гениальные строки своей «Мариенбадской элегии». Еще пребывал он духовно на той лишь гениям человечества доступной высоте, когда человек может позволить себе воскликнуть: «И если обычный человек, скорбя, немеет — м н е дал некий бог высказать все, что я стражду» (Und wenn der Mensch in seiner Qual verstum-Gab mir ein Gott zu sagen, was ich leide!)[4].

Если заглянуть действительности с тыла, то в жизни веймарского общества происходило одновременно с этим закулисное провинциальное отображение происходящего в бабьем зеркале маленького городка, в точности описанное самим Эккерманом (запись от 27 октября 1823 года): «Тотчас по возвращении Гёте из вышеназванного курорта распространился здесь слух, будто он познакомился там с одной молодой дамой, прелестной физически и духовно, и почувствовал к ней страстное влечение. Когда он слышал ее голос в Аллее Источника, тотчас же хватал свою шляпу и спешил сойти к ней. Ни единого часа он не упустил, чтоб быть с нею, и пережил счастливые дни; разлука поэтому была ему очень тяжела, и в этом мучительном (leidenschaftlichen) состоянии он написал исключительно прекрасное стихотворение, которое, однако же, считает своего рода святыней и держит в тайне».

Вот эту святыню через месяц с лишним Гёте показал Эккерману вечером, при свечах,— написанную не готическими (как писали тогда), а латинскими буквами на толстой веленевой бумаге, перехваченную шелковым шнуром и переплетенную в красную кожу. Оставив Эккермана читать, он отошел от него, а когда тот кончил, обратился к нему с удивительным, почти простонародным, задиристым и небывалым в словаре Гёте и чуть ли не однажды лишь употребленным в записях самого Эккермана выраженьем восклицательного характера: «Gelt!» («Ну как!») — не столько вопрос, сколько поддакиванье, подтвержденье,— «показал я вам кое-что хорошее?» (27 октября 1823 года). С большим внутренним тактом Гёте не ждет сразу ответа, обдуманного пересказа впечатленья. Он обещает показать второй раз, в один из спокойных часов. А на следующий день посылает ему (как это делает почти ежедневно, загружая Эккермана порученьями, книгами и рукописями) маленький манускрипт Цаупера. И Эккерман в ответ на эту посылку в свою очередь шлет Гёте «несколько стихотворений», которые он написал этим летом в Иене... После доверительного показа ему, как еще никому из окружающих, своего нового лирического шедевра — «Мариенбадской элегии» — Гёте получает в ответ несколько стихотворений самого Эккермана!

Это могло бы прозвучать анекдотически. Но это звучит с наивной простотою полной жизненной правды. Уже закрепленный за Гёте навечно, уже обреченный на «самоотказ», Эккерман, не подозревая этого, все еще считает себя творцом, поэтом — в учении у своего любимого мастера. И так будет еще очень долго, так будет почти все две части «Разговоров», и только на миг, может быть, трагически осветится сознание Эккермана перед самым концом их личного общения.

Пройдем лишь бегло по дальнейшим этапам этой единственной в мировой литературе истории, чтоб подробней остановиться на ее конце.

Хваля написанные Эккерманом рецензии, советуя ему не браться за крупную работу, а придерживаться мелких вещей и стихотворений к случаю (Gelegenheitsgedichte), Гёте предупреждает Эккермана еще в самом начале их знакомства (21 ноября 1823 года): «У вас прекрасное дарованье. Я вам скажу кое-что: если вам, может случиться, сделают литературные предложения из других мест,— отвергайте их или, по крайней

---

[4] Эпиграф к «Мариенбадской элегии», взятый Гёте из своего же «Тассо».

мере, сообщайте о них мне; ведь поскольку вы со мной связаны, я не очень расположен (möchte ich nicht gern), чтобы вы имели отношение и к другим». Так отчетливо и крепко это выражено «вы со мной связаны» (verbünden), так просто сказано Эккерману — я подчеркнула четыре слова, хотя в тексте, разумеется, они не подчеркнуты,— а тот, кому они говорятся, понимает их по-своему и будет понимать по-своему почти все девять лет.

В драме, которая как бы разыгрывается на ваших глазах, независимо от воли и сознания автора передается все ее эмоциональное содержанье, вся разница чувств двух действующих лиц. Гёте — наконец-то — нашел единственно нужного ему под старость человека, с которым он может оставить потомкам богатейшее устное наследство своей нажитой мудрости,— нашел, если определить в одном слове, превосходного секретаря. Эккерман в настойчивом предупреждении Гёте, в постоянных его порученьях, в снабжаемых работах видит высокую честь дружелюбия, вниманья отца немецкой литературы, доверия гения — признания его, Эккермана, литературных способностей, небывалое выпавшее на долю начинающего немецкого писателя счастье. Он полон нежной, благоговейной любви к Гёте. Записывая знаки его вниманья, слова доверия, выражающие нужду в нем и в его помощи, Эккерман, может быть, еще и об одном заботится: чтоб не подумал читатель, не вообразили потомки, что он сам, скромный сочинитель, навязался Гёте, втерся к нему, сам напрашивается на работу у него, нет, совсем нет, Гёте первый, Гёте сам, а вовсе не он, Эккерман.

Проходит год после предупрежденья Гёте. К величайшему удовольствию Эккермана, один английский журнал на чудных условиях предлагает ему присылать ежемесячные статьи о новинках немецкой прозы. Это — удача, хороший заработок, начало известности. Из Англии! Эккерман бежит к Гёте и застает его в созерцании колоссального бюста Данте. Свет падает на бюст и на лицо Гёте. Звучит голос, уже ставший родным и милым для Эккермана,— подробный разбор работы скульптора, как вышли у него подбородок, нос, верхняя губа... Потом внимание Гёте обращается к нему, он спрашивает, что делал в эти дни Эккерман. И тот спеша, должно быть от волнения и удовольствия, рассказывает о полученном им из Англии предложении.

«Лицо Гёте, бывшее до этих пор таким дружелюбным, при этих словах сразу раздражительно исказилось (ganz verdrießlich), и в каждой его черточке я мог прочесть неодобрение моему сообщенью».

Дальше идет замечательный пример, как великие люди бессознательно для себя самих могут выстроить целую башню блестящих аргументов против того, что идет наперекор нужному и желанному для них самих. Простой человек может видеть в этом примере образец удивительного эгоизма. Человек поверхностный склонен счесть это примером благоразумного совета. Эккерман увидел тут то же самое, что льстило его любящему сердцу и его самолюбию: желанье Гёте удержать всего Эккермана под своим отеческим крылом. Я удержусь от собственных выводов, но приведу почти целиком всю эту «башню аргументов» Гёте, потому что сама по себе она представляет просто необыкновенную характеристику роли критика и обозревателя литературы во всех ее фазах и в ее завершении, отнюдь не устаревшую и сейчас:

«Я хотел бы, чтобы ваши друзья оставили вас в покое... Существуют золото, серебро и бумажные деньги, и каждое из них имеет свою ценность и свой курс, но чтобы каждое правильно оценить, надо этот курс знать. Вы умеете оценить металл, но не бумагу, вы с ней еще не встретились, и ваша критика поэтому будет несправедливой, и вы будете уничтожать вещи. А если вы хотите быть справедливым и каждое в своем роде признать и пустить в оборот, то вам придется прежде всего стать на общий уровень с нашей средней литературой и немало потрудиться для этого. Вы должны будете пойти назад, посмотреть, чего хотел Шлегель и чего он достиг, а потом новейших авторов: Франца Хорна, Гофмана, Клаурена и т. д.— всех должны вы прочесть. И этого мало. Все периодические издания, от «Утреннего листка» до «Вечерней газеты», должны вы держать перед собой, чтоб тотчас быть осведомленным о вновь выступающих в литературе,— и этим вы себе испортите лучшие часы и дни. И потом все новые книги, о которых вы захотите высказаться более или менее основательно, должны вы не перелистать только, а даже изучить. Как это вам понравится? И наконец, когда вы плохое найдете плохим, вы даже не посмеете это высказать, чтоб не оказаться в опасности попасть в войну с целым светом» (3 декабря 1824 года).

И дальше — «нет, пишите отказ от этого предложенья». Конечно, если брать задачу в идеале, аргументация Гёте справедлива. Но за вычетом простого факта, что «в идеале» задачу простого «критического обзора» никто не выполняет идеально, аргументация Гёте, при всей ее точности, прикрывает лишь раздраженное сердце великого одинокого старца: не уходите никуда, не делайте ничего, кроме того, что мне нужно самому. Или еще проще, как год назад: «поскольку вы со мной связаны», нечего брать другие обязанности!

Долгие девять лет работает Эккерман преданным секретарем у Гёте, чувствуя себя связанным не секретарской, а «сыновней» связью с ним. И в этой работе он ухитряется сохранить то самое скромное «достоинство, лишенное самомнения», ту «самостоятельность» без ощущенья ее мнимости, с какими он в первый раз, неловким и робким, восторженным и полным надежд, вступил на порог жилища Гёте. Читая внимательно «Разговоры», убеждаешься прежде всего, что это вовсе не только запись отдельных мыслей и монологов Гёте, а настоящие диалоги, где говорят обе стороны и даже обе стороны действуют. Эккерман составляет план, в каком порядке и как именно следует печатать письма Гёте, излагает свои мысли над продолженьем книги «Поэзия и Правда», надолго оставленной Гёте, и подсовывает их ему, чтоб побудить продолжать, дает свои собственные описания картин, мысли о театре, о книгах, о различных друзьях молодости Гёте (например, о Берише), принимает живое участие в занятиях и опытах «Учения о цвете» (Farbenlehre), этой большой и ревнивой страсти преклонных лет Гёте, делает умные психологические выводы о причине раздражительнейшего упрямства Гёте, не желающего выслушивать никакой критики, когда Эккерман, экспериментируя, находит ошибку в его теории. Наконец, он даже вставляет в свою книгу чуть ли не целую лекцию о птицах, об их особенностях и повадках, с любопытством выслушанную Гёте. Правда, эти свои познания в орнитологии он дает только в третьей книге, но читатель чувствует, как заинтересован ими Гёте и как горд сам Эккерман тем, что хоть этой малостью, этим практическим знанием птичьего царства может обогатить своего великого учителя тем, чего тот не знает. Есть что-то щемящее сердце, что-то глубоко трогательное в этом даре бедняка богачу — когда читаешь гордые строки Эккермана о птицах. Гордость своего собственного, своим личным путем полученного знания...

Читая и перечитывая «Разговоры» со страницы на страницу, не можешь не заметить, как постепенно — все более и более — становится Эккерман нужен Гёте совсем не только для того, чтоб записывать его изречения и монологи. Он становится нужен, чтоб участвовать в д и а л о г а х, наталкивать на мысли, вызывать их (fördern), разделять — н е н а р у ш а я в е л и к о г о о д и н о ч е с т в а г е н и я. Разделять — не нарушая! Пусть вдумается читатель в эту формулу.

Гений всегда одинок, потому что он — творец. Он творит, когда пишет, лепит, рисует, создает своею рукой; он одинок, когда мыслит, обдумывает, ищет, находит, пробует, испытывает. Одинок, когда погружается в отдых, в накопление сил, где, как правило, всякое вмешательство, всякое вторжение нарушает баланс природы гения, мешает процессу отдохновенного накопления сил. Но одиночество—тяжкая, подчас невыносимо тяжкая вещь, и гений переносит его так же болезненно, так же ипохондрически, как и самый заурядный человек. Только спастись от одиночества нужно ему другими путями. Вместо отвлеченья, перебивки одиночества живым введеньем других, внешних интересов и впечатлений — творческий человек бессознательно ищет присутствия и содружества такого элемента, который р а з д е л и л бы его одиночество, н е н а р у ш а я его, не вводя диссонирующих впечатлений иного, чуждого свойства. И Эккерман как раз дал Гёте такое «присутствие». Он входил в одиночество гения, разделяя, но не нарушая его. Мысли Гёте рождались и высказывались в его присутствии — из глубины ненарушенного одиночества, но вызываемые согласным дыханьем чужого бытия... Это очень трудно объяснить на словах. Но это можно понять, читая «Разговоры».

Одним из выходов было для Гёте, как я уже писала выше, необходимое для его творчества состоянье влюбленности. Но это было дорогостоящим выходом из одиночества, когда сам человек, его физические и душевные силы, его время, его бытие становятся расплатой за этот выход. Очень дорогой расплатой, как бы ни вознаградилась она последующим творчеством. Быть может, даже без ведома самого Гёте Эккерман внес в свои записи одно его свидетельство об этом, сказанное в минуту откровен-

ности. Страстный роман с Ульрикой фон Леветцов кончился в октябре 1823 года, в тот вечер, когда Гёте показал Эккерману «Мариенбадскую элегию» и произнес — чуть ли не с комсомольским задором — несвойственное ему словечко «ну как!» (Gelt!). Ульрика, насколько мы знаем, хранила эту любовь, никогда не выйдя замуж, до глубокой старости. А Гёте спустя двадцать дней после показа своей элегии и словечка gelt снова дает прочесть Эккерману эту элегию и говорит о ней следующее: «Вы видите тут продукцию в высшей степени мучительного состояния. Когда я его испытывал, я ни за что на свете не согласился бы отказаться от него,— а сейчас я ни за какую плату не соглашусь снова очутиться в таком состоянии» (16 ноября 1823 года). Так дорого обходится нарушение одиночества гения — влюбленностью. Ни за какую плату не согласился бы он пережить снова то, что охватило его, как огонь сухие сучья,— и дало величайшее блаженство...

Идут годы, а Эккерман все еще не чувствует себя «секретарем», он все еще строит собственные планы книг, поездок, работы в больших городах. Гёте с каждым днем обогащает его записи своими мудрыми мыслями, все глубже, все тесней втягивает его в свою жизнь, все откровенней и проще беседует с ним. Эккерман уже свой человек в его семье, в его доме. он уже друг его друзей и враг его врагов. Все ясней становится ему, что тут, само собой, под его рукой, создается удивительная, уникальная книга — о старых годах величайшего человека Германии, может быть, целой эпохи, и ему начинает хотеться сделать эту книгу профессионально, глубоко поработать над ней, получить для нее, ради нее — как нынче сказали бы — «творческий отпуск», отойти от Гёте, чтоб смочь дать его образ объективно, из нужного для работы отдаления. Всем остатком живущей в нем человеческой самостоятельности он, словно тонущий в океане за спасительную доску, мысленно хватается за эту работу, уже ведомую вчерне много лет, как за свое собственное профессиональное дело. Медленно возникает в нем образ этого «своего собственного» дела как К н и г а — его, Иоганна Петера Эккермана, книга.

Но писать ее возле Гёте, выполняя ежедневную, ежемесячную, ежегодную деятельность, уже ставшую привычкой и тоже своеобразной профессией,— для Гёте и возле Гёте,— невозможно. Каждый день несет свои заботы и обязанности, каждый день связан с душевным состоянием и переживаньем Гёте, а этих переживаний очень много, тяжелых, когда не уйти от него, от помощи ему. Умирают близкие люди, с которыми Гёте прожил целый веймарский век,— старая герцогиня-мать, а за нею сам герцог Август, друг и товарищ его бурной молодости. В семье и ближайшем окружении боятся сообщить об этом Гёте, ходят вокруг него на цыпочках,— как перенесет он эти известия? Гёте переносит их со спартанским мужеством. Он обязан этим перед собой, перед человечеством,— он должен закончить «Фауста»...

И вот наступает минута для Эккермана, когда его связанные крылья вдруг развязывает рука самого Гёте.

Молодой Август фон Гёте (впрочем, и не так уж он молод, грузный, в военном мундире, с частицей «фон» и с тремя детьми!) давно мечтает съездить в Италию. Утром во вторник 16 марта 1830 года он приходит в гости к Эккерману и радостно сообщает, что поездка в Италию наконец-то решена, отец дает на нее деньги, но хочет, чтобы Эккерман поехал вместе с ним. То-то радость! Италия! Уже не только «большой город», Берлин к примеру, но десятки больших исторических городов, целая страна, прославленная своим искусством...

Быть может, именно тогда в мозгу верного секретаря зародилась аналогия. Гёте в одну из минут откровенности признался ему, чем было бегство из Веймара в Италию для его творчества. Годы и годы бездействовал он как поэт, разделяя безумства своего приятеля — главы немецкого герцогства. Сперва — безумства, потом — трудная, ежедневная, ежечасная министерская работа, возня с тысячью запущенных государственных дел, придворные обязанности. Никому с такой силой не признавался Гёте об этом первом веймарском десятилетии, державшем его в цепях духовно и физически, подслащенном нездоровым, напряженным романом-дружбой с Шарлоттой фон Штейн. Когда все это дошло у него до самого горла, Гёте спасся тайком ото всех, под чужим именем, заранее все подготовив,— в Италию,— и она для него открылась как физическое и духовное освобождение от ненормальной и натянутой загруженности Веймара. В Италии он снова нашел себя как поэт, он наконец понял, что не рожден живописцем и его призвание — перо. а не

кисть, в Италии начали слагаться его большие произведения, двинулось начатое...

Эккерман не мог забыть, что ведь и он тоже в начале жизни мнил себя живописцем, а потом стал писать стихи; не мог забыть, что и его тоже Веймар связал по рукам и ногам, правда не беспорядочной и не тяжкой связью, но все же. Ему страстно хотелось вырваться, чтоб тоже стать «самим собой», начать писать большие вещи. «Творческий отпуск» — вот чем была Италия для Гёте. И «творческим отпуском» может стать Италия для него, Эккермана!

Но сам Гёте, отправляя сына в Италию, думал совсем другое. Ему только что стукнул восемьдесят один год, а еще шесть лет назад, семидесятипятилетним, он сказал своему верному секретарю, что в его годы нет-нет да и естественно подумать о смерти. Думал ли он о своей волшебной Италии XVIII столетия, когда прощался с сыном и Эккерманом? Во всяком случае, в записной книге, которую он вручил своему секретарю перед их отъездом, он написал древнее изреченье:

Все проходит, прежде чем я об этом узнаю,
И меняется, прежде чем я это замечу.

Путешественникам
Гёте

Веймар
21 апреля 1830
(приведено 21 апреля 1830 года).

Они выехали на следующий день, 22 апреля. Даже в наш авиавек нельзя считать такой поздний выезд разумным. Уже с конца мая жара в Италии для «среднего европейца», то есть для жителя Средней Европы, становится трудноперенос имой. Но в те годы, чтоб доехать в коляске до Франкфурта-на-Майне, потребовалось два дня, а с задержками и остановками для осмотра новых городов — недели две до Северной Италии. И жаркое лето надвинулось к ним в самом начале путешествия. Середина мая застала их в Милане; потом — Венеция, потом — опять Милан; а май уже пришел к концу и жара была в полном разгаре. Впереди же — настоящее пекло Рима и Неаполя, пыль и пекло проезжих дорог к ним.

В Милане Эккермана разбила лихорадка. В «Разговорах» об этом скудные сведения, нет также и намека на разницу интересов двух путников, которая могла бы как-то повлиять на их повседневную близость. Август вырвался из-под опеки двора и семьи. Он мало заимствовал от отца, больше от матери; был несколько помпезен, вульгарен во вкусах, любитель поесть, выпить и наверняка — дать себе волю и в других отношеньях. Эккерман был одержим жаждой культурных впечатлений, ходил по музеям, вел умственные разговоры с примечательными людьми. Он уставал от беготни, от сидений за шумными столами, его не тянуло за кулисы театров, чтоб знакомиться с пустенькими актрисами. А в то же время он глубоко чувствовал свою ответственность перед отцом за сына. И все это сопровождалось растущим в нем чувством приближающегося кризиса жизни: теперь или никогда.

Лихорадка держит его несколько дней в постели. Он слишком изнурен, чтоб смочь продолжать путешествие,— и сын Гёте понимает это. Отец, осведомленный о болезни секретаря и уже успевший остро почувствовать для себя его отсутствие, соглашается на их разъединение, на возвращение Эккермана в Веймар и на дальнейшую поездку сына в Рим. 25 июля в четыре часа утра Август и Эккерман обнимаются на прощанье, Август садится в коляску, чтобы ехать в Ливорно, а Эккерман — в обратную сторону, в Женеву. Но в Женеве он остается, чтоб прийти наконец к решению отстоять себя самого. Я сказала выше об одном мгновенье сознания, посетившем Эккермана. Это мгновенье, роковой перелом кризиса, наступает для него сейчас.

Он не хочет возвращаться в Веймар. Он в ужасе от одной мысли вернуться туда. В Женеве застигают его вести об июльской революции во Франции. Забыв, как был равнодушен (или притворялся равнодушным) Гёте, когда заходил разговор о восстаниях и революциях; забыв монархические старческие брюзжанья Гёте, аккуратно записанные им в свой дневник,— Эккерман пишет об июльской революции в письме к своему учителю, кажущемся сейчас, когда читаешь его в «Разговорах», почти безумным по своей смелости: «Вы можете представить себе, какое впечатление произвело на меня первое известие об этом потрясающем мир событии, с каким интересом читал я газеты... и как вслушивался в рассказы ежедневно прибывающих, судящих и рядящих политиков за табльдотом. Все было в высочайшем возбуждении, люди пробовали представить себе, какие последствия для остальной Европы произойдут от таких больших, могучих насильственных шагов...»

Совершенно неожиданно, под влиянием благодатного дыханья революции, он вдруг

дает сам себе характеристику, стойко держась перед Гёте: да, я в обычной жизни слаб, податлив, уступчив, но в глубине я всегда верен себе, вижу в себе внутреннюю твердую простую черту — желание все время расти и возвышаться духом, «einen gewissen einfachen Zug Eines höheren Hinaufstrebens hindurchgehen... von Stufe zu Stufe mich zu veredeln und zu verbessern». И эта черта заставляет его отвергнуть выгодное предложение, полученное из Веймара; читать лекции, обучать наследного принца: «Устное обучение и устная деятельность — совсем не мое дело... Мне недостает дара красноречия... Наоборот, перед бумагой я чувствую себя совершенно свободным, письменное развитие моих мыслей поэтому — моя собственная жизнь и удовольствие, и я считаю потерянным каждый день, в который не напишу нескольких доставляющих мне радость страниц. Вся моя природа стремится сейчас действовать на более широкий круг, приобрести влияние в литературе и для дальнейшего счастья сделать себе наконец собственное имя»... Он пишет о рукописи своих «Разговоров», о том, что они неотделаны, писаны карандашом, вчерне, о том, что лежит у него на сердце закончить их вдали от Веймара (von Weimar entfernt), чтоб быть совершенно свободным (völlig frei), покуда сможет положить перед публикой свое творение законченным и переплетенным. И он выражает радость, что наконец высказался, сбросил с плеч эту тяжелую ношу — исповедался перед Гёте (здесь и дальше — записи от 12 и 14 сентября 1830 года).

Два следующих дня он ходит как на празднике. У него легко на душе, он расправил крылья, кризис — кажется ему — повернулся к выздоравливающей, нормализующей стороне в ходе его болезни. Он опять пишет Гёте, и в его письме чувствуется некое завоеванное человеческое равенство: «С тех пор, как я излил свою душу в позавчерашнем письме, я чувствую себя свободным и бодрым, как никогда в прошлые годы, и хочу все время писать и говорить. Это для меня действительно величайшая потребность — держаться хотя бы первое время в отдалении от Веймара. Надеюсь, что вы это одобрите,— и уже предчувствую впереди время, когда вы скажете, что я поступил правильно».

Раздирающий сердце человеческий документ. Почти вопль. Читая, переживаешь не только то, с чем писал это Эккерман, но и всю его предыдущую жизнь в Веймаре, которая по записям казалась такой спокойной и счастливой, но о которой вдруг прорываются у него в письме страшные слова, похожие на те, какими описывал сам Гёте жизнь в Веймаре перед своим бегством в Италию: «Если я попаду сейчас в Веймар — нечего и думать о скором окончании моих ближайших литературных задач. Я попал бы тотчас в прежнее рассеянье; я очугился бы в маленьком городке, где каждый сидит на плечах у другого, был бы разрываем туда и сюда разнообразными маленькими обстоятельствами, которые разрушают меня, не принося решительно пользы ни мне, ни другим». Это порученья-то Гёте — разные мелкие обстоятельства! Это общение-то с веймарским кругом избранных людей — сиденье на плечах друг у друга! Это культурные-то занятия в Веймаре — рассеянье! Это сам Веймар — Веймар, место паломничества виднейших европейских деятелей,— маленький городок, городишко!

Вот до чего договаривается человек, когда его держат в согнутом положении слишком долго. Какой урок скрывается тут для общества! Даже в р а ю, если держать там душу золотыми цепями, душе покажется невыносимо, и вдруг прорвется она, прорвется к свободе своего пусть маленького, но л и ч н о г о развития. Эккерман сам не подозревал, кончая свои «Разговоры», об античной трагедии, лежащей в их основе.

Но трагедия еще впереди, кризис еще не завершился. Пламенные письма Эккермана одно за другим идут к Гёте. Казалось бы, они должны напомнить бывшему беглецу в Италию и его собственное бегство из Веймара для возвращенья к своей личной творческой свободе, и его собственную характеристику этого города, в сущности, так похожую на слова его секретаря. Но из Веймара приходит ответ Гёте. Тем же отстраняющим, «разреженным», высокогорным — без капли теплоты и отклика, без человеческого знака равенства — светит ледяное солнце его ответа, как много лет назад робкому начинающему поэту. Оно не предписывает, не указывает, не насилует, оно — если можно так выразиться — замораживает: «Переждите во Франкфурте, пока мы свободно порешим, где вы хотите провести будущую зиму». «Вы» хотите, но «мы» порешим. И тут же приложена записочка франкфуртским друзьям, Марианне фон Виллемер (бывшей «Зюлейке» его «Западно-Восточного Дивана») и ее мужу.

Когда я перечитываю эти страшные строки из «Разговоров», мне, гётеанке, любовно посвятившей много лет изученью Гёте и своей книге о нем,— мне слышится, как из другой комнаты, металлический приглушенный стук колец. Я никогда его сама не слышала. Я представляю его себе лишь воображеньем. Двойной стук — тюрьмы и змеиного гипноза,— и Эккерман, словно из породы тех самых пернатых, о которых он так прекрасно рассказал в своей лекции по орнитологии, заворожен. Получив одно за другим три письма Гёте, где все как будто остается прежним, где ему предлагается «хотеть», а решение вынесет не он один, Эккерман цепенеет, теряет свою решимость. Между тем в события, как будто еще колеблющиеся, вмешивается рок.

Вечером 20 ноября он садится за табльдот в Гёттингене, куда приехал из Нордхейма. Хозяин гостиницы, узнав, что гость — житель Веймара, с добродушным спокойствием сообщает ему, что великий сочинитель Гёте в своих преклонных летах должен еще пережить такое тяжелое горе — в газетах сегодня сказано, что единственный его сын умер от удара в Италии.

Что дальше пишет Эккерман? Он взял свечу и ушел в свою комнату, чтоб не выдать чужим людям выражение своего лица. Он провел ночь без сна. И всю дорогу к Гёте, через Мюльхаузен и Готу, пустынными осенними полями, под хмурым ноябрьским небом ехал он, не делясь своими мыслями с читателем, выслушивая в каждой гостинице как новость опять и опять о смерти единственного сына Гёте от удара в Италии. Он приехал в Веймар вечером 23 ноября. Гёте как статуя стоял перед ним спокойно и прямо посередине комнаты; он молча обнял Эккермана и прижал его к своему сердцу. Но только в этот вечер от самого Гёте среди деловых разговоров и сообщений ни слова не было им услышано о сыне Гёте: «Seines Sohnes jedoch ward mit keiner Silbe gedacht» (запись от 23 ноября 1830 года).

Лишь через неделю эта страшная выдержанность, высокое умение замыкать себя, мнимая стойкость при трех смертях близких ему людей — старой герцогини-матери, герцога Августа и, наконец, сына — надломила физическую природу Гёте: в ночь на 30 ноября потоком хлынула у него кровь из горла (heftiger Blutsturz). Он был при смерти целый день. Но выжил — он должен был закончить «Фауста».

III. ГЁТЕ

Что больше всего бессмертно и уникально в «Разговорах», оставленных Эккерманом? Для знающих Гёте хорошо, читавших его «от доски до доски», а таких гётеанцев немало среди старшего поколения европейцев, «цитатный» Гёте, мудрыми изреченьями высказывавшийся о людях, предметах, областях науки, искусства, хозяйства, каким он встает с каждой страницы «Разговоров», не представляет собой чего-то нового и неожиданного. Полные собрания его сочинений хранят и комментируют мудрые мысли Гёте и в «Изречениях в прозе», и в «Изречениях в рифмах», и в многочисленных «Ксениях». Биографы Гёте от ранних и до позднейших щедро используют Эккермана, не указывая подчас источника. Да и весь мир, заключенный в книгах Гёте, его стихи и романы, драмы и рецензии, статьи и сухой трактат «Учения о цвете», его автобиография и его «Фауст» — решительно все, что он написал, полно великой мудрости учителя, на опыте личной жизни познавшего и формулирующего свою мудрость. Гёте был по природе и по характеру творчества дидакт. Он делился всем, чем обладал.

Но не дидактизм составляет уникальную ценность «Разговоров» Эккермана, а нераздельность гётевских мыслей и поучений с самим бытием Гёте, с его живым присутствием, с его настроеньями, сменой их, подъемом духа и упадком духа, вспышками молодости и старческим брюзжаньем. Одно дело — мудрость, глядящая на вас сама по себе, с бумаги, печатными буквами. Другое дело — мудрость, записанная с живых слов, тут же, от живого человека, которого ощущаешь, почти видишь своими глазами. Гёте, как учит нас все гётеведение, был могучим диалектиком. Не только в мышлении сказывался его природный диалектизм, с возрастом становившийся частью его самопознанья и самовыраженья. Он проявлялся и в жизни, в разных словесных высказываньях, как противоречивость. Гёте очень часто противоречил самому себе. В живом человеке на протяжении времени такие противоречия не только естественны, но даже не замечаются — они кажутся натуральными, поскольку слиты с побочными факторами данной минуты: здоровьем, настроеньем, впечатленьем, полученным извне, и новым поворотом «угла зрения». Что сделал бы, например, дотош-

ный литературовед или критик перед двумя совершенно уничтожающими друг друга высказываньями Гёте? 12 мая 1825 года он говорит Эккерману тоном глубочайшей уверенности: «Кто не ждет для себя миллионов читателей, тому не следовало бы написать ни единой строки». Это звучит категорически. Проходит всего около трех с половиной лет. И Гёте вдруг тянет за собой Эккермана к окну, как бы спасаясь от возможного «подслушиванья», и доверительно, словно тайну, признается ему: «Мои вещи не могут быть популярны... они написаны не для массы, а только для отдельных (единичных — nur für die einzelnen) людей, которые ищут и желают подобное этим вещам и в подобном же направлении» (11 октября 1828 года).

Когда тут прав Гёте? В чем для него истина? Да в обоих случаях прав, и в обоих для него истина. Исследователь, чтоб оправдать подобное противоречие, черными мертвыми буквами отпечатанное на мертвой белой бумаге, сам потратил бы много черных букв и мертвой бумаги. А Эккерман, записывая в свой дневник то и другое, даже не задумывается над ним, не сопровождает ремаркой. Почему? Да потому что Эккерман не прочитал, а услышал его в разных обстоятельствах, от «разного» Гёте» — живого, живущего человека.

Еще пример. В самом начале знакомства, 14 ноября 1823 года, Гёте убедительно говорит Эккерману: «...делиться с кем-нибудь своими поэтическими планами было решительно против моей природы, даже с Шиллером. Я все вынашивал с собой в тишине, и никто, как правило, не узнавал ничего, пока я это не завершил». Как правило! А 16 марта 1830 года, спустя семь лет после сказанного, причем опять в связи с Шиллером, он уверяет Эккермана: «Нехорошо человеку быть одному, особенно тогда, когда он работает. Особенно нуждается он в сочувствии и в воздействии, когда хочет чего-либо достичь. Я благодарен Шиллеру за своего «Ахиллеса» и за свои баллады, к которым он меня понуждал (getrieben)». И опять Эккерман, записывая, не выражает ни малейшего удивленья и не переспрашивает: «А как же вы тогда-то и тогда-то говорили то-то и то-то?» — чтоб оправдать перед читателем такие противоречия. Эккерман попросту не замечает их, как и раньше, как и во многих других случаях. Потому что источник для него все тот же — Гёте живой, живущий рядом, во времени и пространстве, и это живое присутствие он передает и читателю.

Вы сами начинаете как бы общаться с Гёте — и это общение награждает вас множеством мыслей и аналогий... У Гёте есть замечательная фраза: «Плохо то, что всякое мышление ничем не помогает самому мышлению. Надо быть правильными от природы (von Natür richtig sein)...» (24 февраля 1824 года). Иначе сказать: порождение мышления только из мышления, как это делается большей частью в истории философии,— вещь бесплодная для открытия истины...

Эккерман остался у Гёте до самой его смерти, начиная с его семидесятичетырехлетнего (без малого) возраста до восьмидесяти трех лет. Он мог наблюдать весь период постарения Гёте, все измененья его лица, те легкие тени, какие ложатся на лице человека от мимолетного движенья времени,— тени, уводящие его в долину теней... Мы знаем Гёте по многочисленным портретам, рисункам и статуэткам, но для них он позировал, хранил неподвижность членов и черт лица. А в «Разговорах», под пером Эккермана, он возникает не в нарочитой позе, а как бы в естественном к вам движении — навстречу вашему взгляду. Талант к живописи, какой воображал у себя Эккерман в юности, тут проявляется у него хорошим пониманием формы и вкусом к сочетанью красок. Вот Гёте, как уже видел читатель, полуофициально одет в длиннополый сюртук и в мягкие комнатные ботинки; вот он официален, при звезде; вот он в коляске для прогулки — теплая шапка на голове, голубое пальто и серый плед, плотно укутавший колени; в белом фланелевом домашнем халате, поздно вечером, за столом. Горит свеча (вспоминается Пушкин — «свеча горит...»), свет ее ярко отражается в совсем молодых «ястребиных» (с ободком вокруг ириса) сверкающих глазах. Такой разный! Бронзовый, загорелый лицом, молодцеватый в походке. Задумчивый, в опущенных складках лицо, свешен нос книзу, опущены углы губ. Опять приподняты в доброй улыбке. И до чего крепкий, крепкий — rüstig,— эпитет, часто с восхищением употребляемый молодым Эккерманом, для которого всегда незабываема хронология и Гёте по возрасту всегда — старый «деньми и годами». И вдруг вместо «rüstig» — тревожная запись: «Он сидел в своем кресле и казался немного слабым».

Девять лет почти ежедневно присутство-

вать при последних проявлениях жизненного процесса величайшего человека эпохи, гиганта творческой мощи, наблюдая и записывая! Представим себе, что эта возможность дана и нам с вами. На какое-то время мы подходим к существу более крупного плана, чем мы сами, стоим перед ним, смотрим на него и можем задавать ему вопросы. Для нас это как в своем роде дельфийский оракул для древнего грека. Все можно узнать и спросить — заманчиво услышать от него о литературе, искусстве, Байроне, Шекспире, Наполеоне, ирландских событиях (и в то время они происходили совершенно так, как сейчас!), китайском романе, Канте, Гегеле, живописи, музыке, семилетнем Моцарте, наводнении в Петербурге и о самом Петербурге, очках (которые он не выносил на собеседнике), табаке (дым которого ненавидел), о тысяче вещей, страшно интересных. Услышать, например, армянам — об интересе Гёте к Арарату, на котором будто бы нашли в то время какие-то строительные остатки Ноева ковчега; или русским — его слова о том, что русские проявили великую черту характера, у м е р и в себя и н е п о й д я на Константинополь, черта, сроднившая их в глазах Гёте с Наполеоном, у м е р и в ш и м себя, отказавшись пойти на Рим... Перечислять все, о чем можно было бы услышать, это значит — бежать глазами за карандашом Эккермана в течение девяти лет! Но спросим себя честно: что все-таки было бы самым н у ж н ы м, самым и н т е р е с н ы м узнать нам, современным людям, у него?

Мне кажется — о Жизни и о Смерти. Что думал Гёте о жизни — как надо, как лучше, как разумней прожить данную человеку жизнь; и о смерти — боится ли, верит ли в существованье за ней? Не любопытство, а нечто более важное влечет читателя к страницам «Разговоров», нечто жизненно нужное, о чем нельзя не задуматься каждому из нас, о чем не мог не задумываться и сам Гёте перед уходом из жизни. И как раз в этих — важнейших — вопросах Гёте не был дидактом, не вел себя как дидакт. Он думал и переживал перед нами как один из нас — не поучая, не умудряя, а как бы спрашивая, советуясь, сомневаясь — и медленно, год за годом, приближаясь к ответу.

В тот вечер, когда он показался Эккерману «немного слабым» и слуга Штадельман ставил ему пластырь на сердце, Гёте пожаловался своему секретарю — не на боль, не на бессонницу: «Зима проходит, а я ничего не могу делать, не могу сосредоточиться, дух мой бессилен». Вот так, удрученный бессилием духа, будет он всю ночь сидеть в кресле и не знать сна (16 ноября 1823 года). Через три месяца, уже выздоровев, 27 января 1824 года, он меж разговором, как бы мелькóм признался Эккерману: «Меня всегда считали особенно счастливчиком... Но в основе это было не что иное, как усилие и работа. Могу сказать, что в семьдесят пять лет я не имел и четырех недель настоящего досуга. Это было вечное тасканье камня, который требовалось поднимать на высоту все снова и снова... Запросы к моей деятельности, как со стороны, так и изнутри, были слишком велики»... Гёте признается тут, в сущности, что он всю жизнь был «работягой», но работягой, вкладывавшим весь жар своего горения не только в творчество (запросы изнутри), но и во всякую другую деятельность (запросы со стороны). Когда Эккерман заметил однажды, что великий поэт потратил много времени зря, расходуя силы и сердце на воспитанье актеров, строительство парка, возрожденье заброшенных рудников, министерскую волокиту, Гёте, тоже как бы мимоходом и противореча себе (своей ненависти к веймарской загрузке, от которой он когда-то бежал в Италию), неожиданно ответил ему: «Правда, я мог бы за то время написать кое-какую хорошую вещь, но, честно поразмыслив, не раскаиваюсь в этом. Я всегда смотрел на мои действия и свершенья только символически и был в основном довольно равнодушен, делать ли мне горшки или кастрюли» (2 мая 1824 года).

Только символически! Действовать, созидать, работать — одинаково над горшками или кастрюлями, восстановленьем рудников или «Ифигенией»... Конечно, это тоже одна из минут, мгновенное высказыванье,— но это и действительный, подлинный Гёте, считавший, что каждое мгновенье — представитель вечности. Могучая, постоянная потребность творчества, неотделимая от течения жизни. Тоска от его нарушения, мука от длительного отказа от него. Жадные вспышки творчества перед уходом из жизни и трогательная жалоба на временное недомоганье: «...дух мой бессилен».

У него был любимый термин, чаще всего заменявший понятия «дух» и «личность»,— греческое слово «э н т е л е х и я». Он употреблял его наподобие лейбницевской «монады». Энтелехия не только дается человеку

как душа, дух, характер. Она и вырабатывается течением всей его жизни, вырастает, крупнеет, восполняется. Иногда, заменяя ее понятием «личность», Гёте кладет во главу угла человеческой жизни именно выработку личности (энтелехии) путем неустанной деятельности. Еще до разговоров с Эккерманом он перефразировал евангельское «в начале бе Слово» в свое знаменитое «в начале было Дело» (Am Anfang war die That), а на вопрос «познай самого себя» ответил: «Начни действовать — и ты сразу познаешь, что в тебе есть». Эккерману он не раз говорил, что настоящий писатель должен быть личностью, потому что: «Вот говорят об оригинальности, но о чем тут речь! Со дня нашего рождения окружающий мир начинает на нас действовать, и так до нашего конца. И что можем мы назвать своим собственным, кроме как Энергию, Силу, Желание!» (записи от 20 октября 1828 года и 12 мая 1825 года). И главную ошибку критиков, главный недостаток и слабость критики его времени Гёте видел в игнорировании критиками в своих работах л и ч н о с т и писателя, книгу которого они разбирают.

Правда, почти всегда в рассужденьях о творчестве как таковом Гёте, несмотря на «все равно, что делать, горшки или кастрюли», был и оставался поэтом, писателем, и можно было бы целую главу посвятить одним выпискам мудрейших советов, которые он дал в «Разговорах» именно писателям, сообщая некоторые практические сведенья о том, как писал и работал сам.

Он всегда, например, останавливался в своей работе, откладывая продолженье ее на следующий день именно в т о м м е с т е и в т у м и н у т у, где и когда ему хотелось п и с а т ь д а л ь ш е. Иными словами, он не позволял себе доводить свое вдохновенье до и с ч е р п а н н о с т и, а всегда оставлял го «остаточное возбуждение», при котором ему легче было бы на завтрашний день снова начать непрерывную работу. И он придавал огромное значение правильному н а ч а л у. Почти никогда это «начало» не возникало у него сразу: один, второй, третий раз — пока не прорылось подобие русла для творческого потока или, может быть, не возникла та инерция правильного старта, от которой зависит весь ход дальнейшего... Но даже эти чисто профессиональные советы были у него связаны с деятельностью человеческой энтелехии вообще.

Туристы, посещающие чинные и торжественные залы гётевского дома на Фрауэнплан в Веймаре, часто говорили при мне, что вот-де в какой роскоши Гёте жил. Но «жизнь» Гёте была в работе, а рабочая его комната — максимально проста. Гёте говорил Эккерману, что никогда не мог работать в роскошных кабинетах с кожаной, красного дерева, стильной, под готику или под Китай, мебелью. Для работы ему нужен был минимум обстановки, и только той, что участвует в процессе его работы. Чтоб не отвлекаться от себя в чужое, чтоб просторно было для мышленья... Он не выносил курения и курящих, запах табака изгонялся из его жилья — хочется сказать, «прямо по-ленински». Должно быть, он пришел бы в ужас от употребления пишущей машинки, изобретенной много позже, не для перепечатки, а для самого творческого акта писания. Мне кажется, он сравнил бы это с искусственным оплодотворением, при помощи шприца, животных на культурных фермах... Двигателем его гения была с о б с т в е н н а я р у к а. Он остро понимал связь почерка с характером — и отсюда необходимость культивировать почерк. Получив как-то письмо от Цельтера и показав его Эккерману, он воскликнул с восторгом: «Ну, что вы скажете об этом почерке?.. Почерк целиком выражает его большой характер! Я положу этот лист в мою коллекцию рукописей (Handschriften)» (запись от 2 апреля 1829 года). Поскольку о рукописях в «Разговорах» всегда говорится словом «манускрипт», можно подумать, что речь тут у Гёте идет о коллекции почерков!

«Энтелехия» в его представленье диктовала физическому, материальному телу человека, подобно тому как характер диктовал почерку. Спустя одиннадцать лет после выхода двух первых частей «Разговоров» Эккерман отважился наконец выпустить их третью часть, проверенную и дополненную по дневникам Сорэ, любезно ему предоставленным [5]. Вот в этой третьей части есть многое такое, чего, может быть, Эккерман не рискнул бы коснуться в двух первых.

Объясняя себе свои состояния, пережитые в глубокой старости, Гёте сказал как-то Эккерману странную фразу, связав и углубив великую продуктивную энергию творцов с половой энергией человека: «...гени-

[5] Места, взятые у Сорэ, повсюду сопровождаются в третьей части «Разговоров» Эккермана звездочками.

альные натуры переживают повторную вспышку возмужания (wiederholte Pubertät), в то время как другие люди бывают молоды только однажды». И дальше следует абзац почти хрестоматийного достоинства, интересный для медиков и геронтологов не меньше чем для людей искусства.

«Каждая энтелехия есть частица вечности, и та «пара лет» (Гёте тут подразумевает всю жизнь человека.— *М. Ш.*), на которые она связана с человеческим телом, не может ее состарить. Если эта энтелехия ординарного характера, то во время постарения ее тела она не может проявить себя как хозяин, скорей тело будет хозяйничать над ней и, старея само, старить и ее вместе с собой. Но мощная энтелехия, как это случается у всех гениальных натур, будет не только животворно проницать свое тело, усиливая и облагораживая его организацию, но и своей духовной властью над телом стараться длительно реализовать свое право на вечную молодость. Отсюда и происходит то обстоятельство, что исключительно одаренные люди и в своей старости всегда переживают свежие эпохи особой продуктивности; кажется, что у них от времени до времени наступает омоложение — и это как раз то, что я называю повторной вспышкой юности (wiederholte Pubertät)» (III часть, 11 марта 1828 года). Последние два слова — wiederholte Pubertät — Эккерман напечатал разрядкой, чтоб привлечь к ним особое внимание. На немецком языке они имеют свой хронологический смысл как эпоха половой зрелости мальчика, а в данном тексте означают скорей повторную способность молодой, юношеской любви. Если отбросить из этого монолога Гёте идеалистический привкус, то смысл его — в великой силе деятельности человека, в его неустанной продуктивности, способной омолодить и старца.

Итак — деятельность. Вечный переход своей силы и воли в материальные результаты творческой продуктивности. Вечная связь работы с восполнением и ростом своей энтелехии, со становлением своей личности. И не только «становлением». За несколько месяцев до смерти (29 мая 1831 года) он рассказывает Эккерману о мальчике, который никак не может успокоиться после сделанной им маленькой погрешности. Казалось бы, хороший, совестливый мальчик! А Гёте продолжает: «Мне это не понравилось, когда я это заметил,— ведь оно показывает слишком чувствительную совесть, так высоко ставящую свое моральное «я», что ничего ему не хочет простить. Такая совесть делает людей ипохондриками, если только не уравновесить ее большой деятельностью». Можно подумать: ну что тут особенного? Не слышал ли каждый из нас еще в детской комнате или в школе — от отца с матерью, от учителя — «не хнычь, возьмись за работу!»? Но полено загорается в печке, когда его хорошо повернешь, и «обыкновенная» истина вспыхивает, когда она правильно к вам повернута.

Сбалансировать чувство вины усиленной деятельностью — вот единственная форма искупления. Она известна человечеству с незапамятных времен. И она всегда забывается, она отодвигается в практической жизни стоячим, неподвижным, бездейственным словом «раскаяние» — совершенно пустым и бесплодным и нравственно и юридически, легко фальсифицируемым, часто формальным, если остается в человеке без перехода в деятельность. Для Гёте этот постоянный упор на действие, на работу в жизни как на единственное оправдание человеческого бытия не был простым педагогическим приемом, одним из многих других. Он указывал на главное, и в этом главном слилась воедино тема личности Гёте, какой она проявилась на практике, с темой его творчества, каким оно выразилось в своей кульминации, в окончании «Фауста».

Долгая работа над «Фаустом» прошла через всю творческую жизнь Гёте. Он носил ее в себе где бы ни был и о чем бы ни писал. Он не мог умереть, не закончив «Фауста», а когда наконец закончил (в августе 1831 года, за полгода до смерти) и вся вторая часть была уже переплетена в тетрадку, сказал Эккерману со счастливым видом (в оригинале сильнее): «Мою дальнейшую жизнь я теперь рассматриваю как чистый подарок, и мне сейчас решительно все равно, буду ли я и что еще буду делать». Подарок, сделанный ему свыше, были шесть месяцев жизни.

Но еще до окончания всей рукописи Гёте обратил внимание Эккермана на «ключ» к «Фаусту» — два стиха, которые десятки лет спустя повторялись на разных языках в разных странах в дни его юбилейных дат:

Того, кто, вечно стремясь, трудится,
Мы можем освободить.
(Wer ewig strebend sich bemüht,
Den können wir erlösen)

(запись от 6 июня 1831 года).

Фауст, по замыслу Гёте, должен был дожить до ста лет. Деятельность его за это столетие прошла через разные стадии. И самой высшей и чистой ее формой стала работа для улучшения жизни человечества, для народного блага. Невольно думаешь: мы сейчас в новом обществе с этого начинаем, для нас это простая и непреложная истина, а он посвятил ей пять актов «Фауста» и целую жизнь гения. Но Гёте в «Фаусте» дал этой простой истине «формулу», он бросил, чтобы доказать ее, на чашу весов весь свой литературный авторитет. Он как бы и жизнь прошел, не дойдя только восемнадцати лет до Фаустова столетия, чтоб доказать ее, и над этим очень стоит подумать тем, кто будущим идеалом земного общества и собственным идеалом своего пребыванья на планете Земля считает досуг и праздность.

Связь идеи деятельности с идеей смерти и бессмертия у Гёте в «Разговорах» самая прямая. К концу жизни он думает, разумеется чаще, чем раньше думал, о своем уходе. Но сперва — 25 февраля 1824 года — он касается этой темы почти легкомысленно: «Занятие идеями бессмертия (у него звучит почти как «возня с бессмертием»!) — для зажиточных классов и особенно для дамского пола, которым делать нечего. А дельный (работающий) человек, который еще тут, на земле, хочет стать чем-то порядочным и для этого ежедневно стремится, борется и действует, оставляет жизнь будущего в покое, чтоб быть полезным и деятельным в настоящей». Однако через два месяца, 2 мая того же года, тон его меняется.

Вся эта страница в «Разговорах» овеяна удивительной и законченной прелестью. Гёте приглашает под вечер Эккермана сделать с ним прогулку в коляске, и они едут к Тифурту. Должно быть, та же цветная гамма его одежды — голубое пальто и серый плед на коленях,— мимо парка, где все нежно-зелено, а сейчас, под закатным солнцем, меняет для глаз окраску; березы покрыты нежными кудрявыми кронами — они напоминают поэту живописца Рюисдаля, никогда не писавшего ,берез с лиственной кроной на переднем плане, а только голые белые стволы... Разговор течет, отвлекаясь от природы, связанный с ритмом движенья. Гёте замолкает, задумавшись,— по-немецки: in Gedanken verloren. И вдруг — удивительная, гениальная мысль о бессмертии, не мысль, а скорей видение, навеянное заходящим солнцем; словно не для слушателей словно для себя одного — он цитирует:

И заходя — уходит
все то же самое солнце.

«Когда тебе стукнет семьдесят пять лет,— с большой бодростью продолжает он за этим,— не можешь ты подчас не задуматься о смерти. Меня эта мысль оставляет в полном покое, потому что я твердо убежден — наш дух не подлежит по самой своей природе разрушению. Он — нечто, творящее дальше, от вечности к вечности, он подобен солнцу, которое кажется заходящим только нашим земным глазам, а на самом деле никогда не заходит и непрестанно продолжает светить».

Но и на том не кончаются у Гёте мысли о смерти-бессмертии. 4 февраля 1829 года, великому поэту уже под восемьдесят. Он ведет с Эккерманом серьезный разговор о философе Шубарте. Мозг его возбужден, он разгорелся от полемики с философией, чуждой ему в одном пункте — в притягивании религии к философии: «Как и Гегель, втягивает он (Шубарт.— *М. Ш.*) христианскую религию в философию, которой ведь нечего в ней делать». Мы почти видим, как сердится Гёте, как сверкают его глаза:

«Убеждение в продолжении нашей жизни за гробом возникает у меня из идеи деятельности. Ведь если я работаю без отдыха до конца — природа обязана (это ее долг — so ist die Natür verpflichtet) дать мне другую оболочку для существования, если теперешняя уже не удерживает моего духа».

Не религия, а идея деятельности. Не религия, а сама природа обязана, это ее долг. Европейское преломление древнеиндийской философии о метампсихозе... Но нет, это чисто гётеанская, великая мысль, развиваемая им еще дальше, еще глубже, и я бы сказала — социально интересней. 1 сентября того же года, когда Гёте уже стукнуло восемьдесят: «Я не сомневаюсь в продолжаемости нашей жизни, ибо природа не может пожертвовать (entbehren) энтелехией; но мы бессмертны не в одинаковой степени, и чтоб проявить себя в будущем как крупную энтелехию, надо и быть таковой». Иначе говоря: Человек, заслужи сам, своей безостановочной деятельностью, право на бессмертие, ибо в этом случае твое право обязана соблюдать сама природа. Бессмертие как закон природы!

Гёте не говорил обо всем этом диктаторски, с претензией на всезнание. Он искал, надеялся, нащупывал мыслью — и был в своих мыслях предельно искренен Он стоял перед Эккерманом в последние девять лет своей огромной творческой жизни как неповторимое богатство человеческого опыта. Перед последним шагом в неизвестность он делился накопленной мудростью, способной помочь другому человеку, открыть дорогу чужой мысли. И Эккерман благочестиво собрал эту мудрость в копилку. Он не стал плохим поэтом для себя самого. Но ценою себя самого он написал «свою книгу» как подарок для человечества. Если так подойти к его записям, то богатство их раскрывается не столько для исследователей, историков, литературоведов, сколько для живых современных людей. Они могут черпать из него очень важные вещи — и для своей профессии писателя и поэта, актера и живописца, ботаника и физика; и для того, что лежит за скобками каждой профессии, но обязательно для каждого из нас,— для своего жизненного пути: Опыт жизни.

IV

Я поставила в подзаголовке три даты. 140, 180 и 125. Они расшифровываются так: в год написания мной этой работы исполнилось 140 лет со дня смерти Гёте (22 марта 1832 года) и 180 лет со дня рождения Иоганна Петера Эккермана (21 сентября 1792 года), юбилейные числа которого никогда до сих пор публично не отмечались. И наконец, самая последняя дата — 125 лет со дня выхода «Разговоров» целиком, с их завершающей третьей частью (1848),— приходится на будущий год, 1973-й.

Переделкино.
Февраль, 1972.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Ида Радволина. Твой голос, Югославия! — **И. Дедков.** Межа Пелагеи Амосовой.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Ю. Школенко. Книга о космической эре.

Литература и искусство

ТВОЙ ГОЛОС, ЮГОСЛАВИЯ!

Десанка Максимович. Стихотворения. Перевод с сербскохорватского. М. «Художественная литература». 1971. 391 стр.

Бывает, читаешь стихи поэта-лирика и ощущаешь: все его внимание прикована к тончайшим колебаниям собственной души. В каких бы краях ни побывал такой поэт, в какие бы времена ни жил, какие бы события ни разыгрывались вокруг него, с какими бы судьбами он ни сталкивался — в стихах вы видите только его одного, вы сочувствуете только ему одному. И если личность этого поэта богата внутренней жизнью, то в вас стихи эти оставят свой глубокий след.

Но — читаешь другого поэта, тоже лирика, и понимаешь: его сердцу дорого в первую очередь все, что происходит вокруг. Направленность его внимания заставляет и вас во внешнем мире находить то, что, очевидно, больше самого себя важно поэту. Вместе с ним, через него вы воспринимаете и время, и людей, и своеобразие края — и все, что наполняет его душу.

Такова Десанка Максимович, выдающийся поэт Югославии. Такова лирическая героиня ее стихотворений и ее поэмы «Требую помилования». Поэма эта занимает почти треть книги и является произведением для автора итоговым, вобравшим в себя и многолетний опыт большой поэтической личности, и социальный опыт народа, поэма очень современна и густо насыщена лучшим, что издревле сохранилось в душе нации. Редкое произведение зарубежного поэта так естественно, не теряя своего своеобразия, своего голоса, входит в круг нашей поэзии. В этом большая заслуга поэта-переводчика Маргариты Алигер, которой удалось «самоотреченно» воспроизвести тончайшие оттенки речи и нашей современницы — лирической героини, и избранного ею собеседника — державного царя Душана, правившего еще в XIV веке, передать оттенки чувств — нежность, мудрость, гордость, презрение, терпимость, а главное — донести до читателя любовь автора к человеку, к жизни. Лирическая героиня этой поэмы полна заботы о сохранности человеческого достоинства, человеческого счастья. Ее тревожит участь человека во все века. Она стремится понять, что именно коверкает жизнь, обедняет ее, делает

человека несчастным даже тогда, когда он воображает, будто достиг апогея власти.

Героине поэмы жизненно важно, чтоб люди оставались людьми, отзывчивыми на беду человеческую, увлеченными созиданием,— пожалуй, это и есть главное для нее; счастье человека — в радости созидания, рождения, творчества. В ней как бы соединились трепетная любовь матери, возлюбленной, любовь сестры и друга и мудрость Учителя. Десанка Максимович — дочь народного учителя, сестра народных учителей, сама преподаватель в течение многих лет. Отсюда в ее судьбе и в том, как звучит ее голос, нечто общее с Габриэлой Мистраль, с Саломеей Нерис. И слово «Учитель» я не случайно написала здесь с большой буквы. В Югославии, в стране, которой приходилось веками бороться против национального уничтожения, народный учитель, пожалуй, не меньше, чем мать, переносил из поколения в поколение те нравственные устои, что нации жизненно необходимо сохранить в себе.

По собственному выбору «пешеход в родном краю», по собственному предпочтению «пассажир третьего класса» — лирическая героиня поэмы отстаивает права простолюдина, которому «один день косить с рассвета, один день рыхлить виноградник, один день палящего лета таскать камни для царской дороги», отстаивает права земли спокойно наслаждаться своим плодородием.

Героиня поэмы широка душой. Она вступается перед владыкой в защиту тех, кто не умеет и не желает о себе позаботиться, в защиту «наивных», «непонятых», спотыкающихся о порог, «в защиту свадеб без венчания», «в защиту тех, кто не умирает вовремя».

Можно бы многое сказать о высокой нравственной требовательности к человеку, к законам общения между людьми, которой проникнута поэма, о заразительной доброте ее, заставляющей читателя оглянуться на себя, сопоставить с собой, спросить о собственной совести. Но когда в поэме раскрывается образ, скажем, «бедных завистников», «тех, что мрачнее туч, оттого что в чужие дворы проникает солнечный луч», или, скажем, «насмешников», готовых «осмеять... и те дела, которым нет цены, и дело, что имеет цену», в ней звучит презрение к мещанину — приобретателю, властолюбцу, скептику, обливающему едкой кислотой смешка любой благородный порыв,— именно такое свойственное народу жалостливое презрение сильного, в котором лирическая героиня словами самого народа раскрывает сущность мещанства, становится уничтожительней ненависти.

Многое еще можно вычитать в этой итоговой поэме Десанки Максимович. Если воспользоваться старым сравнением, в нее, как в море, ручейками, реками влилось все главное, что на протяжении свыше пятидесятилетней поистине самоотверженной работы в югославской литературе волновало поэта, волновало и волнует ее современников 30-х, 40-х, 70-х годов.

Мне вспоминается один осенний день, проведенный вместе с Десанкой в городе Крагуевац. Мы стояли в густой толпе на окраине города, у подножия холма, где в октябре 1941 года фашисты расстреляли класс за классом — семь тысяч мальчиков, девочек, юношей, учителей, жителей этого города. Вершину холма венчает теперь памятник им: огромные надломленные крылья. На белом камне памятника высечены стихи Десанки Максимович.

С холма в репродуктор голос, кажется, самой истории разносил по взгорьям, по городу строки Десанки. У всех, кто пришел и приехал сюда, стояли слезы в глазах. Почти все увозили с собой пластинку с ее «Кровавой сказкой». Записанная на века, она входила вместе с историей борьбы народа в каждый дом, в каждую душу, входила наряду с ее нежнейшими стихами о любви.

Когда-то лирическая героиня ее стихов счастлива была оттого, что «к нам в жилье в одни и те же сроки прилетит любовь, ко мне и к птицам». Однако со временем к этому юному торжеству постепенно все больше примешивались сочувствие ко всему живущему, сострадание, совестливость, становясь отличительными чертами поэта. С годами радиус увиденного и круг сердечной заинтересованности поэта расширялся. Люди, их заботы, их тревоги, их боль занимали все больше места в ее стихах: мать, которая «все сидела за машиной, шила восемь распашонок, рубашонок, восемь платьев до поры, пока не сядет солнце за крутой вершиной»; отец, который поднимался с классом на перевал, чтоб наглядным «уроком географии» передать своим воспитанникам всю силу своей привязанности к родному лесу, к родным селам, к каравану вершин; и, наконец,

земляки, крестьяне, которым нечем кормить детей, не во что одевать их.

...Завтра утром из родной деревни
мимо голых родных косогоров
повезут дрова они в город.
...Продадут родную прохладу —
голая гора с тоскою глянет.
Купят свечи и немного соли —
больше ни на что недостанет...

(Перевел Б. Слуцкий)

Не случайно, рассказывая о поэме «Требую помилования», я охарактеризовала лирическую героиню ее: по собственному предпочтению пассажир третьего класса. Популярный уже поэт, человек, устремленный к доверительному общению, к тому, чтоб услышать жалобу трав, стон ветра, шепот друга, она с годами все более осознанно чувствует свою душевную близость ко всем, кто, «на мою мать похожие, садятся со мною в третьем классе».

Нравственная сила тех, кто не станет «дивиться, что, мол, рассуждает с благородством, а рукава у нее в заплатках...», их умение понимать и ценить главное в человеке подсказывает поэту необходимость строже проверить себя:

...Чашу свою отдала ли томимому жаждой,
сама не успев из нее глотнуть?
Посторонилась ли хоть однажды?
И помогла ли кому-нибудь?

(Перевел Н. Стефанович)

Наверное, следовало бы здесь подробней рассказать о том, как питали и питают творчество Десанки Максимович богатейшие источники народного эпоса, народных сказаний, истории народа, как близки ей лучшие традиции поэзии родного края. Наверное, надо было бы подробней рассказать о времени, когда складывался характер лирического героя поэзии Десанки Максимович, о жестоком терроре в королевской Югославии между двумя войнами, о социальных бурях, которые заставляли чрезвычайно чуткого к человеческой боли поэта бескомпромиссно определять, с кем он, об огромной революционной борьбе, которую, невзирая на преследования, запреты, тюрьмы, упрямо из десятилетия в десятилетие вели многие писатели этой страны. Они разоблачали то, что Горький называл «свинцовыми мерзостями капитализма», они же находили новые слова, новые формы, чтоб стихом, рассказом, романом, статьей передать свою мечту о будущем переустройстве жизни. Их слушали, им верили. Голос Десанки звучал рядом с их голосами. Однако это был особенный голос. Было бы неточным назвать Д. Максимович в этом ряду атакующих воинов от литературы. Это бы не соответствовало характеру поэта, складу ее творчества, который хотелось бы показать именно таким, какой он есть на самом деле и какой он дорог ее соотечественникам. Дорог и гражданской отвагой, но совсем иного свойства. Бывают люди, способные всей силой сердца отстаивать благородное дело, благо народа своей страны, его чувство чести, однако им несвойственно идти в наступление. Их воинственность не атакует, хотя, защищая, она стоит даже насмерть. Примерно так и писала мне Десанка в одном из своих писем: «Вся моя воинственность больше в сопротивлении чем в наступлении.. »

Однажды во время войны ей задали вопрос: «Ну как, лирическая поэтесса, вы будете и дальше, как до сих пор, сочинять интимную лирику или жизнь и эта война разбудили вас немного?» «Я легко перенесла эту колкость,— пишет мне Десанка,— потому что уже написала к тому времени ряд стихов о любви к родине, и с вызовом ответила парню, что буду и дальше писать стихи о любви. Стихотворение «Сербия — великая тайна»... я написала, вернее — пережила где-то у железнодорожной линии Валево—Белград, когда крестьяне испортили один из небольших мостов и остановили целый бронированный немецкий поезд. Из лесочка недалеко от сельского домика, где мы заночевали, я имела удовольствие наблюдать замешательство немцев, их страх, их бешенство в те часы. Это было первое удовлетворение раненной во мне народной гордости. (Рассказ об этом случае вошел в книгу Десанки «Страшная игра».— *И. Р.*) «Кровавую сказку» я написала в Белграде. На следующий день после гибели учеников Крагуевца, на улице, где я жила, меня остановил какой-то незнакомый пожилой мужчина. Он спросил: «Вы слышали, что случилось в Крагуевце?» И рассказал... Откуда он узнал это? Почему почувствовал потребность именно мне сказать? Точно сами птицы перенесли эту новость, когда не поступало ни одной не контролированной вести, ни одного письма, когда радио об этом и не упоминало. Пока он рассказывал мне, родилась «Кровавая сказка»...»

«Ну как, лирическая поэтесса, вы будете и дальше, как и до сих пор, сочинять интимную лирику?..» — повстречавшийся Десанке на дороге оккупированного края незнакомый партизан, задавший ей этот вопрос, возможно, и не знал о довоенных «Пассажире третьего класса», «Моих земляках», «Колыбельной крестьянки» и многих других вещах. А может быть, этому парню не хватало в них прямого призыва к действию, стрелки, указующей, куда следует направить энергию. На крутых поворотах истории молодой человек нередко ценит и в поэзии именно прямые, именно нацеливающие и предупреждающие указатели. Сербский критик Милан Богданович вполне оправданно писал в свое время: «В современной сербской поэзии трудно было бы найти поэта... с более выраженным характером лирика, чем Десанка Максимович...» И в той же мере, как ее нежные строки о любимом: «Я смотрела с волненьем на твои следы, следы на белом снегу...» — как ее встревоженные строки о ели: «Всю ночь стоит и глядит в наш белый скромный двор. Там, на холме... стоит он один» — как стихи о родной Сербии: «Знаю жизнь всех тропинок, камней, деревьев»,— точно так же стихи, исполненные чувства заинтересованной близости к землякам с огрубевшими руками, шли прямо из сердца, естественно, органично, непосредственно. И в них она оставалась лириком.

И глубокая вера в строфах «Кто знает на этой земле, что девушка носит в нетронутом лоне, во мгле?», как и упрямая гордость «Сказки о повстанческом ружье», как и обжигающие совестливым чувством ответственности за муки родного края строки «Нынче вижу — и я виновата, что врага к тебе допустила...» — все эти стихи становились лирической летописью тяжких и героических годин народного сопротивления. Лирической летописью поэта, на редкость органически связанного со всем, что живет на земле ее предков, ни на минуту не забывающего сотни подолов, подшитых ее матерью, тысяч учеников, выпущенных в жизнь ее отцом и ею самою, не забывающего борьбы ее дедов и прадедов, из века в век отстаивавших независимость и целостность народа.

Нарушая традиции рецензий, мы начали здесь разговор о новой книге Десанки Максимович со слов о переводе ее поэмы. О самоотречении поэта-переводчика и ее чуткой верности духу мысли и особенностям интонации автора. Вот такая близость к подлиннику являет собой чаще всего щедрость сильного. Самоотреченной точностью сильного поражают в книге и переводы М. Ваксмахера:

...Я тебя увидела, когда таял лед,
лед таял, весна по дорогам бродила,
и день то светлел, то мрачнел от забот,
и сердцу то грустно, то весело было...

Такое же самоотречение сильного ощущаем в переводах А. Ахматовой, Л. Мартынова (особенно в стихотворении «Ниспровергнутый бог») и Д. Самойлова. Среди переводчиков мы видим и таких ярких поэтов, как В. Корнилов, В. Тушнова, Б. Слуцкий. Правда, в работе последнего настрой сказки, сказания, сказа, столь свойственный многим стихам Десанки, иногда уступает место слишком «сегодняшнему» рассказу — земному, мужественному, но присущему по тональности скорее самому Борису Слуцкому в его собственном творчестве. Особенно заметно это в таких хрестоматийных произведениях, как «Кровавая сказка», как «Сербия — великая тайна».

Однако эти мысли о звучании стихов Д. Максимович по-русски возникают лишь изредка. Читаешь стихотворение за стихотворением — и во всем отобранном для советского читателя, как и в том, что рассказал в своем предисловии Владимир Огнев, кажется, видишь поэта воочию. Худощавую, большеглазую, всегда оживленную, всегда чем-то заинтересованную, ни за что не дающую горестям одолеть себя. Она то и дело торопится кому-то помочь, с кем-то поделиться своей силой, своей верой в жизнь, своим теплом — ветеран югославской поэзии и самый молодой поэт в ней.

Ида РАДВОЛИНА.

★

МЕЖА ПЕЛАГЕИ АМОСОВОЙ

Федор Абрамов. Деревянные кони. Повести и рассказы... Л. «Советский писатель». 1972. 248 стр.

Федор Абрамов. Алька. Повесть. «Наш современник», 1972, № 1.

...И вдруг все «опостылело, все представилось какой-то игрой, а не настоящей жизнью». И охотничьи шатания — уже не то, и рыбалка — не то, и даже «волхования над крестьянской стариной», такое вроде бы достойное занятие, тоже не то, не настоящее, не подлинное. И «неудержимо потянуло в большой и шумный мир... захотелось работать, делать людям добро».

Что это? Еще один вариант томительных переживаний совестливого интеллигента, мятущегося меж цивилизованным городом и патриархальным селом? Декламация о том, что хочется работать и «делать добро»?

Похоже, что так. И вообще похоже, что в этой книге немало идейных и эмоциональных мотивов, распространенных и в сегодняшней «деревенской прозе», и в критических рассуждениях о ней. Мотивов популярных и навязчивых и потому теряющих или уже утерявших свою новизну, чистоту, естественность. То тут, то там восхищаются, скажем, деревенской избой, клетью, поветью, наличниками, прялкой, хлевом под общей кровлей. Есть и у Федора Абрамова восхищение «по-русски неброской, даже застенчивой» красотой, «сделанной топором и ножом». Вроде бы хорошо знакомые слова: «По-русски неброская», «застенчивая», «деревянное царство» и так далее. Но в этом «волховании» над стариной — позднее оно покажется герою рассказа «Деревянные кони» «игрой», ненастоящим — заметна важная и характерная для Федора Абрамова особенность.

Там, на повети обширной старой избы с коньком на крыше, оказался «целый крестьянский музей»: «Я просто ахнул, когда увидел». Но за реестром предметов, который последовал («рогатое мотовило, кросна—домашний ткацкий станок, веретенница, расписные прялки-мезехи (с Мезени), трепала, всевозможные коробья и корзины, плетенные из драни, из бересты и корня, берестяные хлебницы, туеса» и т. п.),— не страсть коллекционера, не сентиментальное любование, за которым — поветрие, а суровая и твердая память о реальном смысле и назначении этих вещей, об их месте и участии в человеческих судьбах, в народной жизни.

Молодой хозяин этого добра оправдывается перед гостем, что не повыбросил никчемное имущество: «Как-то рука не поднимается: мои родители кормились от этого...»

Да и сам гость (то ли сам писатель про себя) скажет потом то же: «А хлебница берестяная? Мне ли бы не запомнить ее золотистого сияния? Ведь она, бывало, каждый раз, как долгожданное солнце, опускалась на наш стол».

Лишь теперь, в иные времена, открылась «красота точеного дерева и бересты», она как бы «внове», ее «не замечал я раньше». «Особый мир» этой красоты увиден и оценен наново, и не знатоками, а многими. Увиден с высоты лет, с высоты времени, когда уже не столь волнует, что там, в хлебнице, а какова хлебница. Об этом, кстати, уже писал Л. Теракопян. Но особое достоинство пристального вглядывания Федора Абрамова в жизнь в том и заключается, что он различает, открывает в «золотистом сиянии» тех полумузейных предметов самое дорогое и самое существенное: «Главную-то обточку и шлифовку все эти трепала, серпы, пестери, соха... прошли в поле и на пожне. Крестьянские мозоли обкатывали и шлифовали их».

Николай Заболоцкий спрашивал — «что есть красота и почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?».

Вот он, тот «огонь, мерцающий в сосуде»: работа и судьба работающих, их недолгие и трудные сроки, их счастье и надежда, их страдание и беда, их опыты и уроки; и все это осталось в тех вещах на повети, таких прекрасных сегодня, потому, что их так шлифовали и так от них кормились, и еще потому, что были они порой как долгожданное солнышко, как долгожданный хлеб. Как долгожданное солнышко был и хлеб в той хлебнипе.

Тут уж, пожалуй, не волхование, не игра, не повторение навязчивых мотивов, тут впечатления живой, настоящей жизни, наивозможнейшее сближение с которой, как нам кажется, всегда было для Абрамова самой важной литературной и гражданской задачей.

...С тесовых крыш северной деревни смотрели на уходящего постояльца деревянные

кони. Было жаль прощаться с ними, и рассказ завершался так: «И мне до слез, до сердечной боли захотелось вдруг услыхать их ржанье. Хоть раз, хоть во сне, если не наяву. То молодое, заливистое ржанье, каким они оглашали эти лесные окрестности в былые дни».

Конечно, жаль тех коньков, исчезающей поэзии деревянной деревни. Но первое сожаление тут о том, что невозможно увидеть воочию — а так хочется, так важно это! — славную молодость Милентьевны, главной героини рассказа, этой «безвестной, но великой в своих деяниях старой крестьянки», которой та глухомань обязана и коньками на крышах и многим другим, светлым и умным.

Это она, Милентьевна, старенькая, слабеющая, но доживающая в вечной работе, хлопотах, в заботе и мыслях о других людях, вдруг привносит в спокойный быт слоняющегося городского гостя, сама о том не ведая, такой укор и такой урок серьезного ответственного трудового отношения к жизни, к природе, к человеческому долгу на земле, что в нахлынувшем этом порыве «делать добро», вернувшись в «шумный мир» своего дела, нет и следа позы, а есть искреннее преклонение перед нравственной стойкостью, духовной и деятельной красотой этой крестьянки.

Книга написана человеком, жадным до людей, до все новых и новых людей, до самых обыкновенных. Если б признан был жанр житейских «встреч», то можно было бы сказать, что значительная часть книги исполнена в нем. Такое ощущение, будто писателю хочется учесть и понять все судьбы, все эти бесчисленные варианты человеческих — крестьянских — жизней, сохранить их в людской памяти, чтобы ничего не минуло даром, не исчезло, не было стерто временем и людьми и чтобы были те судьбы нам наукой, порою горькой и мучительной, но все-таки светлой, научающей стойкости, мужеству, человечности, чувству нашей общности, нашей большой социальной справедливости. Чаще всего это судьбы, вызывающие у писателя глубокое уважение, или судьбы менее ясные, но больно ранящие, как бы саднящие, вводящие душу в беспокойное размышление над общей и частной жизнью.

Ну что за рассказ — рассказик это «Материнское сердце». Едва-едва пять страниц и бесхитростен крайне: чуть ли не запись прямой речи, так сказать монолог матери, воспоминание женщины о военных годах. Но вмещенное в тот рассказик материнское горе и страдание так велико, что оно и в нас-то, в «сопереживающих», вмещается.

«А какой лес был! Петя, Ваня, Павел, Егор, Степа... Пять мужиков! Я, бывало, время рожать подходит, не про то думаю, как их всех прокормить да одеть, а про то, как за столом рассадить».

На одном году троих «война съела», четвертый в плену побывал и «нарушился», пятый — «мизинец-то мой желанный» — лег на совесть матери.

Сама не уберегла, не сохранила, повинovалась хамскому крику («В лес, в лес, мать-перемать! Чтобы через час духу твоего здесь не было!»), поехала на заготовку леса, а надо бы немедля, никого, ничего не слушая, с сыночком в больницу — глядишь, и выжил бы Степанушко. Вот и майся теперь, вини войну, бригадира, себя, и нет той муки конца.

Писателю важно напомнить людям о том, что они вынесли. Бодрая забывчивость ему отвратительна.

В зимнюю стужу везла мать своего Степанушку в первое и последнее дальнее путешествие.

«— Степа, говорю, к району подъезжаем. Можешь ли, говорю, посмотреть-то?

А он сам меня просил: «Мама, скажи, когда к району подъезжать будем». Ребенок ведь! Нигде не бывал дальше своей деревни — охота на белый свет посмотреть.

И вот Степанушко у меня голову приподнял:

— Мама, говорит, как светло-то. Какой район-от у нас красивый.

Да и все — кончился...»

И еще судьбы, еще встречи, и, кажется, сам материал жизни таков, что ничего не нужно изобретать, придумывать, выстраивать, стоит лишь точно, настоящими, не полыми словами воспроизвести сам миг соприкосновения с ним и родившийся в тебе отклик.

Писателя влечет реальный опыт обыкновенных людей деревни, их понимание жизни и того, что в ней настоящее, важное, что свято и драгоценно и что — суета и стыд. Обычно это люди пожившие, многое повидавшие, испытавшие, того и другого хлебнувшие («Из рассказов Олены Даниловны», «Последняя охота», «Сосновые дети», «Однажды осенью»). Бабушка Олена Даниловна отсчитывает свои сознательные

годы с монастыря, куда была отдана тринадцати лет отцом в благодарность господу за то, что не дал помереть заболевшей лошади. Такое угнетенное начало жизни что-нибудь да значило в строе мыслей и чувств этой крестьянки, для которой с тех пор все живое и беззащитное, всякая божья тварь свята и неприкосновенна, и главная суть ее житейской философии, неотделимой от каждодневного существования, в этом.

И тут и в других рассказах взгляд писателя на своих героев — не сверху вниз (с высоты всеведения и всезнания) и не снизу вверх («припадем, дескать, к истокам, опростимся»), перед нами — сыновье уважение, готовность учиться достойному, восхищение лучшими чертами русского национального характера и в то же время неизменная способность видеть все как есть, в живой сложности жизни, традиций, истории. О том, что это так, говорит и роман «Две зимы и три лета», и давняя повесть «Безотцовщина», и, наконец, последние повести «Пелагея» и «Алька».

В обширной «деревенской прозе» последних лет «Пелагея» до сей поры стоит особняком, да и в разбираемом нами сборнике она — поодаль от других вещей, строже, объективнее, сложнее. Мысль о том, что Федора Абрамова привлекают, прежде всего, люди, несущие свет, преподающие «светлую науку» жизни, не находит в этой повести прямого подтверждения. Развернута история современной крестьянской семьи — завершающаяся и, по сути дела, завершенная. Завершающаяся — потому что еще есть дочь Пелагеи, Алька, и написана повесть про нее. Завершенная — потому что обладает художественной законченностью и «Алька» лишь кое-что дополняет в ней, о чем мы еще скажем.

Может быть, Милентьевна из «Деревянных коней» и не села бы за один стол с пекарихой Пелагеей? При деревенской осведомленности о житье-бытье друг друга вполне бы могла не сесть. Но, пожалуй, все-таки пришла бы, поплакали бы вместе, погоревали, и простила бы все бывшее, потому что корень-то у них общий.

Когда Пелагею обмывали, то увидели «во все правое плечо мозоль» (после работы «кузов на плечо — да за травой»), и старая Христофоровна головой покачала: «Сколько, говорит, на веку живу, такой страсти не видала». Пелагею вспоминают только так: «Мать у тебя работящая была», «железная»; укоряют дочь: «Родители у тебя труженики были» («Алька»).

Перед смертью мерещилось Пелагее, что она «у раскаленной печи на своей любимой пекарне и жаркое пламя лижет ее желтое, иссохшее лицо.

Она задыхалась. Ей было нестерпимо жарко».

Ей было нестерпимо жарко всю жизнь. Ей было жарко от вечной работы. Эта работа соединяет Милентьевну и Пелагею, она — их общий корень, она роднит всех любимых героев писателя. И если они красивы и значительны, то, прежде всего, потому, что работали на земле без устали, то есть делали настоящее дело.

Повесть ясно говорит о том, что работящая Пелагея, однако, не из праведниц; она вообще не из честных людей. И выгодное место она получила нечестно, и многое другое было безнравственным. Ее приобретательницей можно назвать, и мещанкой, и носительницей старой морали, и на все это найдутся основания. Однако жизни Пелагеи в тех понятиях словно бы тесно, она — это живое, изменчивое, хитрое переплетение противоречивых настроений, чувств, мотивов, обстоятельств — в них не помещается, они ее суть не схватывают.

Сложность тут, может быть, в том, что в отличие от других некоторых писателей, которые предпочитают изображать сельских жителей, сводя до минимума их всевозможные, особенно социальные связи с окружающим миром, Федор Абрамов написал Пелагею не только посреди семьи и пекарни, но — в социальной общности, в конкретном, тщательно воспроизведенном сельском микромире.

Пелагея изображена среди тех, с кем бок о бок день за днем шла и проходила ее жизнь в родной деревне.

Кажется, не пропущен никто: тут и все должностные лица села, и Олеша Табачников, и Афонька-ветеринар, и директор школы с супругой Розой Митривной, и продавщица Окся, и старухи-бобылки Маня Большая и Маня Маленькая, и пастух Олекса, и многие другие.

Отношения, связи Пелагеи с ними почти предопределены. Но не каким-то извечным складом крестьянского характера, а ее и их ролью в общей жизни в данный момент. Эти связи обнаженно суровы, когда Пелагея мается на ферме после войны; они причудливо сплетены из корысти, расчетливости и не забытой еще ответственности,

пока Пелагея занимает важный пост «при хлебе». И наконец, эти связи снова упрощаются и яснеют, когда пекарня уже никого не манит, когда все сыты.

И хотя писатель нигде не говорит впрямую о благотворном влиянии известных событий и постановлений на жизнь села, в повести постоянно ощутим ход времени, дыхание большой страны за пределами изображенного мира и, что особенно в нашем случае важно, заметно происходящее оздоровление как раз тех отношений между людьми, что были осложнены корыстью и обманом.

И все-таки Ф. Абрамов предлагает нам в эти отношения получше вглядеться, чтобы яснее представить их природу и ничто не винить с маху, с порога.

Бывшая доярка Пелагея работала всегда, она — трудящаяся. Но всю жизнь она устраивалась и устраивала, ловчила и ловчилась, она доставала, добывала, выгадывала, комбинировала, сама подносила — и ее не обносили в должный час. Вся эта житейская дипломатия была освоена Пелагеей в трудные послевоенные годы, и ради справедливости напомним, что не сытость ходила тогда в учительницах.

Даже главный грех Пелагеи — первая ночь на пекарне, проведенная с каким-то начальником, плата за хлебную должность,— изображен в контексте таких обстоятельств, что гнев моралиста глохнет.

Не прямой отпор заставляет его замолчать («Припрет нужда да голод — с самим дьяволом переспишь»), а поразительное описание того, как наутро Пелагея моется в бане, напрасно пытаясь раз и навсегда забыть, отмыть случившееся. До последнего дня она будет помнить ту плату.

Драма Пелагеи не только в том, что она ничего не может забыть и встречает болезнь и смерть без покоя в душе, без сознания, что прожила свое хорошо, с честью.

Драма в том, что вершина ее жизни, успеха, ее роли — позади, на расстоянии десяти — двенадцати лет, а все добытое, накопленное, построенное в тяжких трудах вдруг обесценилось и распалось. «А ведь какова цена хлебу,— думает она,— такова и пекариха».

Дорогое барахло, тряпки, почетное место в сельском мире, гордость семьей — все миновало. «Значит, говорила она себе, ты уже не в ладах с жизнью, выпала из телеги».

«Выпала», отстала — кажется, найдена всеобъясняющая формула происшедшего.

Жизнь Пелагеи была такой, какой была, обстоятельства были такими, а не иными, ту жизнь не перелицуешь теперь и не перекрасишь; пусть не вполне правильная и не вполне передовая, но то была реальная жизнь из уже забываемой послевоенной поры, и урок ее не в том, что могла она быть лучше и чище, а в том, что была именно такой, и про это нужно помнить, чтобы знать, какова была жизнь, и больше ценить сегодняшние обстоятельства и возможности.

Повесть о Пелагее завершена словами: «...Алька заколотила дом на задворках, возложила прощальные венки с яркими бумажными цветами на могилы отца и матери и к вечеру уже тряслась в районном автобусе. Ей не хотелось упустить веселое и выгодное место на пароходе».

На наш взгляд, в этих словах нет и проблеска надежды на возвращение Альки и, что важнее, на пробуждение в ней чувства вины перед теми, кто дал ей жизнь.

Но родилось продолжение. В разбираемую нами книгу повесть «Алька» не включена, но сказать о ней к месту.

То было продолжение без окончания, без нового окончания. «Алька» завершена тем же мотивом, что и «Пелагея». От Альки, уже стюардессы, приходит тетке письмо, короткое, «как приказ». Письмо из «сияющего, праздничного мира»: «Дом на задворках продать и деньги немедля выслать ей». Глупая тетка, встав «на дыбы» («Не бывать дому в чужих руках. Не для того отец твой да матерь жизнь свою положили, муки приняли...»), со страхом ждет появления беззаботной, улыбающейся Альки с каким-нибудь покупателем...

Приедет ли Алька? На этот раз кое-какая надежда оставлена, и, случись новое продолжение, Алькина история может получить наконец художественное и нравственно-этическое завершение.

Пока же «Алька» — это повесть о неудавшейся попытке возвращения на круги своя, о мелькнувшей надежде.

Что тому причиной, сказать трудно, но за метаниями, переживаниями Альки ощущаешь скорее волю автора, а не обстоятельств, среды. В «Пелагее» есть мир Алькиной матери со своим небом и своей землей, в новой повести оставшаяся часть того мира продолжает жить, по-прежнему волнуя и убеждая своей правдой. А вот в Алькином мире порою — ни неба, ни земли, ощущаешь не движение ее жизни, а ее каприз. Отсюда, на наш взгляд, и некото-

рая нарочитость, внутренняя необоснованность Алькиной речи. Пелагею вслед за писателем понимаешь и прощаешь, Альку иногда не хочется, неинтересно понимать Наверное, не случайно в изображении Алькиных метаний не обошлось без использования чуждых всем внутренним законам абрамовской прозы литературных ухищрений. Тут и «жаркий ненасытный рот», и «высокие литые груди», которые Алька «с удовольствием» разглядывает в зеркале, и песенная радость, которая в ней растет и поднимается, и пробег «большим белым зверем» в грозу домой после купания «гольем» на глазах ошеломленного местного юношества.

В этой «секс-бомбе» Альке нет красоты ее матери. Алька поглощена игрой, которая захватила ее почти целиком. Жизнь для нее не ноша, а развлечение. Писателю жалко Альку, он вроде бы еще надеется вернуть ее к подлинной жизни, описывает ее удаль на сенокосе, трогательную встречу с родительским домом, но какая-то неопределенность, намеренная противоречивость ее поступков мешают нам принимать близко к сердцу ее судьбу. Алька остается самой неясной героиней Федора Абрамова. Даже смятенная, ославленная Шура из рассказа «Однажды осенью», набросанная едва-едва, как рисунок в дорожном блокноте, сохраняется в памяти образом отчетливого нравственного смысла, которого так не хватает в «Альке».

Новая книга Федора Абрамова, вобравшая произведения разных лет, говорит о настойчивом движении этого писателя ко все более глубокому и точному воспроизведению действительности, к постижению главных составных человеческой судьбы.

Поиск *настоящего* для писателя — это поиск подлинно исторического материала — вне взрослых игр.

Поиск красоты в таком случае оказывается утверждением красоты трудящегося совестливого человека — трудящегося серьезно, порою стоически, во имя жизни.

Поиск литературного героя выражается в страстном желании сохранить в народной памяти живые и суровые — без умиленной идеализации — судьбы людей, без которых народ в литературе был бы «неполным», воспроизвести их неповторимый опыт и прояснить его смысл.

В сущности, большой мир без таких судеб и малых миров — не более чем абстракция. Он состоит из них, как лес из деревьев.

В деревне, где жила Пелагея, осталась ее, Паладьина, межа. Так не сговариваясь назвали ее люди. «Двадцать лет женка кажинный день мяла эту межу, да еще не один, а два да три раза на дню. Никто... как деревня стоит, не прошел по ней, сколько она прошла».

Без этой Паладьиной межи, без знания о том, что она есть и почему, большой мир жизни тоже был бы неполным.

И. ДЕДКОВ.

Кострома.

★

Политика и наука

КНИГА О КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЕ

Мост в космос. М. Издательство «Известия». 1971. 624 стр.

Составители книги «Мост в космос» Б. И. Колтовой и Б. П. Коновалов собрали сообщения ТАСС, статьи ученых, очерки журналистов, высказывания писателей, стихи поэтов. Перед нами первая книга о космической эре, отличающаяся комплексным подбором материала.

Книга идет по свежим следам конкретных событий, почти все материалы были написаны, когда совершались сами события, и поэтому хранят в себе «аромат времени», без которого наше восприятие прошлого было бы неполным. Но в то же время в сравнении с каждым из этапов космических исследований мы уже немного другие люди, «знающие будущее», смотрим (да и должны смотреть) глазами актуальнейшей современности даже на недавнюю историю.

Мощным живительным потоком вливается космонавтика в некосмические области практики и знания: в электронику, энергетику, материаловедение, здравоохранение. Благодаря космической медицине, пожалуй, впервые в многовековой истории медицины стал пристально изучаться организм здорового человека. Это позволяет вообще поставить медицину на новую основу: опознавать и предупреждать заболевания, а не только лечить «неожиданно» пришедшие болезни. Мы уж не говорим о технических возможностях медицинского контроля на расстоянии — прямого следствия разработки систем наблюдения за состоянием космонавтов в полете.

Создание замкнутых систем жизнеобеспечения для длительных космических экспедиций ведет к разработке аналогичных систем для нашей планеты и, по меньшей мере, заставляет уже теперь думать о разумном и бережном отношении к земным богатствам, об их умножении, без чего дальнейший прогресс человечества и само существование людей на Земле будут невозможны.

Космос, космонавт, человечество, Земля — это теперь единый и сложнейший организм, охватывающий и захватывающий всех. И если сейчас в каком-то отношении можно признать, что кончилась пора «спонтанного» восторга и увлеченности, сопровождавших самое начало космической эры, то, с другой стороны, космонавтика, с каждым годом раскрывая все новые грани и возможности, с избытком возвращает себе своих приверженцев, делает «космическую» увлеченность конкретно направленной для людей разных профессий и призваний, делает ее долговременной.

Книга «Мост в космос» прежде всего и преимущественно — о людях: о космонавтах, о конструкторах и ученых. Органически вписался в ее композицию отрывок из книги Юрия Гагарина, где рассказывается об ощущениях человека в космосе. Первое описание сочных красок и тончайших цветовых переходов на границе Земли и космоса. Первое, эстетическое восприятие титанической музыки ракетных двигателей. Может быть, это первые импульсы для новой живописи и грядущих симфоний.

Многогранный образ первого космонавта создал Я. Голованов в очерке «Герой нашего времени». В книге немало и других ярких произведений о космических первопроходцах. Таков, например, очерк В. Буханова «Зов Вселенной» о Константине Феоктистове, где показан волевой и способный исследователь, его сложный путь к кабине космического корабля. В то же время общие существенные черты всей замечательной плеяды наших космонавтов, несмотря на все еще чрезвычайно малую распространенность их профессии, заслуживают, на наш взгляд, большего внимания со стороны литераторов. Пока образы космонавтов существуют преимущественно в произведениях научно-фантастического жанра (вспомним хотя бы персонажей из «Туманности Андромеды» Ивана Ефремова). Там они бывают и зримыми и обаятельными, но, однако, и идеально-отвлеченными в силу особенностей самого жанра. Между тем жизнь в избытке дает нам реальные прототипы, дает круг идей, которые могли бы найти отражение в больших реалистических художественных полотнах.

В книге «Мост в космос» показаны все основные этапы реализации советской космической программы — полеты кораблей «Восток», «Восход», «Союз», исследования Луны и планет, раскрыты многие проблемы, которые ставит перед наукой каждый полет в космическом пространстве. Немало говорилось, например, в нашей печати о состоянии и ощущении невесомости — этом новом феномене, с которым человеку практически не приходилось сталкиваться до выхода в космос. Казалось бы, трудно добавить что-нибудь к написанному и рассказанному. Но небольшое интервью, данное корреспонденту «Известий» кандидатом технических наук А. Повицким, озаглавленное «Мир без тяжести», содержит интересные подробности, описывает закономерности невесомости. Статья члена-корреспондента АН СССР К. Кондратьева «Обсерватория на Селене», рассказывающая о перспективах использования Луны в научных целях, по существу, целиком посвящена Земле. И в этом нет ничего удивительного, ибо наш естественный спутник дает заманчивые возможности для метеорологических наблюдений, для изучения солнечной активности, для исследования геологического строения планеты. Небольшая статья кандидата технических наук Ю. Новикова «Спектры моря» раскрывает неисчерпаемые возможности использования спутников для освоения океанских и морских богатств Земли.

Весь заключительный раздел книги, оза-

главленный «На благо человечества», знакомит читателя с работой «космических тружеников» — «Космосов», «Молний», «Метеоров».

Основную идею книги удачно иллюстрирует высказывание одного из пионеров ракетной техники — Ю. Кондратюка: «Именно в возможности в ближайшем же будущем начать по-настоящему хозяйничать на нашей планете и следует видеть основное огромное значение для нас в завоевании пространства Солнечной системы».

Мост в космос построен. Мы видим теперь, что движение по этому мосту происходит в обе стороны, что средства и силы, вложенные в космические исследования, возвращаются в виде конкретных результатов и захватывающих перспектив ближайшего будущего. Сборник «Мост в космос» способствует дальнейшему осознанию и изучению людей, техники, проблем многогранной космической эры.

Ю. ШКОЛЕНКО.

КОРОТКО О КНИГАХ

★

НАДЕЖДА ПОЛЯКОВА. Не поле перейти. Рассказы и очерки. Л. «Советский писатель». 1971. 216 стр.

Рассказы, вошедшие в первую книгу прозы Надежды Поляковой, которая до сих пор была известна как поэтесса, кажутся фрагментами одной большой вещи. Может быть, ощущение это возникает оттого, что почти все персонажи Н. Поляковой происхождением и судьбой связаны с новгородской деревней, откуда родом сама писательница, и «единство места» порождает своеобразную иллюзию «единства действия». А может быть, за разнообразными судьбами многочисленных героинь Н. Поляковой начинает постепенно по ходу книги вырисовываться одна судьба, одна жизнь, прожить которую и в самом деле «не поле перейти». Но скорее всего это ощущение единства возникает оттого, что Н. Полякова рассказывает о своих героинях как женщина о женщинах, она не боится этой позиции. В книге нет даже краткой биографической справки об авторе, у читателя нет даже косвенной возможности соотнести судьбу писательницы с судьбой ее персонажей, однако когда Н. Полякова пишет о том, как мается Гарпина, которую забыл ее младший сын, или как Лелька понимает вдруг, что ее время прошло и что не пара она своему постояльцу, который во сне напоминает Лельке вдруг ее сына, уже женатого, кажется, что писательнице важно запечатлеть что-то глубоко личное. Она рассказывает о своих современницах, как солдат рассказывает об однополчанах, с которыми пройдены одни и те же дороги.

События, которые происходят в рассказах Н. Поляковой, являются как бы поводом, чтобы на нескольких страницах успеть высветить целую человеческую жизнь, еще одну женскую судьбу (а иногда и несколько). Бежит, запыхавшись, в соседнюю деревню к умирающей матери тетя Маня, и пока бежит, винится во всем: и что мать прожила у нее всего два дня и опять ушла к сыну, и что чувствовала она, Маня, что матери плохо («...и сон как рукой сняло... Хоть сшивай глаза-то... И эта черная бабочка все в окно стучала. Отгоню ее, окаянную, а она опять. Упреждала меня, видно, а я-то и не поняла»), и что вообще замуж вышла не так, как мать хотела. Потом рассказ пойдет о ее матери, бабке Гарпине, сделает несколько «петель» к ее детям и снова вернется к Гарпине, чтобы представить этот характер и эту судьбу во всем содержании.

В этом рассказе (он называется «Возвращение») много тонкого, точного, но еще нет о т к р ы т и я.

А вот рассказ «Люба» — это всего одна судьба, но, доверившись этой судьбе, доверившись тому неизменному правилу, что через один характер, если исследовать его серьезно, может открыться судьба многих, Н. Полякова сумела увидеть всю родную Любину деревню. Рассказ емок и целен, хотя внешне он может показаться мозаичным: ведь Люба переходит из избы в избу, и каждая изба — это эпизод, но эти эпизоды невозможно ни рассыпать, ни поменять местами, все они под властью Любиного характера, который с каждой страницей раскрывается все неожиданней и поэтичней.

Так от наблюдений зорких, метких и вполне самостоятельных писательница переходит к исследованию неторопливому, ищущему глубины. Заметно стремление Н. Поляковой к повествованию более крупному по жанру, многоплановому, включающему много судеб. Хорошо, что писательница не торопится, не удовлетворяется механической, искусственной многоплановостью, а ждет, когда настанет час действительно цельной вещи.

Г. Павлова.

★

Е. ЕВСЕЕВ. Фашизм под голубой звездой. М. «Молодая гвардия». 1971. 160 стр.

Раскрытию нелицеприятной правды о современном сионизме: его идеологии, практике, организационной системе — посвящена книга Евгения Евсеева «Фашизм под голубой звездой». Еше в работе Ю. Иванова «Осторожно: сионизм!» были разоблачены сентиментально-умилительные сентенции, ностальгия по библейским временам, но с кодовым обозначением «Сион», и одновременно доведенные до предела откровенно агрессивные притязания во имя того же Сиона.

Книга Е. Евсеева посвящена разоблачению сионизма, в этом ее важность, как и всякой новой работы среди публикаций по-

добного рода. Два положительных момента следует отметить, оценивая ее. Прежде всего научно-популярный ее характер. Нисколько не упрощая значения темы исследования — напротив, давая марксистский анализ сионизма, раскрывая его сущность,— Е. Евсеев излагает вопрос в популярной форме. Это делает его книгу доступной для самого широкого читателя. Она важна и тем, что освещает сионизм на современном этапе, разоблачает все многообразие форм деятельности сионистов. Автор широко использует при этом многочисленные документы, цифры и факты.

Е. Евсеев вскрывает классовую природу сионизма — идеологии монополистической еврейской буржуазии,— подчеркивая реакционную идеологическую основу ее и опасный характер политической практики сионистов. Он разоблачает всю несостоятельность мифов о «единой еврейской нации», о евреях как «избранном народе» и даже «высшей расе», противопоставляя этому подлинно научный, классовый подход — учение Маркса — Ленина о нации, о разрешении национального, в том числе и еврейского, вопроса.

Автор показывает, какова сущность политических притязаний сионистов. Это притязания на «историческую преемственность» сионизма на территории прежней Палестины, это «права» на захват «жизненного пространства» (палестинцы — арабы не идут в счет), поползновения на двойное гражданство и «двойную лояльность» евреев по всему миру, то есть подчинение всех евреев централизованному сионистскому контролю и превращение широких еврейских масс в послушное орудие тех, кто управляет всей хитроумной системой сионизма. Систему же эту пронизывает одна идея — идея обособления евреев всеми способами и средствами. Для этого и служит разоблаченный еще В. И. Лениным лозунг о «единой еврейской культуре», для этого сионизм и вобрал в себя иудаизм с его догматом об «исключительности» евреев и их религии.

В книге Е. Евсеева подчеркивается, что сионисты стремятся изолировать, отколоть еврейские массы от остальной части населения той или иной страны, отвлечь их от совместной борьбы с трудящимися других национальностей против социального гнета.

Вместе с тем обособить евреев, то есть противопоставить их окружающему населению, гражданам страны, среди которых евреи живут, означает не что иное, как вызвать антисемитизм. Однако, по мысли основоположников сионизма, как это ни парадоксально на первый взгляд, сионизму необходим антисемитизм в качестве источника его жизнеспособности.

Господствующая сионистская верхушка вкупе с международным сионизмом превращает Израиль в наступательное орудие против арабского Востока. Книга Е. Евсеева подводит читателя к законно возникающему вопросу: нужен ли сионизм израильским трудовым массам? Сионизм и народ Израиля — несовместимые понятия, заявляют израильские коммунисты.

Сионизм сегодня — это откровенно реакционная, агрессивная сила, которая весьма эффективно служит делу сохранения власти капитала. Не удивительно поэтому, что на оборотной стороне сионистского флага под голубой звездой Давида начертан самый ярый, безудержный антисоветизм. Е. Евсеев приводит яркие факты, обличающие сионистов на поприще антисоветизма, направленные против стран социализма. Борьба против сионизма — неотъемлемая часть борьбы широких народных масс за демократию и мир, за десионизацию Израиля. Она означает реализацию лозунга, выдвинутого КПИ: не с империализмом против арабов, а с арабами против империализма.

Г. Никитина,
кандидат юридических наук.

★

ДМИТРИЙ МАМЛЕЕВ. Остров на парусах. М. «Советская Россия». 1971. 174 стр.

Журналист Д. Мамлеев написал книгу о ленинградском рабочем, ветеране Балтийского судостроительного, корабельном мастере, как сказали бы раньше.

На страницах книги предстает действительно мастер высокого класса, который не один десяток лет трудится на этом заводе, руководит бригадой сборщиков и успел на своем веку вывести в самостоятельное плавание немало молодых.

Книга Мамлеева еще раз свидетельствует о том, что рассказ о реальном, живом человеке получается убедительным и ярким, если автор знает, понимает и чувствует своего героя, когда очеркисту известна вся его жизнь. Мамлеев знает старого питерского рабочего не по короткой творческой командировке. Он знает Смирнова давно. Знает не только его самого, но и его семью, бригаду, завод.

Поэтому, думается, в этой сравнительно небольшой книжке и нет «пустой породы», через которую читателю подчас с трудом приходится пробиваться к герою иных документальных повествований. Здесь каждая, казалось бы, даже незначительная деталь осмыслена автором и потому помогает читателю разглядеть что-то действительно важное в фигуре героя.

Вот, скажем, воспроизводится, и очень подробно (с этого и начинается книга), ежедневный маршрут Василия Смирнова из дому на завод. Вроде бы интересного тут ничего не скажешь. Обычная будничная дорога, которой корабельный мастер вышагивал уже не раз по тем же самым улицам, где все давно успело примелькаться. Как тут выявить характер?

Оказывается, можно. Так, первый же, выражаясь языком кинематографистов, «проход» героя позволяет ощутить индивидуальность персонажа. По тому, как и что думает Смирнов, отправляясь на работу, как посматривает на знакомые ленинградские кварталы, дома, вспоминая их другими, со следами блокадных ран, как наслаждается морозным бодрящим зимним утром — по

всему уже угадывается живой человек, неординарная натура.

Такой чисто человеческий аспект и составляет сердцевину книги Мамлеева. Он не делит жизнь своего героя на «личную» и «производственную». Автору его герой одинаково интересен во всех проявлениях. И тогда, когда старый мастер отправляется на завод, и когда он с парнями своей бригады сидит в баре за кружкой пива, остывая после напряженного трудового дня, спокойно и умиротворенно перебрасываясь с ними неторопливыми фразами, и, наконец, когда, по-мальчишески волнуясь, втайне от дочери (не дай бог, узнает — засмеет!) отправляется выяснять, выдержала ли она приемные экзамены, принята ли в университет.

Мамлеев откровенно иронизирует над «творческим методом» тех журналистов, которые стремятся наскоро уложить жизнь рабочего в несколько привычных, набивших оскомину стереотипов. Такие, являясь на завод, к примеру на тот же Балтийский, к тому же мастеру Василию Смирнову, обращаются к нему с заранее сочиненными примитивными вопросами, получая на них столь же однотипные ответы: «Боретесь за производительность труда? — Ну, боремся. — А за качество изделий боретесь? — Тоже боремся»... Конечно, такого рода «беседа» ничего не скажет читателю, ничего нового не откроет ему в герое очерка.

Мамлеев повествует внешне неброско, сдержанно. Поначалу даже его рассказ кажется суховатым. Автор не спешит выложить все самое главное. Да ему не так и легко это сделать. Он настолько хорошо знает своего героя, что важным, достойным читательского внимания ему кажется очень многое.

Вместе с тем именно это доскональное знание героя и позволило Мамлееву уложить всю его обширную биографию в три дня, каждый из которых по-своему знаменателен. Вот Василий Смирнов отмечает день своего рождения в дружеском застольном кругу, невольно вспоминая прожитые годы, вот в день решающего экзамена своей дочери он волнуется, переживает за нее, вот, наконец, он присутствует на спуске со стапелей нового корабля, сделанного руками его заводских товарищей, руками его бригады. Так, каждый из этих дней оказывается заполненным до предела, каждый приносит с собой герою новые беды и радости, ставит сложные, ответственные задачи.

И потому, хотя в подзаголовке книги обозначено: «Три дня из жизни Василия Смирнова», можно сказать, что автору действительно удалось проследить весь пройденный его героем жизненный путь.

Вот только едва ли удачно само название. Ведь заглавие недаром считается визитной карточкой книги. Часто читатель уже по нему составляет для себя какое-то представление о вещи в целом А такое витиеватое и невыразительное название скорее не располагает к дальнейшему знакомству. Впрочем, даже прочитав книгу, затрудняешься объяснить, что оно выражает. Следует ли под «островом» разуметь в данном случае самого героя, или же тут заключен какой-то иной, обобщающий смысл? Пожалуй, для книги о старом корабельном мастере можно было подыскать более простое и в то же время емкое, запоминающееся заглавие.

С. Л.

★

ДЖОРДЖ БЕРНАРД ШОУ. Письма. Составитель А. Г. Образцова. Перевод И. М. Бернштейн. М. «Наука». 1971. 398 стр.

Эпистолярное наследие великого английского сатирика колоссально: по утверждению одного из исследователей, Шоу написал за свою жизнь около четверти миллиона писем, открыток и телеграмм. В переводе на русский язык письма Шоу почти не издавались, были отдельные публикации в «Литературном наследстве», в периодических изданиях («Театр» и другие) — преимущественно отдельных писем, адресованных деятелям русской культуры. Но все эти публикации носили разрозненный и эпизодический характер. И вот редакционная коллегия серии «Литературные памятники» Академии наук СССР впервые предоставила возможность советскому читателю широко ознакомиться с письмами Джорджа Бернарда Шоу (которые он чаще всего подписывал инициалами Дж. Б. Ш.). Составители книги так эффективно использовали предоставленные им возможности, что книга дает общее представление о всем эпистолярном наследии английского драматурга.

В книгу включены письма Шоу к двум прославленным английским актрисам: Эллен Терри, переписка с которой продолжалась с 1892 по 1922 год, и Стелле Патрик Кэмпбелл, с которой Шоу переписывался сорок лет — с 1899 по 1939 год. Часть этой переписки стала известна советским людям несколько необычным путем — когда на основе этой переписки была создана Джеромом Килти пьеса «Милый лжец», поставленная многими театрами Советского Союза. Третий адресат — актер, режиссер и драматург Харли Гренвилл Баркер, с ним Шоу переписывался с 1900 по 1943 год. В 1921 году началась переписка Шоу с несколько экстравагантной американкой Молли Томпкинс, которая решила стать актрисой. Переписка эта продолжалась почти до конца жизни великого писателя, до 1949 года.

Все четыре адресата — деятели театра, соответственно центральная тема сборника — судьба современного драматургу театра. Она подвергается всестороннему рассмотрению в многообразных своих проявлениях: драматургия, актерское мастерство, искусство режиссуры и постановки. От письма к письму все более четко вырисовывается образ принципиального и неутомимого борца за новый театр, театр больших идей, благородных чувств, театр, изобличающий зло и нелепости буржуазного общества. Письма показывают, какой трудной была эта борьба

и что далеко не всегда Шоу одерживал в ней победы.

Следует иметь в виду, что для Шоу борьба за новый театр являлась в то же время могучим средством борьбы за новую жизнь. Вот почему в этом сборнике писем вырисовываются и другие темы: тема войны и мира, отношения к Советскому Союзу. Писатель резко осуждает империалистическую войну (см. 44-е письмо, к Стелле Патрик Кэмпбелл). Известно, что буржуазная печать, недовольная позицией, которую занял Шоу после пребывания в Советском Союзе летом 1931 года, всеми доступными ей средствами извращала эту позицию. В одном из писем к М. Томпкинс слышится глубокое возмущение Шоу этой злоумышленной дезинформацией: «...неужели итальянские газеты изобразили дело так, будто я разочаровался в России и недоволен поездкой? — вопрошает Шоу.— Чудовищная ложь. Здесь, наоборот, шум из-за того, что я превозношу Россию до небес».

Нельзя не отметить высокую культуру рецензируемого издания. Продуман и тщательно осуществлен отбор писем, все письма квалифицированно прокомментированы. Убедительным выглядит комментарий в тех случаях, когда приводятся фрагменты из писем адресатов Шоу (правда, пытливый читатель, видимо, заметит, что этот принцип комментирования выдержан не до конца). Подобран выразительный иллюстративный материал, который поможет читателю полнее и всесторонне разобраться в содержании писем. Переводы писем, как правило, хороши и в большинстве случаев передают самобытную эпистолярную манеру Шоу. В издании помещена обстоятельная статья составителя и автора примечаний А. Г. Образцовой «Письма Бернарда Шоу».

И. Канторович,
доктор филологических наук.
Свердловск.

★

ЛАСЛО НЕМЕТ. Траур. Роман. Перевод с венгерского Е. Малыхиной. М. «Художественная литература». 1971. 256 стр.

Эта книга — едва ли не первая встреча русских читателей с выдающимся венгерским прозаиком, сыгравшим очень значительную роль в общественной и литературной жизни своей страны.

Большой заслугой так называемых «народных» писателей, активно работавших в 30-е годы (видное место среди них занимал Ласло Немет), при всех их иллюзиях, было внимательное исследование венгерской деревни в разнообразнейших формах — от социологических очерков вроде прославленного «Народа степей», написанного лириком Дюлой Ийешем, до его же страстно-полемической поэмы «Слово о героях», с которой русский читатель познакомился, когда вышел сборник этого поэта «Рукопожатия» («Прогресс». 1969).

Роман Ласло Немета тоже переносит нас в прежнюю венгерскую деревню и делает свидетелями одной из бесчисленных житейских драм, разыгравшихся за заборами, ставнями и засовами. На зеркальце писательского «микроскопа» дрожит одинокая капля человеческого моря — судьба Жофи. Пристально, неотступно и участливо прослеживает автор, как начинают было брать верх над горем раннего вдовства молодость и жизнелюбие Жофи и как одновременно с этим тяготеют над нею многообразные обстоятельства и условности окружающего ее быта и нравов. Своекорыстные маневры властной свекрови, не желающей расстаться с сыновней землей, ее своднические попытки сделать Жофи женой брата покойного, деспотическое давление сельской «морали», требующей от вдовы постоянной неутешности, и в то же время жадное ожидание, чтобы она «оступилась»,— все это замыкает героиню в какой-то горестный круг обид на судьбу, на мир, на родичей и соседей и желания доказать им свою чистоту, когда обиженная невольно уподобляется в своих суждениях, словах и поступках тем, с кем так самолюбиво и отчаянно воюет.

Поглощенная этой изнурительной войной, она все меньше обращает внимание на подрастающего сына, пока внезапная болезнь не скашивает его. Но даже в драматические дни болезни и смерти Шаники естественнейшие материнские чувства Жофи и участие, которое к ней проявляют окружающие, постоянно затмеваются, а порой и кощунственно извращаются соображениями, как «надо» поступать в подобных случаях.

Ласло Немет предельно объективен: те же самые люди, которые смотрят на Жофи с «жестоким любопытством», стремятся порой уберечь ее от лишнего потрясения: «...к ней вошли вдруг сразу трое или четверо и странно расшумелись. Кизела громко сообщала, что дала поденщице курицу за помощь, мать ни с того ни с сего хлопала дверцами шкафа, на крестную Хорват напал кашель, она даже согнулась у притолоки в три погибели. Но Жофи и сквозь весь этот шум отчетливо слышала, что в кухню вошли мужчины и отец на кого-то громко прикрикнул... Потом всех разом будто ветром сдуло... «Это принесли гроб...» — думала она...»

Писатель скорее жалеет, чем судит этих людей, для которых даже чужая трагедия — событие, зрелище в безотрадном мелькании будней, как-то меняющее обычный уклад жизни. Характерно, что оказавшиеся «на самых удобных местах», возле гроба, бедняки «упорней всего отстаивали свое право, зная, что о т с ю д а их выпроваживать не станут» (подчеркнуто мной.— *А. Т.*).

Местные «господа» явились на похороны, привычно ощущая себя в центре внимания и покровительственно восхищаясь «аристократической» красотой Жофи. Авторское омерзение при виде этих скучающих зрителей сливается здесь с ощущением героини, она «угадала» их мысли с той поразительной догадливостью, которая присуща людям, вынесенным на подмостки. Мелькнуло

крестьянское, привычное: «Большая честь!» И тут же затмилось злым: «Глаза таращить явились, любопытно им поглядеть, как сердце у ближнего рвется на части!»

Все вокруг словно сговорились затолкать Жофи в глубь одиночества и отчужденности от людей. Ходячей моралью ей предписана унылая участь вечной плакальщицы. Оказавшись на праздничной улице, «она бежала от этой по-весеннему разодетой толпы, словно то был огромный красочный водяной вал, который, настигнув, закрутит, потопит ее». Но ее закрутил и потопил другой «вал».

Как справедливо говорит об этом в своем послесловии к книге Е. Малыхина: «Палачом Жофи стала затхлость того обывательского, враждебного жизни мира, в котором она родилась и жила и который отравил ее изнутри, подчинил тлетворному своему закону; она же поверила в незыблемость и единственность его закона,— поэтому, даже задыхаясь в его атмосфере, не нашла в себе сил восстать — и была уничтожена им как личность».

Горькая судьба поведана в романе Ласло Немета, и поведана так прекрасно, честно и сердечно, что русские читатели теперь тоже будут с интересом встречать каждую новую книгу этого автора.

А. Турков.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Избранные произведения. В 3-х томах. Том I. 852 стр. Цена 1 р. 53 к. Том 2. 826 стр. Цена 1 р. 48 к.

В. И. Ленин. Первое мая. 16 стр. Цена 3 к.

В. И. Ленин. Социалистическое Отечество в опасности! — Тяжелый, но необходимый урок. — На долевую почву. — Серьезный урок и серьезная ответственность. 16 стр. Цена 3 к.

В. И. Ленин. Рассказ о 2 съезде РСДРП. 32 стр. Цена 4 к.

Государственный пятилетний план развития народного хозяйства СССР на 1971—1975 годы. 456 стр. Цена 95 к.

Десятый съезд Болгарской коммунистической партии (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий). Перевод с болгарского. 404 стр. Цена 79 к.

Н. Масолов. Необычный рейд. Документальная повесть. 152 стр. Цена 27 к.

К. Селихов, Ю. Дерюгин и В. Шишов. Будь готов к подвигу. Очерк. 144 стр. Цена 34 к.

Д. Томашевский. Политика, отвечающая коренным интересам народов. 64 стр. Цена 10 к.

Ф. Энгельс. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. 72 стр. Цена 7 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Армянская средневековая лирика. Переводы. Вступительная статья и составление Л. Мкртчяна. («Библиотека поэта») 390 стр. Цена 90 к.

В. Астафьев. Затеси. Книга коротких рассказов. 238 стр. Цена 38 к.

С. Бытовой. От снега до снега. Повесть об одном путешествии. 285 стр. Цена 52 к.

А. Василевич. Подожди, задержись... Повесть. Перевод с белорусского. 478 стр. Цена 84 к.

А. Вознесенский. Взгляд. Стихи и поэмы. 208 стр. Цена 61 к.

И. Зиедонис. У каждого колодца свое эхо. Путешествия. Перевод с латышского. 359 стр. Цена 71 к.

В. Огнев. Становление таланта. Статьи о поэзии. 383 стр. Цена 1 р. 4 к.

Пути в незнаемое. Писатели рассказывают о науке. Сборник 9-й. Редактор Б. Агапов и др. 368 стр. Цена 91 к.

Б. Рюриков. Реальный гуманизм. Статьи. Составитель Ю. Рюриков. Вступительная статья Б. Сучкова. 719 стр. Цена 1 р. 70 к.

П. Хузангай. Дальний полет. Стихи и поэма. Перевод с чувашского. 158 стр. Цена 50 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Александрийская поэзия. Перевод с древнегреческого. Составление и предисловие М. Грабарь-Пассек. 430 стр. Цена 1 р. 27 к.

Б. Гальдос. 19 марта и 2 мая.— Байлен.— Наполеон в Чамартине. Исторические романы. Перевод с испанского. 576 стр. Цена 1 р. 15 к.

Т. Гарди. Тэсс из рода д'Эрбервиллей. Чистая женщина, правдиво изображенная. Роман. Перевод с английского. 398 стр. Цена 87 к.

А. Доде. Тартарен из Тараскона.— Сафо. Перевод с французского Н. Любимова. Вступительная статья А. Пузикова. 560 стр. Цена 1 р. 12 к.

Э. По. Избранные произведения в 2-х тт. Составление и вступительная статья В. Неделина и А. Николюкина. Т. 1. 415 стр. Цена 91 к. Т. 2. 413 стр. Цена 90 к.

Т. Смоллет. Путешествие Хамфри Клинкера.— **О. Голдсмит.** Векфильдский священник. Перевод с английского. («Библиотека всемирной литературы») 567 стр. Цена 1 р. 70 к.

М. Стельмах. Хлеб и соль. Роман. Перевод с украинского В. Россельса. 671 стр. Цена 1 р. 61 к.

Р. Тагор. Избранное. Стихи и пьесы. Перевод с бенгальского. 447 стр. Цена 89 к.

А. Твардовский. За далью — даль. Поэма. 144 стр. Цена 94 к.

Тирсо де Молина. Толедские виллы. Перевод с испанского. 320 стр. Цена 81 к.

Фирдоуси. Шах-наме. Перевод с фарси. («Библиотека всемирной литературы») 798 стр. Цена 1 р. 71 к.

С. Элляй. Стихотворения и поэмы. Перевод с якутского. 190 стр. Цена 60 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

К. Булычев. Чудеса в Гусляре. Фантастические рассказы. 367 стр. Цена 46 к.

В. Быков. Третья ракета.— Альпийская баллада.— Сотников. Повести. Перевод с белорусского. 334 стр. Цена 97 к.

Дружба. Советско-болгарский литературно-художественный и общественно-политический альманах. Выпуск 1. 320 стр. Цена 1 р. 22 к.

Н. Думбадзе. Не бойся, мама! Роман. Перевод с грузинского. 238 стр. Цена 52 к.

А. Иванов. Время молодых. Роман. Книги 1 и 2. 487 стр. Цена 96 к.

В. Киселев. Веселый роман. Предисловие Д. Затонского. 256 стр. Цена 50 к.

К. Ковальджи. Голоса. Сборник стихов. 96 стр. Цена 23 к.

Ш. Костер. Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, их приключениях отважных, забавных и достославных во Фландрии и иных странах. Перевод с французского А. Горнфельда. Стихи в переводе С. Вышеславцевой. 405 стр. Цена 1 р. 64 к.

Лауреаты Ленинского комсомола. Редактор-составитель М. Катаева. 350 стр. Цена 1 р. 3 к.

В. Липатов. Две повести. ...Еще до войны.— Серая мышь. 271 стр. Цена 57 к.

Н. Старшинов. Зеленый вечер. Стихи. 135 стр. Цена 51 к.

Д. Чивер. Буллет-Парк. Роман. Перевод с английского Т. Литвиновой. Послесловие А. Мулярчика. 206 стр. Цена 54 к.

Эврика — 71. Ежегодник. Составители Н. Лазарев и Ф. Наумов. 429 стр. Цена 1 р. 82 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Алексин. Про нашу семью. Повести и рассказы. 326 стр. Цена 81 к.
В. Баталов. Шатун. Повесть. Перевод с коми-пермяцкого. 176 стр. Цена 46 к.
С. Воронин. Тайна боевого кузнечика. Сказки. 43 стр. Цена 38 к.
Н. Ермолович Поправки к географии. Рассказ о новых стройках, меняющих облик нашей страны. 40 стр. Цена 21 к.
Я. Ларри. Необыкновенные приключения Карика и Вали. Научно-фантастическая приключенческая повесть. 336 стр. Цена 75 к.
А. Мусатов. Диковинки. Повесть и рассказы. 95 стр. Цена 29 к.
К. Рысс. Петр и Петр. Роман. 383 стр. Цена 84 к.
Е. Таратута. По следам «Овода». 207 стр. Цена 53 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

С. Баруздин. Сказка о Лесном царе и Пионерском царстве. 112 стр. Цена 82 к.
Ф. Васильев. Минута. Книга стихов. Перевод с удмуртского. 158 стр. Цена 37 к.
Я. Мустафин. Сибирское чудо. Рассказы и повести. 240 стр. Цена 54 к.

«СОВРЕМЕННИК»

С. Антонов. Серебряная свадьба. Повести и рассказы. 607 стр. Цена 1 р. 26 к.
Н. Задорнов. Амур-батюшка. Роман. Книги 1 и 2. 798 стр. Цена 1 р. 74 к.
Г. Федосеев. Таежные повести. Предисловие С. Сартакова. 383 стр. Цена 1 р. 22 к.

«ИСКУССТВО»

Х. Пирсон. Бернард Шоу. Перевод с английского. 448 стр. Цена 2 р. 19 к.
Фильмы Чаплина. Сценарий и записи по фильмам. Составление и вступительная статья А. Кукаркина. 767 стр. Цена 2 р. 48 к.
Н. Яворская. Пьер Боннар. Очерк творчества. 127 стр. Цена 58 к.

«ПРОГРЕСС»

М. Лопес. Яростный ливень. Роман. Перевод с португальского. 184 стр. Цена 46 к

«МЫСЛЬ»

А. Амвросов. От классовой дифференциации к социальной однородности общества 272 стр. Цена 1 р. 11 к.
О. Борисов и Б. Колосков. Советско-китайские отношения. 1945—1970. Краткий очерк. 476 стр. Цена 1 р. 71 к.
В. Козловский. Диалектика перехода от капитализма к социализму. 166 стр. Цена 52 к.
В. Молибошко. Против буржуазной фальсификации роли КПСС в коммунистическом строительстве. 104 стр. Цена 33 к.
М. Мухамеджанов. Молодежь и революция. 357 стр. Цена 1 р. 33 к.

«НАУКА»

Борьба классов и современный мир. Проблемы рабочего движения в странах развитого капитализма. Сборник статей. 182 стр. Цена 70 к.
С. Ершов. США: капиталистическое производство и здоровье трудящихся. 255 стр. Цена 77 к.
Искусство и общество. VI международный конгресс по эстетике. 322 стр. Цена 1 р. 34 к
Колониализм и национально-освободительное движение в странах Юго-Восточной Азии. Сборник статей. 311 стр. Цена 1 р. 80 к.
Литература антифашистского Сопротивления в странах Европы. 1939—1945. Коллектив авторов. 595 стр. Цена 2 р. 58 к.
Развитие реализма в русской литературе. В 3-х томах. Том I. Просветительский реализм. Утверждение критического реализма. 351 стр Цена 1 р. 28 к.
Б. Рыбаков. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». 520 стр. Цена 2 р. 58 к.
Шелли. Письма. Статьи. Фрагменты. («Литературные памятники») 534 стр. Цена 2 р. 57 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

А. Акбаров. Жизнь поэта. Творчество Г. Гуляма. Предисловие Зульфии. Ташкент. Издательство художественной литературы и искусства имени Г. Гуляма. 211 стр. Цена 68 к.
П. Бровка. Ты моя пчелка. Лирика. 1935—1970. Перевод с белорусского Я. Хелемского. Минск. «Беларусь». 176 стр. Цена 1 р. 73 к.
А. Гусарова. «Мир искусства». Ленинград. «Художник РСФСР» 99 стр. Цена 99 к.
В. Евтушенко. Яблоня раздора. Повести и рассказы. Воронеж. Центрально-Черноземное книжное издательство. 336 стр. Цена 81 к.
В. Лаперашвили. О Маяковском. Тбилиси. «Мерани». 117 стр. Цена 25 к.
Д. Молдавский. Перекресток стихов и трасс. В. Маяковский и фольклор. Н. Асеев, И. Сельвинский, А. Прокофьев. Лениздат. 230 стр Цена 29 к.
В. Шефнер. Стихотворения. Лениздат. 287 стр. Цена 74 к.

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Д. Г. Большов (первый зам. главного редактора), **Ф. К. Видрашку** (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.
Почтовый адрес: Москва. К-6, пл. Пушкина, д 5.

Сдано в набор 26/VI 1972 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 13/VII 1972 г.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 28,7 уч. изд. л. 9 бум. л. (2,5 усл.-печ. л.).
А 09022. Тираж 157.000 экз. Зак. 2173.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп. 70636